

Агаси
Дибизян

ТРЕУГОЛЬНИК

БИБЛИОТЕКА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

АГАСИ АЙВАЗЯН

ТРЕУГОЛЬНИК

ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ

«ИЗВЕСТИЯ»

МОСКВА ● 1983

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

Председатель редакционного совета
Сергей Баруздин

Первый заместитель председателя
Леонид Теракопян

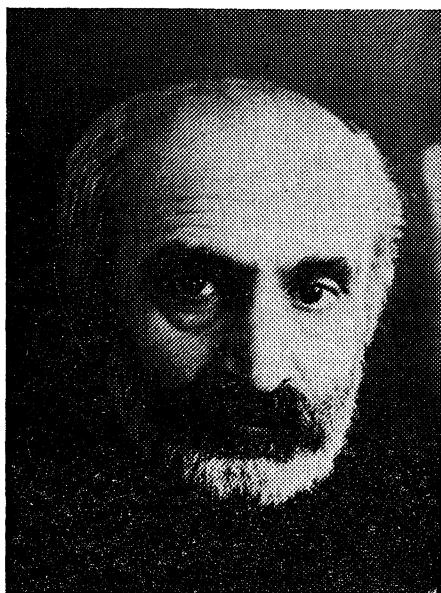
Заместитель председателя
Александр Руденко-Десняк

Ответственный секретарь
Елена Мовчан

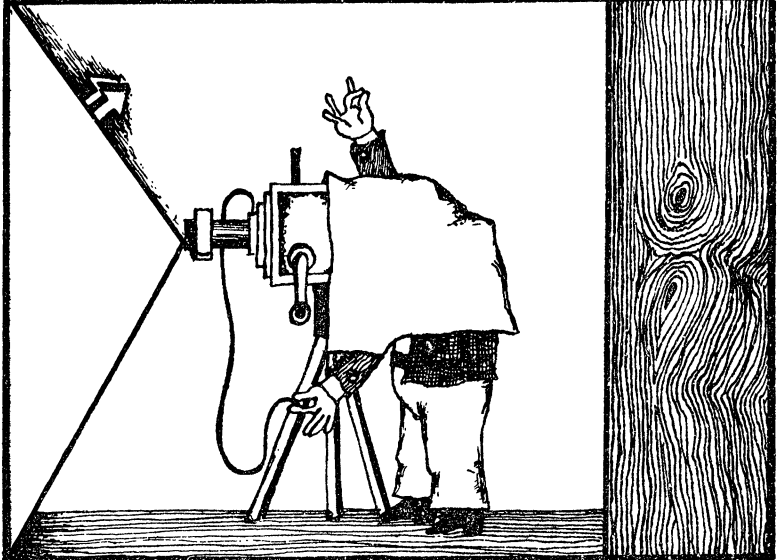
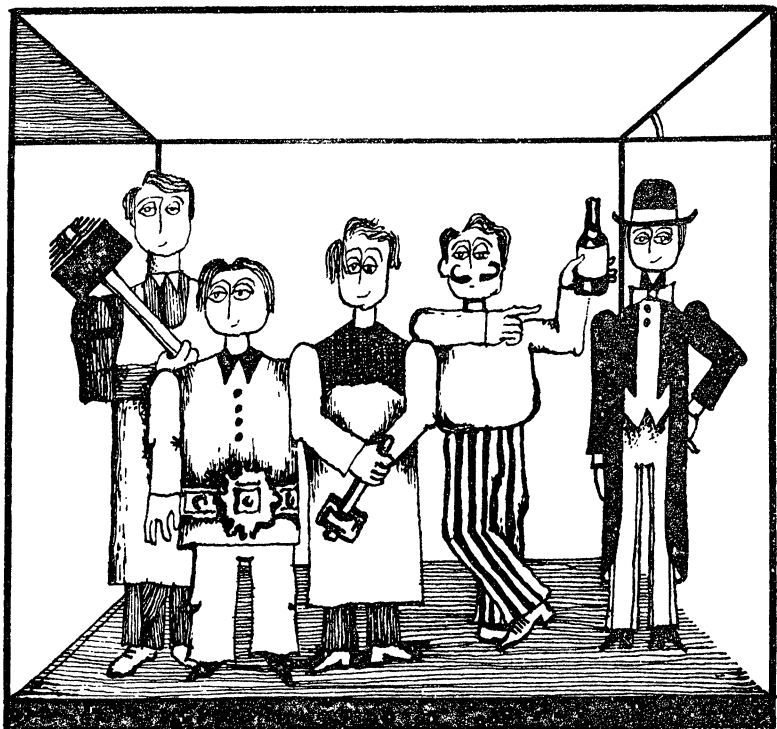
Ч л е н ы с о в е т а :

Ануар Алимжанов, Лев Аннинский,
Альгимантас Бучис, Игорь Захорошко,
Имант Зиедонис, Мирза Ибрагимов,
Юрий Калещук, Алим Кешоков, Вадим
Ковский, Григорий Корабельников,
Георгий Ломидзе, Андрей Лупан,
Юстинас Марцинкявичюс,
Рафаэль Мустафин, Леонид Новиченко,
Александр Овчаренко, Борис Панкин,
Вардгес Петросян, Инна Сергеева,
Юрий Суровцев, Бронислав Холопов,
Иван Шамякин, Константин Щербаков,
Камиль Яшен

Художник А. БАЯНДУР



А. И. Дубинин



ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕНЬОРА МАРТИРОСА

О путешествии Мартироса из Армении в европейские страны, о его встрече с Колумбом рассказывают армянские летописи.

1

Мартирос медленно вышагивал кругом монастыря. Вначале он вел счет кругам, потом это занятие показалось ему бессмысленным и Мартирос стал просто ждать, когда из-за монастыря покажется знакомый, тысячу раз виденный пейзаж. Он знал: на западе пшатовое дерево стоит, на севере огромный камень нелепо так кверху торчит, дальше идет кусочек сухой вымершей пустыни, на юге притаилась застенчиво неприметная тропка-тихоня. Сейчас все эти картины пребывали в некоем круговороте, и Мартирос уже не различал ни севера, ни юга. Все это забылось, отошло куда-то, сделалось ненужным. Существовал лишь замкнутый круг, заколдованное кольцо вокруг монастыря, и сам он был частицей этого круга, нерасторжимой, неделимой, заключенной в него навеки.

Ерзнка был его родиной, Киракосов монастырь и пустыня — его домом, его связью с землей, с добром, с богом. Он изучил все звенья этой цепи, передумал обо всем, что было зримо, доступно глазу. Он знал назубок все настроения этой сухой пустыни, знал все травы, что росли под ногами, знал каждый сучок, каждую былинку на этой земле, знал все старые и новые могилы на ней, все от начала до конца было знакомо ему до боли, до слез. Мартирос знал, как дышит здешняя земля, как она улыбается. Здешние краски и здешние запахи он ощущал так же, как запах собственной старой обтрепаннейшей рысы.

Мартирос не раз побеждал в себе дьявола, умирал желания и успокаивался, но порой, а вернее было бы сказать весной, когда красок и их оттенков так много,

что они теснят друг друга и задыхаются сами, когда даже сухая невзрачная колючка и та хороша и блестит как золото, озаряет мир, щедрая по своей сути, в такую пору мир вырывался из этого монастырского кольца, ширился, тянулся и будоражил Мартироса, и он снова и снова впадал в смятенное, беспокойное состояние, и монастырское кольцо душило его. И из этого кольца одна только лазейка была — тропинка. Мартирос вышагивал кругом монастыря, и друг друга сменяли: одинокий пшат, торчащий ввысь утес, лесок, тропинка... Они чередовались, следовали друг за дружкой, словно самостоятельные, независимые картины, которые были его судьбой, его долею, ниспосланной ему господом богом...

Мартиросу после одной картины сразу же не терпелось увидеть другую, затем следующую. Постепенно шаги его убыстрились, и он сам не заметил, как стал бежать кругом монастыря. Он бежал, чтобы не думать обо всем том, что вечно звало, манило его, звало, улыбалось, дразнило: новые земли, города, люди, красивые женщины, да мало ли. И кто сказал, что господь не во всем этом, почему это он, господь, только здесь должен быть, в пустыне Киракоса?! Господь велик, господь — единение всего, ну да, так он более всеобъемлющ и вездесущ, все правильно. Мартирос обрадовался своим мыслям, конечно же, его желания не против господя, напротив, они утверждают господя. Мартирос вроде бы нашел оправдание своим, казалось бы, предательским мыслям. Впрочем, в каких-то дальних уголках своего существа он улыбался про себя, потому что знал, что есть еще одно желание, немного озорное, очень земное, смутное и сладостное и объяснять это желание господом было бы неправильно и даже кощунственно. Но думать об этом не надо было, не надо было. И чтобы не запутаться во всем этом, Мартирос снова припустился бежать. Он краем глаза, не глядя даже, отмечал про себя скалу, пустыню, одинокий пшат, тропинку.

Мартирос вспотел, он слышал свое тяжелое прерывистое дыхание. И тут откуда-то издали донесся голос Гагика:

— Мартирос...

Юноша Гагик стоял совсем рядом и удивленно смотрел на него.

— Я давно уже тебя по имени окликаю, брат Мартирос...

Мартирос хотел было сказать что-нибудь обычное, объяснить свое состояние Гагику доступным тому, понятным образом. Его мысль была ловка и находчива, и он сам знал об этом. Вот и сейчас у него в уме возникло три-четыре ответа, из которых он мог выбрать любой, но его вдруг охватило какое-то обостренное чувство спасения и гибели одновременно. И он сказал нетерпеливо:

— Уйти я должен, вот что... — И тут же рухнули и исчезли все преграды.

Обрадовался Мартирос, что-то похожее на смех стало расpirать его, сотрясать все тело.

— Куда? — изумился Гагик.

— Широкие реки есть на свете, зеленые поля на свете есть, разные страны есть на земле, моря есть синие-синие и небо другого образа и подобия... Людей есть великое множество. И земля необъятна...

— А чем же тебе плохи наши поля, наше небо... И потом бог, он ведь здесь,— сказал Гагик и показал куда-то вниз.

— Не могу больше... Терпения моего не осталось. Другие земли есть...— со страстью сказал Мартирос, но посмотрел на Гагика, и что-то привычное примешалось к его настроению. И Мартирос расслабился и готов был уже уступить, утихомириться, но как раз этого-то он и не хотел. И его мысль мигом подсказала нужный ответ.

— Я хочу... хочу... Хочу посетить могилу святого Иакова, что в Испании...— сказал и диву дался, удивился сам себе Мартирос — как это ему в голову пришло сказать такое. Впрочем, воображение его частенько приходило ему на помощь в тяжелых положениях. Ему всегда удавалось оправдать себя в своих собственных глазах, да и перед другими он умел обелить себя, дав делу неожиданный поворот, неожиданное толкование.

Гагик смутился:

— Что скажут братья?

Мартирос и на это бы мог дать вразумительный и спокойный ответ, но он очень устал, и его прорвало:

— Нет мочи моей!.. Я умру, если останусь, брат Гагик!.. — Потом, увидев печальные, тысячу лет знакомые, родные глаза Гагика, мягко сказал:— Гагик-джан,

я должен пойти...— И снова Мартирос с половины фразы перестроился: — ...посмотреть на могилу святого Иакова...

Это был удивительный сплав правды и лжи. Подчас этот переход правды в ложь и наоборот происходил сам собою в процессе разговора, непроизвольно, независимо от самого Мартироса. Так что Мартирос знал, что его вины в этом как бы и нет.

Гагик молчал и не знал, что сказать.

Мартирос поглядел-поглядел в Гагиковы глаза, в которых металась нерешительность и беспомощность, поглядел-поглядел и сказал:

— Слышишь, умру, если не уйду... Хочешь, чтобы я умер?

Гагик помотал головой, Мартирос вдруг открыл для себя, что все в мире свободно, все легко и все можно. И он почувствовал, что если сейчас, вот прямо сию секунду он не решится и не уйдет, то никогда больше ничего уже в его жизни не произойдет. И он заторопился:

— Скажешь, Мартирос пошел на могилу святого Иакова. Все образуется, все ладно будет, милый. Не кручинься.

И так прямо, налегке, ничего с собою не взяв, боясь даже в монастырь зайти, обнял удивленного Гагика, расцеловал его и пошел к тропинке.

Он сделал всего лишь несколько шагов. И вдруг что-то забурлило в его теле, сдвинулось, части тела утратили способность действовать слаженно, вместе, они заспешили, каждая в отдельности заспешила-заспешила, и вот уже впереди самого Мартироса бежали его ноги, его руки, живот, уши, глаза... Так вот и бежал по тропинке Мартирос. Ему ни о чем не думалось. Настроение было самое возвышенное, и тело переживало новое, незнакомое дотоле свободное состояние.

Пока солнце не село, Мартирос шел на юг. Определенной, ясной цели у него не было: просто эта дорога была наиболее удобная, а ответвляющиеся от нее и теряющиеся в камнях глухие, невыразительные дорожки не внушали доверия, Мартирос их избегал. Слишком большая неразбериха царила в то время на дорогах. В стране хозяйничали турки и татары, тамер-

лановы ошметки и осевшие здесь византийцы. Все дороги были в их руках. И потому дорога Мартиросу казалась чужой, не своей. Местность, напротив, казалась знакомой, а если и незнакомой, то, во всяком случае, очень напоминала, была продолжением ему знакомых мест. Ни одна живая душа ему пока еще не встретилась. Он не чувствовал усталости, ноги у него были крепкие и с удовольствием ступали по земле. Не чувствовал он пока еще и голода, и о завтрашнем дне не думал, и даже о ночи не задумывался. Им двигали его радостное состояние и радужные мечты.

Мартирос открывал для себя новые дороги, новые поля и скалы, новые растения. Он жил этим новым окружением и свободой собственных чувств. Он шел и не думал, куда идет. Он знал, что идет в мир. Этот мир в центре всего мироздания, истинная жизнь там, мудрость, красота, вообще все на свете там. До этого он был словно на пороге какого-то жилья, а вот сейчас он впервые переступает порог этого жилья. И он ужаснулся при мысли о том, что мог так и состариться и умереть в Киракосовом монастыре, и ничего бы не изменилось, и только одной могилой больше бы стало на замшелом кладбище. И надпись бы новая возникла: «Мартирос из Ерзнка, рождения 1464 года...»

Только в полдень Мартирос подумал, что он не просто шагает, а куда-то идет.

Это самое «куда-то» ухнуло в него и вызвало легкий испуг. Столько дорог, столько троп, каждая куда-то ведет, как ему дальше-то идти? И ночь впереди предстоит.

Но любая, даже самая опасная и непривлекательная дорога таит в конце новые земли, незнакомые моря и города, великое множество самых диковинных зверей.

К примеру, эта дорога: на конце ее, как на конце серебряного пояса,— страна французов, Париж... Эта дорога наверняка оборачивается Римом. А вот эта, третья, приводит вас к морю... В конце той дороги дерево с плодами сказочными и замечательными... А вот еще дорога, в конце ее стоит, вас дожидается прекрасная дама с небесно-голубыми очами и черными ресницами, белокожая, с деликатными движениями и нежной поступью.

И вдруг Мартиросу захотелось подпрыгнуть высоко-высоко. С языка его стали срывать какие-то неармянские слова, впрочем, эти слова не имели отношения к

какому бы то ни было языку, но были звучны и слетали с языка легко и празднично. Мартирос подумал, что это, наверное, язык его предков, что это его естественный, первородный, самый первый, праязык. Кто знает, кровь скольких племен намешана в его, Мартироса, крови. Но только сейчас, в минуту его внутреннего раскрепощения, хлынул наружу, выплеснулся из него этот свободный, непринужденный язык, такой естественный и такой варварский. Мартирос не стыдился самого себя, хоть и чувствовал, что, конечно, для человека постороннего эти восклицания на никаком языке и эта пляска святого отца, облаченного в длиннополую рясу, монаха, чьи мысли и чувства вообще-то организованы и устроены самым обычным образом и вполне приемлемы, — что все это по крайней мере удивительно. Стоило ему так подумать, как вдруг на соседней тропинке Мартирос увидел крестьянина, который оторопело глядел на него. Он еще с минуту смотрел на Мартироса, потом решительно повернулся и побежал без оглядки. Догнать его было невозможно. Он был худой, с тонкими ногами, и облачко легкой пыли, завихряясь, летело вместе с ним.

— Погоди!.. — бежал за ним Мартирос. — Погоди! То, что ты видел, неправда, слышишь, тебе показалось, погоди, остановись! — Но человек исчез за поворотом, Мартирос еще немножечко пробежал по инерции, потом замедлил шаг, сел посреди дороги перевести дух.

«За блаженного принял, — подумал Мартирос, — надо же, когда он меня увидел. Когда я наедине с собой был. Когда я совершенно один, сам с собой говорил и был как наизнанку вывернутый. — Мартирос улыбнулся. — Значит, люди наедине с собой немножко сумасшедшие. А так, при других, они сдерживают себя, прячутся за личину. То, что мы видим, это все театр, условные отношения, для отвода глаз; и кто это, спрашивается, установил, что разумное и приемлемое — это, а не наша абсолютная искренность, не голос крови».

Мартирос представил на секунду отца Ованеса, произносящего непонятные звучные монологи, прыгающего и скачущего, представил и расхохотался. Поистине нелепость... Но почему существует это желание и откуда оно берется? Он, Мартирос, и в монастыре часто закрывался в своей келье и прыгал так до изнеможения, выкрикивая причудливые, никому не понятные слова.

Мартирос знал в совершенстве и армянский язык, и латынь, но вдруг на него накатывало, и обоих этих языков становилось мало, недостаточно для того, чтобы выразить его состояние. Да и вообще, что такое язык, такая малость. Когда весь мир, вселенная вся — твои.

Но тут Мартирос холодно осадил себя и улыбнулся своим детским рассуждениям.

Надвигались сумерки.

Мартирос был один в этой части мира. Кругом пустота, тишь, ничего живого. Впрочем, что значит «ничего живого»? А небо над головой, а земля под ногами, а воздух, а растения, по земле между растениями снуют насекомые. В небе птицы летают, в воздухе разные крошечные твари носятся, жуки всякие, букашки летающие... И опять же в недрах земли есть какая-то жизнь, недоступная, неведомая человеку. Но отчего же тогда человек умолкает и грустит при виде надвигающихся сумерек... Земля живет своей полной, полнокровной жизнью, и сумерки — одно из состояний, одна из ипостасей, часть сущности нашей живой...

На Мартиросе была его далеко не новая ряса, на груди маленький крест с полустертым Христом, в кармане, откуда ни возьмишь, золотая монета и четки с несколькими полудрагоценными бусинками...

На краю обрыва росла приземистая дикая слива с красными плодами. Мартирос набрал горсть этих мелких слив и снова пошел по дороге, бросая в рот по сливе и ловко выплевывая косточки.

Надо идти, пока совсем не стемнеет, и если Мартирос никакого жилья по пути не встретит, он просто ляжет или ляжет где-нибудь на земле, устроится поудобнее, дождется рассвета. Мыслей у Мартироса много, созданные в воображении картины яркие, Мартирос не заметит, как наступит утро...

Мало-помалу дороги начали теряться, пропадать в почве. Сначала исчезли и без того еле различимые маленькие тропинки, потом перестали виднеться тропки побольше, а уже после дошел черед и до той самой Мартиросовой дороги... Ну да, это уже была его, Мартиросова, дорога, его собственная. Он грустно улыбнулся... Как же... В Армении сейчас над каждым клочком земли сразу несколько хозяев имеется. Единой власти нет.

Захватчики дерутся между собой, каждый старается урвать кусок побольше. Все страсти схлестнулись. На севере страны осели несколько более или менее сильных византийцев... Есть села, захваченные татарами. В одной части Армении хозяйничают ак-коюнлийцы, в другой — кара-коюнлийцы... Враг спокойно расхаживал по стране, делил-перекраивал ее как хотел. Всякий властвовать хотел и всякий властвовал — кто над семьей соседа, кто над целым селением — у кого на что сил хватало. О спокойной жизни и речи не могло быть. Надо было бороться за каждый миг жизни.

Это была первая ночь Мартироса вне монастыря...

Но на свете есть и утро...

И Мартирос оглянулся кругом. Ночная прохлада коснулась его лица, легкие наполнились воздухом, Мартиросу стало немножко холодно. Черная земля была красива. Мартирос на секунду забыл обо всем... Он лежал на земле, один на один с природой. Он чувствовал рядом с собой бархатную зелень и благоухание трав... Он протянул руку, сорвал какой-то длинный колючий стебель и стал жевать его; это растение любили есть детишки в его селе. Мартирос ел и впервые за много времени чувствовал вкус. Новый вкус. Высшее наслаждение. Удивительное наслаждение. Впрочем, Мартирос почувствовал, что он получает удовольствие не от самого сладкого стебля, а от времени. Он подумал: «Мне дано время. Я вкушаю его, я ласкаю его, я его осязаю. Я беру время посредством всего. Самое сладостное и самое осязаемое — это время. И если кто-нибудь дошел до того, что хочет убить время, значит, он сам труп. В монастыре время убивают... И еще время в самом человеке, бедный Гагик... бедный Абраам...»

Мартирос улыбнулся, но, испугавшись своей улыбки, тут же пробормотал:

— Господи помилуй...

Мартирос поднялся с земли, огляделся. Перед ним было несколько совсем одинаковых, очень похожих друг на друга троп. Мартирос подумал-прикинул и пошел, как ему показалось, на юг.

Как Мартирос ни старался держаться одной дороги и не сбиваться с пути, ничего не получалось. Дорога то в ущелье спускалась, то разветвлялась на множество тропинок, а то вдруг упиралась в скалу, и каждый раз

надо было заново выбирать дорогу, которая бы продолжила ту, самую первую дорогу.

Через два часа Мартирос почувствовал, что находится в совершенно новой местности. Монастырь и все, что было с ним связано, и в особенности то, как Мартирос чувствовал себя там, его тамошний образ мыслей — все это казалось давным-давно прожитой жизнью, давно забытым состоянием. А настоящее, реальность, его окружающая, не соответствовали легкости его воображения. Пейзажи в Армении противоречивые, резкие и нежные одновременно, друг друга отрицающие и друг друга дополняющие. Такой именно он и знал Армению, но изменились мера его восприятия и степень получаемого удовольствия. Все сейчас упрочнялось и делалось значительным. И несмотря на то, что воображение ему ранее сулило иные картины, Мартирос не разочаровывался, напротив, мысль его с ловкостью необычайной создавала новые мосты, и все становилось чрезвычайно интересно.

Солнце было уже высоко над головой, когда Мартирос заметил вдали движущуюся точку. Не подумав о том, опасность это или же счастливая встреча, он поспешил к видневшемуся вдали человеку. И хотя Мартирос шел довольно быстро, он никак не мог приблизиться к тому. Тогда Мартирос побежал. Но и это не помогло: расстояние между ними не сокращалось. Мартирос стал звать:

— Э-гей!.. Э-гей!.. Эй, человек божий... Эй, братец!..

Как человек скрылся с глаз, Мартирос даже не заметил. Но вдруг его не стало видно. Мартирос остановился и посмотрел кругом. Отсюда даже та дорога, по которой шел Мартирос, казалась другой. И он уже не знал, где находится. Надо было выбирать новую дорогу и снова пускаться в путь. И в нем вдруг заговорило его второе «я» или что-то другое, конечно, что-то другое, которому он не мог дать название и которое называл своим вторым «я». Это было что-то совершенно непонятное и только его. Это было некое лицо, существо, которое вдруг объявлялось в нем, словно сплетенное из его собственных нервов. Улыбчивое, вкрадчивое, бессловесное, оно как-то успокаивало, утихомиривало Мартироса, а потом вдруг каким-то неуловимым, непостижимым движением смешивало, ставило все вверх тормашками и заставляло Мартироса напряженно ждать

чего-то и молча растворяться в самом себе. У этого существа была удивительная улыбка — упрямая, несколько нагловатая, пожалуй, даже бессовестная, но и мудрая и добрая, несущая покой, и изменчивая, изменчивая, не имеющая конца и начала. Если бы кто-то рассказал ему о подобном, Мартирос не поверил бы, но это странное существо, это второе «я» жило в нем столько, сколько Мартирос помнил себя. Особенно часто это второе «я» возникало перед сном и по утрам, оно успокаивало и создавало в Мартиросе необычное состояние.

Мартирос долго не мог решить, по какой дороге ему пойти, потом махнул рукой и пошел без дороги, как ноги повели.

И вдруг слева, из глубокой балки показались сначала голова лошади, а потом и вся лошадь и всадник на ней. Времени, чтобы приглядеться друг к другу, не было.

— Святой отец, — обратился пожилой всадник к молодому Мартиросу, — что вы делаете в этих глухих краях?

Что всадник был армянином — это обстоятельство очень удивило Мартироса, он думал, что давно уже находится за пределами Армении.

Крестьянин, в свою очередь, удивился тому, что видит под этим открытым небом священника и тот совсем один и одному богу известно, а может быть, вовсе и не богу, а черту, куда он идет. Мартирос сказал ему, что направляется в ближайший монастырь, но крестьянин знал, что поблизости никакого монастыря и в помине не было.

Крестьянин дал Мартиросу кусок хлеба, спешился, посадил его на лошадь, сам взял в руки уздцы и пошел вперед по тропинке.

«Бога больше нет», — думал он, но покорно шел впереди лошади, а через некоторое время уже и не шел, а бежал. Мартирос на все это смотрел как бы издали, и все казалось ему сейчас смешным — и сам он в своей черной рясе на лошади, и бегущий впереди пожилой тощий крестьянин. Смех распирали Мартироса, но он сдерживал себя. Крестьянин довел Мартироса до некоей черты, за которой, по его словам, для армянина уже не было дороги, так что будет лучше, сказал он, если святой отец вернется назад.

Мартирос перекрестил его, пробормотал наспех слова молитвы. Крестьянин улыбался, вроде бы насмехаясь над молитвой, и в то же время ему нравилось, что за него молятся, и он вбирал в себя слова Мартироса, как пищу, как невидимую, незримую броню, которая, придет время, защитит его.

И они расстались. Крестьянин пошел вверх в гору, а Мартирос стал спускаться. Крестьянин на лошадь больше не сел, лошадь была усталая, вся в мыле.

Дорога опять сошла было на нет, как вдруг справа показался настоящий просторный большак. Мартирос недолго думая свернул вправо и твердо ступил на новую дорогу. Она, правда, круто меняла направление, взятое Мартиросом, но зато была настоящей, полноценной дорогой — Мартирос улыбнулся про себя: так или иначе ему нужна была дорога, проторенная другими, уже оправдавшая себя, почтенная дорога, которой можно было довериться.

И снова был полдень.

По дороге, по самой середке навстречу Мартиросу шел человек. Мартирос хотел спрятаться, но было поздно. Человек был уже совсем близко. И что-то лихое вдруг заговорило в Мартиросе, какое-то упрямство, которое было сильнее страха и сильнее любой логики.

Мартирос почувствовал, что с тем человеком тоже произошло нечто похожее. Они приблизились друг к другу. Все в незнакомце располагало, весь облик его, начиная от непривычной для здешних мест одежды и кончая его манерой держаться. Двигался он с каким-то ровным ненавязчивым достоинством. Мартирос понял, что перед ним чужестранец. Чужестранец же по крайней мере понял, что Мартирос священник.

— Мое почтение,— сказал чужестранец на итальянском языке.

— Здравствуй, — ответил Мартирос на латыни.

Внешность чужестранца внушала Мартиросу приятное чувство. Черная бархатная кофта, черные же в обтяжку панталоны, черный плащ и черная без полей шляпа, на груди металлическая цепь, башмаки от пыли белым-белы.

Некоторое время они молча разглядывали друг друга. В лице чужестранца была давнишняя усталость,

лицо Мартироса выражало любопытство. И в то же время было что-то общее в выражении лиц обоих.

Мартирос улыбнулся незнакомцу.

Тот немного помедлил с ответной улыбкой, вызвав в Мартиросе неприятное желание и жалкую необходимость взять назад, отобрать свою улыбку. Но потом две улыбки сошлись, и Мартирос спросил:

— Откуда идешь?

— Из Венеции,— уже на латыни ответил чужестранец и, в свою очередь, спросил: — А ты откуда?

— Из Армении,— просто, даже обыденно, нисколько себе не удивляясь, ответил Мартирос и снова спросил:

— Куда идешь?

— В Армению. А ты?

«В большой мир»,— хотел было ответить Мартирос, но что-то остановило его. Что-то, что можно было бы назвать чувством композиции речи или чувством диалога, и он сказал:

— В Венецию.

— Долгий, трудный путь,— сказал венецианец, оглядываясь на дорогу.— На каждом шагу засады, так и ждешь беды, дурные предчувствия не покидают ни на минуту... Иди только по этой большой дороге, не сворачивай никуда... Это единственная дорога, связывающая твою страну с Персией.

— Да... хорошо,— сказал Мартирос и в ту же секунду увидел узенькую, еле различимую тропиночку, которая ответвлялась от большой дороги и терялась среди трав и кустов. И в Мартиросе встрепенулось чувство, сладостное, почти такое же, как знакомая, ставшая родной уже боль от застарелой раны. А может, это было что-то живое, какое-нибудь, скажем, животное, сидящее в нем, какой-нибудь зверек? О, еще сколько раз будет оживать в Мартиросе это непонятное и удивительное — но что же все-таки, что? Волнение? Непонятное желание? Чувство прошлого? Обезумевший кусок материи? Вспышка крови? Малое движение, определяющее грандиозность мироздания? Взгляд Мартироса больше не отрывался от этой тропки. Интересно, что же это за дорога и куда она ведет?..

— Да-да... хорошо...— повторил он, но, когда они пошли каждый своей дорогой и Мартирос дошел до этой тропки, он остановился, воровато оглянулся, увидел, что венецианец не смотрит в его сторону, и потеш-

но так, по-детски, словно провел венецианца, быстро свернул на эту тропинку...

Вскоре тропинку полностью закрыли кустарники и высокая трава. И Мартирос шел уже без всякой дороги. Он шел, в нем было одно только удивительное желание — идти, идти именно здесь, идти, идти, толкать, рассекать этот теплый воздух, идти, если даже сама дорога против тебя. Идти против себя, быть может, на собственную гибель, но идти, идти не останавливаясь, идти наперекор дороге, наперекор усталым исцарапанным ногам, наперекор всему идти. Необъяснимая сила несла Мартироса и сотрясала его тщедушное тело, необъяснимая, неодолимая и крепкая, как этот сухой колючий кустарник, и как этот кустарник, как он — необходимая в жизни, иначе почему бы Мартирос шел именно этой дорогой, иначе зачем бы рос этот колючий кустарник?

Из-под ног выпрыгивали кузнечики, какие-то фантастически большие, с мощными разноцветными крыльями... И Мартиросу сделалось легко, и легкой показалась жизнь, все в ней было для тебя, все за тебя, все такое нужное, необходимое — и жить, оказывается, было просто и естественно, и кому какое дело, что ты ешь, во что одет и как выглядишь, все живут как могут, и ты среди них... И Мартирос вскричал не выдержав: «Молодец, жизнь!»

Неожиданно равнина кончилась, разверзлась земля, впереди открылось ущелье, по ту сторону ущелья множество гор друг на дружку напозлази.

Среди этих гор — словно с неба упала или словно из-под земли выросла, а может, вдруг здешний воздух и ароматы, здешние голоса и оттенки, обретя плоть, реализовались в... — впереди обозначилась армянская деревня, вся такая ухоженная, вся такая правильная, не деревня, а образец деревни. Типичный образец армянской деревни: с хворостяными изгородями, каменными домами, с обязательной чистой и скромной речушкой, с церковью, с отарой, рассыпавшейся по склону горы, с курящимися дымками... Как же так? Мартирос столько шагал-вышагивал, казалось, давно уже осталась позади Армения... и потом не удивительно развс — при таком бездорожье, в такие смутные времена на

свете сохранилась армянская деревня и стояла себе как ни в чем не бывало. И трудно было уже представить, что где-то существует иная земля и есть другие города и деревни...

Мартирос разглядел среди камней узенькую тропку, ведущую в деревню, и стал спускаться по ней. Мирно курились дымки, откуда-то доносился звук доола и смешивался с этими маленькими кучерявыми дымками.

В селе Мартиросу попались два мальчугана и проводили его к дому, где звучал доол. Этот дом находился в центре деревни, танцевальная мелодия была словно сердцем ее, ее дыханием...

Шла свадьба... Ничего более неожиданного для Мартироса не могло быть. Словно эта деревня и эти люди были придуманы для одного мига. Словно все это происходит за пределами мира, живет само по себе, первозданное-первозданное. И радость всех переполняет, жених с невестой сидят рядышком — два ребенка, два огонька на золотом фоне, смотрят во все глаза на Мартироса. И старец, с белой бородой, в белых одеждах, подносит Мартиросу полный рог вина. Пустой желудок Мартироса согрелся, словно его жаром окатило, и голова закружилась, и все стало сплошным золотым свечением.

И Мартирос еще острее почувствовал невозможность, немыслимость этой деревушки. Откуда она тут взялась, что это? Кругом темно, кругом мрак, кругом ложь и насилие. Все лгут друг другу, убивают, темные страсти булвуют людей, человек боится себе подобного, человек забыл бога и не любит больше ближнего.

Сейчас господствует глупость, иначе не мог объяснить себе Мартирос сегодняшнее положение: только глупость порождает ложь, зло, насилие и алчность, и ведь все во вред себе делает... потому что богатство, приобретенное таким способом, улетучивается быстро, такая власть обязательно свертается и сегодняшняя дружба оборачивается предательством и изменой...

И только большая любовь имеет смысл и по-настоящему полезна, потому что любовь — это естество... любовь — это жизнь, любовь — это правда.

Люди оглядываются кругом, дороги не имеют конца и начала, исходной точки и конечного прибежища, есть только безумная, безнравственная и бессмысленная тол-

чая. И эта деревня есть основа, точка отсчета, от которой должны ответвляться дороги, уходить, петлять по всему миру, теряться, блуждать — потом они снова сойдутся в этой точке. Эта деревня — начало. Начало возникает просто, посредством союза двух людей. Один человек любит другого, а дальше сами собой возникают следующие связи — человек любит своего ребенка, своего отца, свою мать, своего соседа, дальнего родственника, другую нацию, весь мир... Этот первый союз двух людей наивен, гениален и велик... Эти два человека — основа материи, они—истина, они—мудрость, они—все. Если нарушится этот самый простой, самый первый союз — на свете нигде не останется любви.

«Господь оставил на армянской земле эту первозданную деревню, от которой вновь должна продолжиться жизнь, и раз так — справедливость и разум возьмут верх непременно...» — размышлял Мартирос.

По дороге стали показываться редкие деревья, и природа вроде бы стала пышнее, но сама дорога была непривлекательна, внушала страх и вселяла тревогу...

Оставленная позади деревушка стала предметом размышлений Мартироса, как евангелие и жизнь Христа. И только закинутый за спину хурджин напоминал о материальности деревни...

Мартирос то и дело поворачивал голову и вдыхал славные запахи, идущие из хурджина, которые значили для него больше, чем сама еда, в нем заключенная.

2

В эти смутные времена, когда человек не мог даже самого себя защитить, когда всяческая сила внушала уважение, от Киликии до Босфора, от Средиземного моря до большой Армении действовала шайка Юнуса. Как неутомимый светлячок, возникала она то там, то тут. Впрочем, как можно сравнивать с невинным жучком этот восточный дикий отряд, который никому не подчинялся, не признавал ни государства, ни царя и среди этой мировой неразберихи вдруг как ястреб хищно налетал на незащищенные села и деревни и забирал самых красивых девушек для продажи во все гаремы Востока. И персы, и арабы, и татары, и турки, и прочие

кочующие племена старались не задеть, не обидеть Юнуса. Всем им Юнус был нужен, девушки, которых он поставлял, становились украшением их гаремов. Их было шестеро, молодчиков Юнуса, но в них текла смешанная кровь двенадцати народностей. Они передвигались вольно и быстро, на коня садились приплясывая, пищу ели, заходясь от восторга, они так поджигали дома, так бросали горящую паклю, как только художник бросает мазки на холст. Они могли в минуту изменить курс, свернуть с полдороги, словно и цели у них никакой такой не было. Но они все время находились в движении. Они жили в движении, в диких гортанных выкриках, в гиканье-улюлюканье, жили, наслаждаясь своей варварской прекрасной жизнью...

В маленьком селе Чучу все было так спокойно, что, казалось, был слышен сам воздух. И вдруг вдали взорвался крик и стал постепенно усиливаться, приближаясь.

Жители Чучу на секунду окаменели, каждый на своем месте, выжидая, словно желая еще раз проверить себя и удостовериться в надвигающейся беде, надо было что-то решать, хотя что они уже могли сделать? Потом заработала некая более сильная пружина, которая разом подняла их на ноги, подтолкнула — и они бросились врассыпную. Кто в дом забрался и заперся изнутри, кто на кровле притаился, кто скользнул в погреб, кто-то пустился бежать по тропинке в горы. А у одного страх оказался настолько велик, что обернулся радостью, и несчастный побежал в ликование навстречу выстрелам и голосам. Все сразу смешалось, и жизнь вдруг уместилась в двух чувствах — страхе и тревоге. Основной заботой были красивые девушки, потому что знали — идет Юнус, и другой цели у него нет. Все в смятении прятали-укрывали своих дочерей, сестер, жен.

Режущий слух, вызывающий жуткую тоску вопль повис над селом и, усиливаясь-усиливаясь-усиливаясь, достиг кульминации, ворвался в село вместе с теми, кто исторгал этот вопль. Шесть всадников то двигались одной сплошной стеной, то смыкались в тесное плотное кольцо, потом снова растягивались, снова смыкались или вдруг от накала чувств начинали кружиться на

месте и вокруг друг друга. Сейчас они двигались, вытянувшись длинной цепочкой, впереди черноволосый, смуглый, крепко сбитый Юнус — в одном ухе поблескивает серьга, рот окаймляют усы.

Бабишад был похож на йога, тощий-претоший, кожа медного цвета. Он на ходу метнул горящий факел в стог сена и сам, как ребенок, обрадовался поднявшемуся пламени... На Мустафе был арабский наряд, бог знает, зачем он напялил его на себя и неизвестно где раздобыл, но это было красиво и, главное, соответствовало его вкусу... Аль-Белуджи был полуобнажен, на голове тюрбан... У Аламы были красные волосы, рассыпавшиеся по плечам. При виде огня он совсем зашелся от восторга, обезумел прямо, привстал на лошади, откинулся и, широко распахнув пасть, хохотал безудержно... Хара-Хира нацепил на голову нечто вроде византийской короны, не исключено, что это была часть тиары, впрочем, это не имело такого уж особого значения, просто корона блестела, была тяжелая и нравилась самому Хара-Хире. Потому что Хара-Хира был необъятных размеров и любил, чтобы на голове было что-то тяжелое: когда на нем не было его «шапки», ему казалось, нет и самой головы. Частенько товарищи, чтобы подшутить над ним, прятали «шапку», и Хара-Хира выходил из себя, метался в ярости по сторонам и не мог успокоиться, пока не находил свой замечательный, неповторимый головной убор.

Отряд Юнуса, как нож, вонзился в село и приступил к делу. Огненно-рыжий Алама подъехал к одной женщине и прямо с лошади нагнулся, подхватил ее одной рукой, нетерпеливо отдернул чадру, и лицо скорчилось в гримасе: у женщины были зеленые глаза и маленький подбородок, то, чего Алама терпеть не мог. Алама отшвырнул женщину и устремился дальше.

Аль-Белуджи не знал, какую дверь толкнуть. Это было совсем как вытянуть жребий, и он торопился и не мог решиться — вдруг да старуха попадется: испоганится весь день Аль-Белуджи. Наконец — была не была! — толкнул одну дверь наугад. Прямо у порога стояла женщина. Аль-Белуджи отвел рукой чадру, под ней еще одна чадра оказалась, он откинул и эту, под ней еще одна оказалась, в нетерпении он сорвал с женщины последнюю чадру, и глазам его открылось женское лицо — ничего противнее Аль-Белуджи в жизни

не встречал. Ему захотелось совсем как чадру содрать с женщины и лицо: вдруг да под ним другое будет.

— Дура! Ходила б с открытым лицом, никто и близко не подойдет! — И Аль-Белуджи отъехал чертыхаясь.

Обследовав село, они собрались на площади в центре.

Они торопились, но торопились не потому, что им надо было еще куда-нибудь успеть, а потому, что взяли такой быстрый темп.

— Юнус,— сказал Алама,— вроде бы и отсюда ни с чем уйдем... Женщины больше не рожают красивых.

— На красивых вы сами, голодные псы, набрасываетесь,— рассердился Юнус.

— Ничего нет, ни одной мало-мальски красивой, кланусь...

Показался Хара-Хира с огромным тюком в руках. Лицо его расплывалось в довольной улыбке. Он свалил тюк перед товарищами и стал развязывать его.

— Что сейчас увидите, что увидите, что за товар,— приговаривал он. Из тюка вышла толстая немолодая женщина. Лица у всех вытянулись. Один Хара-Хира оставался невозмутимым, он смотрел на женщину, прищелкивая языком, явно наслаждался.

— Это еще что такое?! — брезгливо процедил Юнус.

— Женщина...— сказал Хара-Хира.— Красивая... — И он показал руками в воздухе, что именно составляло ее красоту...

— Ты бы уж сразу буйвола взял, зачем тебе женщина,— рассмеялся Мустафа.

Юнус секунды спокойно не мог устоять на одном месте: казалось, если он еще немного здесь задержится — само небо затрещит, пойдет по швам, и он, Юнус, рухнет на землю без сил, и деревья вокруг падут ниц, земля вся размягчится, дневного света станет совсем мало, народ весь высыплет из домов и растерзает его самого и всю его шайку. И даже малые дети казались ему в эти минуты опасными, даже глубокие старики. Лишь в движении он был спокоен,— для того чтобы не останавливать движения, он оставлял мысль на половине и принимал решение на ходу прямо, не задумываясь. Вот и сейчас он вспрыгнул на коня и умчался куда-то в сторону, никому ничего не говоря, не объясняя. Его молодчики последовали за ним. Вскоре они

оказались перед каким-то строением, которое когда-то, по всей вероятности, было церковью, на месте колокольни был водружен какой-то непонятный купол, к стене приставлена лестница, и сейчас эта церковь-не-церковь являла собою какое-то странное, непонятного назначения сооружение.

Юнус со своими башибузуками ворвался в помещение.

В дальнем углу, прижавшись друг к другу, теснилось около десятка девушек.

Бабишад выстрелил в воздух.

— Осторожно, товар не попортьте! — с блестящими глазами сказал Юнус.

Мустафа смотрел на девушек и потирал руки — какой большой выбор, давненько такого не бывало.

— Да, уж теперь-то мы разживемся... — Юнус спешился и, вглядываясь в лица женщин, обошел их всех и остановился перед одной с грязным, закопченным лицом.

— Чует мое сердце, ты лучшая из всех, что я видел, — осклабился Юнус. — Ты-то и не дашь померкнуть моей славе и окупишь все... — И Юнус не глядя протянул раскрытую ладонь к Аль-Белуджи.

Аль-Белуджи вложил в его руку драгоценный кубок с вином. Юнус омочил руку и провел мокрой ладонью по лицу женщины, и все увидели лицо неописуемой красоты, совсем юное прелестное лицо.

— Ав-ва!.. — радостно завизжал Юнус.

Остальные стояли разинув рты.

Потом Бабишад сказал:

— Как раз для хана Алаваша.

— Для Аббаса, — сказал Мустафа. — Он нами в последнее время был недоволен.

— Ав-ва!.. — снова взвизгнул Юнус. Он все еще упивался своей сообразительностью. — Меня не проведешь... — И Юнус схватил девушку за руку.

— Не дам!.. — в отчаянии заголосила немолодая женщина, стоявшая рядом с девушкой, и вцепилась, обхватила девушку обеими руками. Хара-Хира сгреб кричавшую женщину в охапку и хотел было вышвырнуть ее во двор, но что-то его остановило, и он снова опустил ее на землю. А Мустафа, Бабишад и Аль-Белуджи открыли пальбу, чтобы нарушить создавшуюся тишину и восстановить привычную обстановку. Они чувствовали себя хорошо тогда только, когда кругом

царил страх, им нужно было постоянно ощущать этот страх в окружающих — они впитывали его в себя, как кислород, всеми нервами, легкими, кожей. И блаженствовали тогда.

Девушка вырвалась из рук Юнуса и выбежала из церкви. Парни Юнуса кинулись вдогонку.

Юнус смотрел на убегавшую девушку и смеялся:

— Глядите-ка, как бежит, лань, ну чисто лань...

Юнус был в своей стихии. Он подумал о своем самом богатом покупателе, купце-еврее. Ну, мой дорогой Хилал-аль-Фулфул, раскошеливайся давай, гони монету, Хилал-аль-Фулфул...

В это самое время к селу приближался на осле ничего не подозревающий Мартирос. Был он умиротворенный, отдохнувший, был сыт и пребывал в надеждах. Хозяин осла, длинношей добродушный перс, сидел на втором осле и ехал за Мартиросом.

— А что, море очень далеко?..— спросил Мартирос.

Перс огляделся кругом.

— До моря, если идти на север, двадцать семь сел есть, если на юг, двести сорок восемь, а если на запад, восемнадцать, — не моргнув, уверенно ответил он.

Мартирос поверил. Но немного подумал и засомневался. Потом улыбнулся и сказал так же уверенно:

— Девятнадцать.

Перс вытянул длинную шею, он не ожидал такого. Он смерил Мартироса взглядом с ног до головы и сказал с достоинством:

— Ты прав. Этой деревни я не посчитал,— и указал рукой на видневшиеся впереди скирды.

Мартирос закивал головой. Почему-то ему было спокойно и ловко с этим персом, чьи невинные выдумки были сродни мудрости. Кругом все дышало покоем. И вдруг раздались крик, шум, выстрелы, смех, и Мартирос увидел бегущую с искаженным от страха лицом совсем молоденькую девушку. Девушка тоже заметила Мартироса, и то ли его доброе изможденное лицо внушило доверие, то ли черная одежда священника — девушка побежала к Мартиросу, как дитя бы к матери побежало. Мартирос слез с осла, протянул девушке руку и как бы забрал ее под свое крыло. Все это произошло так молниеносно, что Мартирос не успел даже

подумать, от кого и почему бежала девушка и какой он подверг себя опасности, став невольным ее защитником. Мартирос искал глазами своего перса и обнаружил его на противоположном склоне горы; перс сидел на осле, молотил его ногами по бокам с ужасающей частотой и удалялся с невероятной скоростью. А на Мартироса тем временем надвигались шесть удивительных личностей, шесть странно одетых людей. Мартирос было заулыбался им, но, приглядевшись как следует, мало-помалу смекнул, что к чему.

Шесть разбойников медленно приближались к Мартиросу.

На лице Юнуса было написано: «Это еще что за фрукт такой?»

На лице Бабишада: «Чем убивать ножом, подвесить его за ноги вниз головой».

На лице Аламы: «Откуда взялась тут эта божья коровка?»

На лице Мустафы: «Убить, но до этого повеселиться, пощекотать ему пятки...»

Хара-Хира предвкушал новое развлечение.

И Мартирос как по написанному прочел все, что было на этих лицах, но времени, чтобы сделать какие-то выводы, уже не было.

Они приблизились к Мартиросу вплотную и, посмеиваясь, стали заглядывать ему в лицо.

Отступать было некуда, Мартирос выпрямился и взглянул на них с достоинством. И все эти быстрые события вдруг показались Мартиросу каким-то замедленным сном.

Аль-Белуджи вытащил из-за пояса кинжал. Мартирос отметил про себя мелкую резьбу на рукоятке из слоновой кости. «Хорошо бы такой нож занять», — подумалось как-то само собой.

Юнус, взяв Аль-Белуджи за руку, улыбаясь, с подчеркнутым любопытством стал вглядываться в лицо Мартироса.

— Ты добренький, да?..

Мартирос тоже улыбнулся, но тут же рассердился на себя: знай, кому улыбаешься, балда.

— Говори же, значит, добрый, так? — повторил Юнус.

Мартирос не знал, что сказать, нельзя было так упрощать такое большое понятие, как доброта.

— Значит, добрый, — уже утвердительно сказал Юнус. — А раз добрый, значит, и трусливый.

— Нет, — сказал Мартирос, заметив выглянувшую из-под его руки девушку, скорее даже для нее так сказал, потому что в его голосе, была, пожалуй, нотка отчаяния.

— Как же нет? Добрый всегда значит трусливый, — сказал Юнус, и Мартирос увидел и очень про себя удивился — мускулы на руках Юнуса вдруг вздулись и заходили быстро-быстро. И вдруг, Мартирос и сам не понял, как это получилось, но вдруг он заговорил с горячностью:

— Доброта означает... означает мир, небо, землю, дерево... — Мартирос говорил торопливо, доверившись этим простым истинам и боясь, что его прервут. — Доброта... это справедливость...

Юнус придержал рукой товарищей, порывавшихся избить, ударить Мартироса.

— Ладно, давайте выясним, что означает доброта, — со странной непонятной любезностью сказал он, скользнув взглядом по своим головорезам, потом снова посмотрел на Мартироса и заключил, прищурившись: — Возьмем его с собой, посмотрим, что такое справедливость и с чем кушают страх.

И Юнус, как из шкуры, выскочил из этого уже затянувшегося бездействия и, издав свой воинственный клич, прыгнул на коня.

Друзья последовали его примеру.

Хара-Хира посадил Мартироса на низкорослую кобылу, девушку посадил впереди себя, и они двинулись вслед за отрядом, замыкая шествие.

Пейзаж совершенно изменился. Сухие бесхитростные равнины сменились бархатной зеленью и самодовольными холеными горами. Даже воздух стал какой-то теплый, перенасыщенный, сытный.

И все разом изменилось для Мартироса. Словно не три дня прошло с тех пор, как он вышел из монастыря, а долгие годы. Куда он идет сейчас, зачем он с этими людьми, что им нужно вообще и что нужно им от него, Мартироса. В своем воображаемом мире Мартирос не предусмотрел таких событий и потому не чувствовал в полной мере, не ощущал окружающее. Он смотрел на двигавшихся впереди разбойников, на Хара-Хиру и девушку, что ехали за ним, и ему очень хотелось осмыс-

лить все, уместить происходящее в голове, его чувства от этой неожиданной истории отступили, и только мозг работал четко. Во всем-всем сейчас Мартирос искал одну логику.

К вечеру в мире осталось два цвета, синий и красный.

Юнус придерживал своего коня, дождался, пока Мартирос поравняется с ним. Мартирос почувствовал остроту момента.

— Говоришь, доброта — это справедливость?..—пренебрежительно, испытывая Мартироса, сказал Юнус.

Дорого бы заплатил Мартирос, чтобы очутиться сейчас в каком-нибудь городе и разгуливать себе как ни в чем не бывало среди каких-нибудь, скажем, галлов. Он заметался, не зная, как себя вести, захотел осторожным обволакивающим взглядом усыпить, загипнотизировать Юнуса, но вдруг что-то щелкнуло внутри его, наверное, проснулось то самое второе «я» Мартироса, и Мартирос заговорил твердо, с убийственной улыбкой, свойственной этому второму «я», этому другому существу, скрытому в нем:

— Да, справедливость. И ум тоже.

Юнус удивился:

— Ум?.. — И расхохотался Юнус.— Как это ум?..— И погрозил пальцем Мартиросу.— Хитрюга ты, лисица, шкуру свою хочешь спасти... Ум нужен только для того, чтобы отбирать у других то, что тебе приглянулось, чтобы грабить, не жалеть никого, не бояться, жить припеваючи, вот что означает ум. Что, не согласен?

На лице Юнуса блуждала улыбка, он был доволен своей речью. Но Мартирос был невозмутим. И отвечал так, как если бы был один:

— Нет. Хочешь, скажу, что я думаю обо всем этом?

— Говори,— сузил глаза Юнус.

Мартирос остановил лошадь и поднял кверху указательный палец. Подъехали остальные разбойники.

Мартирос вздохнул, набрал воздуха в легкие и начал:

— Когда-то, давным-давно, родился на свет...— он обвел всех взглядом,— человек по имени Бабишад...— он посмотрел на Бабишада.— Нет, не ты... это давно было... не ты, но очень на тебя похожий. Это был жестокий человек, храбрый, но глупый, прямо скажем, безмозглый... он всех хотел уничтожить... при одном

только его имени людей бросало в дрожь... но шли дни, и он чувствовал, что все пустое, что придет время и он умрет, то есть перестанет существовать и от него ничего не останется, подумайте-ка сами, какая это страшная вещь — конец. И тогда Бабишад женился и породил двух сыновей.— И Мартирос показал на пальцах — двух.— Для своих детей он был готов на все, ему хотелось продолжаться в них после своей смерти... — Мартирос перевел дух.— Бабишад умер, каждый из этих детей женился и, в свою очередь, породил пять или шесть, не помню точно, детей.— Мартирос поднял в воздухе растопыренную пятерню и сделал знак Аль-Белуджи, чтобы тот последовал его примеру. Аль-Белуджи послушно растопырил пальцы. Мартирос продолжил: — Итак, Бабишад уже жил, продолжался в этих двенадцати людях. Потом каждый из этих двенадцати бабишадовских отпрысков женился и, в свою очередь, породил по пять-шесть детей...

Мартирос посчитал на пальцах и дал знак Юнусу, Бабишаду, Аламе, Мустафе и Хара-Хире, чтобы те тоже подняли в воздух пятерню. И, увидев разбойников с поднятыми руками, Мартирос повеселел.

— Вот уже Бабишад живет в ста людях... Да-а-а... Каждый из этих ста, в свою очередь, родил пять-шесть детей, и стало их, Бабишадов, таким образом пятьсот. Но по старой памяти они продолжали убивать других людей, не зная, что это их кровь, брат или даже отец... Бабишад жил в пятистах людях и сам себя убивал, потому что был смелым, храбрым, скажете?.. Нет, глупым был, ибо не убивать — разумно...

Он опустил руку, а разбойники еще продолжали стоять с поднятыми вверх руками, слова Мартироса медленно проникали в их сознание, и они стояли немного оторопевшие. Это воодушевило Мартироса, в глазах его мелькнуло что-то лукавое-предлукавое. Мартирос заметил эту перемену в себе, и ему стало неприятно (вот так вот и прет всегда из тебя вместе со всем хорошим всякая пакость). Потом Мартирос резко сказал каждому в отдельности, тыкая в каждого пальцем:

— Ты... ты... ты... ты никогда не смотрел человеку в лицо, когда убивал его?.. ты не заметил сходства с собой?.. не убиваешь ли ты самого себя?..

И все, как заговоренные, с поднятыми руками медленно повернули головы к девушке.

Первым очнулся Юнус и, улыбаясь, снова погрозил Мартиросу пальцем:

— Лисица... от трусости весь твой ум... Ты, может, еще скажешь, что мы с тобой тоже Бабишады?..

Юнус загоготал, ударил лошадь каблуками и пустил ее вскачь. И долго еще вдали слышался его хохот.

В сгущающихся сумерках едва можно было различить силуэты всадников. Всех в сон клонило, но больше всех хотелось спать Хара-Хире. А пленница мешала ему спать на ходу. Он ударил Мартиросову лошадь сзади — «Стой!». Хара-Хира снял девушку со своего коня и посадил ее к Мартиросу. Девушка обеими руками обхватила Мартироса за спину, и Мартирос почувствовал, что больше ни одной секунды он не будет один, сам с собой. Не оборачиваясь, он почувствовал ладонь девушки, каждый палец в отдельности... Потом почувствовал ее теплое дыхание и колени, изредка касающиеся его.

— Как тебя звать? — шепотом спросил Мартирос, но ответа не получил, а, может, не расслышал, потому что в ту же минуту раздался окрик Юнуса:

— Пошевеливайтесь!.. Порожняком едем, позор!.. Хара-Хира стегнул сзади Мартиросову лошадь.

— Пошевеливайся, н-но-о-о...

Алама встревоженно кружил вокруг Юнуса, потом приблизился к нему:

— Они мешают нам... прикончить их надо, Юнус...

Юнус покачал головой — «нет».

Алама посмотрел на Юнуса пристально и захотел понять его.

— Думаешь, они похожи на нас?.. — осторожно спросил он и, не получив ответа, продолжал: — Девушка и наш Мустафа на одно лицо, ты заметил?

Юнус сделал вид, что не слышит его, Алама медленно отъехал.

Немного погодя к Юнусу подъехал Хара-Хира и сказал ему, помотав головой:

— Ну-ка, Юнус, на мои уши взгляни...

Юнус удивился:

— Что тебе нужно?..

Хара-Хира показал на свои уши.

— Ну? — недовольно пробормотал Юнус.

— Целый день смотрю на уши Мартироса... Еду за ним и смотрю... Точь-в-точь как мои...

Юнус сердито стегнул коня Хара-Хиры:

— С ума все посходили!..

Поздно вечером добрались до какого-то села. Все разом повеселели и припустили лошадей, но, приблизившись к деревне, даже не войдя еще в нее, увидели, что она пустая. И что жители ее ушли не только что, а покинули ее давным-давно: это была старая византийская деревня. Даже плодовые деревья здесь успели сделаться дикими.

Они переночевали в этой пустой деревне.

Хара-Хира на ночь забрал девушку к себе, а утром снова привел и усадил Мартиросу за спину. Усадил и улыбнулся. Мартирос то и дело ловил на себе взгляд Юнуса. Тот словно хотел выведать что-то у Мартироса, не спрашивая его, без слов, что-то выяснить для себя.

Парни Юнуса, все без исключения, только о нем, о Мартиросе, и думали, все слова его вспоминали про Бабишадов. И не было уже бывшего привычного темпа, ни выкриков их диких, все способствовало этому странному, не свойственному им настроению. Мустафа больше других был подвержен разным маниям. Вот и сейчас он был явно не в своей тарелке — то и дело ему казалось, что у него на руке растет шестой палец. Он никак не мог отделаться от этого чувства, у него даже начинала чесаться рука, это было абсурдно, бессмысленно, и это он знал. Но дальше больше — дальше Мустафе начинало казаться, что все острые предметы лезут ему в рот: верхушки деревьев, купола, рога животных, порой даже носы товарищей, их уши... В такие минуты Мустафа крепко сжимал губы, и ничто не было в состоянии заставить его открыть рот. Бедняга Мустафа, лицо его делалось до того потешным в такие минуты, что товарищи так и покатывались со смеху, глядя на него. Терпеть все это становилось невмочь, и, обезумев, Мустафа, выхватывал шашку и рубил все подряд — все, что под руку попадалось, все острое. И мало-помалу успокаивался. Сейчас он был особенно взбешен. И откуда только свалился им на голову этот сморчок?! И что это он им такое с три короба наврал, наговорил?

Мустафа все крутился вокруг Мартироса, разглядывал его, девушку-пленницу разглядывал, смотрел на свои ладони, потом лез разглядывать ладонь Мартироса и все сходство искал. Потом начинал девушку разглядывать, смотрел на ее зад и вертелся, пытаясь собственный зад разглядывать, опять же для сравнения. В его голове все перепуталось, смешалось — ноги — руки — носы — уши — глаза...

На второй день пути Мартирос вдруг почувствовал, что дыхание девушки сделалось прерывистым, трудным, а еще через час голова ее соскользнула со спины Мартироса, и Мартирос почувствовал, что она падает, отделилась от него и падает. Мартирос подхватил девушку и остановил лошадь.

Юнус заметил, что Мартирос отстал.

— Ну что там еще?.. — Хара-Хира поднял над головой Мартироса плетку, но почему-то раздумал бить и опустил руку с плеткой. Удивительные вещи творились с ними с некоторых пор, они сами на себя не были похожи.

Мартирос, не отвечая, спокойно сошел с лошади, взял девушку на руки и пошел в сторону.

Разбойники поплелись за ним, удивляясь тому, что Мартирос их не боится, но еще больше тому, что сами они обращаются с ним так мягко и предупредительно, иначе говоря — так цацкаются с ним.

Мартирос снял с лошади седло, подложил девушке под голову и сказал:

— Принесите воды...

— А ты знаешь, как мы с больными поступаем? — сказал угрожающе Мустафа, но воду все-таки принес.

— Есть два выхода, — сказал, улыбаясь, Аль-Белуджи, — или мы убиваем вас обоих и продолжаем путь, или же... девушку оставляем здесь, тебя с собой забираем...

Мартирос каким-то чутьем, инстинктивно чувствовал, что они уже не опасны для него, и, ни на кого не обращая внимания, отошел в сторону и стал что-то искать в траве. Мустафа, Алама, Аль-Белуджи, Юнус, Бабишад и Хара-Хира следили за его действиями. Мартирос сорвал какое-то растение, потер его в ладонях и

засыпал в невесть откуда взявшуюся склянку. Он только краем глаза следил за Юнусом и видел его пристальный взгляд. Вдруг Юнус из-за пояса вытащил пистолет и стал поигрывать им, подбрасывать на ладони. Но Мартирос был спокоен, он знал, что по крайней мере сегодня Юнус стрелять не станет. Но Мартироса раздражало такое грубое, лобовое поведение Юнуса. Мартирос отбросил в сторону все эти рассуждения и склонился над девушкой — губы у девушки были воспаленные, лицо горело, глаза закрыты, веки беспокойно подрагивают. Мартирос влил девушке в рот какую-то жидкость, положил на лоб мокрую тряпицу и сел рядом. Потом посмотрел на Юнуса и сказал очень естественным тоном:

— Будет лучше, если вы нас оставите здесь... Я постараюсь вылечить ее. Вам она больная не нужна, но труп вам тоже ни к чему... Если вы нас все равно бросите, не все ли вам равно — после вас здесь мертвый останется человек или живой, какой смысл нас убивать...

— А что же тогда имеет смысл в этой жизни, как не убийство? — проворчал Юнус, но заткнул пистолет за пояс.

— Я постараюсь ее вылечить... Потом она выйдет замуж, родит детей, станет матерью, каждого из вас такая же девушка родила... Да, родит ребенка, а потом может стать — почему бы и нет, — что этот ребенок вырастет и станет вашим другом и в трудную минуту спасет вам жизнь, кто знает, всяко бывает... Вообразите на минутку, что какой-нибудь болван убил бы мать Юнуса еще до того, как он родился, а?.. Что бы вы сейчас без Юнуса делали, а?..

Глаза Юнуса недобро сверкнули.

«Не перегнуть бы палку», — пронеслось у Мартироса.

Но Юнусу нравилось, как рассуждает Мартирос, на него это действовало успокаивающе.

И хоть и нравилось Юнусу слушать Мартироса и слова Мартироса вроде бы даже возвышали его, Юнуса, но Юнус при этом испытывал какую-то неловкость.

— Каждое ничтожество свою трусость ученостью и умом прикрывает, — сказал Юнус и с удивлением обнаружил, что ждет ответа.

— Трусость злостью прикрывают и глупостью тоже.

Это трусливые, между прочим, гонятся за сиюминутными наслаждениями, потому что боятся в завтра заглядывать...— сказал Мартирос.

— Ну тогда скажи, какая польза, какой прок от добра?.. — спросил Мустафа.

— Кто добр, тот всем миром владеет, — сказал Мартирос.

— Язык твой вместо кинжала у тебя,— рассмеялся Аль-Белуджи.

— Человек умом храбр, хочу сказать — от ума она, храбрость... Не подумавши, не будешь храбрым, хоть ты тресни.— Мартирос увидел, что разбойники с вниманием слушают, воодушевился и целую длинную речь сказал, и по мере того как говорил, он все более начинал верить своим словам и под конец пришел к тому заключению, что изрекаемые им истины суть единственно правильные и окончательные.

Ночь прошла спокойно.

Мартирос спал вполглаза, то и дело вскакивал, смотрел, как девушка. Утром девушка открыла глаза. Ее снова кое-как устроили в седле, и Юнусов отряд выехал из леса. По дороге им встретился молодой крестьянин, который тащил за собой упиравшегося осла. На осле сидел человек, укутанный с головы до ног в простыню.

Увидев отряд Юнуса, хозяин осла заметался, кинулся бежать, оставив осла посреди дороги. Но опомнился и с покорным и виноватым выражением лица вернулся...

Бабишад увидел высунувшуюся из-под простыни женскую ногу.

— Покажи лицо! — свирепо крикнул он.

— Лицо так себе, неважное лицо, — затараторил крестьянин, глотая слюну.

Мустафа концом кинжала поддел простыню — на осле сидела молодая женщина с довольно красивым лицом. Но беременная! До смешного беззащитно и жалобно смотрела она на свой огромный живот.

Мустафа оглянулся на крестьянина и сплюнул:

— Свинья!

— Да, да, — сокрушенно закивал муж.

— Сглазил нас кто-то, — простонал Бабишад.

— Свинья! — снова крикнул Мустафа. — Какой товар загубил, — и выхватил пистолет из-за пояса.

— Стой! — крикнул Мартирос. — Посмотри получше, взглядишь в лицо как следует!..

Мустафа от неожиданности вздрогнул, недоверчиво посмотрел на крестьянина... и свершилось чудо. Лицо крестьянина стало на глазах меняться — перед Мустафой было его собственное лицо, можно было подумать — он в зеркале себя видит.

Мустафа судорожно глотнул воздуха и пришел в ужас от этого нового наваждения.

Медленно двигались лошади, и всадники на них от чего-то отдыхали, отходили, но от чего именно — они и сами толком этого не знали.

Мартирос вполголоса беседовал с девушкой.

Хара-Хира уже привык к тому, что Мартирос разговаривал с девушкой. Он, Хара-Хира, хотел бы, чтобы девушка обращалась с ним так же доверчиво и дружелюбно, как с Мартиросом. Да, но это невозможно. Нельзя запугивать человека, держать его в страхе и ждать от него теплоты и доверия.

Возле Юнуса, как тень, вырос Алама.

— Дай я его... Целую неделю без дела болтаемся... — Алама кивнул в сторону Мартироса. — Всех с толку сбил... Не видишь, во что превратились ребята... Не пристало мужчинам так распускаться... Дай ты мне его...

Юнус посмотрел на Аламу в сомнении.

— Помнишь ту девушку, худенькую такую, ту, что Иль-Халили у нас купил?..

Алама смотрел на Юнуса оторопело.

— Помнишь? — повторил Юнус.

— Ну?..

— Рот у нее точь-в-точь такой же, как у меня, был...

Алама смотрел на Юнуса, и на его лице можно было прочитать: «Пропали мы... если уж ты свихнулся...»

Алама стегнул коня, но тут же натянул поводья, потому что лицо Юнуса сделалось вдруг собранным и решительным и рассеянное выражение сменилось жестким и хищным. Юнус снова был прежним Юнусом — на горизонте показалось селение.

— Чует мое сердце, здесь мы как следует поживимся,— сказал Юнус весело. Он обернулся, окинул взглядом отряд и, заметив Мартироса с изможденной бледной девушкой на коленях, придержал коня.

— Как называется это село? — бросил он через плечо Аламе.

Что-то оборвалось внутри Аламы.

— А кто его знает,— буркнул он.

— Дед твой из этих краев, кажется... — сказал Юнус.

Алама чуть не плакал от разочарования.

— Вроде бы и отец твой из этих краев,— не унимался Юнус.

— Не было у меня никакого отца, не было! — Алама замотал огненно-рыжей головой.— И матери не было! Никогда не было!..— И сорвался с места и усекал было прочь, но, увидев, что никто за ним не следует, понурившись, повернул коня обратно и через минуту снова стоял рядом с притихшим отрядом.

Все озадаченно смотрели на Мартироса.

Село это они обошли стороной.

Куда они сейчас направлялись? Никто не знал. И у Юнуса никто не решался спросить. Смятение царило в их душах.

К вечеру они выехали на зеленый луг, трава здесь была до того высокая, что ею можно было укрыться, как одеялом.

Они разожгли костер и улеглись тут же.

Девушка была очень слаба и почти все время дремала. Мартирос знал, что сон ей сейчас на пользу.

В полночь, когда все уже спали, Алама подполз к Юнусу.

— Прикончить их надо, слышишь...— зашептал он.

— Кого? — Юнус прикинулся непонимающим.

— Кого же еще?.. Больную девку и попа-болтуна... На что они нам? Пусти, я их это самое, а?..— И Алама вытащил из-за пазухи свой любимый маленький нож.

Юнус долгое время молчал, и Алама уже начал беспокоиться. Но тут Юнус повернул к Аламе лицо и подмигнул ему — «действуй».

Алама с ножом в руках, крадучись, пошел к Мартиросу...

Утреннее солнце было до того красное, и красный его цвет был до того насыщенный, что казалось — солнце с трудом отрывается, отяжелевшее, от горизонта. И, чтобы хоть немного сбросить с себя это бремя цвета, оно щедро струило красный свет на поля, на холмы, на густой зеленый покров. Зелень же, в свой черед, была до того интенсивной, победной и яркой, что ни за что не хотела принимать чужую, навязываемую окраску. И поэтому все пребывало в некоем темном смешанном колорите, который местами достигал мягкого черного оттенка.

В эту зеленовато-красную чернь внезапно ворвался как вздох светло-синий цвет — впереди четкой чертой обозначилось море...

Это борение красок происходило, в малой степени, разумеется, и на лице Мартироса. Мартирос открыл один глаз, посмотрел на красное небо и подумал: «Почему нет шума и всю ночь было тихо, почему? И Анны не слышать...»

Мартирос посмотрел кругом. Никого не было. Он встал, пошел налево, вправо пошел — ни души. Пошел туда, где девушка — Анна — спала, и там пусто было. Вначале он испугался, но, поразмыслив, успокоился.

Что за утро было, что за утро, воздух чистый, звенящий, утренние голоса до того натуральные и дивные. И Мартирос решил не торопиться с выводами. Пусть мысли сами придут в порядок, там видно будет, что к чему. В конце концов произошло не худшее. Юнус ушел, оставив его на свободе, девушку они взяли с собой, и, значит, она жива... Что ему еще надо?.. Но какое-то недовольство все же не покидало его. Какое-то двойственное чувство не давало ему покоя, мешало, и даже самые убедительные доводы не могли одолеть это чувство. Но ведь он свободен... свобода... свобода — бог, свобода — правда... Свобода — все. И он свободен, он может дать передышку совести, может не предавать, может любить людей и не бояться смерти...

Где-то поблизости послышалось лошадиное ржание. Первым желанием Мартироса было убежать, но он остался стоять на месте. Потом осторожно раздвинул ветки и увидел свою лошадь, привязанную к дереву. И внутри Мартироса словно разожгли костер, и искры

от этого костра поднялись по его жилочкам, кровеносным сосудам, венам, переполнили сердце, клеточки мозга... И все внутри его согрелось, заклокотало, обрадовалось... Они оставили Мартиросу лошадь, хурджин с едой и на седле разрисованный нож Аламы... Почему одно-единственное доброе человеческое движение могло сделать его счастливым? И почему это ему всегда нужно, чтобы человек хорошим был?.. Так или иначе — все кругом ожило, засверкало сразу... Он шагнул вперед, потом вспомнил про лошадь, подошел к ней, они поглядели друг на друга. Все было понятно. Мартирос погладил морду лошади, взял за уздечку и пошел...

Впереди показалось море. Мартирос остановился и смешал свое дыхание с этим большим морским дыханием, ему показалось, море улыбается ему и дышит своими синими легкими, дышит вовсю, доказывая свою живительную силу и мощь...

Справа простиралась зеленая покатая равнина, до того гладкая, что, казалось, далекие деревья сейчас соскользнут в море или будут кататься на салазках на этом зеленом снегу.

На этой зеленой равнине стоял табун лошадей. Поворотив морды к морю, они стояли плотной кучей. И все смотрели на море.

Мартирос отвел лошадь поближе к табуну и отпустил ее... Лошадь увидела табун и помчалась, смешалась с лошадьми...

Мартирос побежал к воде, вошел в нее. Он брызгался, купался и был счастлив.

От купания ему захотелось есть, он достал из хурджина хлеб, мясо, вино, поел, закинул хурджин за спину и опять пошел вдоль берега.

Солнце уже стояло в зените, и природа утратила тот утренний восторг, праздничность. Все стало будничней, спокойней и безразличней. И море словно позабыло о Мартиросе. И тогда Мартирос подумал, что напрасно он отпустил лошадь, сколько же он может так идти пешком. «Рассудок, конечно, великое дело, но без воодушевления, без чувств рассудок не может существовать, один разум бесплоден и даже низменен, одно чувство безумно...» — рассуждал Мартирос.

Справа было море, слева лес. В лес он заходить боялся, море его больше не манило.

«Где-нибудь здесь непременно должно быть рыбац-

кое село», — подумал Мартирос и тут же заметил на берегу поблескивающую бритую голову рыбака — она блестела, как драгоценный камень, как бриллиант, как случайная жемчужина в прибрежной гальке. Рыбак был из византийских греков, он хорошо говорил по-латыни и после каждого слова либо безумно воодушевлялся, либо смертельно обижался — среднего не было. Он повел Мартироса в свою хижину и угостил его вкусной ухой.

Потом, когда узнал, что Мартирос хочет попасть в Стамбул, а оттуда в Испанию, очень огорчился, вскочил на ноги и стал ругаться по-гречески, отбросил в сторону миску, которую держал в руках, высунулся в окно и стал кричать что-то совсем уже непонятное.

Мартирос не мог понять, что так взволновало грека, чего он хочет.

— Уха твоя была очень вкусная, — сказал Мартирос, чтобы как-то прервать поток ругани, исторгавшейся из грека. Грек мгновенно преобразился, отчего-то снова воодушевился и, высунувшись в окно, заорал радостно и возбужденно.

Он согласился проводить Мартироса до рыбацкого селения, там, по его словам, имелась очень хорошая лодка. Мартирос обрадовался, и они вышли из хижины.

Мартирос знал, что, если рыбак снова воодушевится, не миновать неожиданностей.

— Послушай, — сказал Мартирос и извлек из кармана монету, толщина которой могла удивить любого рыбака. — Возьми себе, пригодится...

Рыбак при виде денег просиял и сказал:

— Знаешь, что за город Стамбул?! А храм императора Константина!.. — Он помолчал и вдруг крикнул не своим голосом: — Идем в Стамбул!..

Тогда Мартирос вытащил из кармана нож Аламы. Не нож, а чудо из чудес, на маленькой рукоятке двенадцать историй выгравировано.

Рыбак не мог отвести взгляда от ножа.

— Тебе, — сказал Мартирос. — Бери... Отвези меня в Венецию...

Рыбак заорал во всю мочь своих легких:

— Пошли в Венецию, идем!..

От возбуждения он не мог устоять на месте, он не знал, что делать, куда идти, он на все был готов, на все согласен.

Они отплыли от берега.

— Хочешь, пойдем в Африку?! Или хочешь, пойдем на север!.. Хочешь в Багдад! Или в Китай!.. Куда хочешь, туда и пойдем, ты только скажи!..

Грек стал приплясывать, стоя посреди лодки, потом сел и долго не мог успокоиться. Потом вдруг без всякой видимой причины приуныл.

— Зачем нам куда-то идти?.. Что нам здесь плохо, что ли...— пробурчал он недовольно.— И что мы там потеряли, на чужой стороне? Что нам там делать?..

Так он то воодушевлялся, то сникал, воодушевлялся — сникал, потом вконец помрачнел, сел, обхватив голову руками, посреди лодки и остался недвижим. А когда Мартирос хотел взяться за весла, заорал как оглашенный.

Прежде всего Мартирос уяснил для себя, что поведение грека начисто лишено логики. Тогда он стал мягко объяснять, что бессмысленно вот так вот терять время, неразумно это, бесполезно: «Чего мы ждем, скажи, чего мы ждем... Если ты не хочешь идти в Венецию, вернемся обратно,— хоть бы какое-нибудь одно ясное желание было у этого грека, пусть неразумное. — Почему мы стоим на месте, ведь двигаться гораздо лучше, чем стоять без движения...» — «Все равно на свете есть смерть, хоть ты двигайся, хоть нет. Хоть стой на месте, хоть беги...» — пробурчал под нос грек. И долго, бог знает сколько времени Мартирос убеждал грека, что куда лучше, куда достойнее умереть на суше, на той самой земле, где жили его предки византийцы.

На второй день заморосил дождь, волны пошли барашками, лодку забросало в стороны, залило водой, и Мартирос с греком стали тонуть. Грек снова воодушевлялся, даже как будто обрадовался, он хорошо плавал и с полным ртом воды все что-то выкрикивал и порывался помочь Мартиросу. После двухчасовой борьбы со стихией на поверхности воды остались две не внушающие доверия дощечки и ухватившиеся за них Мартирос с греком.

Грек или был слабее Мартироса, или же его доконали бесконечные переходы от восторга к подавленности, но он совсем выбился из сил, и теперь уже Мартирос помогал ему. К счастью, их заметили с французского судна и подняли на борт.

Октябрь вообще хороший месяц, но этот октябрьский

день был до того пригож, что Мартирос забыл все свои злоключения. Судно доставило их в Венецию. На берегу Мартирос распрощался со своим греком. Грек снова возбудился и предложил вплавь вернуться в Стамбул.

Венеция была большим городом и удивительным. Мартирос посмотрел на город с холма и, предвкушая удовольствие, стал приводить себя в порядок. Он наложил на рясу первую заплату. Еще раз окинув взглядом весь город, он шагнул вперед, навстречу этому чуду.

Мартирос исходил все улочки Венеции, проплыл на гондолах почти через все каналы, побывал на площади, где стояла церковь святого Марка. И каждая встреча была событием, и каждая улица — целым миром, каждое лицо — божьим даром.

4

Венеция — страна лодок, кораблей, гондол. Венеция — одна большая пристань. И среди других прочих судов в этой пристани стояло судно Боско. Судов было много, самых разнообразных и диковинных и по сути своей и по внешнему виду. Но никому и в голову не могло прийти, да и кому была охота во всем этом разбираться, словом, никто не знал, что среди прочих кораблей, уткнувшись носом в берег, стоит судно знаменитого пирата Боско. Впрочем, и сам Боско привык к тому, что живет на суше, среди людей, и давно уже считал себя примерным венецианцем, но все равно его родиной, его государством было его судно.

И кто это сузил все понятия, один, мол, разбойник, другой — обыватель, кто установил различия между ними... Чепуха все это... Просто живут себе люди кто как хочет, кто как умеет. Боско может напасть в море, ограбить судно, а здесь, в Венеции, те же награбленные деньги может пожертвовать семейству пострадавшего. Каждый раз после разбоя Боско возвращался в пристань, спокойно вставал рядом с другими судами и менял флаг. У Боско было два флага — один с изображением русалки — для берега, другой с изображением черепа и костей — для моря. Боско то один поднимал флаг, то другой.

Но в последнее время Боско нездоровилось, ничто не доставляло ему радости, тело не слушалось его, как бы не его было, голова тяжелая, словно чугуном налита. Боско ел самую вкусную икру и говорил себе: «Ну же,

Боско, радуйся, ты ешь самую вкусную икру, что тебе еще нужно, в этом счастье, из-за такой икры люди друг другу могут горло перегрызть». Но нет, еда не радовала Боско. Он отдавал приказы своим слугам и говорил себе: «Радуйся, Боско, ты силен, у тебя власть в руках, ради этого люди порой даже родителей собственных убивают». Но и власть не радовала Боско. Боско сжимал в объятиях самых красивых невольниц и говорил себе: «Ну хоть сейчас радуйся, Боско, наслаждайся, ради такого люди предают друзей, в тюрьме сроки отсиживают»,— но и тут радости не получалось. Боско проводил рукой по телу, трогал здоровенные мускулы на ногах, щупал могучие бицепсы на руках, прикасался к своей крепкой бычьей шее, твердому затылку и говорил себе: «Ты здоров, Боско, радуйся, люди мечтают о таком здоровье, посмотри кругом, где ты найдешь второго такого крепыша?»— но нет, и здоровье не радовало Боско. Какой-то недуг мучил Боско, не давал ему покоя, словно какая-то пружина внутри его была напряжена до предела.

«Не могу больше, — стонал Боско. — Я несчастен, я глубоко несчастен... После каждого убийства мне делается грустно... Что же со мной дальше будет...» Обычно его сетования бывали направлены лысому скопцу Паскуале, меланхоличному Фолето и добродушному весельчаку Чекко. И те каждый раз согласно кивали головой, что бы Боско ни говорил.

Вот и сегодня Боско затянул свое:

— Ты помнишь, Чекко, как я был счастлив, когда убил первого человека... Мы выпили тогда две бочки вина, да, две бочки распили... — И Боско еще более опечалился. — Помнишь, Фолето... — И хлопнул рукой по колену. — Что же случилось, в чем дело... Каждый раз подыхаю от жалости, еле удерживаюсь, чтобы не зареветь...

Боско высморкался, спрятал платок в карман, подумал и вдруг принял решение:

— Бросаю пить и убивать людей...

Паскуале, Чекко и Фолето переглянулись.

— Боско...— Фолето что-то хотел сказать, но Боско взглядом остановил его.

— Не отговаривайте, бросаю,— сказал Боско и показал на нижний флажок. — Этот флаг больше не поднимется...

Некоторое время все молчали. Потом Боско сказал неожиданно:

— Английский купец завтра на рассвете выходит в море. Приготовьтесь...

Паскуале удивленно посмотрел на Боско, потом на товарищей, и все разом повеселели. Паскуале налил всем вина, и они стали пить, петь, сквернословить, честить и крыть всех подряд.

Но радость Боско была недолгой, вскоре он снова приуныл:

— Нет, я несчастлив, я действительно несчастлив... Что делать, ничто, ну ничто не радует... Это вино все равно что вода для меня, а вода — как вино, никакой разницы... Сердце мое сжимается, и словно что-то разбивается внутри меня... Как хорошо было вначале... Я больше так не могу... — Пираты отставили стаканы и кисло переглянулись: надоел уже этот Боско, ноет и ноет без конца, сколько можно терпеть такое? Паскуале всегда, когда вставала необходимость, как-то стихийно, чутьем находил выход.

— Я знаю, что надо сделать,— сказал Паскуале.

Боско недоверчиво посмотрел на него:

— Знаешь?

— Знаю, — хитро улыбнулся Паскуале.

— А что ты, собственно, знаешь?

— Знаю, что нужно сделать, чтобы быть спокойным, как раньше, как в первый раз...

Боско помедлил и сказал мрачно:

— Говори...

— А что я получу за совет?— снова хитро улыбнулся Паскуале.

Боско не ждал такого. Он посмотрел на свисающий с пояса кошелек, на свой перстень, на золотую тяжелую цепь, потом нашел легкое и привычное решение:

— Если не скажешь — зарежу.

И Паскуале вспомнил разницу между собой и Боско. Это сразу поставило Паскуале на место, и он затараторил:

— Найдем одного священника, ты кого-нибудь убьешь, он даст тебе отпущение грехов, ты убьешь — он отпустит грехи...

Боско это понравилось, он не ждал от Паскуале такой находчивости.

— Значит, так: я убиваю, он дает отпущение гре-

хов... Да-да, правильно, я успокоюсь... и стану счастлив по-прежнему...— У Боско был такой вид, будто он нашел на дороге набитый золотом кошелек. Он обвел товарищей взглядом и сказал Паскуале: — Иди, дай поцелую тебя...— И, запечатлев мокрый поцелуй на безволосом лице скопца, добавил:— Ступай, Паскуале, не теряй времени...

Паскуале, Чекко и Фолето, захватив с собой большой мешок, пустились прочесывать узенькие улочки. Два часа поисков не дали никаких результатов. У Чекко отекали ноги, он то и дело останавливался, Фолето же сгорал от нетерпения и предлагал искать священника вблизи монастыря. Чекко не соглашался и твердил, что надо идти на постоянный двор, там все найдешь. Пока они препирались, в конце улицы показался старый монах.

— Нет,— сказал Паскуале.— Пока донесем, отдаст концы...

Спустя некоторое время из-за угла прямо на них выскочил здоровенный детина в сутане. Пираты даже пятились. Фолето вопросительно посмотрел на Паскуале.

— Этот нам не под силу... Кто такого здоровенного потащит,— сказал Паскуале. И они, озлившись, стали крыть все на свете, в особенности же эту проклятую католическую страну, где так трудно найти священника средних размеров, и в это самое время навстречу им вышел Мартирос с ликующим, вконец отошавшим лицом. В руках он держал полюбившийся ему дешевый венецианский хлеб, он кусал его, с удивлением и восхищением оглядывался по сторонам, останавливался, смотрел направо-налево, крутился на месте и снова шел вперед.

Паскуале измерил взглядом Мартироса, потом посмотрел на мешок. Как раз то, что нужно, и весу в нем немного, и одежда обносившаяся, бедный, значит, кто станет искать его? Пропажа одного такого монаха в Венеции никого не беспокоит.

Они подкрались тихонечко к Мартиросу, и Паскуале собрался уже набросить мешок ему на голову.

Мартирос увидел Паскуале, улыбнулся ему и выразил свое восхищение прекрасной Венецией:

— Великолепно...

— Превосходно,— сказал Паскуале, передал мешок

Чекко и Фолето, и те набросили мешок на Мартироса, потом запихали его туда полностью и затянули горло мешка.

— Великолепно,— заключил Паскуале, и пираты поволокли мешок с Мартиросом к пристани.

Мартирос открыл глаза — ничего не видать, тьма кромешная. Словно годы отделяли его от недавних венецианских впечатлений. Сразу же все это сделалось далеким воспоминанием — церковь святого Марка, четыре бронзовых коня, гондолы, песни под гитару, высунувшиеся из окон итальянки, уличные художники, небо, солнце, дома, выходящие на море, рынок, серебряные горы рыб перед рыбаками, восточные лавочки, где продавались картины и разные диковинные вещи, пекарни, дворцы... Все это было давно, но когда?.. Мартирос хотел установить временную связь между этими двумя состояниями — между этим мраком и дальней прекрасной Венецией. Его голова отяжелела, и какая-то часть тела все ныла, стонала.

И в Мартиросе снова поднял голову, ожил его двойник, то ли друг его, то ли враг, Мартирос-второй, снова он с увещательной улыбкой стал гладить его, ласкать, успокаивать, да так сладко, словно издевался, но потом ему, видно, прискучила эта собственная обтекаемость, он захотел было поддеть Мартироса, съязвить, но передумал и опять заулыбался своей изначальной улыбкой...

Сколько раз Мартирос все в себе расставлял, продуманно рассчитывал время и поступки, но каждый раз все помимо его воли принимало иной оборот, каждый раз что-то да происходило неожиданное... Случайность ли это была или закономерность... Но, пожалуй, что это была сама вечность, потому что вечность и есть эти случайности, чередование этих случайностей, а не спокойно текущая между этими случайностями гладь... Все во власти случайности, все подчинено ей — рождение, смерть, зародыш, желание, любовь... Он только из монастыря ушел по своей собственной воле, все остальное было некое течение, попав в которое, Мартирос ничего больше не решал, а если и решал, то это не имело никакого значения... И, подумав так, Мартирос повеселел, потому что раз так, то и сейчас случится нечто непредвиденное, чего никак нельзя предугадать, и это

будет не продолжением его нынешнего положения, а некоей большой логикой времени... И Мартирос улыбнулся себе, потому что почувствовал, что опять хочет создать логическую связь и объяснять все рассудком...

В эту самую минуту сверху открылась какая-то дверь, и его ослепил сильный поток света, он закрыл глаза и подумал — а почему же дверь открылась вверху, в потолке? Когда он открыл глаза, опять было темно. И из темноты прямо на него смотрели два синих глаза, до того синих, что в темноте казались двумя светящимися кругами. В глазах этих был какой-то всегдашний непокой, и они все время улыбались, независимо ни от чего...

— Здравствуй, — сказали Мартиросу эти синие глаза.

Мартирос раскрыл рот, но звука не издал. Постепенно вокруг глаз обозначились черты лица — резкие скулы, маленький нос с горбинкой, на крутой лоб спадают светлые волосы, небольшие рыжеватые усы...

— Ничего, башка у тебя, видать, крепкая, вполне для жизни пригодная, — сказал обладатель синих глаз. — Помнишь, что утром с тобой случилось?..

Мартирос неуверенно кивнул головой и подумал про себя: «Значит, это сегодня все произошло, сегодня сместилось время для меня...»

— Фолето стукнул тебя по башке... — продолжал этот невесть откуда взявшийся человек, и на лице у него заходили желваки. — Тяжелая рука у подлеца... Я сам в свое время шесть шишек на голове носил от его ударов, знаю...

Мартирос огляделся и различил в темноте множество просмоленных бочек.

— На судне ты... — улыбнулся человек. — На судне пирата Боско...

— Где мы находимся, в какой части света? — спросил Мартирос, не зная, верить глазам или нет.

— О, все еще в Венеции... — улыбнулся человек, показав крупные белые зубы. — Через некоторое время выйдем в море, тогда и развяжем тебя... Ты привыкнешь к нам, к нашим грехам и станешь членом нашей команды... Самое главное — это привыкнуть к нам, понять нас... дальше будет легко. Да, совсем как наше венецианское общество: оно справляется с любым непокорным, мгновенно всех приручает...

— Для чего меня сюда привели?.. Что им нужно от меня?.. — вскричал Мартирос и был очень искренен в эту минуту.

— Совесть Боско не дает ему последнее время покоя... И дело стоит... Ты должен дать ему отпущение грехов, чтобы он снова мог спокойно грешить...

Мартирос было вздохнул с облегчением, казалось, речь шла о пустяковой, несложной вещи, потом кровь разом прилила к голове, и Мартирос ощутил во рту металлический привкус. Все распалось у него в сознании, и жизнь сразу сделалась бессмысленной и ненужной.

— Я никогда не стану соучастником греха...

Человек на секунду сделался серьезным, но глаза его не утратили улыбки, он посмотрел на Мартироса долгим взглядом и сказал негромко:

— Послушай, меня тоже в свое время изловили, как тебя. Меня звать Томазо. Я был нужен здесь для того, чтобы скрашивать скуку долгих морских переходов... Я актер.

И на лице Томазо сменилось несколько самых различных выражений. Грусть, восторг, измена, подхалимство, гордость, рождение, смерть — все в минуту пронеслось перед глазами Мартироса. Томазо был красив, атлетически сложен, высокого роста, но чего он только с собой не проделывал — он стал хромым, низкорослым, горбатым, вдруг выкатил перед собой огромное брюхо, потом снова убрал его...

— Ну что?.. — рассмеялся Томазо и в довершение всего лихо перекувыркнулся через голову.

Мартирос был восхищен, улыбка не сходила с его лица.

— Судно Боско, как любое сильное государство, не может обходиться без искусства и без религии... Нам кажется, это мы создаем искусство вопреки их желаниям. Неправда — это они создают искусство. Точно тебе говорю — они его создают. Они не могут жить без искусства, но делают вид, что уничтожают его. Боско, если хочешь знать, не может существовать без свободлюбивых людей. Такие люди ему всегда навешивают мысли о свободе. Уничтожая свободу, они все же хотят видеть перед собой идею свободы... Иначе зачем бы им столько раз продавать свои души...

Услышав о свободе, Мартирос спросил:

— А почему бы не убежать от них?..

Томазо улыбнулся:

— Судно стоит в Венеции. Как всегда, свободу и тюрьму разделяет небольшое пространство, зачастую даже невидимое. Погляди кругом. Никто не может совершить этого шага, этого маленького шага в себе... Ну да, судно стоит у пристани, надо только шагнуть, ступить на берег и убежать...

— За чем же дело?

— Не получается. Тысяча разных пут... неприметных... Знаешь, я ведь с ними в море выходил... Законы общества действуют, я с ними как бы заодно уже...— сказал Томазо. И в глазах его еще сильнее прежнего заиграла синяя улыбка.

Мартирос поглядел на Томазо и начал вслух рассуждать. Он призвал на помощь всю свою рассудительность, все свое умение, все красноречие. Он выстроил рядышком мысли — мысли бесхитростные и ясные, очевидные-очевидные.

Томазо, казалось бы, и сам все это знал, и все-таки воодушевился.

— Была не была... а то ведь в самом деле поздно будет...— сказал он.— В море мы иногда месяцами плаваем, они и тебя захотят сделать своим соучастником, и тогда ты тоже станешь бояться людей и полиции, станешь сторониться их и избегать... А с тобою, нет, ты усугубишь мое положение, с тобою вместе мы будем являть уже некое качество... нет, нет... бежим...

Мартирос только этого и ждал.

В трюме было темно, и Мартирос не знал, день на улице или ночь... Один раз только открылась дверь и какой-то верзила-моряк принес ему еду... Потом долгое время никого не было... Мартирос по глухим голосам, раздающимся за дверью, пытался определить время, но это ему не всегда удавалось, подчас все путалось... Например, по утрам раздавались пьяные голоса, и Мартирос думал — ага, значит уже вечер, вечером опять раздавались пьяные голоса, звучала гитара, хлопали выстрелы... Песни здесь горланили в любое время дня и ночи... но к концу дня, под вечер, шум поднимался невообразимый.

И наконец появился Томазо с большим клубком веревки в руках.

— Скорее,— сказал он.

— Что на улице,— первым делом спросил Мартирос,— утро или же день?..

— Ночь,— сказал Томазо, — и какая ночь... В Венеции сегодня большой карнавал, с масками, с шутами... Венеция веселится...

Томазо с Мартиросом вышли на палубу. Моряк, стороживший трюм, сидел у дверей недвижно. На лице его была собачья маска. Мартирос хотел было нырнуть обратно в трюм, но Томазо удержал его за руку: «Да спит он, спит...»

Томазо ловко взобрался по мачте вверх и позвал Мартироса. Но Мартирос только тоскливо смотрел на Томазо.— он на дерево и то не мог забраться. Он только головой мотнул — спасибо, мол, не хочу. Потом подумал: ему ведь не стул предлагают — путь к бегству...

По корме разгуливали два моряка...

Какая несправедливость — на берегу радуются, веселятся, а он тут пленником скрючился, дрожит. Кто-то с берега крикнул, помахал ему рукой. И сердце Мартироса пронзилось этим весельем, и Мартирос поспешил к мачте.

Мартирос вцепился в мачту и неумело пополз, подбадривая себя при каждом движении: «Ну же, Мартирос... еще немножечко... еще немножечко, и начнется свободная жизнь твоя, Мартирос...»

Он так отчаянно работал ногами, что, казалось, ноги его вонзаются в дерево и вытащить их из дерева уже невозможно... Но столь же яростно он отрывал ноги от мачты, и казалось, действительно ноги увязли в дереве. Он прижимался лицом к мачте, целовал ее, боялся от нее оторваться и хотел ощущать ее вкус на губах. И вдруг он почувствовал, что стукнулся головой об ноги Томазо...

А Томазо смеялся... Он показал на город и сказал Мартиросу шепотом:

— Смотри, как прекрасна Венеция, смотри, какой веселый карнавал...

Он бросил конец веревки с петлей на берег — и зацепил ею за ажурную башенку противоположного дома. Через улицу, по всей ее ширине, от дома к дому были натянуты флаги, множество цветных флагов — красных, желтых, полосатых... Были вывешены также картонные человеческие фигуры — стражника, моряка,

рыбака, — перемежающиеся гирляндами, шарами и масками, японскими фонариками.

Томазо повис на веревке, подтянулся и пополз. Мартирос последовал его примеру, но через минуту почувствовал, как заныли, заболели его ладони. А Томазо хватало даже на то, чтобы еще и дурачиться. «Здоровствуйте, сеньор, — говорил он, дергая встречное чучело за нос, — вам куда, на судно? А мы как раз оттуда... До свиданья, будьте здоровы... Здравствуйте, сеньора, мы только что встретили вашего мужа, спешите за ним, может, догоните... Мое почтение, маэстро, вам не тесно ли тут? Впрочем, люди искусства всегда по веревочке вышагивают. Я вам могу предложить свой канат, ничего другого у меня нет, не обессудьте...» Томазо при этом выписывал ногами кренделя в воздухе и смеялся так заразительно, что Мартирос, еле державшийся на веревке, не выдержал и расхохотался. От смеха он совсем ослаб, но на душе сделалось легче, и он с новой силой заработал руками. И весь этот переход с судна Боско на берег показался ему симпатичной, приятной прогулкой. И он почувствовал, что даже доволен, что все так сложилось. В эту минуту башмак с его ноги соскочил и упал вниз. Мартирос так и замер от ужаса. Башмак упал к ногам одного из моряков Боско. Тот поглядел на башмак, взглянул вверх, увидел множество чучел, свисающих с веревки, увидел и Мартироса... Томазо и, приняв их за чучела, надел башмак Мартиросу на ногу и остался очень собою доволен. Наконец они ступили на крышу дома, и хотя улочка, которую они одолели, была узенькая и путь короток, Мартиросу показалось, что длиннее дороги он не проходил.

Крыши домов в этой части города причудливо переходили одна в другую, трудно было понять, где начало, где конец дома, с такой крыши в любую минуту можно было скатиться вниз... Окон и башенок было великое множество, и возникали они в самых неожиданных местах — иной раз даже под ногой... Чего-чего только не было в этих окнах! Мартирос то и дело зажмуривался, но порой любопытство все-таки брало верх... Впрочем, Мартирос и Томазо передвигались так стремительно, что окна эти запоминались разве что как какой-то немислимый сумасшедший калейдоскоп. Последнее окно было, пожалуй, самое реалистически-

бытовое: кругленький, с красным лицом попик лежал, уткнувшись подбородком в подушку, а его жена и хорошенькая служанка ставили ему клизму. Мартирос одно только запомнил — лицо и зад у больного были удивительно похожи.

Крыши, как лестницы, спустили Томазо и Мартироса на улицу, а улица-то была каналом, и, следовательно, они очутились в воде. Мартирос по вкусу воды определил, что на берегу поблизости расположены харчевня, постоянный двор и аптека. Вымокшие и усталые, Томазо с Мартиросом выбрались на какой-то мостик и двинулись дальше. Мартиросу Венеция очень понравилась, и он хотел остаться в городе, он даже бежал из плена потому, наверное, что хотел снова оказаться в Венеции. Но Томазо сказал: «Надо уносить ноги отсюда... я хорошо знаю Боско... А Венеция всегда будет с тобой, не расстраивайся...»

Когда рассвело, Мартирос оглянулся и не увидел больше Венеции.

Томазо с Мартиросом разделись, выжали одежду, развесили ее сушиться на ветках, а сами улеглись на траве.

Мартирос дрожал от холода, но был такой усталый, что тут же заснул. Проснулся он тоже от холода. Утро на земле стояло чистое, обнадеживающее, доброе.

Томазо сидел на дереве, жевал что-то и улыбался Мартиросу, он бросил ему несколько маленьких диких груш, потом спустился с дерева и прошелся на руках. После чего они напялили на себя еще мокрые одежды и зашагали к большой дороге.

5

Дорога уходила вдаль, нигде никакого жилья не виднелось.

— А теперь куда мы пойдем?— спросил Мартирос.

Томазо разглядывал свои ноги. Башмаки его совсем развалились, большой палец высунулся. Томазо улыбнулся:

— Это не от бедности, не думай: у моего большого пальца особый склад... Он всегда выскакивает вперед, он нетерпелив и хочет опередить время... я за ним не поспеваю... Он мой советчик и указчик в дороге... — И Томазо обратился к своему пальцу:— Скажите, пожалуйста, сеньор палец, в какую сторону нам пойти, чтобы

быть сытыми, свободными, быть подальше от беды и поскорее оказаться среди добрых людей... Ну-ка...

Палец шевельнулся вправо, влево и показал вперед.

— Вперед! — радостно заорал Томазо, обнажив белый ряд зубов. И они пошли по дороге — беспечные, веселые, голодные-преголодные. Только песни им сейчас не хватало. И Томазо запел.

Это была удивительная песня — озорная и гордая, нежная и сильная, старая и новая...

По дороге им попадались премилые деревеньки, но Томазо каждый раз говорил «идем дальше», и они продолжали путь. У Мартироса ноги были изранены, идти ему становилось все трудней.

В полдень вдаль показались фургоны. Томазо остановился, заслонился рукой от солнца, посмотрел внимательно и сказал:

— Как будто бы пришли...

— Что там, село?.. — спросил Мартирос.

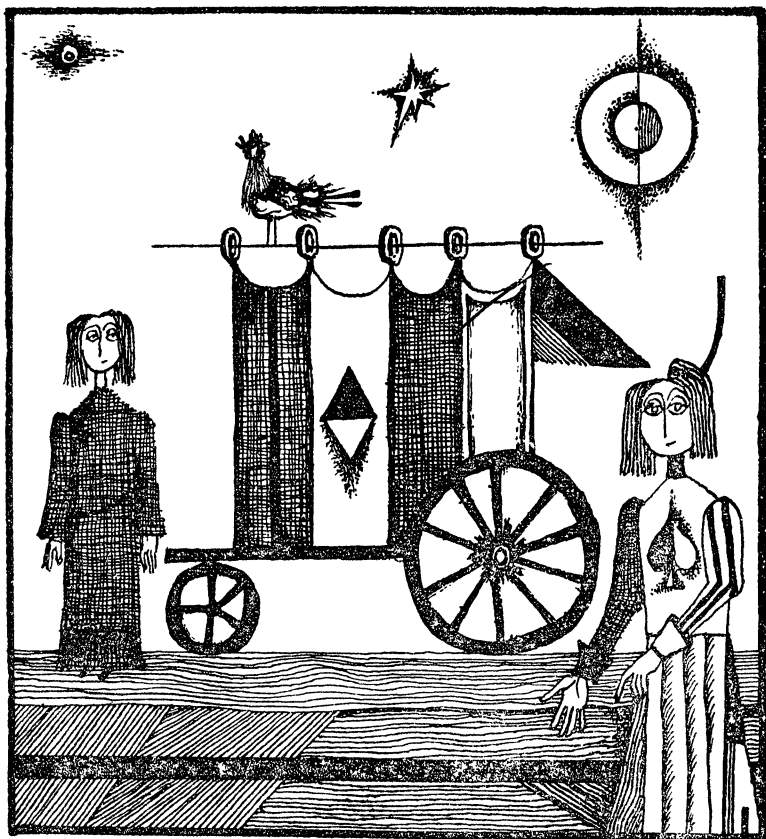
— Нет, рай земной, весь мир, весь свет!.. — воскликнул Томазо и бросился бежать. Мартирос поспешил за ним, впрочем, как бы он ни спешил, ноги его едва волочились. Наконец Мартирос добрался до фургона и стал рядом с Томазо, которого окружили люди в масках. У обочины стояли два фургона, один наполовину красный, наполовину черный, другой наполовину белый, наполовину синий, оба с красными колесами. То был красочный разрисованный мир — итальянский бродячий театр.

Томазо окружали персонажи итальянской комедии — Коломбина, Тарталья, Пьеро, солдаты, ангелы... Мартирос заметил удивительную вещь — внешне это были бедные и беззащитные люди, но среди них царило веселье. Было печально и радостно одновременно.

Увидев приблизившегося Мартироса, Томазо указал на него широким жестом и с театральной торжественностью объявил:

— Позвольте представить вам моего друга сеньора Мартироса.

Актеры сняли с Мартироса и Томазо их истрепавшуюся и мокрую одежду и дали им театральные костюмы. Мартирос впервые вместо своей рясы надел красные брюки в обтяжку, золотистый камзол, сшитый, казалось, специально для него, и золотые блестящие башмаки.



Томазо сам выбирал себе наряд.

Фургоны — этот радостный, и печальный мир, этот рай — двинулись вперед. Актеры, окружив Томазо, расспрашивали его обо всем, что с ним случилось, рассказывали о себе и ни на минуту не оставляли его одного, истосковались по своему Томазо. Мартирос был счастлив...

В тех селах, где была церковь и площадь, они давали представление. Представления были самые различные — иногда это была трагедия, иногда сцена ревности с Коломбиной и Пьеро, а иногда просто цирковые номера... смотря по обстоятельствам, они эти обстоятельства прямо носом чуяли... Ах, что это были за пред-

ставления! Мартирос прямо озарялся весь. Он не успевал даже переваривать в себе как следует все виденное. Но более всего он упивался игрой своего товарища. Томазо поражал его, Мартиросу от волнения даже плакать хотелось. Томазо выполнял различные акробатические номера, прыгал с дерева на дерево, проделывал всяческие сальто-мортале, на него взбиралось сразу три человека. И все это было радостью, было жизнью.

На ночь они останавливались в деревне, утром продолжали путь. Мартиросу хотелось, чтобы у этой дороги не было конца, бродячая жизнь была ему по душе, но все же он спросил однажды у Баччо, самого старого актера, который никогда не расставался с маленьким кинжалом:

— Куда мы идем, Баччо?

Баччо посмотрел на него и подмигнул:

— Куда бы ты хотел?..— Потом сказал:— А разве кто-нибудь куда-нибудь идет? Зачем же нам куда-то идти... Живем себе... Не так ли?..

От этого «живем себе» Мартиросу открылась вся неленость его вопроса, но так продолжалось ровно столько времени, сколько нужно было, чтобы Баччо скрылся с глаз. И тогда Мартирос снова подумал: «Но куда же мы все-таки идем?»

Все актеры — и конопатый Сандрино—Пьеро, и Арджентина—Коломбина, и Чезаре—Панталоне, словом, что перечислять, все от мала до велика полюбили Мартироса, но Томазо все же любил Мартироса больше других.

— Считай, что ты член нашей труппы,— сказал он как-то Мартиросу.— Ты когда-нибудь пробовал играть?

— Что ты!— удивился Мартирос.

— Но ты все видел, ты уже знаешь, как это делается.

Мартирос пожал плечами.

— Как?— поразился Томазо. — Разве тебе нечего сказать людям?..

— Почему же, есть...

— Вот это и значит быть актером... Собираются люди, множество людей приходит, чтобы послушать тебя, и ты говоришь, говоришь все, что хочешь им сказать, говоришь даже то, чего нельзя говорить. Но тут, ясное дело, ты прибегаешь ко всяким уловкам... всякие там шутки-прибаутки, понимаешь?

— Я хочу говорить о правде,— воодушевился Мартирос.

— И о красоте,— добавил Томазо.

— Я хочу говорить о правде,— заупрямился Мартирос.

— И о любви,— добавил Томазо.

— Я хочу говорить о правде.

— И о братстве, и об искусстве, и о справедливости, о боге, — добавил Томазо.

— Все это и есть правда. Я хочу говорить о правде...

Бродячий театр Баччо потихоньку двигался на север. Мартирос с некоторых пор стал принимать участие в представлениях. Он изображал слугу при Коломбине—Ардентине и Пьеро, выступал с масками зверей и даже начал понемногу участвовать в акробатических номерах Томазо.

Села и маленькие города сменяли друг друга. Мартирос больше не спешил в Испанию, но в душе надеялся когда-нибудь увидеть своими глазами города французов и испанцев, племя дудешков, как он их называл.

У Томазо возникла идея нового спектакля, и однажды, собрав всю труппу, он рассказал актерам о своем замысле. Это должен был быть своеобразный спектакль, где действующими лицами являлись шесть солдат. Все шестеро на одно лицо. Этого можно было достичь масками. Пять солдат ведут шестого на расстрел, в последнюю минуту этот шестой смешивается с остальными, и отличить его от других нет никакой возможности. Все в растерянности, не знают, кого же расстреливать. Все представление — диалог между двумя солдатами: тем, кого должны расстрелять, и тем, кто должен осуществить казнь.

Замысел Томазо пришелся всем по душе. Под конец Томазо пошептался о чем-то с Баччо и, довольный, объявил товарищам:

— Диалог будут вести ваш покорный слуга и сеньор Мартирос.

Это сообщение было встречено радостными возгласами, все окружили Мартироса и запели шуточные смешные куплеты в честь его посвящения в актеры.

Они перешли имеющуюся у них солдатскую одежду

по одному образцу. Все было готово, оставалось только решить вопрос маски. Наконец нашлась и маска.

Самым подходящим оказалось лицо актера Исидоро — мясистые вздернутые щеки, настолько, что, казалось, отходят от лица. Короткие брови, большой рот. Решено было пустить Исидоро на сцену без маски, а на остальных пятерых надеть маски с лицом Исидоро. Актеры симпровизировали несколько репетиций и остались довольны новым спектаклем. Особенно всем нравился Мартирос — его вопросы и ответы были умны, с удивительно четкой логикой, которая в этой обстановке казалась особенно потешной. Армянский акцент Мартироса придавал представлению особый шарм.

Героем представления был, безусловно, Мартирос.

Ни одна импровизация не повторялась. Мартирос воодушевлялся, распалялся и каждый раз по-новому развивал тему. Репетиции доставляли актерам истинное наслаждение. В Антиссе они решили дать первое публичное представление. Город был достаточно велик и имел хорошую площадь.

Вечером, накануне спектакля, актеры расхаживали по улицам города, сзывая горожан на завтрашнее представление.

Николетта, Лолото и Фортунато в своих лучших костюмах, оседлав размалеванного мула, кружили по улицам, по очереди выкрикивая:

— Спешите, спешите, господа! Количество мест ограниченное, есть места сидячие, стоячие, лежащие и полулежащие. Устраивайтесь кто как может. Посмотрите спектакль хотя бы одним глазком!.. Спешите!.. Есть места для священников, для торговцев, брадобреев, ростовщиков! А вот этот балкончик, так живописно обвитый плющом, ждет герцога и графа, слава им, слава!.. В представлении принимают участие лучшие итальянские и французские актеры! А также приглашенный специально по этому случаю знаменитый актер из Азии — сеньор Мартирос!

В воскресенье на площади Святой Марии яблочку негде было упасть, такое творилось там. Рыбаки, солдаты, прачки, стражники, зеленщики, мелкие воришки, крестьяне, продавцы угля заполнили площадь... Под конец показался на балконе и сам герцог со своей сворой собак. Рядом с герцогом заняли места две его любимицы: по правую руку польская борзая, по левую — черный

английский дог, на руках у герцога было несколько маленьких фокстерьеров...

Представление началось.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАРТИРОСА И ТОМАЗО

На сцену выходят шесть солдат. Один солдат, тот, что приказывает, идет впереди, четверо других ведут пятого, приговоренного. Все шесть на одно лицо, отличить друг от друга невозможно — это как бы один человек в шести экземплярах. На масках брезжит слабая улыбка, смысл ее непонятен. Солдаты отличаются только одним — приказывающий солдат (Томазо) идет впереди, а приговоренный солдат (Мартирос) держит руки за спиной, остальные четверо придерживают руками воображаемые ружья.

ПРИКАЗЫВАЮЩИЙ СОЛДАТ. Раз-два, раз-два... раз-два... Правое плечо вперед, марш, раз-два. (Солдаты поворачиваются.) Раз-два... Напра-во! (Все поворачиваются направо, очень четко и точно исполняя приказ, в том числе и приговоренный. Приказывающий солдат доволен, что его приказы исполняются так беспрекословно.) На месте ша-гом марш! — Солдаты маршируют на месте. Приказывающий солдат смотрит на них. — Напра-во, нале-во. (Он явно упивается своей властью, входит в раж.) В одну шеренгу стройсь! Направо, нале-во! (Быстро, быстро.) Направо, налево, направо, налево... Стой!.. Лицом к стене повернись! Ружья вниз! На плечо! К ноге! На плечо! К ноге! Приготовьсь! Взять на прицел! (Солдаты вздергивают руки с воображаемыми ружьями. Приказывающий вот-вот уже должен крикнуть «огонь», как вдруг замечает, что у стены нет приговоренного, того самого, в кого должны стрелять. Пять солдат стоят с ружьями наперевес.)

ПРИКАЗЫВАЮЩИЙ СОЛДАТ (подходит, заглядывает в лицо каждому солдату). Куда же он делся? (Считает.) Раз, два, три, четыре, пять... Один лишний... Который же?.. (Все молчат.) Бессовестные, говорите же, кто из вас? Отвечайте, которого из вас должны расстрелять?.. (Солдаты молчат. Приказывающий солдат вглядывается в лица. Растерянно.) Поди и найди теперь... (Сердится, выходит из себя.) Дураки, болваны, что, в пустую стену будете стрелять? (Что-то про

себя обдумывает, потом решительно.) Арестованный, выйди вперед сию же минуту!.. (Никто не двигается с места. Приказывающий внимательно оглядывает каждого из пятерых, ничего не может решить, устает и чуть не плачет от отчаяния. Потом задумывается и обращается к зрителям, которые смеются, дают ему советы.) Послушайте, а может быть, это я сам? Может, это меня должны расстрелять?.. («Тебя, тебя», — кричит маленький мальчик из первого ряда. Приказывающий хлопает себя по бокам, смотрит на свои руки, минуту думает и отгоняет от себя кошмарную мысль. И с новым настроением.) Дураки, если мы сейчас не расстреляем одного, нас всех засудят, всех расстреляют... Всех шестерых. Ведь мы на службе... Ну что стали остолопами?.. Ружья к ногам! (Солдаты выполняют приказ. Приказывающий подходит к ним и начинает снова тщательно вглядываться в лица, в глаза, зачем-то даже трогает за носы.) Кругом! (Солдаты поворачиваются лицом к зрителям. Приказывающий обходит их сзади, смотрит на уши солдат — у всех одинаковые, никакой разницы. Единственная, последняя осталась надежда: он оглядывает зад каждого — опять никаких результатов. Разочарованный, говорит чуть не плача.) Послушайте, ребята, ну у кого-нибудь из вас есть совесть? А?.. А ну, у кого хоть капля совести осталась, выходи вперед. (Из шеренги выходит Совестьливый солдат. Приказывающий обрадовался). Вот умница, вот молодец! Становись к стенке. (Совестьливый солдат идет к стенке.) Вот так, сейчас ты станешь к стенке, потом я...

СОВЕСТЛИВЫЙ СОЛДАТ. А ты когда станешь?

ПРИКАЗЫВАЮЩИЙ СОЛДАТ (радостно, отделиваясь). Не знаю... Когда-нибудь... Когда-нибудь да обязательно стану... Не может быть, чтобы я не стал к стенке...

СОВЕСТЛИВЫЙ СОЛДАТ. И тогда я в тебя выстрелю?

ПРИКАЗЫВАЮЩИЙ СОЛДАТ. А как же, выстрелишь... А потом еще кто-нибудь станет и еще кто-нибудь выстрелит, вот он, например... (Показывает на зрителей пальцем.) Он, он, и этот, все подряд.

СОВЕСТЛИВЫЙ СОЛДАТ. А ты меня не обманешь?

ПРИКАЗЫВАЮЩИЙ СОЛДАТ. Нет.

СОВЕСТЛИВЫЙ СОЛДАТ. Значит, не обманешь?

ПРИКАЗЫВАЮЩИЙ СОЛДАТ. Да нет же, говорят тебе, нет. В следующий раз ты в меня выстрелишь...

СОВЕСТЛИВЫЙ СОЛДАТ (плаксиво). Ну ладно. Посмотрим... Вот так всегда, все мои желания на завтра перекладываются...

ПРИКАЗЫВАЮЩИЙ СОЛДАТ. Ладно, ладно, не плачь... Существует закон, надо подчиняться... Ты хороший парень. (Поворачивается к остальным солдатам.) Приготовься! Взять на мушку!.. (Смотрит на Совестьливого солдата.) Ну с богом...

СОВЕСТЛИВЫЙ СОЛДАТ. Смотри не обмани, я буду ждать своей очереди...

ПРИКАЗЫВАЮЩИЙ СОЛДАТ. Огонь!

Солдаты одновременно издают звук, имитирующий выстрел. Что-то вроде «паф!». Совестьливый солдат продолжает стоять.

ПРИКАЗЫВАЮЩИЙ СОЛДАТ. Ты почему же не падаешь?

СОВЕСТЛИВЫЙ СОЛДАТ. Я раздумал.

ПРИКАЗЫВАЮЩИЙ СОЛДАТ. Поздно раздумывать-то.

СОВЕСТЛИВЫЙ СОЛДАТ. Почему это?

ПРИКАЗЫВАЮЩИЙ СОЛДАТ. Ты уже убит.

СОВЕСТЛИВЫЙ СОЛДАТ. А я не хочу.

ПРИКАЗЫВАЮЩИЙ СОЛДАТ. Ложись, тебе говорят.

СОВЕСТЛИВЫЙ СОЛДАТ. Почему это я должен лечь?..

ПРИКАЗЫВАЮЩИЙ СОЛДАТ. Да потому, что ты убит, умер! Пойми...

СОВЕСТЛИВЫЙ СОЛДАТ. Тц... (Щелкает языком — нет, мол.)

ПРИКАЗЫВАЮЩИЙ СОЛДАТ. Как это «тц»? (Тоже щелкает языком.) Мы же выстрелили, правда?..

СОВЕСТЛИВЫЙ СОЛДАТ. Ну и что же... А мне не хочется.

ПРИКАЗЫВАЮЩИЙ СОЛДАТ. Как это «не хочется»? Что это еще за «не хочется»?.. Ложись давай...

СОВЕСТЛИВЫЙ СОЛДАТ качает головой.

ПРИКАЗЫВАЮЩИЙ СОЛДАТ (приближается к нему, гладит по голове). Ложись, а то ничего не получается... Ты ведь и сам знаешь, мы должны вот тут сто-

ять, а ты вот тут лежать... Иначе жизнь остановится. Ну подумай сам, если все будут оставлять дела на половине, жизнь остановится, правда ведь?.. (Мягко.) Так нужно, ложись...

СОВЕСТЛИВЫЙ СОЛДАТ (после некоторого раздумья). Ладно, стреляйте еще раз...

ПРИКАЗЫВАЮЩИЙ СОЛДАТ. Мы уже стреляли в тебя.

СОВЕСТЛИВЫЙ СОЛДАТ (по-детски капризно). Если не выстрелите, не лягу.

ПРИКАЗЫВАЮЩИЙ СОЛДАТ. Я ведь сказал тебе, мы уже выстрелили, не строй из себя дурачка.

СОВЕСТЛИВЫЙ СОЛДАТ. Не могу я без выстрела. И все тут.

ПРИКАЗЫВАЮЩИЙ СОЛДАТ. Ну и привереда же ты...

СОВЕСТЛИВЫЙ СОЛДАТ. Подумаешь, большое дело, один выстрел. Что вам, жалко, что ли...

ПРИКАЗЫВАЮЩИЙ СОЛДАТ. Да ведь выстрелили мы, ты же слышал...

СОВЕСТЛИВЫЙ СОЛДАТ. А я опоздал, не успел упасть... Вы не вместе, вразнобой стреляли... Давайте снова...

ПРИКАЗЫВАЮЩИЙ СОЛДАТ. Это дурной вкус — повторяться...

СОВЕСТЛИВЫЙ СОЛДАТ. Ничего не знаю... Хочу как все. Хорошенький расстрел... без выстрела... Всю жизнь мне чего-то недодают...

ПРИКАЗЫВАЮЩИЙ СОЛДАТ. А еще говоришь, что ты совестливый... Мы свое дело сделали, верно? Я не виноват, что ты такой рассеянный... Какая разница, ложись через десять минут после выстрела, не все ли тебе равно, что ты придираешься?

СОВЕСТЛИВЫЙ СОЛДАТ. А я справедливость люблю. (Обиженно.) Стреляйте давайте.

ПРИКАЗЫВАЮЩИЙ СОЛДАТ (сердится). А кто заплатит за лишний выстрел?

СОВЕСТЛИВЫЙ СОЛДАТ. Я тут умираю, а они о лишнем выстреле думают... Дармоеды проклятые...

ПРИКАЗЫВАЮЩИЙ СОЛДАТ (взрывается). Это кто же тут дармоед?!

СОВЕСТЛИВЫЙ СОЛДАТ. Кто же еще...

До сих пор Мартирос — Совестьливый солдат — подавал Томазо — Приказывающему солдату — остро-

умные озорные реплики, и Томазо подхватывал их, расцвечивал и перекидывал мосток к зрителям. И все шло своим чередом и сохраняло общий рисунок и настроение репетиций. Но сейчас Томазо почувствовал, что с Мартиросом творится неладное и что-то жесткое, нервное рвется из него наружу.

И Томазо не ошибся. Мартирос вдруг обратился к одному из зрителей, к стражнику.

— Ты!..— сказал он резко. Потом поискал глазами и остановился на вельможе.

— Ты!..

Среди зрителей начался переполох, многие смеялись, некоторые прятались за спины соседей, несколько человек встали, чтобы уйти...

Томазо схватил Мартироса за руку и, еле сдерживая смех, сказал:

— Послушай, что ты делаешь.—Но Мартирос уже разошелся, и остановить его не было никакой возможности.

— Ты... ты... вы задумывались над тем, как живете?.. Вы думаете, вы других обманываете... Ошибаетесь, самих себя обманываете. Причиняя вред другим, вы в первую очередь наносите вред себе, ибо совершенное вами зло как бумеранг возвращается к вам. У вас в руках власть, но вы даже не подозреваете, что в этом ваше несчастье... Одумайтесь, взгляните правде в глаза, и вы будете счастливы...

— Солдаты, взять его... ишь, какой умник выискался,— крикнул Томазо в духе представления. Солдаты побежали к Мартиросу. Но Мартирос отстранил их и спокойно сказал Томазо: — Погоди, еще одну вещь скажу... Ты не волнуйся... они все поймут. —И он остановился взглядом на балконе герцога.

Баччо почувствовал, что наступила самая несчастливая минута в его жизни. И старый, выдавший виды Баччо закрыл глаза.

Мартирос протянул руку к балкону и сказал мягко и убежденно:

— Ты, что окружил себя этими несчастными животными... Понимаешь ли ты, что такое животное... Знаешь ли ты, что оно много лучше тебя... Не говоря уж об этих людях, посмотри, они оборваны, они голодны, у них нет еды, они боятся тебя... Думал ли ты, какой это позор, когда один человек боится другого... Неужели тебя это не оскорбляет?.. — Мартирос подумал с ми-

нуту и заключил: — Ты просто глуп... Но если ты поразмыслишь немного, ты все поймешь...

Герцог, побледнев, поднялся с места, собаки его залаяли...

Баччо уже бежал к фургону.

К Мартиросу сквозь толпу пробирались стражники.

Томазо ничего другого не оставалось сделать — он сгрел Мартироса в охапку и побежал ко второму фургону.

Но Мартирос не мог успокоиться: ведь он так хорошо развивал свою мысль и хотел этим людям добра. Еще немного, и они бы все поняли. Напрасно Томазо прервал его...

И Мартирос сказал вслух:

— Напрасно ты прервал меня, Томазо, честное слово, если бы ты дал мне договорить, все было бы в порядке... Они бы меня поняли... Ведь то, что я говорил им, было так логично и разумно, и всем бы пошло на пользу...

Томазо затолкал Мартироса в фургон и стегнул лошадей. Фургон сорвался с места, Мартироса швырнуло на пол. Мартирос поднялся, встал рядом с Томазо и сказал мечтательно:

— А хорошее было представление, скажи, Томазо?..

Томазо поглядел на него, и в глазах его запрыгали смешинки:

— Просто замечательное... А если мы, бог даст, унесем ноги отсюда, я скажу, что это было самое лучшее представление в моей жизни...

— Я думаю, ты поторопился... А где Баччо, где остальные?..

— Остальных давно след простыл.— Томазо оглянулся и присвистнул. — Погляди, сколько всадников мчится за нами...

— Кто такие?— спросил Мартирос.

— Наши зрители.

— Что им нужно?

— Хотят досмотреть конец представления и поаплодировать нам...

— Это не зрители, это стражники,—сказал Мартирос.

— Неужели?— усмехнулся Томазо. — Стражник тоже зритель.

Фургон швыряло по сторонам.

Томазо почему-то все смеялся, то ли от быстрой

езды, то ли выходка Мартироса его так рассмешила,

Расстояние между фургоном и преследователями быстро сокращалось.

— Это я виноват, я забыл тебя предупредить,— по слогам прокричал Томазо,— чтобы ты особенно не увлекался своими философскими... — Томазо закашлялся...— рассуждениями...

— Почему мне знать, сколько места занимает условность в сознании людей... И как она срабатывает в различных частях света... Поэтому, если хочешь знать, лучше сидеть на одном месте...— тоже раскашлялся Мартирос.

— Ничего, это тебе будет наукой в следующий раз...— Томазо посмотрел через плечо и воскликнул с радостной обреченностью: — А впрочем, один черт, все равно надо выговориться, раз уж приспичило...

Томазо стегнул лошадей и повернул фургон на узкую дорожку, ведущую в лес...

Фургон проехал между деревьями метров сто с ужасающей скоростью и на втором повороте перевернулся. Мартироса выбросило из фургона, он пролетел несколько метров в воздухе и очутился в овражке. А Томазо швырнуло вперед, и он оказался на крупе лошади. Лошадь сначала опустилась на колени, потом взвилась и устремилась вперед, унося на себе Томазо.

Мартирос на четвереньках пополз в лес.

6

Проснулся Мартирос от боли. Колени были разбиты в кровь и ныли. Брюки из длинных превратились в короткие. Мартирос с трудом поднялся, отряхнул одежду и удивился, что еще может двигать руками и ногами. И что все у него на месте. Он хотел было вернуться к фургону, но, поразмыслив немножко, решил, что в этом нет никакого смысла. Все равно Томазо там нет, он или убежал, или его уже поймали. Надо осторожно продвигаться вперед и не спеша все выведать. Надо разыскать Томазо, но самому не попасть в лапы преследователей.

Мартирос переждал немного и начал свои поиски. Он осторожно переходил от куста к кусту, от дерева к дереву и тихо, шепотом звал Томазо. Томазо не отзывался. Стояла тишина... Мартиросу сделалось страшно.

Он стал звать Томазо вполголоса. Но страх не только не проходил, а, наоборот, усиливался. Мартирос никак не мог понять, отчего это происходит. Когда за ними гнались разъяренные люди и бог знает что могли с ними сделать, Мартирос не чувствовал опасности и считал, что все в порядке вещей, а теперь, когда опасность миновала и кругом тишь и благодать, страх пронизал его всего.

Через час страх замаячил перед ним в образе привидения. Мартирос закричал что было силы. «Томазо!» — и, не получив ответа, зашагал быстрее.

Вдали показались побеленные дома. Пейзаж изменился. Мартирос почувствовал, что он далеко забрел. Он оглянулся и увидел на дороге всадника. Ему захотелось тут же убежать, потом ему стало стыдно своего желания, потом он подумал, что всадник этот все равно ничего не поймет ни про то, какой он, Мартирос, гордый, ни про то, почему он скрывается сейчас от людей. И раз так, то лучше быть от греха подальше. И Мартирос припустился бежать.

Впереди себя на дороге Мартирос разглядел хромого человека, который то и дело оглядывался на него. Мартирос остановился, хромой тоже остановился, секунду внимательно смотрел на него и вдруг сорвался с места, побежал.

Мартирос поравнялся с хромым. В это время их нагнал всадник. Это был маленький мальчик на муле. Он улыбнулся им и поехал дальше.

Мартирос и хромой никак не могли отдышаться от быстрого бега. И чтобы не показалось, будто он убегал от ребенка, Мартирос сделал вид, что очень спешит, и опять принялся бежать, но, почувствовав всю нелепость своего поведения, остановился и медленно повернул обратно. Он улыбнулся хромому и сказал примительно:

— Ты почему же от меня бежал?

Лицо у хромого было сплошь в рубцах, и Мартирос подумал, что если пойдет дождь, то вода будет стекать по этому лицу как по желобкам.

— Я думал, ты солдат, — сказал хромой презрительно, показывая на одежду Мартироса.

— А почему ты от солдат убегаешь? — уже спокойно спросил Мартирос. — Солдат такой же человек, как ты.

Хромой покосился на Мартироса, рубцы и морщины на его лице пришли в движение и составили подобие улыбки. И хромой сказал, не очень веря своим словам:

— А я каждому солдату в нашей стране должен по крации.

«Ну что ж, каждый живет на свой лад»,— подумал Мартирос и улыбнулся хромому. Хромой опять изобразил подобие улыбки.

И они пошли по дороге вместе.

Мартирос чувствовал, что хромой не доверяет ему. Такая подозрительная личность, а всех подозревает. И не любит этот широкий, привольный мир. Не трогает его ни озеро, ни зеленое поле, ничто... А ведь он сам частица всего этого, но отторгнутая, очерстевшая... Почему, почему так?.. Почему Мартирос убегал, почему от него убегали? Ведь все должно быть иначе, все ведь иначе было задумано, все должны были жить в мире и согласии...

Мартирос сделал глубокий вдох: когда глубоко дышишь, все кругом делается лучше. Этому человеку тоже делается лучше, если он глубоко вздохнет, для него тоже весь мир станет райскими кушами, и Мартиросу страстно захотелось, чтобы этот хромоножка думал бы и рассуждал точно таким же образом, как он сам, чтобы он тоже глубоко дышал и ощущал этот легчайший зелено-синий покой.

И поэтому Мартирос сказал:

— Человек — совершенство. Что может быть лучше человека?

Хромой недовольно покрутил носом:

— Отец мой при жизни своей говорил: «Луппо, держись от людей подальше... Ничего хорошего от них не жди...»

Мартирос посмотрел на Луппо и не захотел отступать. Луппо тоже человек, какой бы то ни было, а человек... И надо изменить мнение Луппо о других людях.

— Да что ты такое говоришь!.. — начал Мартирос. — Человек, он в этом небе, в этом поле, в этих красках, одним словом, во всем, он везде. Он и сам даже не знает, как он добр... — И повторил: — Человек — это совершенство природы...

Пока Мартирос рассуждал о человеческой доброте, в них целились и ждали удобной минуты, чтобы выстрелить, два человека, полные мести и решимости. Они

прятались за холмом и вот-вот должны были спустить курок.

Вдруг один из сидевших в засаде, взглядевшись пристально в Мартироса и его спутника, сказал товарищу:

— Джакомо, это не они, это другие...

— Как это другие?— удивился Джакомо, мрачный и угрюмый детина.

— Это другие, посмотри как следует... Аригоцци не хромал...

— Ну да?..— разочарованно протянул Джакомо.

— Точно тебе говорю,— ответил товарищ.

— Жаль...— вздохнул Джакомо.— А я до того хорошо прицелился... Напрасно старался, выходит...

— Не знаю... Но я тебе точно говорю, среди этих двоих нет Аригоцци.

Мартирос в это время как раз завершал свою вдохновенную речь...

— Погляди, как хорошо кругом... какой благословенный мир нас окружает... — Мартирос снова глубоко вздохнул. — Все это создано для того, чтобы любить. Любить землю, любить друг друга...

Джакомо, увидев, как Мартирос размахивает руками, испугался, что тот уйдет из-под прицела, и торопливо спустил курок.

Мартирос посмотрел вверх — небо было чистое. Откуда же гром? Луппо, готовый ко всяким неожиданностям, улепетывал, прикрывая голову руками.

Товарищ Джакомо рассмеялся:

— Целый час целился...

— Он же скачет все время, подлец такой... — сказал, оправдываясь, Джакомо и снова выстрелил.

Мартирос обалдело посмотрел по сторонам и лег плашмя на землю. Потом поднял голову и осторожно пополз на четвереньках вперед...

«Так вот с четверенек и буду разглядывать землю...» — сам себе улыбнулся Мартирос.

Довольно долгое время Мартирос полз на четвереньках, потом поднялся и продолжил свою дорогу, скрючившись, стараясь быть незамеченным. Так, согнувшись в три погибели, он прошел Базель, Франкфурт и Страсбург. А Кельн и Аахен он прошел уже сравнительно выпрямившись, хотя окончательно выпрямиться он так уже никогда и не смог.

Мартирос частенько оставался голодным: еда перепрыгала от случая к случаю.

Мартирос, подставив ладонь, в который уже раз вытряхивал пустую суму. Ни крошки из нее не высыпалось. Конечно, можно было поесть кореньев, пожевать травы, но растительность здесь совершенно незнакомая, и неизвестно, что тут съедобно, а от чего недолго и ноги протянуть... Придется все осторожно, потихонечку перепробовать... Он сорвал наугад один стебель, напоминавший чистотел, понюхал его и отбросил прочь. Еще несколько растений выдернул с корнем, пожевал и выплюнул, передернувшись: горечь была невообразимая... Голод мучил уже не на шутку... Поблизости никакого жилья, ни единой живой души. Осень близилась к концу, и раздобыть еду и крышу над головой становилось все труднее...

Мартирос провел рукой по лицу — щеки покрыты бородой, скулы резко обозначились... Природа в стране германцев чужая, новая, Италия осталась позади, лето кончилось, Томазо далеко, сам он голодный... и бог знает, что его ждет впереди.

Из-под ног Мартироса выпрыгнула кругленькая куropатка, Мартирос остановился, он мог вот так прямо, живьем, с перьями, с потрохами съесть, сожрать эту птицу. Он стал осторожно подкрадываться к ней. А птица словно издевалась над голодным Мартиросом. Она перелетала с кустика на кустик, щебетала и опять перелетала на соседний куст. Мартирос почувствовал, что с каждым шагом он делается все низменнее и хуже, он бы, конечно, предпочел с достоинством переносить свой голод, но он не мог сдержатъ себя и снова стал осторожно подкрадываться к птице. Под конец устал и от птицы и от своей бестолковой беготни за нею, лег на спину и закрыл глаза. Он успокоился немного и, когда снова поднялся, увидел перед собой рощицу. Увидел золото, золотые деревья, золотые листья, кое-где пробивался багрянец... Он приблизился наугад к одному дереву и ошел: перед ним была яблоня. Мартирос пошел дальше, в глубь рощицы, и увидел грушевые деревья. Плоды были такие крупные и гладкие, и их было так много, что они придавали дереву форму и определяли его вид.

Мартирос подошел к яблоне, обеими руками потянулся к отягощенной плодами ветке и хотел уже сорвать яблоко, но тут его схватили за руку.

Мартирос вздрогнул от неожиданности, повернулся посмотреть, в чем дело. За его спиной стоял высокий худощавый человек, мужчина. Бледное, прозрачное, как свечка, лицо обрамляла маленькая золотистая борода, одежда его напоминала раскрашенную рясу и переливалась охрой и красным.

— Нельзя, — улыбаясь, сказал человек.

Мартирос машинально, движением головы переспросил: «Нельзя?»

Человек качнул головой — «нельзя». И, заметив разочарование на лице Мартироса, сказал:

— Оно любит, оно счастливо, не надо его тревожить... — и пошел между деревьями.

— Я голоден, — сказал Мартирос и, пошатываясь, поплелся за ним.

Они шли через сады. Это была страна фруктов, фруктовая держава, фруктовый режим.

Они вошли в еще более густой, совсем уже заросший сад, все здесь, казалось, было из пламени, все горело, переливалось, от плодов тянулись язычки пламени, они переплетались и, сделавшись одним огромным полыхающим пламенем, подавались в небо, стлались по земле, уходили в нее, потом снова возникали, вырывались прямо из-под ног и затевали новый пожар, начинали новую пляску... Среди этого всеобщего неистовства плодов, сквозь ветки и сквозь стволы проглядывала хижина причудливой формы, непонятно из какого материала построенная. Не из дерева и не из камня. Может, из фруктов? Не церковь и не дом, что-то непонятное, воскового цвета, окруженное золотисто-красным фруктовым пожаром со всех сторон. Мартирос и человек в пестрой рясе подошли к хижине. Из дверей и окон, с кровли — отовсюду выглядывали худощавые люди с улыбкой на лице, все в одинаковых пестрых рясах. Они трудились возле деревьев, гладили руками ветки, разглаживали листья, чистили их щетками... А ветки врывались в окна и двери, склонялись над кровлей, и дом, казалось, находился в объятиях деревьев. Это было царство деревьев...

Люди в пестрых рясах смотрели в сторону Мартироса.

— Гретхен... — повернувшись к дереву, позвал давешний знакомец.

Мартирос не понял, как это произошло, но он мог поклясться, что одно из деревьев посмотрело в его сторону.

«У них что, имена есть?» — хотел спросить Мартирос, но, пока собирался это сделать, человек в пестрой рясе снова позвал:

— Тереза...

Мартирос оглянулся, и его взгляд встретился с ее взглядом — то была стройная тоненькая яблонька.

— Она еще очень молоденькая... — сказал человек, — наивная и неопытная... — Потом погладил рукой соседний ствол. — А ему вот двести лет, это Иоганн... Это они здесь хозяева... мы только прислуживаем им.

Мартирос был потрясен всем увиденным, но голод по-прежнему давал знать о себе и беспокоил. И человек словно почувствовал это.

— Сейчас они очень щедры... убивать их не нужно, убивать нельзя... — сказал он и нагнулся, поднял с земли несколько больших яблок и протянул их Мартиросу. — Сейчас они живут для нас...

Мартирос, с жадностью откусывая от яблока большие куски, вошел с человеком в хижину. На стенах висели картины в золоченых рамках — на всех картинах были изображены деревья. Стол ломился от фруктов. В хижину, улыбаясь, вошли остальные люди в пестрых веселых балахонах, и началось удивительное застолье, и неизвестно, чего здесь было больше — фруктов или же улыбок.

Утром Мартирос проснулся от сильного, резкого фруктового аромата. И Мартирос впервые серьезно подумал о том, что у земли есть свой, совсем свой запах, свое благоухание. и это благоухание нельзя создать искусственно, потому что оно как солнце. И если, скажем, человек, глядя на солнце, может ослепнуть, то, вдохнув одновременно все благоухание земли... Ну да, если он вдохнет полной грудью — у него могут лопнуть легкие... Мартирос почувствовал себя счастливым оттого, что может дышать, видеть, думать, связывать явления... Он вспомнил благоухания своего Норагехукского края и яркий солнечный свет, который его омывает, и с особой остротой подумал о том, что как хорошо, что есть на земле такой клочок земли, рядом с другими страна-

ми и садами. Мартиросу захотелось кричать от радости, но он увидел рядом с собой людей в пестрых рясах и тихонечко, про себя, сказал: «Ах, молодец ты, жизнь...»

Люди в пестрых рясах — члены этого удивительного фруктового ордена — выбрали Мартиросу одежду — золотистая блуза, красные узкие панталоны и длинные желтые шерстяные носки.

Они наполнили хурджин Мартироса фруктами и проводили его за свои владения.

8

Дорога словно освещалась от одежды Мартироса и от его счастливой, лучезарной улыбки. И Мартирос стал думать о гармоничности. Он даже не огорчился, вспоминая недавние неудачи. Потому что и неудачи эти тоже удивительным образом гармонировали со всем его состоянием духа. И все ему казалось сейчас легкой шуткой, игрой, удовольствием... По дороге ему встречались крестьяне, ремесленники, женщины, дети, и все они умиляли Мартироса своею гармоничностью. Мартирос отождествлял в уме птиц с небом, насекомых с росой, испражнения животных с цветами, потому что не было, не существовало грязного и чистого, красивого и безобразного, грубого и нежного, твердого и мягкого, черного и белого, все являло собой единый мир и все пребывало в гармонии. И все подчинялось разуму прежде всего. Мартирос размышлял и все более убеждался, что разум могуществен, он может все расставить по своим местам и всех сделать счастливыми. Он все может объяснить и все сделать понятным. А у кого нет разума? И Мартирос стал жалеть квохчущих перед воротами кур, прыгающих в луже лягушек, муравьев в земле... Он даже стал иначе переставлять ноги, походка его изменилась, сделалась осторожной, как вдруг нос и рот его залепило грязью и он услышал громкое «дурак», обращенное не иначе как к нему. Мартирос остановился, посмотрел перед собой и убедился, что и «дурак» и ком грязи действительно относились к нему. Он стер с лица грязь, прочистил глаза, чтобы все обрело прежнюю гармонию, и увидел карету, мчавшуюся прямо на него. Он отскочил в сторону, перевел дух и огляделся по сторонам.

Он увидел маленькое миниатюрное селение — большую корчму у дороги, маленькие мастерские, несколько лавок, пекарню, собаку, крутившуюся перед пекарней, и несколько карет: все это умещалось под одной готической крышей. У Мартироса мысль работала воспаленно, он подумал: «А что, если целый город разместить под одной крышей?» Он представил себе, как это будет выглядеть, и развеселился.

И в таком радостном, веселом расположении духа Мартирос приблизился к корчме — у дверей сидел нищий в непривычной для этих мест одежде. Он был похож на индуса. Его восточный облик до того выделялся в этой стороне, что не мог не притягивать внимание. Мартирос приблизился, чтобы поближе разглядеть его, нищий был очень живописен с протянутой вперед рукой... Мартирос заглянул ему в лицо и оторопел: то был Бабишад — РАЗБОЙНИК БАБИШАД, ВАРВАР БАБИШАД....

Мартирос поверил своим глазам и не поверил. Он растерялся и не знал, как быть... Хотел было подойти, порасспросить, поговорить, но вдруг что-то перевернулось в нем и ему захотелось убежать, не видеть и не спрашивать... Может, это не он, может, это ошибка...

Мартирос опустил перед нищим свой хурджин и быстро зашагал прочь... Его мозг лихорадочно работал, что-то хотел уяснить для себя... Впервые Мартирос убежал от своего разума, от своих мыслей...

Он остановился, чтобы перевести дух, сердце его стучало прямо в горле. Холодный пот выступил на лице, руки тоже были влажные, липкие, и казалось даже — пот каплями скатывается по спине, по ногам, заливает башмаки.

Мартирос сел на землю, снял башмак и вытряхнул его, потом просунул внутрь руку, нет, башмак был сухой. Мартирос вдруг почувствовал смертельную усталость, он улегся прямо на земле и тут же уснул. А когда проснулся, было совсем темно. Мартирос решил шагать до рассвета. Он шел и повторял про себя как заклинание: «Утро, утро, утро, утро». И с каждым «утром» становилось немного светлее и легче...

В полдень заморосил дождь, но такой незаметный, теплый и мягкий, что Мартиросу было даже приятно, ему показалось, лицо его окутывает влажный воздух, и только вечером он вдруг обнаружил, что с трудом вытаскивает ноги из грязи. И чем дальше, тем глубже уходили ноги Мартироса в грязь. У Мартироса на ногах уже целые пуды грязи были. Земля была жирная, густая, всюду, куда ни глянь, была одна голая земля, и спрятаться от дождя было решительно некуда. Мартирос стал думать о связи между землей и небом и как-то забыл про свое одиночество, пристроился среди этих своих теплых уютных размышлений.

Стало быстро темнеть, дорогу совсем развезло. Мартирос остановился, поглядел по сторонам, и на секунду ему стало жутко от своего одиночества.

Мартирос хотел повернуть обратно, вернуться, но куда?

Дождь все еще моросил, но небо вдруг прояснилось...

Вечер был как бездомное дитя-сирота — мягкий, почерный, с заплатами поблескивающих луж, с чистыми, прояснившимися от плача глазами. Сейчас Мартиросу одного только хотелось — отдохнуть. В Мартиросе отступили все последние страсти и желания. Сейчас он со всем был в мире и согласии.

Впереди выросла стена.

Мартирос, продвигаясь вперед ощупью, дошел до конца стены и очутился в старом дворце. Впрочем, что это был за дворец... От него оставались одни только колонны и вот эта полуразрушенная стена со следами былого величия и роскоши. Великолепные, прекрасные колонны ничего не поддерживали. Чистое небо было толком этого дворца. Вдоль стены стояли статуи обнаженных женщин, Мартирос разглядел следы фресок. И повсюду росла высокая трава... Посреди дворца был бассейн без воды, с маленькими крылатыми амурами.

Мартирос окинул взглядом все это великолепие, потом нашел сухое местечко, опустился на землю, прислонился спиной к стене, спрятал руки под мышками и закрыл глаза. Он так устал и так продрог, что казалось, если он откроет глаза, что-то неприятное обязательно ворвется, просочится в него. Мартирос весь сжался, улыбнулся от удовольствия и про себя прошептал: «Я

полюбил тебя, дворец, хорошее у тебя небо над головой», — потом все же не выдержал, посмотрел сквозь полузакрытые глаза: колонны поддерживали круг неба, на земле были рассыпаны жемчужины и топазы, все сверкало и переливалось, все было печальное и влажное, как глаза Мартироса. Как два черных глаза Мартироса, вобравших в себя настроение неба и несуществующего разрушенного замка... Мартирос скользнул взглядом по фрескам. Обнаженные девушки купаются в саду, чернокожие слуги подают им яства, краска местами осыпалась, лица полустерты, в одном месте не хватает руки, где-то сохранилась только половина торса... И вдруг Мартиросу послышался армянский напев — спокойный, бесхитростный... Это была песня прядильщицы, песня пахаря, духовная песня — шаракан... И Мартирос разглядел среди этих фресок невесту и жениха из той маленькой армянской деревушки. Два полудетских лица, которые смотрели на Мартироса и, казалось, ни о чем другом не думали. Постепенно очертания этих лиц расплылись и их место заняли совершенно новые лица: юное, с горестным выражением глаз, женское и бледное бесстрастное мужское.

Мартирос открыл глаза — во сне это или наяву? Он сделал усилие и поднялся. И увидел перед собой две вполне реальные человеческие фигуры — мужчину и женщину. У мужчины были длинные волосы, широкий белый воротник лежал на плечах, черный балахон складками спускался до колен, на ногах были высокие ботфорты, с пояса свисал большущий меч.

Мужчина улыбнулся и учтиво поклонился Мартиросу.

Мартирос посмотрел на женщину. Она доверчиво смотрела на Мартироса. У Мартироса что-то оборвалось внутри. Взгляд этот был до того беспомощный и родной, что Мартиросу сделалось неловко, и он отвел глаза. И почувствовал внутри себя что-то противное, мерзкое, какой-то внутренний страх, какую-то лень, словно разом ослабло, размякло все тело и остановилась кровь... Ему захотелось убежать от всего этого, ему сделалось плохо, гадко на душе, он отвел глаза, он спрятал голову в мусор, он сделал вид, что нет бога, ему стало худо от этого беззащитного, доверчивого взгляда, он словно знал заранее, что этот взгляд предадут, жестоко обманут... и что он, именно он отвечает за это... Для того чтобы

доказать, что ты человек и что ты хорош, надо доказать, что все люди хороши, но сейчас он так устал, так промок и так продрог, к тому же он голоден, и он уже набрался опыта, а разум его ленится прийти ему на помощь...

— Господин, — обратился к нему мужчина с учтивыми манерами, — не будете ли вы так любезны, не разрешите ли нам провести ночь в этом прекрасном замке?.. — он посмотрел вверх, словно желая сказать, что самое прекрасное в этом замке именно то, что в нем так много воздуха и что сверху на тебя смотрят звезды...

Мартирос подумал, что мужчина издевается над ним, и тоже посмотрел вверх.

— Все здесь нам богом отпущено, — сказал он, — прошу вас... мы с вами друзья...

Человек с учтивыми манерами снова отвесил ему поклон, потом отвязал ножны, которые оказались пустыми, и сказал уже совсем другим тоном, очень просто:

— На дороге много разных псов... — и, схватив ножны, стал размахивать ими в воздухе, сражаясь с невидимым противником. Потом посмотрел на Мартироса и улыбнулся. Мартирос улыбнулся в ответ. Мужчина с женщиной отошли к противоположному полукружью стены и устроились там на земле.

Мартирос не мог уснуть. Он все время чувствовал присутствие этих людей, но не мог заставить себя взглянуть в их сторону. Спустя некоторое время на помощь ему пришел его старый приятель, его второе «я», и Мартирос сам не заметил, как заснул, убаюканный своим двойником.

Утром Мартирос открыл глаза и долгое время не мог понять, где находится, потом вспомнил, захотел увидеть вчерашних людей, застеснялся и наконец, сделав над собой усилие, метнул взгляд на противоположную стену, увидел фреску, скользнул взглядом ниже: возле стены сидела девушка, она уже проснулась и смотрела на Мартироса заплаканными, несчастными глазами.

Мартирос, поразмыслив, решил, что давешний мужчина отошел по нужде, потом отчего-то засомневался, встал, обошел стену, посмотрел кругом — мужчины не было. Он вернулся и снова огляделся.

— Господин... — позвал он, — господин... — повторил он и посмотрел на девушку.

Девушка покачала головой:

— Его нет...

— Как это нет?— Мартирос снова посмотрел кругом.

— Он ушел ночью...

— Куда ушел?..

— Не знаю...— девушка пожала плечами.

Мартирос опешил.

— Откуда вы пришли?..— спросил он.

Девушка показала рукой.

— А куда направлялись?— снова спросил Мартирос.

Девушка снова пожала плечами.

— Кем тебе приходился этот господин?— спросил Мартирос.

— Это был мой муж.

— А теперь что ты будешь делать?..

— Пойду с вами,— сразу сказала девушка.

Все это было так неожиданно, Мартирос оцепенел на секунду, потом пришел в себя и рассудил: а что тут такого?.. Девушка чувствует его таким же близким, как и того господина... Оба они осколки одного тела, одного целого, оба растерявшиеся в этом мире хорошие люди...

Мартирос улыбнулся, посмотрел на девушку, кивнул ей и двинулся вперед.

Девушка просияла, сорвалась с места и пошла за Мартиросом. Она была маленькая, едва доставала ему до плеча и то и дело заглядывала в лицо Мартиросу снизу вверх, иногда просто так, чаще чтобы ответить или спросить что-нибудь.

— Как тебя звать?

— Корнелия.

— А ты знаешь ли, куда я иду, Корнелия?

Корнелия пожала плечами, и Мартирос, заметил, что в этом жесте вся сущность ее.

— Не все ли равно,— сказала Корнелия.

— Я иду туда, откуда вы пришли...

— Какая разница... — сказала Корнелия.

«В самом деле,— подумал Мартирос,— какая разница. Важно, что рядом человек и земля продолжается...»

И улыбнулся Мартирос.

Он давно заметил, что часто к самым серьезным ве-

шам он относится с поразительной легкостью, даже легкомыслием, превращая в игру и эти серьезные обстоятельства, и жизнь, и вообще все на свете... Он не мог относиться к окружению, к событиям так, как все, да и вести себя он не мог так, как это было принято, ему были чужды давно принятые людьми, выверенные, вымеренные нормы поведения. То, что другим давалось легко, для него было мукой адовой, но бывало и наоборот: то, что другим казалось трудным и невозможным, давалось ему легко, играючи.

Корнелия вначале была просто попутчицей, которая, казалось, вот-вот свернет и исчезнет за каким-нибудь поворотом. Но постепенно Мартирос стал чувствовать, что Корнелия идет с ним вместе. И дорога стала радостной, и все сделалось увлекательным, все обрело какой-то новый смысл. Мартиросу хотелось быть красивым, умным, сильным и добрым...

Спустя несколько дней присутствие Корнелии стало угнетать Мартироса, а еще через несколько дней он почувствовал, что он не может обходиться без этой умной, покорной девушки, что связан с нею своей совестью и что не может уже оставить эти доверчивые несчастные глаза, чей взгляд стал для него воплощением чего-то неопределенного и прекрасного. Корнелия не только извлекла Мартироса из его скорлупы одиночества, но и связала его с окружающей жизнью. Мартирос смотрел на лошадей, овец, смотрел им в глаза, и что-то от взгляда Корнелии обязательно да присутствовало в их взгляде. И трудно было сказать, Корнелия смотрит на него их глазами или же у них глаза Корнелии. И даже предметы обрели глаза Корнелии, и земля, и ветер. Даже его подсознание смотрело на него глазами Корнелии. Все обрело новое значение для Мартироса с приходом Корнелии. Он почувствовал, что заботится сейчас не только о Корнелии, но обо всех, обо всем одушевленном и неодушевленном. Правда, потом, когда Мартирос в маленьких городах видел это «вся и все» воплощенным в лицах, в людях, он приходил в ужас, и все благие намерения его покидали... как можно думать и заботиться обо всех или, скажем, о тех, кто разбивал в пух и прах всю логику Мартироса. Ничего не могло быть хуже того, когда Мартироса одолевали подобные сомнения, даже его связь с Корнелией делалась непрочной в такие мгновения.

Больше месяца бродили Мартирос и Корнелия по дорогам бок о бок. Корчма сменялась корчмой, различные люди встречались им по пути, Мартирос забыл и про могилу святого Иакова, и про Испанию, он просто жил, жил Корнелией и окружающей его действительностью. Каждое утро он думал о том, как раздобыть еду, и каждый вечер, когда они бывали сыты и имели крышу над головой, он бывал счастлив.

Один день он лошадей подковывал, другой день мешки с мукой перетаскивал. Сегодня сгибался под тяжестью мешков с углем, назавтра помогал рыбакам. И всегда получал плату — или один дукат, или несколько рыбешек, или бутылъ вина...

Их близость не знала границ. Сердце Мартироса сжималось, когда он смотрел на маленькую головку Корнелии. Если Корнелия бывала больна или уставала, Мартирос нес ее на руках. И был счастлив, счастлив был Мартирос. Самой интересной, самой прекрасной, самой необыкновенной историей были не Европа, не океан и не весь шар земной, не чужое небо над головой, не солнце чужое — самым необыкновенным приключением, самым невероятным полетом мысли была Корнелия. Она Мартироса увела дальше, чем могли увести Мартироса его неутомимые ноги. Он уже знал, и было смешно, как он мог этого раньше не почувствовать, что он не то что не оставит Корнелию, а боится, смертельно боится расставания, разлуки с нею...

Мартирос, Мартирос... Ты обманывал себя.

Ты обманывал себя. Как часто мы сами себя обманываем, играем перед собой.

Осень была на половине.

Мартирос часто оглядывался на оставленную позади дорогу.

— Может быть, ты хочешь вот так пойти?.. — спросил он и показал рукой в ту сторону, откуда они пришли.

— Как хочешь,— сказала Корнелия. — Давай.

— Тогда мы совсем в другое место придем...

— Куда?..

— Если мы пойдем по этой дороге, мы пройдем много стран, много морей и придем в мою страну, в мой дом...

Корнелия знала, что беспокоило Мартироса в последнее время, и все же удивилась:

— У тебя есть дом?..

— А как же... — опечалился Мартирос. — У каждого живого существа есть свой дом...

— Зачем же ты ушел из дому?.. — просто сказала Корнелия.

Мартирос не знал, что ответить, радость путешествия давно притупилась, прошла, и он мягко отшутился, сказав, впрочем, почти что правду:

— Чтобы тебя встретить...

Корнелия посмотрела на Мартироса, повернулась и пошла по дороге одна, оставив Мартироса позади... Мартирос шел следом.

10

Вдали в тумане словно огонь горел — среди темно-зеленых деревьев полыхал красный круг.

Мартирос с Корнелией пошли на этот огонь.

Все здесь дышало, все двигалось, все имело округлые формы — и человеческие лица, и тела, и даже переплетенные между собой стволы и ветви, природные валуны и обработанные каменные столбы... Виноградные лозы увивали круглые и полные вина бочки, виноградные кисти так и лезли в бочку, словно предлагая отведать себя. Люди опускали кувшины в бочки и подносили полные кувшины ко рту и не то что пили, а плескали вином себе в лицо, и вино текло по лицам, по подбородкам стекало на грудь, на животы. Один мужчина, подняв бочонок с вином над головой, подпрыгивал, бил ногами об землю, и земля издавала глухой гул, земля словно отзывалась, а в бочонке плескалось и хлюпало вино, отовсюду слышались голоса звучные, зычные...

Здесь были и старики, и юноши, и женщины, и дети здесь были. И все они были крупные, красивые и здоровые. И сила, отовсюду веяло силой, сильные тела, сильные мускулы, сильное все... Земля обратилась виноградом, виноград стал вином, земля обратилась деревом, дерево стало бочкой, земля обратилась человеком. Сила переходила в силу, сила была бесконечна: вино имело сумасшедшую и мудрую, улыбчивую и мрачную свою силу, виноград обладал силой любезной и страстной, любовной и загадочной, у земли была своя сила, у человека своя.

И Мартирос подумал, что вот эта открывавшаяся его глазам сила и есть бессмертие. Где эта сила ослабнет, там жизнь кончится. И пусть эта сила как хочет, так и проявляется — в добре ли, в зле, в желаниях, в отшельничестве, в терпении, в истреблении ли, в созидании ли — она и только она основа всего живого. Она движет всем и она единственна...

Мартирос с Корнелией незаметно для себя включились в эту вакханалию, и вскоре Мартирос почувствовал себя на вершине блаженства. У него уже не было времени задуматься над тем, что он видит вокруг себя: какая-то женщина подошла к нему с полным кувшином и плеснула вина ему на руки, на грудь, потом зачерпнула вина и налила Мартиросу на голову, вино потекло по лицу, попало в рот, Мартирос вдруг почувствовал, что все на свете можно и все невинно... тогда откуда же возник грех, что его породило... Глаза у женщины были естественные, полные жизни, по глазам ее можно было понять, что ей нравится то, что она делает... У Мартироса перед глазами мелькали лица, красные, лоснящиеся, с упругой кожей и чистыми порами... в этих лицах, в каждом из них Мартирос увидел Корнелию. Он был захвачен всем происходящим, как был захвачен вначале своим путешествием, с наивной преданностью и любовью смотрел он на этих людей и сливался с ними, и казалось ему, что он не только что очутился среди них, а вместе с ними родился и всегда, всю жизнь свою был с ними. Хотя они и очень отличались от него. Тем, что были крупнее, подвижнее, радостнее. Тем, что в них было больше жизни... Мужчины, женщины, дети пили вино, целовались, обнимались... Мужчины жадно целовали детей, целовали их круглые животы, их ножки, их спины, их круглые ягодицы, прижимали к себе, вдыхали их запах — словно пожирали их... подбрасывали в воздух, ловили, передавали женщинам, женщины, в свою очередь, целовали, обнимали, тискали детей. И все были вовлечены в одно движение, все были как бы одной массой, одним телом с тысячей движений... И Мартирос увидел, что люди целуют не детей, а саму жизнь, самих себя, маленьких людей, человеческие малые формы.

Голова у Мартироса закружилась, его понесло течением, и он почувствовал, что он щепка в этой большой и полной жизни, и еще почувствовал, как-то осо-

бенно остро почувствовал, что должен соотносить себя не с миром, не с количеством людей, а с временем. Человек значителен не сегодняшним днем, а прошлым и будущим, и надо смотреть на человека всей глубиной времени. Мысли Мартироса радостно воспрянули, но Мартирос был занят лицезрением окружающего. Чем больше он смотрел, тем больше подробностей замечал. Так, например, он отметил про себя, что их запястья втрое шире, чем его, что спины у них круглые и исполинские, как каменные шары, установленные на площадях Венеции, что их животы огромны и упруги, что бедра у женщин могучие, ноги длинные и сильные, колени крепкие и тоже круглые, что люди эти просто великаны.

Мартирос с усталым и затуманенным мозгом искал Корнелию, потом все кругом постепенно заглохло, и он заснул...

На ночь словно набросили полосатый покров.

Утром Мартирос проснулся в рощице, в окружении бочек и виноградных лоз. На земле спало множество людей, некоторые уже проснулись и пили вино.

Корнелия проснулась одновременно с Мартиросом.

— Пошли,— сказал ей Мартирос.

— Пошли,— согласилась Корнелия.

— И я с вами,— сказал вдруг молодой мужчина исполинского вида, который все еще производил жевательные движения, словно не желая расставаться со вчерашним пиршеством.

И они пошли втроем.

Мало-помалу они пришли в хорошее расположение духа, стали шутить, перебрасываться остротами. Новый попутчик со своей тяжелой медвежьей поступью и низким грудным голосом придал их путешествию какой-то новый оттенок, новое настроение...

Еще не было пройдено и нескольких верст, как исполин остановился, огляделся кругом и заявил:

— Хочу есть.

— Идем, по дороге что-нибудь да найдем,— ответил Мартирос, продолжая идти.

Исполин не двинулся с места:

— Я пойду обратно... Я очень голоден... Там хорошо...

Мартирос хотел возразить ему, но осекся, потому что исполин уже повернул назад, и, что было совсем уже неожиданным, следом за ним двинулась и Корнелия.

Мартирос остолбенел... Это показалось ему таким противоестественным, что мозг его отказывался верить, и, пожалуй, впервые его логика не пришла ему на помощь.

Корнелия с полдороги оглянулась, побежала назад, поцеловала Мартироса и бросилась догонять исполина.

Мартирос успел лишь улыбнуться ей.

И только теперь Мартирос понял, что навсегда теряет ее, и крикнул в ужасе:

— Корнелия!..

Корнелия повернулась, посмотрела на Мартироса чистыми своими, верными глазами, приветливо улыбнулась, отвернулась и снова пошла рядом с исполином.

Мартирос стоял посреди дороги и грустно улыбался.

И остался Мартирос один... Он очень устал от дороги, от новых стран, пожалуй, и от самого себя, и от этого неба, которое потрескивало сейчас в ожидании дождя... И Мартиросу уже было все равно, куда идти. Он никого не винил и ни на кого не был в обиде...

И заплакал Мартирос...

11

Мартирос ступил в Париж.

Вот как это произошло: дорога привела его к маленькому островерхому домишке, обычному домишке, каких немало на любой дороге. Из дома вышла женщина, ей было холодно, она быстро вылила из деревянного корыта помой и вернулась в дом. Мартирос успел только спросить: «Что это за местность?» Женщина не ответила, крепко хлопнула дверью, из дома успело вырваться облачко пара. Впрочем, Мартиросу было все равно, куда он пришел, и он уже повернулся, чтобы идти дальше, как вдруг дверь немножечко приоткрылась и женщина высунула голову. «Париж», — сказала она и снова хлопнула дверью.

Мартирос как-то странно принял это сообщение. Это название, имевшее столько оттенков, так много значащее для него, казалось сейчас чужим, непонятным звукосочетанием. Оно ничего не говорило ему, но оно вызвало к жизни, извлекло из памяти Мартироса своего двойника, тот Париж, который он лелеял в себе с детства, и эти два Парижа, эти два символа начали игру между собой. И мало-помалу в Мартиросе проснулось все его живое естество, ожила каждая клеточка, и он

вспомнил детство, Ерзнка. И перед глазами пронеслось воспоминание: он в Ерзнка рисует себе мысленно Париж. И Мартироса залихорадило, что-то изнутри подстегнуло его, и он ускорил шаг, заторопился.

Постепенно домов стало больше, вид их изменился, и Мартирос вошел в Париж.

Шел мокрый снег, сырость и холод пронизывали Мартироса до костей, но Мартирос с жадностью набросился на Париж — он переходил с улицы на улицу, читал вывески, заглядывал в каждое парадное, пробегал через серые и узкие переулки, проходил под какими-то арками... наконец устал и почувствовал себя чудовищно одиноким...

Улицы были по-вечернему пустынные, все двери и ставни наглухо закрыты. Мартирос сжался весь, растерялся. В Париже, как и везде, голод оставался голодом, холод холодом и бездомность угнетала не меньше... Мартирос постучался в первое попавшееся окно, но никто не отозвался. Ему не захотелось больше стучаться к незнакомым людям. От усталости, от этой пронизывающей насквозь сырости нервы его были словно парализованы. Мартирос, казалось, не мог сделать ни движения, и мысль его не работала. Он стоял в узкой неосвещенной улочке, прислонившись к стене, и покорно подставлял лицо мокрым хлопьям снега... В этом самом веселом на свете, самом прекрасном городе он почувствовал одиночество острее всего. И единственным желанием Мартироса сейчас было согреться.

В конце улицы показалась человеческая фигура. Когда человек поравнялся с Мартиросом, Мартирос увидел, что он в очень хорошем расположении духа, что человеку этому хорошо, что он радостен — об этом говорило и спокойное, с правильными чертами лицо, и походка, и весь облик его. Человек хотел было уже пройти мимо Мартироса, но остановился и обратил на Мартироса улыбающийся приветливый взгляд. Мартирос молча смотрел на него.

Приветливый человек кивнул Мартиросу: пошли, мол, — так, наверное, подзывают собак. Мартирос выбежал из своего укрытия и пошел за ним. И что-то внутри Мартироса всколыхнулось — даже спина этого человека олицетворяла сейчас для него Париж. Да и не только Париж — всю Францию, весь свет и все человечество. Наверное, и ангелы сейчас являли собой

нечто подобное: узкие плечи, заплывшая жиром спина, толстенные короткие ноги...

Приветливый человек перешел улицу, свернул в совсем уже непроходимо узкую улочку, зашел в парадное, пошел по длинному коридору, взбежал по лестнице, потом по другой лестнице спустился и очутился перед старинной резной дверью. Деревянная эта дверь чем-то напоминала хозяина. Человек достал из кармана огромный ключ в форме двух сцепившихся рогами оленей и отпер дверь.

Он усадил Мартироса перед печью. И пока он раздувал огонь, он краем глаза все поглядывал на Мартироса, и хотя выражение его лица не изменилось, но от огня лицо сделалось еще более гладким и мягким.

Мартирос согрелся. Приветливый хозяин дома вышел через другую дверь, которую Мартирос вначале не заметил, и вскоре вернулся, неся в каждой руке по большому куску мяса. Он положил мясо на стол, один кусок перед Мартиросом, другой перед собой, потом принес два высоких бокала с металлическими крышками, и они в молчании принялись за еду.

Мартирос с аппетитом уплетал мясо и поглядывал на приветливого своего хозяина. Тот, в свою очередь, обгладывал кость и поглядывал на Мартироса.

— Как тебя звать? — спросил хозяин дома.

— Мартирос, — отвечал Мартирос с набитым ртом.

Поели, попили. В комнате стало теплее, и свет, казалось, сделался краснее. Оба, и гость и хозяин, размлели от сытости, от тепла и собственной доброты. Мартирос от удовольствия даже зевнул. Зевнул и хозяин, потом вытер стол рукавом, поднялся, пошел в соседнюю комнату и вынес оттуда большой альбом в толстом серебряном переплете, на серебре были выгравированы сюжеты из жизни Христа.

— Наш семейный альбом, — сказал хозяин и раскрыл альбом. Мартирос увидел портрет человека, очень похожего на хозяина дома — та же улыбка, то же выражение лица, только волосы и прическа другие и усы не похожи. В руках он держал большой топор.

— Мой прадед, — сказал приветливый человек, — за хорошую работу получил четыре награды и звание придворного палача...

Мартирос оцепенел, умер, перестал существовать, словно из него в минуту выкачали всю кровь. Он был

такой разомлевший, такой сытый и размягченный, что не мог думать ни о чем остром, не мог спрашивать об остром, не мог принять острое выражение и с застывшей улыбкой смотрел на приветливого человека, ожидая, что следующая минута прольет на все свет, все разъяснит.

Приветливый человек открыл вторую страницу — здесь был изображен все тот же человек, он опять держал в руках топор, только волосы и усы у него были другие и топор поменьше...

— Это его сын, мой дед... У него был свой стиль... Обезглавил восемьдесят человек, из коих двенадцать маркизов... был женат на кухарке...

Он раскрыл третью страницу — тот же человек, в другой одежде, с другой прической и другими усами — в руках совсем маленький топорик.

— Мой отец, — мягко и еще более доверительно сказал приветливый человек. — За искусную тонкую работу был переведен Людовиком в Париж... Он так ловко отсекал головы, что воротник не замачивался кровью... — Он долго смотрел на портрет и добавил: — Очень меня любил...

Мартiros проглотил слюну.

Приветливый человек перевернул четвертую страницу, и опять это был тот же самый человек, только одежда другая.

— Это я... мосье... мосье... Мартiros...

Все было ясно и крайне неясно одновременно. Мартiros не знал, за какой конец ухватиться, чтобы проанализировать виденное и слышанное, и по высшему наитию природы в нем сработал инстинкт самосохранения, и разум его как бы закрылся, как бы отгородился от всего, и Мартiros в таком состоянии забрался в постель и подождал, пока из соседней комнаты не раздастся спокойный храп приветливого хозяина. И тогда он поднялся, тихо оделся и вскоре очутился на темной улице... Он быстро пошел прочь от своего недавнего пристанища, потом заметил, что бежит, что начало светать и что Париж остался позади.

«Иди, Мартiros, иди, не останавливайся, иди, иди...» — подгонял себя Мартiros. Он и сам не знал,

что за настойчивая сила гонит его, не знал, куда это он должен идти, куда и зачем...

Но Мартирос шел, шел, все дальше и дальше... Он прошел Орлеан, Шательро, Пуатье... В Пуатье ему попалась навстречу закрытая карета. Он с удивлением заметил, что карета едет без лошадей. И захотелось Мартиросу понять, каким же это образом может двигаться карета без лошадей... Когда карета приблизилась, Мартирос увидел, что сзади ее подталкивает старик в рубище, с кудрявыми волосами и кучерявой бородой. Его мускулы напряглись, лицо и руки блестели от пота, но он улыбался как ни в чем не бывало. Карета была золоченая, с изображением кентавров на дверцах. В карете сидели старуха в дорогой одежде, худощавый старик высокого сана и маленькая девочка.

— Помоги ему толкать карету,— сказал старик с тонким аристократическим лицом и бросил Мартиросу золотую монету. Мартирос поднял с земли монету и занял место рядом с кудрявым бородатым стариком.

И они стали толкать карету вместе.

Вначале Мартиросу было трудно, потом он привык, и ему даже понравилась эта работа и сознание того, что от твоего прикосновения приходит в движение целая карета.

— Кто такие? — спросил Мартирос у кудрявого старика.

— Люди,— ответил тот.

— Разумеется,— сказал Мартирос.

— Откуда идете?— снова спросил Мартирос.

— Оттуда, где лошади сдохли...

Мартирос ни о чем больше не спрашивал. Он смотрел то на задок кареты, где были изображены два кентавра, то на колеса, то на свои рваные брюки и износившиеся башмаки.

— Тебе сколько лет?— снова прервал молчание Мартирос.

— Сто,— не задумываясь ответил старик с кудрявой бородой.

— Сто?— изумился Мартирос.

— Да, сто, мне давно уже сто лет...— уверенно сказал старик.— В жизни человека наступает минута, когда ему делается сто лет... но не всякий может стать столетним... Если бы все могли доживать до ста лет, на свете не было бы несчастья... весь секрет в этом...

— А ты не устал?— спросил Мартирос.

Столетний его собеседник улыбнулся и перевел разговор на другое:

— Я всегда толкаю красивые кареты...

— Ты нищий?

Старик удивленно посмотрел на Мартироса.

— Каждый из нас король... никогда не грусти от того, что ты беден, и даже если ты нищий, все равно не грусти. В тебе сидит король. Одна из ветвей твоей родословной непременно имела короля. Все мы короли и нищие. Ты тысячу лет назад был королем, я сто или немногим ранее, а может, позже, не в этом дело. И сегодняшний король непременно станет нищим. Умные короли всегда думают о том времени, когда они станут нищими. И нищие тоже думают — один о том, что он когда-то был королем, другой о том, что королевство его еще ждет. Если ты напряжешь свою память, ты вспомнишь, был ты уже королем или тебе это еще предстоит... Это относится и к вам, короли!..

Старик закончил свою тираду, произнесенную под стук колес, и рассмеялся.

Весело было с ним. Он рассказал Мартиросу множество историй и рассказывал их до тех пор, пока карета не добралась до корчмы. У Мартироса от усталости уже подгибались колени.

Старик с кудрявой бородой и Мартирос зашли в корчму, выпили пива, потом легли, заснули в одной комнате, а наутро каждый из них продолжил свой путь: старик пошел толкать карету, а Мартирос зашагал к Испании, к могиле святого Иакова.

Мартирос, Мартирос, взгляни на свои ноги, Мартирос,— вены вздулись, ступни огрубели, на руки свои погляди — пальцы стали отекают, потрескались от холода и ветра... на сердце свое погляди, оно испытывает боль ежеминутно — при виде нищего и при виде богача, при виде честного труженика и при виде негодяя, при виде прекрасного и при виде безобразного... На голову посмотри — в бороде твоей серебряные нити поблескивают, в ушах твоих стоит звон от голосов, язык твой на побегушках сразу у нескольких наций, и ты извел себя са-

мого с твоей логикой... Мартирос, Мартирос, куда ты идешь, опомнись...

К вечеру над стогами у дороги повисло большое красное солнце.

Мартирос задумчиво или, вернее, рассеянно, еще вернее — устало и равнодушно остановился посреди дороги и не знал, куда идти и что делать. Он сделал шаг влево и остановился, оглянулся, подумал, сделал несколько шагов вправо и снова остановился, потом повел глазами — в самом деле, куда идти?.. Продолжать дорогу или же вернуться домой, в монастырь, который так далеко отсюда, да и хватит ли сил дойти, он ведь даже не знает, в какой стороне Ерзка... Вперед идти легче, потому что так хоть какая-то воображаемая цель есть...

И в эту минуту горестных раздумий Мартирос вдруг увидел торчащие из стога ноги... В полосатых чулках, большой палец на одной ноге высунулся...

— Здравствуй, Томазо!..— радостно заорал Мартирос ногам, которые мгновенно скрылись в сене.

— Это я, Томазо, я — Мартирос!..

Ноги снова вынырнули из сена, потом показалась и голова — это был действительно Томазо.

— Сеньор Мартирос!— крикнул он, прыгнул на Мартироса, и они вместе повалились на землю, и некоторое время слышны были бессвязные восклицания и отдельные слова, потом Мартирос с Томазо сели, перевели дух и посмотрели-посмотрели друг другу в глаза.

— Ты все еще скрываешься, ты от кого-то бежишь, Томазо?— спросил Мартирос.

— Скрываюсь,— сказал Томазо,— бегу. Сначала бежал на север, теперь на юг пробираюсь. Меня испанцы еретиком объявили... видел, как сжигают на кострах еретиков?..

— На юге тоже сжигают...—сказал Мартирос.—Куда же ты пойдешь?..

Томазо беспечно улыбнулся, словно опасность не к нему относилась, и посмотрел на высунувшийся из чулка большой палец.

— А мы сейчас у него спросим, вон он как всюду суется, все ему надо знать...— И обратился к пальцу шутливо: — Мой дорогой, мой длинный и нетерпеливый палец... ты моя судьба...

— Идем в горы,— сказал Мартирос.— Будем пробираться через горы к морю. Море большое, ласковое...

Томазо с минуту подумал, потом повернулся на се-
вер и сказал:

— В путь, дружище...

И Мартирос с Томазо двинулись вперед.

Село было освещено языками пламени, все кровли
отсвечивали красным.

— Чучела еретиков сжигают,— сказал Томазо,—
меня в этих краях хорошо знают...

— Что, речь держал? — рассмеялся Мартирос.

— Нет, выражение лица кое-кому не понравилось,—
сказал Томазо.— Мне здесь показываться нельзя.. И как
назло—свет от костра яркий, спрятаться негде.—Потом
подмигнул Мартиросу.— Подожди-ка.

Томазо что-то задумал. Он раскрыл ящичек, который
держал в руках, извлек оттуда множество маленьких
колокольцев, нанизал их на веревку и набросил себе
на шею.

Мартирос с любопытством следил за его действия-
ми. Потом Томазо из того же ящичка вытащил грим и
размалевал себе лицо.

— Вот и все, оп-ля,— сказал Томазо.— Возьмись за
конец веревки, иди впереди и тащи меня за собой...
И только одно слово кричи — «чум-а-а».

Деревни здесь располагались одна за другой, без
расстояния между ними. Звон колокольцев заполнил
все существо Мартироса, забился в уши, в рот, в же-
лудок, и от этого звука у Мартироса то и дело подкаты-
вала к горлу тошнота. Он тащил за собой Томазо и уже
механически повторял «чума, чума»... Опрометью бежа-
ли от них пастухи, крестьяне, священники... все.

Под осточертевший, ненавистный уже звон коло-
кольцев Мартирос с отвращением думал о страхе, о че-
ловеческом страхе, о своем страхе, о природе страха.
И о вере, о вере вообще, о своей вере, о вере других...
И вдруг его осенило: «Что же я, дурак, не заткну уши
чем-нибудь?» И посмеялся над собой Мартирос, посме-
ялся над тем, что так просто и так трудно находится
правильное решение. И над тем, что в общем-то все
просто...

Так, покрикивая время от времени магическое «чу-
ма», бренча бубенцами, дошли они до самого моря. До-
рога привела их на птичий базар. Ничего другого здесь

не было, одни только птицы. Огромное цветное пятно на берегу моря.

Всё здесь хотело летать, и все здесь хотели летать — и кто умел летать, и кто не умел, кто был свободен и кто был связан, у кого были большие крылья и у кого были маленькие, совсем крошечные крылья, и даже тот рвался лететь, у кого вовсе никаких крыльев не было. Летели над морем чайки, летели морские волны, летели обрывки разговоров, песни летели, взгляды летели, страсти. В многочисленных разнообразных клетках томились пестрые птицы. У одного человека на плечах сидело по сове. Крестьянин в черных одеждах держал в руках красную птицу, крестьянин в белых одеждах — желтую, у человека с черной атласной бородой прямо на голове сидел сокол, под ногами путались голуби, между женщинами в широких юбках, встревоженно поводя хохолками, расхаживали павлины. Были здесь и куры, и индюшки, аисты, красноголовые бойцовые петухи... Даже испанское фламенко, которое танцевали в кругу под шелканье кастаньет и под аккомпанемент гитары, даже оно напоминало птичий танец.

Мартiros смотрел на все это, стоя за невысокой белой изгородью. Он был восхищен, ослеплен зрелищем и совсем забыл про свои колокольца. Мартiros повернулся к Томазо, чтобы разделить с ним свой восторг, и увидел, что взгляд Томазо прикован к слепому нищему — глаза у того были закрыты, он пел непривычную для этих мест восточную «шикясту». Мартiros посмотрел внимательнее — это был Мустафа.

Мартiros забыл про осторожность и побежал к Мустафе, таща за собой Томазо. Зазвякали колокольцы. Сначала на это никто не обратил внимания, потом их заметил старый горбоносый голубятник. При виде Томазо с колокольцами на шее он с искаженным от ужаса лицом взвизгнул:

— Чума!..

На его голос повернулся еще один продавец и тоже в ужасе подхватил:

— Чума!..

Базар пришел в смятение. Всех словно ветром сдуло... Пестрый ковер поднялся с земли, переместился в небо, воздух наполнился шумом крыльев, гулом, означавшим только одно — конец; казалось, сейчас случится светопреставление.

Мустафа вместе с другими вскочил на ноги и проворно побежал, мгновенно прозрев.

— Мустафа!.. — крикнул Мартирос:— Мустафа, пожди...

Базар опустел.

Мустафа остановился, повернулся, внимательно посмотрел на Мартироса, узнал его и шаг за шагом приблизился к нему. Мартирос тоже пошел к нему навстречу, и в центре опустевшего базара встретились бывший монах и бывший разбойник. Они долгое время смотрели друг на друга.

Томазо, позвякивая колокольцами, приблизился к ним.

— Ты... попрошайничаешь, ты нищим сделался, Мустафа?— спросил Мартирос полушутливо, упрекая и жалея одновременно.

Мустафа посмотрел себе под ноги, потом на Мартироса и сказал обиженно, как ребенок:

— Я ничего другого делать не умею.

— Как так?..

— Я добрым стал...

Логика Мартироса безмолвствовала. Мартирос не знал, что сказать, и, чтобы выиграть время, обратился к Томазо:

— Видишь, он добрый... — потом спросил у Мустафы: — А что с Юнусом?..

— Он тоже добрым стал...

Мартирос подумал: «Тоже, значит, нищим...»

— Аль-Белуджи?.. — спросил Мартирос.

— После тебя все стали добрыми... — сказал Мустафа.

Они молчали и смотрели друг на друга, печально улыбаясь. Несколько птиц, описав в воздухе круг, опустились к ним на плечи.

Теплая и мягкая ночная мгла постепенно надвигалась на дорогу. Мартирос, Мустафа и Томазо шли вдоль морского берега. Время от времени позвякивал какой-нибудь из бубенчиков Томазо, хотя Томазо и придерживал их руками, чтобы не было лишнего шума. Колокольцы, казалось, принимали участие в их разговоре.

— И куда же мы сейчас идем?— обратился скорее к самому себе Томазо.

Мартирос и Мустафа промолчали. Потом Мартирос сказал еле слышно...

— Я домой хочу... в Ерзнка... к Гагику...

— В таком случае нам нужно идти в обратном направлении, — сказал Томазо.

Мартирос подумал и вздохнул:

— Я сказал Гагику, что иду на могилу святого Иакова в Испанию. Раз сказал, должен пойти...

— Сколько времени тебе нужно, чтобы добраться до дома?.. — снова спросил Томазо.

— Вот уж три года, как я вышел из дому... — сказал Мартирос и загрустил: — Я устал. — Он посмотрел по сторонам, потом остановил взгляд на Мустафе: — Куда идет мир, Мустафа? Куда катится земля?.. Все неправда, значит?..

Томазо переполнился жалостью неизвестно к кому и к чему — он не Мартироса жалел и не Мустафу, и не себя... не свою судьбу, не свое детство, не свои страдания... Ему захотелось обнадежить Мартироса.

Что-то затрепетало внутри у Томазо. Он перекувыркнулся в воздухе, потом встал против Мартироса и сказал:

— Вот она, земля, вот он, мир... земля никуда не катится... И почему ты все хочешь, чтобы мир стал лучше? Мир хорош именно такой, какой он есть. И ты не жди, что когда-нибудь на земле будет рай. В жизни как в хорошем обеде — все есть, всего намешано: и мяса, и овощей, и горькие приправы тут, и вода... мир устроен гармонично... приходят люди, добрые и жертвенные, они нужны в жизни... Но и подлецы нужны, и негодяи...

— А на что они нужны, подлецы?.. — грустно спросил Мартирос.

— Не знаю, но наверняка нужны... — Томазо улыбнулся. — Против чего же тогда бороться добру?.. Одно только добро не может существовать... — И вдруг словно открытие сделал Томазо: — А вообще что такое добро?..

— Это когда люди нищие, — внезапно ответил Мустафа.

— И когда люди любят друг друга... — устало, стыдясь стертости и избитости собственных слов, сказал Мартирос.

— А что значит любить?.. — продолжал игру Томазо.

— Любовь — это жизнь, это рождение... — сказал Мартирос заученно.

Мустафа издал какой-то звук губами, словно хотел вспомнить воинственный клич былых времен.

— Ненависть тоже жизнь, тоже рождение,— сказал Томазо.

— Ненависть — это смерть... — сказал Мартирос.

Иногда в темноте позвякивал какой-нибудь из бубенчиков, печально-печально, и подчеркивал одиночество этих троих на земле.

— Смерть — это тоже жизнь, — сказал Томазо.

Мартирос промолчал, потом посмотрел на Томазо и Мустафу и сказал со вздохом:

— И что же будет?

— А ничего не будет. Все останется так, как есть... на своих местах...

— Зачем же мы тогда говорим о добре, о красоте, о разуме, о просвещении?

— Должны говорить,— воодушевился Томазо. — Всегда будем говорить. Без этого жизнь потеряет всякий смысл...

— Отчего же мы тогда убиваем друг друга, воюем, завидуем, поклоняемся силе?.. — сказал Мартирос.

— А иначе жизнь остановится... — сказал Томазо,— и обед будет вариться сам собой...

— Значит, я могу убивать?.. А я хочу любить... — сказал Мартирос каким-то погасшим голосом.

Томазо запел, и пение его означало: «Сколько раз говорено об этом, поговорили еще раз», — потом пустился в пляс, позвякивая колокольцами в такт.

— Видишь, и чумные колокольцы могут доставить радость.

Мустафа молча шел рядом с ними, бросая на них непонимающие взгляды, а сейчас стал тоже приплясывать, мало-помалу входя в раж.

Через некоторое время и Мартирос присоединился к пляшущим, так и продвигались они вперед, приплясывая в темноте, оглашая ночь бессвязными громкими криками, позванивая колокольцами...

Они подошли к городу Португале, но войти в него не осмелились, они дождались ночи и только тогда осторожно, крадучись стали пробираться по узеньким улочкам. Мустафа вдруг пропал и вскоре появился, он торжествующе улыбался, в руках у него были полуобгло-

данные кости, куски вареного мяса. Голод прижал их не на шутку, они с жадностью уписывали холодное мясо...

Следующий город был Сант-Антерн, в город они вошли днем, но прошли его быстро, как сквозной ветер, и сами никого не увидели, и их никто не заметил.

В Овьедо вошли смело: опасность была уже позади, здесь Томазо никто не знал. Радостно выпятив грудь, Томазо вышагивал по улицам города, словно почетный его гражданин.

Лохмотья на них пришли в полное обветшание. Мартирос в каждой стране «обновлял» наряд, и сейчас трудно было определить по его одежде, сменившейся сотни раз, род его занятий и национальность.

В Овьедо Томазо дал небольшое представление: Мартирос позвякивал колокольцами, Мустафа на доске отбивал такт, а сам Томазо кувырчался, ходил на руках, становился на голову, проделывал свои лучшие трюки.

На вырученные от представления деньги они купили одежду, пообедали в корчме и, сытые и довольные, вошли в Сант-Яго.

Мысль Мартироса снова заработала. Они стояли у бассейна с фонтанчиками, и шум воды и прохлада навевали на друзей какую-то спокойную грусть. Они уселись прямо на земле, подставили лица солнцу и брызгам воды и так с полужакрытыми глазами отдались своей усталости, солнечному теплу и собственным мечтам.

Мартирос вспоминал армянскую свадьбу, лица женой и невесты, свой дом и мягкий, доверчивый взгляд Корнелии. Он мысленно прикинул, сколько ему еще надо идти, чтобы вернуться в Ерзнка... Наверное, три года, а может, и больше, потому что Мартирос смертельно устал и ноги его не слушались... Еще три года...

14

В Палосе что-то творилось. Народ засиживался в корчмах и постоянных дворах до утра, на пристани собирались моряки, перед церковью толпились женщины. Городом владело одно общее, неспокойное настроение и с каждым днем раскалялось все больше. Генуэзец Колумб ворвался в Палос, как струя горячего воздуха: многим он казался просто шарлатаном, некоторые принимали его за безумца, достопочтенные отцы города от-

неслись к нему холодно — в городе почти не было человека, кто бы поверил ему. И все же какая-то неведомая сила держала их всех в постоянном напряжении и ожидании.

Уже целую неделю Колумб выступал перед народом. Он держал речь где только мог — на базарах и в постоянных дворах, в корчме и в церкви...

Высокий, русоволосый, весь в веснушках, с зелеными горящими глазами, он напоминал то опытного мореплавателя, то вора, то на философа смахивал, то на епископа. Он рубил воздух сильными руками, с силой бросал слова в толпу, казался разгневанным, через минуту шутил, потом говорил повелительно и резко, мгновенно делался вежливым, мягко, вкрадчиво шептал... Он был горд, как король, находчив, как шулер, властен, как полководец, лстив, как старая лиса...

Вот что говорил он поздней ночью собравшимся в корчме горожанам:

— Сеньоры, если бы я вас не знал, я бы сказал вам: покупайте печки, собирайте перо, шейте мягкие подушки, ложитесь в тепленькую постель, и пусть белый известковый потолок будет вашим небом, соломенная кушетка — югом, брюхатая кошка и веник — севером, ночной горшок — западом... Перед тем как лечь спать, ваши жены почешут вам спину, выловят всех вшей в голове и пощекочут пятки... Накройтесь с головой одеялом и вдыхайте свой собственный запах... — В глазах Колумба зажегся зеленый свет, он протянул вперед руку и заговорил с достоинством, серьезно и проникновенно: — Но я знаю вас... я хорошо вас знаю... вон, я вижу, Родригес хочет выстрелить в меня, а Чачу вытащил свою наваху, чтобы бросить ее мне в лицо... Правильно, Родригес, стреляй, если я еще раз повторю то, что сказал, потому что я оскорбил тебя... Но я молчу, я ничего больше не говорю... — Он помолчал с минуту, весь подался вперед, и с его языка сорвались слова страстные и сильные — Колумб приказывал: — Я скажу — сеньоры моряки, сеньоры мужчины, идемте со мной в Сипанго, идемте к этим новым землям, где золота и драгоценных камней так много, что из них можно сплести покрывало, которое покроет весь ваш город. Вы увидите там такие фрукты, названия которых нет ни на одном языке... На каждом шагу вам будут встречаться новые растения, из них вы приготовите острые приправы, ваши

обеда будут самыми вкусными, ваши жены будут благоухать, умащенные нездешними благовониями. Вставайте, мужчины Палоса, «Пинта», «Ниньо» и «Санта-Мария» ждут вас! Солнце, ветер, песня и море!.. Юг, север, запад, восток!.. Наша отчизна — богатство и смелость! Я, Христофор Колумб, говорю вам: идемте к новым землям, идемте в Сипанго!..

Мартирос, Томазо и Мустафа стояли у пристани «Светлое воскресенье». На берегу, на верхушке новенькой еще, пахнувшей свежей стружкой виселицы сидел юноша, ел апельсин и смотрел на море. Он заметил трех людей, в изумлении взиравших на него, и сказал:

— Сипанго, Индия... три корабля ведет генуэзец дон Христофор Колумб.

— Индия?.. — переспросил Мартирос.

— Сипанго, Индия... — повторил с виселицы юноша, продолжая жевать апельсин.

Все в Мартиросе перевернулось, перемешались разум и чувство, но он взял себя в руки, он поразмыслил, прикинул, потом весь просиял и бросился обнимать Томазо и Мустафу, повторяя:

— Индия, Томазо... От Индии до Армении рукой подать. Идем, Томазо... Я приду домой, я буду дома... в Армении, Томазо...

И, увидев Томазо, грустно улыбавшегося, Мартирос вдруг понял, что думает только о себе, и захотел исправить ошибку:

— Ты, Томазо, разбогатеешь в Индии, вернешься в Венецию, построишь настоящий театр... Ты, Мустафа, найдешь в Сипанго все, что хочешь, а оттуда пойдешь в Персию, разве тебе не хочется домой?.. Дома хорошо...

У причала стояли три парусных судна Христофора Колумба — «Пинта», «Ниньо» и «Санта-Мария». На пристани толпились опытные моряки, мелкие служащие, люди с пылким воображением и просто обыватели — жители Палоса смотрели на эти три корабля, молча стоявших у берега, но никто не осмеливался сделать первый шаг и подняться на корабль. Колумб и его друзья братья Алонсо обещали большие суммы, говорили речи, но результатов пока никаких не было. Город все более замыкался в себе и молчал, настороженный. Впрочем, Колумб знал цену молчанию. «Чем дольше будут

молчать, тем нам выгоднее,— сказал он, — всякое молчание кончается взрывом...» И в самом деле взорвалось молчание. Первым поднялся на корабль бежавший из тюрьмы убийца, назвавшийся Батисто. Колумб ни о чем не стал его спрашивать, посмотрел ему в глаза и хлопнул по спине:

— Ты породишь смелое, хорошее племя, Батисто...

Батисто выдали мешок денег, и он день и ночь просиживал в тавернах города, сорил деньгами как истинный дворянин, осыпал музыкантов и танцовщиков горстями мараведи и говорил, что идет с Колумбом в Сипанго.

Потом пришли еще двое, потом сразу трое. И пошло, и пошло. Пришли обиженные и обидчики, пришли верующие и неверующие, пришли люди, для которых нищета была хуже смерти, пришли те, кто не мог найти себе места на этой земле, пришли должники, убежавшие от своих кредиторов, пришли люди, втайне лелеявшие мечту жениться на дочери индийского шаха, пришли те, кто не знал, куда приложить свои силы, пришел всякий несчастный люд, которому казалось, что всюду лучше, чем у него дома...

На корабле можно было увидеть моряков в полосатых чулках и испанских грандов, священников в черных одеждах и настоящих морских волков, которые знали каждый остров в океане; пришли и люди, никогда и шагу не ступавшие дальше своего Палоса, пришел даже один рыцарь...

Христофор Колумб смотрел с палубы «Санта-Марин» на поднимавшихся на корабль людей, каждый из которых называл свое имя и род занятий корабельному писцу:

- Чачу, корабельных дел мастер...
- Алонсо, врач...
- Диего, магистр...
- Сангре, лоцман...
- Кастилио, золотых дел мастер...
- Рамо из Сеговы, ничего не боюсь...
- Родриго де Эсковего, нотариус...
- Санчос, цирюльник...
- Мартирос, монах, знаю латынь, итальянский и армянский...
- Томазо, актер из Венеции...
- Мустафа, нищий...

Голоса смешивались, гремели перекатываемые в трюме бочки, шумело море...

Колумб оглядывал каждого молниеносным взглядом и тут же решал, кто на что пригоден, он видел перед собой сильных, но наивных, слабых, но хитрых, духом сильных, но телом слабых, и телом сильных, но духом слабых, зорких и недальновидных, верных и неверных... Он никому не отказывал и никого не спускал на берег. Ему нужны были все они для того, чтобы уравновесить друг друга. Ему нужна была самая разношерстная масса, иначе корабли бы не пошли в нужном ему направлении...

Первая каравелла Колумба вышла в море.

Собравшаяся на берегу толпа разом вскрикнула, зашумела, заплакала, радостно замахала руками. Около сотни гитар зазвенело одновременно, берег сотрясся от голосов и песен. Если бы не было ветра, одних только гитар хватило бы, чтобы наполнить паруса воздухом и двинуть корабли вперед.

Падре поднял большой крест над головой и сказал, напутствуя:

— Будьте добрыми друг к другу, будьте честными и справедливыми, будьте щедрыми душой...

На носу «Санта-Марии» стоял Колумб, ему уже никакого дела до берега не было. Он смотрел вперед. Его красный плащ горел на солнце, его зеленые глаза от страсти и воодушевления казались то желтыми, то красными... Над головой Колумба развевался флаг с большим ликом Христа... Юнги на палубе пропели вечернюю мессу, и их детские голоса смешались с грубой бранью и грязью, неделимой частью корабельных будней. Корабли везли в до отказа забитых трюмах порох и оружие, ножи и топоры, библии, солонину, красное и белое вино...

«Запомни эти минуты, запомни эти минуты», — шептал себе Колумб. Это была его еще детская привычка, и он знал, что, если ему хочется повторять какое-то слово, так и надо его повторять, что всегда и во всем надо себе доверяться... «Запомни же, запомни...»

А у кормы лицом к берегу и спиной к морю стояли Мартирос, Томазо и Мустафа.

В первые дни на судах было тихо. Они давно уже вышли в открытое море, и неопытному глазу могло показаться, что корабли движутся без направления. Мартирос прошелся по палубе и увидел моряка, спавшего между бочками, чуть дальше, в рубке, лицом вниз валялся боцман Петрес. Эпидемия сна и бездействия царила на кораблях. Человеческие страсти, разум, чувства — все пришло в оцепенение, все молчало, сон владел всем живым, сон распростер свои крылья над морем и над кораблями, где, казалось, не осталось ни единой живой души. Время от времени какая-нибудь пустая бочка перекатывалась по палубе «Пинты», и грохот ее эхом отдавался на «Ниньо». Трудно было представить, что такая напряженность, такая схватка страстей, нечеловеческие усилия Колумба, такая ювелирная, тонкая работа человеческого ума обернутся этим глухим молчанием. Мартирос никак не мог сообразить, куда все подевались, и если все спят, то где?..

Но вдруг «Санта-Мария» наполнилась шумом, палуба заходила, из всех углов, из всех щелей высыпали люди. Они, казалось, выходили из морских недр, из всех ящиков, из всех бочек, из всех снастей, даже друг из друга. На палубе показался Христофор Колумб, свежий, глаза живые, блестя, движения размашистые, подчеркнутые.

Он прошелся по палубе широким шагом, остановился и громким голосом, словно флаг поднимал, сказал, как ударил:

— Отныне вы не имеете права оглядываться назад... Вы должны смотреть только вперед... И только сильными должны быть... Жизнь такая же короткая, как это путешествие. Мы знаем, чего мы хотим. Нам надо двигаться и только двигаться. Мы обязательно увидим землю.

— Да здравствует адмирал Христофор Колумб! — воскликнули стоявшие рядом с ним моряки.

— Да здравствует Сипанго, наши желания и наши силы, — сказал Колумб. — А сейчас выше головы, пой-те, пляшите, покажите, на что вы способны...

Человеческая масса задвигалась. Послышалось пение, шелканье кастаньет, звуки гитары, скрипки, трубы, барабана... Какой-то китаец проделывал фокусы, глотал огонь, его окружали матросы плотным кольцом... Зеленые глаза Колумба горели. Ему нравилось движение, огонь, жизнь, все проявления жизни... Неожиданно от-

куда-то вынырнул Томазо, перекувыркнулся под общие одобрителные возгласы, раскланялся и подошел к Мартиросу.

— Жизнь хороша, сеньор Мартирос, жизнь прекрасна, особенно когда такая карусель кругом...

Боцман Хил Петрес, стоявший рядом с Мартиросом, вдруг с такой силой опустил руку ему на плечо, что Мартирос закашлялся и долгое время не мог успокоиться.

— Ну на что ты годишься, дохлая селедка... а тоже в моряки полез... — и боцман отошел, полный презрения.

Томазо поглядел ему вслед и шепнул Мартиросу:

— Удиви его скорее чем-нибудь, а то всю дорогу житья тебе не будет...

Мартирос понял его, улыбнулся:

— Речь произнести?..

— Убежать ведь некуда, захотят — и в море бросят...

— Сейчас...

Мартирос знал, что в этой пестрой массе отношения между людьми будут жестокие и беспощадные. Каждый день они будут видеть друг друга, взвешивать каждое свое и чужое слово, следить за малейшим движением рядом стоящего, и цена каждого будет зависеть от того, как он сумеет себя проявить. И для того чтобы найти и утвердить за собой место среди стольких людей, нужно было обладать либо недюжинной силой, либо коварством, гениальной лживостью, либо чудовищной выносливостью, или же невероятной изворотливостью.

Этот корабль-государство имел уже свои законы, свои нормы человеческого поведения, которые, впрочем, могли меняться в зависимости от обстоятельств...

Логика Мартироса повела себя совсем неожиданно, она сжалась в Мартиросе как пружина, потом с невероятной силой распрямилась — и Мартирос уверовал в то, что любое его действие, любой поступок сейчас увенчаются успехом.

Мартирос выступил вперед и поднял вверх обе руки, и вид у него был такой, что шум рядом с ним мгновенно затих, а когда Мартирос заговорил, все слушали его с непривычным для них вниманием.

— Человек — это целый мир и человек во всем... — начал Мартирос и замолчал. Он не знал, что говорить

дальше, не знал, что делать, но был уверен, что сейчас что-то произойдет, что он что-то да сделает. Он был так значителен в эту минуту, что даже Колумб с интересом взглянул на него.

После довольно длительного молчания Мартирос раздельно произнес:

— Пусть кто-нибудь из вас загадает желание. Я прочту его мысли.

Несколько моряков презрительно усмехнулись, кто-то засмеялся.

Колумб заинтересовался еще больше, он любил необычных людей и острые ситуации. На его лице можно было прочитать: «Что это, мошенник или человек с особым даром? Во всех случаях — вива!..»

Мартирос стал обходить моряков, заглядывая им в глаза:

— Ну-ка, кто не боится?..

Это было уже слишком. У Колумба никто не должен был бояться, и задавать такой вопрос было даже опасно. Мартирос тут же почувствовал это и поправился, он обвел всех взглядом и воскликнул:

— Никто не боится, знаю!

Потом он выбрал в толпе юношу с белым лицом и тонкой кожей, с пульсирующей жилкой на шее и сказал:

— Ну давай вот ты... загадай желание... пожелай чего-нибудь...

И, взяв юношу за руку, сделал с ним несколько шагов по палубе. Сначала пошел налево, потом резко направо. И вдруг подошел к Колумбу. Толпа, затаив дыхание, следила за происходящим. Мартирос протянул руку, снял с пояса Колумба маленький позолоченный нож, подошел к бочкам и ножом вскрыл один из бочонков.

Юноша изумленно воскликнул:

— Что это?! Я как раз об этом думал!.. Что это?! Тут дьявол замешан!..

Колумб был тоже удивлен, но ему понравился Мартирос, и он похлопал ему.

Моряки хотели последовать примеру своего адмирала, слышалось несколько слабых хлопков, но происшествие смахивало на чудо, было выше их понимания, и, когда Мартирос приблизился к ним, они испуганно отпрянули.

Вот так Мартирос нашел свое место, утвердился в этом прожженном морском обществе.

Нашел свое место, но это место еще надо было удерживать за собой, и это требовало ежеминутной борьбы, и вообще, разве может успех длиться долго, разве может все идти гладко?

В эту же ночь в одной из кают происходил следующий разговор:

— Этого дьявола надо послать ко всем чертям... Если он будет читать мысли каждого, вообрази, что из этого получится.

— Пусть себе читает... мне скрывать нечего...

— Я смотрел сегодня на твое лицо, когда ты наблюдал за мессиром Колумбом... долго так, внимательно... я хотел понять твой взгляд... но не смог. Воображаю, какие мысли будут одолевать тебя да и всех остальных, когда мы подойдем к Индии... Вот где покажет себя этот сеньор, вот где он окажет всем услугу... и мессиру тоже...

— Погоди... если люди так легко будут читать мысли друг друга, жить станет невозможно...

— И я того же мнения...

— Что ты предлагаешь?

— В море его!..

— Идет... у меня есть свой человек... сделает за двести мараведи...

Мустафа, который случайно слышал из-за дверей весь этот разговор, бросился к своим друзьям.

— Проснись, проснись, — тормошил он Мартироса.

Томазо, лежавший рядом с Мартиросом, открыл глаза:

— Что такое?..

— Сеньора Мартироса хотят утопить в море...

У Мартироса сон как рукой сняло.

— Утопить? За что? — спросил он обескураженно.

— Говорят — мысли читает...

— Все ясно, — сказал Томазо. — Опять немножко перегнул палку, показать себя, конечно, надо, но нельзя очень выделяться среди других.

Мартирос опять закрыл глаза, ему смертельно хотелось спать.

— С этим шутить нельзя, — сказал Томазо. — Надо бежать.

— Куда?— улыбнулся Мартирос. — Кругом вода, океан...

— На «Пинту».

Томазо, Мартирос и Мустафа на цыпочках двинулись к корме. Томазо посмотрел кругом, прикинул расстояние между «Санта-Марией» и «Пинтой» и, взяв канат с абордажным крюком на конце, забросил его на «Пинту». Крюк зацепился за борт «Пинты».

— Пошли,— сказал Томазо и, став на борт, переступил на канат и пошел, балансируя руками, к «Пинте». Он сделал несколько шагов и оглянулся. — Идите же...

Мартирос последовал примеру Томазо.

С тяжелой от сна головой, со все более усиливающимся страхом, продвигаясь вперед по мокрому, скользкому канату, Мартирос понял, что все в мире скользко и холодно, и существует множество сквозных ветров, и что силы могут покинуть его сейчас. Он сжал зубы и сказал себе: «Ну, Мартирос, еще немножечко, иди, Мартирос, иди, иди...»

Он сделал несколько шагов и оступился, чуть было не упал в воду, но успел ухватиться за канат руками.

Томазо на борту «Пинты» и Мустафа на «Санта-Марии» в ужасе закрыли глаза. А когда они открыли их снова, Мартирос полз по канату, изо всех сил прижимаясь к нему животом, и смотреть на это было смешно и грустно. «Давай, Мартирос, нажми... еще немножечко, Мартирос, еще капельку»,— шептал себе Мартирос.

Он дополз до «Пинты», перевалился через борт и оказался на палубе. Руки, лицо, живот и грудь были разодраны в кровь, но ему хотелось только спать... ничего больше...

Теперь был черед Мустафы.

«Иди давай!»— знаками звали его Мартирос и Томазо.

Мустафа посмотрел на канат, и вдруг голова его скрылась за бортом.

Томазо и Мартирос с нетерпением ждали, когда Мустафа покажется снова, но вместо этого над бортом выросла голова совсем незнакомого моряка. Он удивленно посмотрел на канат, оглянулся в поисках какой-нибудь живой души, чтобы поделиться сомнениями, и, не найдя таковой поблизости, побежал по палубе.

Томазо отцепил от борта абордажный крюк и бросил его в море.

Мустафа остался на «Санта-Марии», но Мартирос и Томазо были за него спокойны, потому что Мустафу там никто не знал.

Самый знаменательный и шумный день начался спокойно.

Ночь была душная и тихая... Многие не спали и вяло, безжизненно лежали кто где мог. Только один человек спал глубоким крепким сном. Это был Родригес Бермехо. Вдруг он беспокойно заворочался во сне и проснулся, мокрый от пота. Не открывая глаз, он поднялся на ноги, пошел, покачиваясь, к борту, стал лицом к морю и помочился. Потом в блаженстве открыл глаза и удивленно захлопал ими, он посмотрел еще раз, чтобы проверить себя, открыл рот и завопил:

— Земля!.. Земля!..

Три корабля, почти сойдясь бортами, подошли к суше.

Колумб в своем темно-красном плаще, с зелеными горящими глазами стоял на «Санта-Марии»...

Мартирос почувствовал где-то близко дух своего Ерзка и заторопился, захотел тут же очутиться на берегу, скорее, скорее направиться на север, к Армении... Ведь Армения от Индии была не так уже далеко...

Но это была не Индия...

На этом мы кончаем наше повествование.

На новой земле с Мартиросом произошло множество самых невероятных приключений. Потом он с Колумбом вернулся в Испанию и из Испании пешком через всю Европу направился в Армению.

Он шел три года.

За это время с ним приключились не менее интересные истории, но о них мы поведаем вам в другой раз.

МКРТЫЧИ «ТРЕУГОЛЬНИКА»

Отец у меня был кузнецом. Отец моего отца тоже был кузнецом. Говорят, и его отец кузнечил. Но потом остались только мой отец и его товарищи кузнецы.

Их никто не называл кузнецами. Они сами себя величали «дамрчи»¹, а кузницу — «дамрчноц».

Когда я в школьном сочинении написал, что мой отец «дамрчи», это сочли за ошибку и поставили мне двойку. И тогда я узнал, что «дамрчи» и «дамрчноц» неправильно, не по-армянски.

Отец в кругу своих друзей часто пел протяжные турецкие песни, в которых я ничего не понимал, стало быть, и они были неправильные.

А в особенности одну песню, которая была чем-то вроде гимна пяти Мкртычей, отец пел очень задушевым голосом, подчеркивая последний слог каждой строфы. Эту песню Мкртычи слушали с особым вниманием, словно обнаженными нервами. Мко поднимал брови у переносицы до самых волос, начесанных на лоб, и закрывал глаза, отчего лицо его выражало верх блаженства.

А под конец песни на глазах у отца наворачивались слезы. Почему он плакал, когда пел эту песню, я так и не понял. Что скрывалось в этих неармянских словах и почему все Мкртычи тоже слушали ее словно с истерзанными сердцами?.. Какой-то другой мир, непохожий на этот, думая так, я немного жалел Мкртычей.

Кузница отца была самой большой. Ее крыша косо спускалась вниз, до самой земли. Если смотреть сбоку,

¹ Д а м р ч и — кузнец (турецк.).

кузница походила на треугольник. Я так и называл ее — «треугольник».

Начерченный на школьной доске треугольник для всех был просто тремя белыми линиями, а для меня живым, родным местом. Я тотчас представлял себе в «треугольнике» три наковальни, множество больших и маленьких молотов и пятерых Мкртычей. Для меня «треугольник» имел также и голос и музыку: разнообразные оттенки перестука молотов, наречие Мкртычей, вздохи мехов. И треугольник на школьной доске словно оживал, дышал...

«Треугольник» находился в центре нашего небольшого городка, в соседстве с похожими на него строениями. В городе уже появилась одна заводская, хоть еще и не очень большая, дымовая труба. Несмотря на то, что струя дыма, поднимавшаяся над ней, была тонкой, колеблющейся, ей удавалось подняться выше прочих столбов дыма и задержаться в воздухе над городом дольше других. Часто в ленивом танце ликования и насмешки над едва заметными неуклюжими дымовыми трубами города дым этот проплывал над «треугольником» и, казалось, от безудержного восторга улетучивался, исчезал... И часто, лежа на спине, я видел высоко-высоко в небе эту завесу, словно истрепавшуюся в долгой дороге, а ниже — более темный и, кажется, более стойкий дым из «треугольника». И все же я радовался за «треугольник».

В «треугольнике» работало пять человек. Четырех из них свела вместе профессия, а кузнеца Гаспара привела сюда дружба с этими четверьмя.

Вообще у отца было много друзей. Один был родом из Карина¹, другой из Карса, третий из Константинополя... Каждый из них — обломок какого-то далекого сказочного города, каждый — слезинка большой скорби. Но ядро его близких друзей надолго, почти до конца их жизней, оставалось неизменным и было слеplено «треугольником». Этим ядром были пятеро Мкртычей.

Пятеро Мкртычей, но каждого звали по-своему. Отец — Уста² Мукуч, второго — Варпет³ Мкртыч, третьего — Мко⁴... И не было случая, чтоб отца называли

¹ Армянское название Эрзерума.

² Уста — мастер (*турецк.*).

³ Варпет — мастер (*арм.*).

⁴ Сокращение от имени Мкртыч.

Мкртыч или Варпет Мукуч: отец был Уста Мукуч. Никогда Мко не назвался бы Мукучем или Мкртычем: он был Мко. И назвать его Мкртычем равносильно было тому, чтобы назвать его каким-то другим именем.

И когда я узнал, что они все на самом деле Мкртычи, то удивлению моему и смеху не было конца. До того не подходило Варпету Мкртычу имя Уста Мукуч или Мко, а Мко — имя Мкртыч.

Двое других Мкртычей были: грузин Васо и кузнец Гаспар. Фамилия Васо была Микиртычашвили. По этой причине его и называли Грузин Мкртыч. Долгое время не могли выявить такого же Мкртыча в роду кузнеца Гаспара. Наконец «раскопки» увенчались успехом: среди предков Гаспара тоже нашелся некий Мкртыч.

Все это делалось шутя, однако где проходила граница шуток у Мкртычей, трудно было определить. Да и вообще порой незначительная шутка перерастала в нечто серьезное, а из самого серьезного рождалась шутка...

Вокруг этой пятерки были и другие люди с куда более интересными судьбами, и места вокруг кузницы были красивее и примечательнее, но я жил горестями и радостями «треугольника» и его обитателей.

Я не знаю, кто из Мкртычей когда пришел в «треугольник», как и где они встретились. Я помню приход только одного — Варпета Мкртыча.

В этот день моросил дождь и сидеть в отцовской кузнице было очень приятно. Отец и Мко работали: отец маленьким молотом, Мко — кувалдой. Как обычно, я принес из дому еды. Дурманивший жар от огня в горне охватил все мое существо, даже лицо у меня припухло от жара. Ни о чем не думая, я смотрел на огонь.

Настроение в «треугольнике» резко изменилось, когда в кузницу с шумом ввалился Грузин Мкртыч с пузатым бурдюком в руке. Но внимание мое привлек человек, пришедший с Васо. Облик его наводил на мысль о штопоре, а глубоко ввалившиеся щеки невольно вызвали испуг: что же там внутри?

— Ва! Все тюкаете?.. Будто на свете больше ничего и нет!.. Поглядите-ка, что я вам из Кахетии привез!..

Васо схватил щипцы, вытащил из горна куски раскаленного железа и отложил в сторону.

— Шабаш!..

Васо всегда так делал, когда возвращался из Кахетии. Но если кто-то пробовал мешать, когда работал он сам, поднимал ужасный шум.

— Ванечка, помоги... — обратился ко мне Васо.

Наковальню превратили в стол, и все сели вокруг. Полумрак кузницы освещался лишь колеблющимся пламенем горна. И в темноте были видны только красноватые лица Мкртычей.

Пришедший с Васо человек, походивший на штопор, достал из нагрудного кармана дудук¹, вытер его, очень удобно поместил мундштук во рту, и тогда произошло чудо. Впадин на обеих щеках как не бывало, щеки надулись так удивительно, что невозможно даже было представить их себе ввалившимися.

«Треугольник» наполнился печальным завыванием дудука. Огонь в горне от этой музыки как будто навострил уши, затем вновь опустил.

Кузнецы смотрели на огонь и слушали дудук.

Я люблю яркий свет. Я смотрел на горн и ждал, что вот-вот этот маленький огонек запылает и осветит «треугольник», потом вырастет и станет солнцем, очень ярким солнцем.

«Почему не зажигают лампу?» — думал я, досадуя. Однако завывание дудука в темноте, при тлеющем огоньке горна было миром Мкртычей, и поэтому я терпеливо молчал.

Говорил и хозяйничал Васо: он и мне дал выпить целый стакан вина. Мысли у меня ускорили ход, перемешались. О чем только я не думал... А потом загрустил. И в темноте смотрел то на огонь, то на Мкртычей, и мне хотелось плакать от непонятного мне самому горя. Думая о том, что на свете нет ничего прекраснее дружбы, я почему-то еще больше расстраивался.

Вдруг в дверях «треугольника» возник какой-то странный силуэт.

Я глянул и, так как не смел нарушить ход мыслей присутствующих, связанный с этим таинством огня и дудука, сдержал свое любопытство.

Тень подождала, пока замолкнет музыка, и хорошо поставленным голосом актера произнесла на правильном литературном армянском:

— Привет труженикам!..

¹ Музыкальный инструмент.

Одной рукой приподняла шляпу и так, с поднятой вверх рукой вошла.

— Меня послал товарищ Мартиросян, чтобы я освоился с обстановкой. С завтрашнего дня буду работать у вас.

Мкртычи с недоумением посмотрели друг на друга.

— Ты что-то напутал, чириме¹, это кузница!— сказал Васо.

— Разумеется,— спокойно ответил прибывший.

— А вы-то что тут делать будете?— недоверчиво поинтересовался отец.

— Кузнечить, конечно! — Он с большим знанием дела потянул за жердь мехов, осмотрел все вокруг и представился: — Мкртыч Пахалпаджян.

Так появился пятый Мкртыч.

Трудно было поверить, что паш новый Мкртыч—кузнец. «Каких только людей нет на свете»,— думал я.

О людях с такой внешностью я знал только по книгам да еще видел их в кино. На нем был долгополый пиджак с разрезом сзади, в каких, по-моему, раньше ходили графы. Остальные предметы туалета гармонировали с пиджаком. На голове блестящий твердый котелок, на шее галстук бабочкой.

Но еще удивительнее было то, что Варпет Мкртыч не снимал эту одежду, даже работая у кузнечного меха. Он только прикрывал платком воротник и галстук.

Варпет Мкртыч держался настолько прямо, что казалось, будто его вычертили по линейке. И, ударяя молотом, тоже не наклонялся. Даже завязывая шнурки на туфлях, он казался прямым.

Так на третьей свободной наковальне кузницы начал работать Варпет Мкртыч.

Наш «треугольник» стал еще интереснее.

ФОТОГРАФИЯ «ТРЕУГОЛЬНИКА»

Эта старая, пожелтевшая фотография до сих пор висит у меня в комнате.

Я помню, как она появилась. Произошло это совершенно случайно. Неподалеку от «треугольника» жил бродячий фотограф; взвалив на спину громадную камеру-ящик, он рыскал по городу в поисках заказчиков.

¹ Дорогой (груз.).

Так как день выдался для него неудачным, он решил любой ценой сфотографировать Мкртычей и таким способом поправить свои дела. И хотя Мкртычи сниматься не любили, на сей раз согласились, лишь бы избавиться от докучливого фотографа. Так появился групповой снимок.

Света было мало, лица получились блеклыми, но эта случайная фотография имеет для меня сегодня особую ценность. Фотография с изображенными на ней людьми, с их внешностью, позами, изрядно пожелтевшая, фотография эта истинно армянская, а почему, я и сам не могу сказать. Это можно почувствовать только особым чутьем, если оно есть у вас.

С карточки вытаращенными глазами прямо в объектив, как учил фотограф, смотрят пятеро Мкртычей. «Смотрите, это мы — кузнецы!..» — словно говорят они.

Посередине мой отец. Светлые глаза, длинная шея, которую на фото он вытянул еще больше, темные волосы, зачесанные набок, плоский нос, как перегородка в нашей комнате, в руке у него молоток.

Справа от отца присел на корточки Васо, показывая рукой на пустую бутылку. Пышные усы закручены вверх. Да, лицо у него было все в голубых прожилках, напоминающих реки на географической карте.

По левую руку от отца присел Гаспар. Небольшого роста, плечистый, с улыбающимися хитрыми глазами, вокруг которых, как лучи солнца, расходятся морщины, рот полон золотых зубов, под круглым животом — серебряный пояс, в руке у него лошадиная подкова.

За ними стоят чумазый Мко и Варпет Мкртыч.

На плече у Мко самый большой молот кузницы. Мко квадратный, громоздкий, с жилистой шеей, с крупными руками, напоминающими большую и сложную машину. В свое время его могучее телосложение помогло мне сделать ряд открытий. Глядя на Мко, я впервые узнал, что у человека столько вен и мышц. Я поражался и тому, когда же успел Мко в свои двадцать два года приобрести такие мускулы? От любого незначительного движения мышцы на его теле начинали ходить ходуном.

Его большие глаза с черными, как уголь, зрачками раскрыты насколько возможно. Волосы, зачесанные по моде «ласточка», закрывают неширокий лоб. На вечно небритом лице маленькие усики, затерявшиеся в густой, обильной щетине. Так запечатлен на фотографии Мко,

если не обращать внимания на его уши. А на уши Мко, вернее на одно ухо, стоит обратить внимание, так как оно приоткрывает тайную страницу из жизни «треугольника». У Мко отсутствует половина уха. Ее исчезновение скрыто завесой таинственности. С Мкртычами, живущими дружно, однажды случилось непонятное не только для окружающих, но и для них самих происшествие. Они подрались. Крепко заперев изнутри дверь «треугольника», устроили свалку и, устав, заснули. Проснувшись наутро, ничего не помнили и вряд ли поверили бы случившемуся, если бы не потерянная половина уха Мко. В «треугольнике» ее не нашли. Это происшествие они не любили вспоминать. А Васо всю вину свалил на вино, утверждая, что оно было отравленное, бешеное.

Но самое удивительное то, что пострадал лишь один человек — самый сильный в «треугольнике».

Рядом с Мко Варпет Мкртыч в своем бесподобном одеянии.

Ну конечно, я тоже пристроился возле отца, хотя найти меня на снимке не так уж просто. В темноте на фоне колен отца видны только глаза да белозубая улыбка.

И хотя кузнецы тогда казались мне пожилыми людьми, самому старшему из них, моему отцу, было едва ли сорок лет.

ИНТЕРВЬЮ В «ТРЕУГОЛЬНИКЕ»

Варпет Мкртыч бывал даже в Америке.

«А что он делал в Америке?» — думал я и давал волю воображению: человек с такой внешностью мог работать в Голливуде или быть владельцем казино.

— Варпет Мкртыч, — как-то спросил я его с надеждой услышать необычное. — Что ты делал в Америке?

— Работал, — помедлив, ответил Варпет Мкртыч.

— В Сан-Франциско?.. — Я подался к нему.

— Почему в Сан-Франциско?..

— Я хотел сказать — в Голливуде?

— Нет, я не был в Голливуде.

— А где еще есть киногород?

— Почему обязательно киногород?

— Тогда казино?

— А почему казино?

Меня словно окатили холодной водой. И я начал рассказывать все таинственные истории о казино, которые вычитал в книгах.

Варпет Мкртыч внимательно слушал.

— Очень интересно, — заключил он, когда я кончил. — Я люблю занимательные истории. Расскажи, что ты еще знаешь...

Я начал с воодушевлением рассказывать о звездах Голливуда — Дугласе Фербенксе, Бестере Китоне и Мэри Пикфорд. Потом перешел к таинственному преступному миру Парижа.

— Молодец. Видно, ты много читаешь... Я уважаю начитанных людей... — похвалил Варпет Мкртыч.

Всю силу своего воображения, все ожидание ответного откровения я растратил на свой рассказ и сейчас успокоился.

Немного погодя я спросил — так, будто и я тоже приехал из Америки:

— Варпет Мкртыч, а что ты там делал?

— Я?.. Да ничего... кузнечил...

— Как! — удивился я. — В Америке?..

— Да.

— В Америке есть кузницы?

— Разумеется.

— В Нью-Йорке?

— Да почему обязательно в Нью-Йорке?

— А где же?

— В Сенеке была большая конюшня, мы ковали там лошадей.

— Как... ты работал в конюшне?

— Нет, в маленькой кузнице.

В голове у меня никак не укладывались, не совмещались Сенека и конюшня.

— Варпет Мкртыч, ведь Сенека — древний римский философ.

— Правда? Интересно!..

— А где еще ты работал?..

— Где еще?.. Да месяца два кузнечил в Бернсе.

— В Бернсе?

— Да, Бернс немного южнее Сенеки.

— Бернс — английский поэт!

— Да ну! Интересно!

Странно, думал я, до сих пор я не знал, что в Америке существуют города Бернс и Сенека. А Варпет

Мкртыч не знал, что есть такие великие поэт и философ.

— Варпет Мкртыч, а в Шекспире ты не работал?

— В Шекспире?

И Варпет Мкртыч начал беззвучно смеяться, сохраняя свое всегдашнее достоинство.

— Нет, я видел «Отелло» Шекспира...

Я попал впросак. И ничего уже не понимал.

— Где, в Сенеке?..

— Почему в Сенеке, я видел в городе Ван в исполнении Ваграма Папазяна... О достопочтенный Ованес, такого я больше в жизни не видел. Какое чудо!..

Варпет Мкртыч оперся локтями о ручку молота и устремил взгляд в темный угол кузницы.

— Ван!.. Папазян!..

«ТРЕУГОЛЬНИК» И «ПАГАНИНИ»

Когда я, задержавшись в музыкальной школе немного дольше обычного, со скрипкой в руке вошел в «треугольник», взоры всех Мкртычей обратились ко мне.

Смотрели они как-то необычно. «Что-то случилось»,— подумал я, разглядывая их приветливые лица.

— Совсем уж заждались тебя,— сказал Васо.

— Достопочтенный Ованес, прими мой подарок,— торжественно, как стихотворение, продекламировал Варпет Мкртыч и подал мне старинную книгу с позолоченным обрезом. Это был «Хент» Раффи.

Подошел Мко и молча расцеловал меня в обе щеки. На них остались следы сажи.

— Мко, опять ты не умывался?— спросил отец, нарушая общее настроение.

— Так в субботу же в баню пойду!— виновато пробормотал Мко.

— Многоуважаемый Мко, знаешь ли ты, что от этой сажи и копоты можно заболеть раком?— объяснил Варпет Мкртыч.

— Почтенный Васо... — продолжал он, но кузнец Гаспар прервал его:

— Погодите-ка, братцы, вы, никак, уже забыли, зачем сидим здесь?

— Нет, чириме, мы Ванечкин концерт хотим послушать.

— Да. Ага!

— Так побоку все остальное!

— Сынок,— обратился ко мне отец с достоинством, внушившим мне страх, — достань-ка скрипку да покажи им, на что ты способен!

У меня перехватило дух. Настроение сразу же испортилось. Так вот в чем дело! Это же настоящее предательство! Едва я кончил свои мучительные занятия в школе, а Мкртычи опять принуждают меня к этой пытке. Я не успел ничего сказать, как отец, достав скрипку из футляра, быстро вложил ее мне в руки.

Я умоляюще посмотрел вокруг, надеясь встретить хоть чей-нибудь сочувствующий взгляд. Но все лица выражали предвкушение удовольствия.

— На слух играть не умею,— неожиданно признался я.

Воцарилась необычная тишина. Заметив испуганный взгляд отца, я продолжал мягче:

— Я по нотам играю.

— Да уж, братцы, сынок мой с бухты-баряхты не играет, он по-ученому! — объяснил отец своим товарищам, и к нему вернулось прежнее настроение.

— Ничего, парень,— сказал кузнец Гаспар. — Ты давай играй и не думай, что мы в твоих нотах ничего не кумекаем, ты только играй...

Недовольно бормоча, я прислонил ноты к кузнечному меху и открыл первую страницу «32-х упражнений для скрипки».

— Ты забыл настроить скрипку,— напомнил кузнец Гаспар.

— Мне все равно,— пробурчал я.

— Он и без настройки умеет играть, это тебе не сазандар¹, которому надо настраивать... — вмешался отец.

Все напряженно ждали. Я в отчаянии опустил смычок на струны скрипки. Я и раньше извлекал из нее множество самых невероятных звуков, но эти испугали даже меня. Тем не менее я начал играть упражнения. Это было утомительное повторение четырех нот снизу вверх и сверху вниз.

Краешком глаза я смотрел на моих слушателей. Они были расстроены.

— Джа-ан!.. — вдруг протяжно выкрикнул Мко, словно слушал игру на зурне. Ему явно хотелось подбодрить, помочь мне.

¹ Исполнитель на сазе — народном инструменте.

Порядком устав, я прекратил игру.

Мкртычи молчали, боясь сказать что-нибудь неупад, обидеть меня.

— Добро, братец, ей-богу, хорошо. Культурно играешь. А ты думал, не пойдем?.. Ну нет, мы в этом разбираемся. Ты не смотри, что мы дамрчи, ведь и струны твои дамрчи делал.

— Трудно играть на скрипке... Да ничего, со временем он возьмет свое,— наконец произнес самые разумные слова Варпет Мкртыч, и я, успокоившись, положил скрипку в футляр.

Чтобы сгладить как-то впечатление от моего концерта, Васо, обняв за плечи Мко и Варпета Мкртыча, запел грузинскую песню. Отец подхватил ее, но вскоре, воодушевившись, сбился и запел свою любимую турецкую.

Чуть позже каждый уже пел свою любимую песню, всячески стараясь заглушить соседа.

— Ну и ну!.. — опомнился Васо. — Впятером шесть песен поем... А нужно, чтобы сто голосов пели как один, да так, чтоб потолок рухнул... Вот в этом умение!..

ЛЮБОВЬ В «ТРЕУГОЛЬНИКЕ»

Мко стоял, опустив голову, у ног его лежала кувалда, и вид у него был совсем отрешенный.

— Мко, в чем дело?— спросил отец.

Мко очнулся и, подняв кувалду громадными ручищами, со всего маху опустил на раскаленное железо.

— Да ты что, никак очумел?!— рассердился отец.— Это же подкова, не видишь, погляди, во что превратил! — И бросил расплющенное железо снова в горн.

— Уж не влюбился ли парень?— засмеялся Васо.

Лицо Мко стало жалким. Заметив это, Васо пристал к нему:

— Ей-ей, влюбился!

Отец начал смеяться. Рассмеялся и я. Мко не двигался.

— Погодите, что тут смешного?.. Человек создан для любви!.. — сказал Варпет Мкртыч и, отложив в сторону молоток, сел рядом со мной.

— А то как же,— согласился отец. — Время ему уже обзаводиться женой. Создать достойную семью.

И отец с Васо тоже подсели к нам.

— Ну-ка выкладывай, что у тебя там,— начал допрашивать мой отец.

Мко только вздохнул.

— Да в этом ничего постыдного нет, погляди-ка, ведь все мы люди женатые. Один лишь ты бобылем ходишь...

— Скажи, кто она, а дальше мы поведем дело сами,— сказал Васо. — Да заговоришь ли ты наконец!

— Подождите, надо все по порядку, такие дела на бегу не делаются,— посоветовал Варпет Мкртыч.

— Чего там ждать, глядишь, и без второго уха останешься,— засмеялся Васо. — И что это за баба такая, что соглашается за одноухого пойти?! Моей жене двух моих ушей не хватает для ее болтовни...

— Может, замужем она, Мко джан?— подумав, спросил Варпет Мкртыч.

Лицо Мко просветлело.

— Не-е... — ответил он.

Мко почему-то побрился сегодня, и лицо его напоминало странную маску. Лоб и нос оставались черными, а выбритые щеки и подбородок сделались белыми. И на первый взгляд казалось, что на лице у Мко огромный смеющийся рот.

Отец сказал что-то по-турецки. Всегда после этих слов меня выпроваживали. И поэтому я догадывался, что они означают, хотя отец говорил по-турецки именно для того, чтобы я не понял. Дав пустяковое поручение, выдворили меня из кузницы.

К тому времени как я вернулся, совещание Мкртычей закончилось.

На следующий день в кузнице никто не работал. Все были на местах, кроме Мко.

Вскоре появился и Мко. А с ним русская женщина.

Я удивленно смотрел на нее. Она была похожа на рисунок, намалеванный ребенком. Волосы огненно-рыжие, глаза светло-голубые, губы бантиком и так густо намазаны, что похожи на красное кольцо. Тонкие руки беспомощно висят, на ногах беленькие носочки.

Я засмеялся. Мко испуганно посмотрел на меня.

Да, никогда я не представлял себе любовь такой.

В кузнице все умолкло, словно похолодело.

Мкртычи не двигались. Не двигались и Мко со своей подругой.

По всему было видно, что нашим она не понравилась. Но в этой их неприязни было какое-то зловещее изумление.

— Садитесь,— я вскочил, предлагая свое место на старой наковальне.

Женщина села на краешек наковальни, руки положила на колени и с растерянной, виноватой улыбкой начала по очереди рассматривать всех нас.

Молчание стало невыносимым.

— Мко, здравствуй, что с тобой, куда ты пропадал?— неожиданно спросил отец. Хотя я знал, что утром они вместе ходили в баню.

— Я... а вот Луба... — Мко указал в сторону женщины. Женщина посмотрела на него и по-детски улыбнулась. Они поняли друг друга.

— Ну а работать-то будешь или тебе сегодня неохота?— спросил отец таким официальным тоном, какого я от него никогда не слышал.

Мко остолбенел.

— Ну я пошел, полдень уже,— сказал Гаспар и, смущенный, вышел.

— Сейчас начинать работу?

Отец хранил деловитое молчание.

Мко подошел к Любе, взял ее за руку, с нежностью посмотрел ей в глаза и тихо сказал:

— Пойдем, Луба...

Люба поднялась с места. Держась за руки, они направились к двери. На белом платье Любы остался след от наковальни.

Мне хотелось фыркнуть, но я почему-то не засмеялся: вдруг стало жалко их.

У дверей Люба обернулась, улыбаясь, кивнула нам и вышла.

— Видели такого балду?! — тотчас вспыхнул отец. Васо залился смехом.

В кузницу влетел Гаспар, будто прятался неподалеку за дверью:

— Видели, какую выискал? На кого она похожа, с ног до головы крашенная, хоть бы красивой была!.. Где он эту рыжую нашел?!

Все рассмеялись: и в самом деле было смешно. Даже Варпет Мкртыч ухмылялся себе под нос. А я почему-то загрустил, хоть и у меня на лице была улыбка — не выделяться же среди Мкртычей. Загрустил я оттого,

что Люба и Мко такие тихие. Загрустил оттого, что их можно легко обидеть. И наконец, оттого, что на Любном платье остался след от сажи.

Вскоре вернулся Мко.

— Да что ж это такое!.. С ней собрался семью создать? — напал на него отец.

— Где работает? — злорадно продолжил Гаспар.

— Где ты познакомился с ней? — завершил Васо.

— Луба, это... посуду в столовой моет, — сказал Мко, и улыбка начала медленно сходиться с его лица.

— Мко, братец, да я тебе такую девушку в Кахетии найду, словно царица Тамар!..

— Вы хоть в зеркало поглядите, когда рядом стоите, — разве вы пара? — заключил отец.

Я стоял за спиной у Мко и видел, как побагровели его здоровое ухо и уцелевшая половина второго.

— Нет, братец, я на это несогласный. Встречусь с ней, даже здороваться не стану! — Ну, это Гаспар переборщил, конечно.

— Ноги моей в твоём доме не будет! — закричал отец.

И вдруг все разом смолкли. Пораженные, смотрели на Мко.

Я не понял, что произошло. И только когда Мко вернулся ко мне лицом, я увидел на его глазах слезы.

Отец, словно испугавшись, торопливо вытащил раскаленное железо из горна, положил его на наковальню и, ударив маленьким молотом по краю наковальни, дал этим знак начинать работу.

Остальные Мкртычи медленно, будто виноватые, стали по своим местам.

Мко неистово работал молотом, и с каждым ударом из его груди вырывался мощный выдох:

— Хххэ!.. хххэ!..

Я смотрел на Мко, и мне казалось, что я понимаю язык его ударов. Казалось, молот говорил: «Толкуйте как вам угодно, все равно я люблю Лубу... Нет лучше ее девушки...»

— Хххэ!..

«Говорите что вам угодно... Жизнь за нее отдам»,

— Хххэ!..

«Лубочка моя... Ненаглядная... жизнь моя!»

— Хххэ!..

По щекам Мко катились капельки. Слезы это или пот, трудно было понять.

Больше отец не заводил речь о Любе.

Но как много может сказать Мко своим молотом!

Мко стал меняться на глазах. Он сделался мрачным, каждый вечер куда-то исчезал, а когда находился среди Мкртычей, тоже будто отсутствовал.

И однажды вечером Мкртычи собрались на «чрезвычайный» совет. На завтра, закончив работу, они начали издалика.

— Ну и здорово мы пошутили тогда, а?— обратился отец к кузнецу Гаспару, поглядывая, однако, в сторону Мко.

— Да уж ты у нас шутник, Уста Мукуч...

— Заводить ты умеешь!

Я начал догадываться, что они задумали, и мне захотелось принять участие:

— Люба немного похожа на Мэри Пикфорд...

Варпет Мкртыч посмотрел на меня с одобрением.

— Мне в Сенеке нравилась одна негритяночка... Черна была как уголь, но хорошая девушка... Если бы я остался там, обязательно женился бы...

В лице у Мко что-то дрогнуло. Отец воодушевился.

— Кстати, Мко, как там у тебя с Любой?..

Мко поднял голову.

— С Лубой?

— Что ты за человек, привел ее раз и пропал! Разве так делают?— сказал Васо.

— Коли жениться решил, так делай по-человечески, как подобает дамрчи.

— Ты только скажи, мы все тебе устроим!

— Ну что пристали к человеку, может, он жениться и не собирается, может, он просто так!..

Наконец Мко улыбнулся.

Мкртычи обрадовались. Камень свалился у них с сердца.

И в субботу Мкртычи, нарядные, на двух разукрашенных фаэтонах отвезли Мко и Любу в загс.

Было решено, что, пока им не подыщут комнату, они будут жить в кузнице.

И в дальнем углу нашего «треугольника», или, по-иному, в глубине кузницы, расположились Мко и его жена Люба.

В «треугольнике» запахло одеколоном.

Уж очень это необычный для кузницы запах. Благоухание одеколона было особенно сильным по утрам, когда Мкртычи только открывали двери, затем понемногу уменьшалось и к вечеру уступало место традиционному запаху горна и раскаленного железа.

Непривычно чистым стал наш «треугольник». И сделался чуточку женским. И Мко тоже всегда был чистым. И вообще он стал неузнаваем. Часто напевал что-то себе под нос. Иногда он хватал меня под руки и поднимал под потолок. Было немного обидно: ведь не ребенок я уже... Но обижаться на Мко грех.

По утрам Мкртычам стоило большого труда отобрать у Любы тряпку, которой та пыталась стереть сажу с поковок, с наковальни и с закопченных стен.

— Доченька, ведь наковальня не самовар, что ты ее драишь, завтра снова закоптится! — убеждал отец.

— Хватит, хватит, сестра! — горячился Васо. — Да она, братцы, скоро на вас белые фартуки наденет!

А Люба говорила: «Минуточку», — и пыталась стереть хоть еще один сантиметр копоти.

Мко был в восторге.

Варпет Мкртыч каждый день приходил с букетиком цветов.

Любино присутствие в «треугольнике» изменило что-то существенное, мне казалось, что Мкртычи иначе стали относиться друг к другу.

Эта пятница навсегда осталась у меня в памяти. Мкртычи только еще начали разжигать огонь в горне, когда в кузницу вбежал бледный товарищ Мартиросян — председатель нашего правления. Я его прозвал «Лимон», потому что нижняя часть тела была у него широкой и полной, а сверху он сужался: немощные плечи и голова величиной с булавку.

— Вы погубить меня хотите, а?.. — запыхавшись, кричал он. — Посылаю людей за вами и домой, и в кузницу!.. Куда вы пропали?..

Мы ничего не поняли, удивленно смотрели на него. А товарищ Мартиросян прямо подошел к расчетной

таблице, висевшей на стене, и ножом начал соскабливать с нее имя Варпета Мкртыча.

Потом отправился к другой доске, где было написано: «Ударники», а ниже — фамилия отца и Варпета Мкртыча. После напрасных усилий стереть фамилию Варпета Мкртыча он сорвал всю доску со стены и, взяв ее под мышку, пошел к двери.

— Вечером собрание будет. — Он, видно, немного успокоился, сорвав доску. — Чтобы все пришли. Мкртыч Пахалпаджян ночью арестован...

И ушел.

— Что он сказал?—спросила Люба, разглядывая наши удивленные лица.

Никто ей не ответил. Я подошел и шепнул:

— Он сказал, что Варпет Мкртыч арестован!

— Что?!

Люба, как подкошенная, села. Я живо представил себе Варпета Мкртыча в маске, с бомбой в руке, похожим на тех злодеев, каких я видел в кино.

Огонь в горне потух.

Отец взял спичку, чтобы снова разжечь огонь, но помедлил и отшвырнул коробок.

— А что он сделал?—спросила Люба и почему-то посмотрела на меня.

Я пожал плечами.

— Мко, узнай! — обратилась она к мужу.

Мко посмотрел на моего отца.

— Поглядим, небось где-нибудь и наша помощь потребуется,—утешал себя отец.

— И я так думаю. Надо выяснить, что такого сделал Варпет Мкртыч...

— Да бросьте, братцы... Что мы можем?.. Человек был в Америке... Зря только беду на себя накличем...— весь съежился Гаспар.

— Нет, а я думаю, что мы должны пойти и рассказать, как работал Варпет Мкртыч... Верно, спутали его с кем-нибудь... — воодушевился Васо.

— Говорю вам — бросьте!.. Не нашего ума это дело...

Мко молча направился к двери.

— Куда ты, Мко?—спросил отец.

— К председателю.

— Да ты что, не понял — мы тоже идем, — укорил его отец и, сняв с себя кожаный фартук, присоединился к Мко.

— Пошли,— повернулся Васо к Гаспару.

— А здесь кому-то надо остаться или нет?.. — тоненьким голосом обиженного человека заявил Гаспар.

Оставшись один, Гаспар посидел, подумал, потом начал ходить из угла в угол, жадно куря.

— Ну что я могу сделать?.. — говорил он громко, словно пытался сам себя убедить в чем-то. — Кто станет меня слушать и что я могу сказать?..

Потом и он ушел. Я с опозданием побежал в школу, оставив в «треугольнике» Любу.

Из школы я прибежал в кузницу. Мкртычи еще не вернулись.

Люба сидела одна. Мы стали вместе ждать. Я спрашивал у Любы значение некоторых трудных русских слов. Многих она, оказывается, не знала.

— Что такое «конduit»? — спросил я.

Люба пожала плечами.

— Разве это не русское слово? — удивился я.

— Русское.

— И ты не знаешь?

— Нет.

— Разве ты не русская?

— Русская.

Я был поражен. А потом мне стало смешно. Как может русская не знать русского слова?..

И Люба смеялась вместе со мной.

Я вспомнил Варпета Мкртыча и загрустил.

— Они придут все вместе, да? — спросил я и сам же ответил: — Конечно!

Потом я стал перелистывать книгу, оказавшуюся под рукой. «Анагоруйн», — прочитал я там. Что значит «анагоруйн»¹, я не знаю. А вот и второе слово. И опять неизвестное мне. Я начал громко смеяться.

— Люба, оказывается, я тоже не знаю армянских слов!

И опять засмеялся. А потом снова загрустил.

Грусть и радость не ходят порознь. Интересно, что претягивает в жизни человека? Рождается он — радость, умирает — грусть. Человек от природы ограничен уже двумя пределами: радость, грусть.

¹ Анагоруйн (арм.). — малоупотребляемое слово, обозначающее «жестокый», «бессердечный».

Мкртычи вернулись очень поздно. Варпета Мкртыча с ними не было.

Они молчали. Я спросил — не ответили. В нашем «треугольнике» еще никогда не было так тихо.

«ТРЕУГОЛЬНИК» ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ВОЙНЕ

В нашем дворе радиоприемник был только у портного Вардана. И до сих пор я помню давнее ощущение, что причиной всех тех несчастий, которые принесла война, был приемник портного Вардана.

Я был воодушевлен, так как находился под впечатлением фильма «Если завтра война».

Полетят наши самолеты, разгромят врага и победят! Только бы мне успеть принять участие в войне.

— Чему ты радуешься, сынок,— сказал мне отец.— Война не шутка... Где тебе знать, что такое война!..

Я не мог усидеть на месте. Мне хотелось с кем-нибудь поговорить. И я помчался в кузницу.

Дверь в «треугольнике» была не на запоре, но открыта. Мостовая перед дверью подметена и полита водой. Значит, Мко проснулся.

Я вошел — и замер.

Утреннее солнце сквозь щель ножом вонзилось в дальний угол «треугольника», туда, где жил Мко. Занавеска сделалась прозрачной, и я увидел: Люба приложила огромную руку Мко к своей щеке и гладит ее своими тонкими белыми пальцами. Рука Мко походила на бесформенную массу металла и была гораздо больше Любиной щеки. Потом Люба стала целовать загрубевшую ладонь Мко. Потом Мко легко поднял Любу на руки и своим массивным квадратным подбородком, своей щекой начал гладить, ласкать Любино лицо, подбородок. Люба что-то шептала, но я не слышал что, ее голос словно обволакивал стрелы света, проникавшие сквозь щели...

Я пулей выскочил из кузницы и бросился бежать. Бежал, обгоняя собственные мысли... Скорее это были не мысли, а целые картины, сменявшие одна другую и улетавшие куда-то в сторону.

Необычный день сегодня. Война... Поцелуй... Солнце... И все в одно утро. Точнее, в один час.

Я устал и замедлил бег. Устал и повернул назад. Мкртычи уже работали. Гаспар сидел на закопченном

чурбаке. Мко был таким же молчаливым, каким я его знал всегда... Лица у всех напряженные, внимательные.

Темнота, черный цвет и молчание похожи друг на друга. И мне всегда казалось, что перестук молотков разгоняет темноту, разламывает ее, крошит на куски... Мне всегда казалось, он освещает кузницу.

И сейчас, будто желая развеять свое мрачное настроение, Мкртычи чаще стучали молотами.

Гаспар попытался шутить.

— Уста Мукуч, пора бы тебе усы сбрить.

Отец обернулся.

— Нашел время трепать языком!

— Нет, время подходящее. С такими усами ты на Гитлера похож!

Но отец был занят другими мыслями.

— Николаевским солдатом я был... С турками воевал... Потом и против царя воевал... Два дня был меньшевистским солдатом... Потом и против этих меньшевиков дрался... Еще четыре дня дашнаком был... Потом и с дашнаками воевал... Немцев вот не видел, ну теперь и на них погляжу...

— Отвоевал ты свое, годы уже не те,— сказал Гаспар.

— Кто, я?.. Ты на кулак мой погляди!..

Ночью я выглянул в окно.

Город спал, будто не было никакой войны. А мне казалось, что теперь должны перемешаться день и ночь.

Утром я пошел в кузницу с отцом.

Мко с Любой стояли в дверях.

Мко одет был в лучшее, как на праздник: черный костюм, черная сатиновая блуза и кепка с большим козырьком, которую мы называли «аэродром». У него обшарпанный чемодан, густо обмотанный веревками.

— Мко, куда это ты собрался?— с тревогой спросил отец.

Мко посмотрел на Любу. У Любы глаза были полны слез. Она прижалась к руке Мко.

— Пойду я,— сказал Мко.

— Куда, скажи на милость?— спросил отец и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Что, боишься — забудут о тебе? Или от нас бежишь?

Простодушная улыбка Мко была ответом на эти слова.

— Без вас мне жизни нет... Однако я должен пойти.

И только тогда до меня дошло, что я теряю очень дорогого мне человека, что я теряю годы из своей собственной жизни — и навсегда.

Вошли Васо с Гаспаром.

— Уже?— спросил Васо.

— На фронт?— спросил Гаспар.

— Уже призывали?— спросил Васо.

Мко на все вопросы отвечал кивком, хотя мы знали, что его еще не призывали.

— Ты сейчас же и пойдешь?— спросил я.

— Да.

— За жену можешь не беспокоиться. Она нам как сестра,— сказал отец.

— Она со мной идег,— объявил Мко.

Я опешил. И Мкртычи как-то разом замолчали. А потом принялись кричать, перебивая друг друга:

— Да ты совсем сдурел?

— Слыханное ли дело — жену на фронт таскать?..

— Рассказать бы моей жене — решит, что я спятил!

— Да нет, он же шутит, нас разыгрывает... А мы и поверили!

Мко краешком глаза посмотрел на Любу.

— Я иду с ним,— сказала Люба.

Мкртычи окончательно онемели.

На следующий день группа новобранцев с чемоданами, узлами и хурджинами двинулась к вокзалу. Провожających было больше, чем уходящих. Я с тремя Мкртычами был в толпе провожавших.

— Мкртыч Дживанян, запевай!— скомандовал военный, заглянув в список, который держал в руке.

Я сначала удивился, потом засмеялся. Более нелепого приказа я себе не представлял. Где уж этому военному знать, что Мко за день едва ли произносит одну фразу, а песню поет только одну — о «любимой» — и то мурлычет себе под нос.

Мко растерянно посмотрел на Любу. Люба что-то говорила ему, убеждала... И когда вторично прозвучало: «Дживанян, запевай»,— из группы новобранцев слы-

шался женский срывающийся голос. Я покраснел и готов был от стыда провалиться сквозь землю.

К этому голосу присоединился Васо. Потом и отец. Я еще больше съежился. Послышался смех. Но постепенно, сначала вразнобой, потом все лучше новобранцы подхватили песню и допели ее.

Они не были еще солдатами. Они только становились ими.

Отец шагал так, словно он уже был солдатом. Широко, с высоко поднятой головой, гордый.

Поезд отошел, затем стал уменьшаться, наконец превратился в точку и исчез. В поезде было много молодых. В поезде были Мко и Люба.

Как я ни старался не заплакать, ничего не вышло. Предательские слезы текли по моим щекам, хотя я и кривил рот, изображая улыбку, и время от времени глотал соленые капельки. Краешком глаза я посмотрел — и увидел: у троих Мкртычей были влажные глаза и на щеках размазана Любина губная помада.

Угол в «треугольнике», где помещались Мко с Любой, опустел.

«ТРЕУГОЛЬНИК» ПРИНИМАЕТ ПАРАД

В «треугольнике» осталось всего три Мкртыча, а работы прибавилось. Поступали уже и заказы для фронта. Вместо доски с надписью «Ударники» повесили доску «Тысячники». На ней были все три фамилии. Заказы для фронта поступали от кавалерийской части, стоявшей в городке. Для них делали подковы. Мкртычи очень гордились этим, и в нашем «треугольнике» часто повторялась фраза — «заказ для фронта».

После уроков я помогал Мкртычам: раздувал мехи. Особенно хорошо было работать в холодные зимние дни. Лицо у меня становилось багровым, и я уже смотрел на Мкртычей иначе, их глазами.

Из кавалерийской части приходил к нам старший сержант Петр Перекопский. Это он приносил и оформлял заказы для фронта. Фамилию его знал только я. Мкртычи звали его просто Петя.

Вместе с острым запахом Петиних кирзовых сапог в кузницу входило оживление. Все становилось для ме-

ня простым и ясным: жизнь, мир, война, смерть... И мне казалось, Мкртычам тоже.

Каждую субботу Петя водил свой взвод мимо кузницы в баню. Заслышав еще издали дружную солдатскую песню, Мкртычи радовались. Взвод приближался к нам. Петя командовал: «Вольно. Разойдись» — и ребята бежали в кузницу. Грелись у горна, курили, наполняя кузницу запахами махорки и сапожной ваксы.

С особой почтительностью Петя изучал длинные усы дяди Васо. Вскоре выяснилась и причина — оказывается, Петя тоже начал отпускать усы. Но почему-то были они у него редкие, волосы торчали, как иглы у ежа. Петя ужасно был огорчен. И часто с мечтательной завистью смотрел на усы Васо.

— Дядя Вася, разреши потрогать твои усы,— попросил как-то Петя.

— Пожалуйста,— согласился Васо и, покрутив ус, вытянул вперед шею, демонстрируя свою красу.

Петя осторожно погладил роскошные дяди Васины усы и удовлетворенно сказал:

— Спасибо.

Потом сел и еще полюбовался на них издали.

Не знаю, что было тому причиной — усы или что-то другое, но Петя еще больше подружился с Васо. Теперь Васо навещал кавалеристов, помогал Пете носить подковы и ковать лошадей.

Постепенно Васо стал появляться у нас сначала в сапогах, потом в галифе, фуражке и вскоре работал в кузнице над заказами для фронта в полной воинской форме.

Мы получили письмо от Мко и Любы. Письмо Мко читал я. Мкртычи, торжественно приостановив работу, окружили меня и внимательно слушали.

Письмо было написано на наречии Мкртычей, но я во время чтения редактировал его как мог.

«Мои дорогие и незабываемые Уста Мукуч-джан, Васо-джан, Гаспар-джан, Овик-джан. Первым долгом поклон вам и вашим семьям от меня и Лубы. Если вы спросите о нас, то мы живы-здоровы, чего и вам желаем.

Луба со мной. Она санитарка. От меня никуда не отходит, где бы я ни был — под огнем, под пулями. Скоро в наступление. Я не посрамлю своей чести. Сделаю все, что могу. Только вот за Лубу не спокоен».

И вся оставшаяся страница письма посвящена была Любе.

В конверте было и второе письмо, написанное Любой. Хотя Мкртычи ценили мои познания в русском языке, однако читать письмо отдали Пете.

Любино письмо начиналось все теми же пожеланиями и приветами, а остальное было о Мко.

Петя кончил читать и загрустил. Даже чужие письма всегда напоминают о своих, о близких людях.

— Что за девушка Люба! — мечтательно сказал отец. Больше от Мко и Любы писем мы не получали.

Всему приходит конец. Пришло время, когда кавалерийская часть, а вместе с ней и Петя отправлялась на фронт. Накануне их ухода мы издали услышали солдатскую песню.

Мкртычи выбежали из кузницы.

Петин взвод подошел к «треугольнику», и, когда строй поравнялся с нами, Петя скомандовал:

— Взво-од!

Солдаты — руки по швам — четко отбивали шаг.

— Равнение на... кузницу! — скомандовал Петя, и лица кавалеристов обратились к «треугольнику». Слово на параде, Петя поднес руку к козырьку, отдавая честь Мкртычам.

Васо тоже поднес руку к фуражке. Губы у отца дрожали от гордости и, наверное, от каких-то других чувств, нежных и красивых...

ЭПИЛОГ

Фронт. Служба в оккупационных войсках в Германии. И после долгого отсутствия я вернулся наконец домой.

В «треугольнике» оставался только мой отец.

Кузнец Гаспар, шагая по улице, вдруг упал и умер.

Васо уехал в Кахетию, и от него больше не было вестей.

— Видно, скончался, сынок, — сказал отец. — А то без кузни не смог бы жить.

Отец работал больше для видимости. Просто он не находил себе места без «треугольника».

Отец постарел. Постарел и «треугольник», как-то по-линял и съезжился. Даже огонь в горне был уже не тот. А мехи стонали изношенной кожей, дышали едва-едва, с чахоточным хрипом.

И мне почудилось, что из древних закопченных стен, из груды железа донеслось пиликанье скрипки и протяжная, успокаивающая душу человека музыка дудука. «Треугольник» словно осветился, и мне послышался говор Мкртычей. Я живо представил моего любимого Мко с его ясными глазами и Любу — они держались за руки, словно дети, переходящие улицу. Мне даже почудился запах Любиного дешевого одеколона. Этот запах, как и она сама, был наивен и прост. Я представил себе Варпета Мкртыча в его котелке, пиджаке и галстук бабочкой.

Многое изменилось в городе, и многим казалось чудом, что «треугольник» еще цел.

— Пока не снесут, буду ходить сюда; не сидеть же мне сложа руки... — говорил отец. — А то кому они нужны — эти печные ножки да пара подков, сынок. На днях Карлен взял меня с собой на их завод... Помнишь ты Карлена?.. Нажмет пальцем на кнопку — двухтопный молот так ударит, что...

Но до того как снесли «треугольник», произошло еще одно чудо.

Шел дождь, мы с отцом сидели в кузнице — и в проеме двери выросла фигура Варпета Мкртыча.

Котелка, красовавшегося на голове, было достаточно, чтобы сразу узнать его даже после стольких лет разлуки.

Вместо пиджака на нем был ватник. Держался Варпет Мкртыч все так же прямо, но волосы его поседели.

Картины, мысли, люди, затянутые дымкой времени, пока они совсем не исчезли, несут с собой неповторимые жесты, цвета, запахи. Варпет Мкртыч был осязаемо реален сейчас в своем засаленном котелке, даже каждая дырочка в ватнике, даже запах тела — все было его, Варпета Мкртыча.

И прошлое со своими взлетами и падениями, все мои воспоминания о давнем тоже вдруг стали осязаемыми.

И мне захотелось, чтобы все Мкртычи и Люба увидели бы сейчас Варпета Мкртыча, оправданного, освобожденного от всех обвинений.

Зима выдалась в тот год необычайно холодной. Отец, не болея, слег в постель.

— Отдохну немного,— сказал он.

Через несколько дней Варпет Мкртыч тоже занемог, и его поместили в больницу.

— Как там Варпет Мкртыч? — спрашивал отец.

— Хорошо. Уже ходит,— обманывал я.

— Как Уста Мукуч?— спрашивал Варпет Мкртыч.

— Прекрасно. Тебя ждет... Только сердце щемит,— улыбался я.

Они умерли в один день. Спокойно, мирно.

Когда я вернулся домой из больницы с известием о смерти Варпета Мкртыча, отец спросил:

— Ну как?..

Я смотрел в глаза отца и не мог сказать о случившемся.

— Очень хорошо,— ответил я.

Отец промолчал. Вечером он побрился. Потом повернулся к стене и заснул.

Так умер мой отец, последний Мкртыч «треугольника».

Когда я узнал, что сносят кузницу, я бросился туда.

«Треугольник» захлестнули стальным тросом, бульдозер зарычал, набычился и потянул. Старый «треугольник» затрещал, попытался сопротивляться и, чувствуя, что силенок не хватает, смиренно рухнул. Если от других разрушенных домов пыль поднималась белая как мука, то от кузницы поднялась черная и долго стояла над развалинами.

А мне все чудилось, что вот сейчас пыль осядет, и я снова увижу «треугольник» Мкртычей...

На краю города пробасил заводской гудок, и мне показалось, что громадина из бетона и железа снимает шляпу в память нашего «треугольника».

ПЕРВОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ. 1938 ГОД

1

Мисак приник к узорной решетке окна. Там, внутри, было темно.

Время самое неподходящее для возвращения. Люди спят. Конечно, спят и домашние Мисака. Придется ждать. После двух с половиной лет ожидания придется ждать еще одну ночь...

Мисак оторвался от холодных железных прутьев. Пошел по узкой улочке, обогнул дом. Вот и пекарня с ее ароматным запахом... В тот последний день он по пути домой купил здесь хлеб. И сейчас ему показалось, что не было его долгого отсутствия, что все еще продолжается и длится тот день...

Мисак вошел в пекарню.

На полках белел свежеспеченный хлеб. На одной из пустых полок спал пекарь, весь запорошенный мучной пылью, в большой папаше со звездой.

Второй пекарь раскатывал тесто.

— Сколько?— спросил он, не глянув на Мисака.

— Четыре штуки.

Пекарь обернулся.

— Сразу видать семейного человека. Много ребят у тебя?— спросил он дружески.

— Двое,— ответил Мисак и потом спросил: — А где Никол?

— Какой Никол?— удивился пекарь.

— Работал здесь...

— Нет, брат, не помню такого. Дело-то у нас, сам понимаешь, артельное... Одного сюда пошлют, другого — в другую пекарню.

— Я рядом живу,— сказал вдруг Мисак.

— Из чужих краев возвратился?— спросил пекарь, посмотрев на чемодан Мисака, и зевнул.

— Да,— помедлив, ответил Мисак и вдруг удивился, что у пекаря, белого с головы до ног, такая черная тень.

Выйдя из пекарни, Мисак снова подошел к своему дому, заглянул во двор. Нет, ничего здесь не изменилось. Тот же запах стирки, те же покосившиеся балконы... Только сейчас этот до боли знакомый маленький двор показался ему еще более маленьким.

Задевая за влажное, развешанное на веревках белье, Мисак прошел через двор к дверям своей комнаты. Между ног шмыгнула кошка. Мисак зажег спичку. Дверь была заперта на замок и накрест заколочена двумя досками.

Мисак растерялся. Провел рукой по доскам, поднял осевшую на них пыль. Медленно, с тревогой в душе он подошел к раскрытому окну соседней комнаты, постучал по прутьям решетки: раздался тонкий звук, словно Мисак постучал не рукой, а железкой. В глубине комнаты что-то зашевелилось. Мисак постучал еще раз.

— Кто это?— слышался недовольный голос.

— Я...

— Кто это — я?

В окне показалось сморщенное лицо.

— Где они?— спросил Мисак, мотнув головой в сторону своей двери.

На сморщенном лице отразился испуг, и Мисак сказал:

— Не бойся... Это мой дом. Три года меня здесь не было.

— Не знаю, где они,— пробормотал человек со сморщенным лицом. — Я здесь не живу... — И отошел от окна.

Мисак огляделся. Кого же спросить? В чью дверь постучать в этот поздний час?

Напротив — квартира Петроса...

Мисак представил, какой шум вызовет там его появление. Но дверь, у которой он стоял, распахнулась, и в темноте проступила фигура человека со сморщенным лицом. Он был в нижнем белье.

— Я здесь не живу.... — человек словно продолжал незаконченную фразу,— меня просили постеречь комнату. За это мне платят.

— Молотка не найдется?— глухо спросил Мисак.

Человек скрылся в темноте комнаты, потом вернулся и протянул ему клещи:

— А это на самом деле ваш дом?

Мисак не ответил, подошел к заколоченной двери, стал выдергивать гвозди.

Человек смотрел и удивлялся его ловкости.

Мисак отодрал наконец доски, толкнул плечом дверь... Она со скрипом подалась; наружу вырвался затхлый воздух покинутого жилья. Но каким бы неприятным ни был этот воздух, он все же таил в себе запахи знакомых вещей.

Мисак отдал спички человеку со сморщенным лицом и вошел в комнату. Ударился коленом о тахту — раньше она стояла не здесь. Человек тоже вошел в комнату, зажег спичку.

Стоял Мисак посреди комнаты, высокий, широкоплечий. Стоял и вглядывался в темноту. Человек со сморщенным лицом зажигал спичку за спичкой. Ждал, пока огонь коснется пальцев, потом вытаскивал из коробка новую спичку и зажигал ее от догорающей... Это занятие увлекло его. Пламя спички едва освещало его лицо, и нос, на котором кривились очки, казался бескостным, подвижным. Нижняя губа свисала над поросшим щетиной подбородком.

Мисак долго смотрел на очертания знакомых предметов, то проступавших, то исчезающих во тьме. Большого шкафа не было — Ермон писала, что шкаф продали. И никелированной кровати не было. Наверное, тоже продали. Об этом ему никто не писал.

Мисак распахнул дверцу ниши — там валялись детские игрушки: безголовый мишка, сломанный велосипед, какие-то деревяшки... Заметил и старую лампу, большую, как церковный канделябр. Вытащил ее. Тряхнул — пустая... Но, кроме этой лампы, не было ничего, что могло бы осветить комнату. И Мисак поставил лампу на стол.

Человек со сморщенным лицом поднес спичку к фитилю, но фитиль долго не загорался. Наконец послышалось легкое потрескивание, и кончик фитиля порозовел.

Мисак обернулся.

— Ну, хорошо,— сказал он. Это означало благодарность.

— Мое имя Папик,— сказал человек,— если буду нужен, позовите... О моей честности можете спросить любого.

Мисак не слышал его слов. Он только понял, что человека зовут Папик и что сравнительно молодому этому человеку очень уж не подходит такое имя — Папик¹...

Стуча башмаками, Папик вышел из комнаты. Потом дверь захлопнулась, и наступила тишина.

Мисак предался своим мыслям. А мысли были старые, насколько старыми могут быть мысли двадцатипятилетнего отца и мужа... Но ему казалось, что мысли его старше, чем он сам.

Мисак сел на стул. Стул закрипел, покосился.

Фитиль медленно угасал.

Пустая темная комната. Словно никто никогда здесь не жил... Только на стене еще висят фотографии его родителей. Отец в военной форме, в папаше. Мать сидит, сложив на коленях руки...

И в этой заброшенной, холодной комнате — запах теплого хлеба, единственное, что напоминало ему о жизни, пробуждая старое, до боли знакомое чувство, чувство, которое укрепляло в нем надежду. И он ухватился за эту надежду и стал восстанавливать в памяти историю своего разрушенного очага.

Люди не любят, когда кто-нибудь стремится отличиться от них. Мисак носил английские гетры — купил по случаю на черном рынке. В его воображении гетры ассоциировались с Эдисоном и вообще с прогрессом. И он испытывал к ним особое пристрастие.

Обычно он выходил из дому на рассвете и, пересекая выложенную булыжником небольшую площадь, с особым достоинством нес на ногах свои эти гетры.

Пока он проходил через свой квартал, из распахнутых окон, дверей, из растворов магазинов вслед ему косо глядели соседи.

¹ Па п и к — дедушка (арм.).

Однако люди любят тех, кто уже создал семью. Мисаку было семнадцать, когда он женился на Ермон, а в двадцать один он уже имел двух сыновей. Это и было причиной того, что во взглядах, которые бросали на него соседи, ирония соединялась с доброжелательностью. Для людей, обитающих вокруг площади, семья была чем-то вроде удостоверения личности. Правда, каждый из них имел по отношению к семье свое недовольство, свои тайные грехи, но все они преклонялись перед понятием «семья». Оно было у них в крови. И если дело касалось семьи, если семье грозила беда, это вызывало ужас, перечеркивало смысл жизни, ее прошлое и будущее.

В воскресные дни семья Мисака выходила на прогулку: сыновья шли впереди, он вел под руку Ермон. За ними плыла теща, тикин Ребека — плотно сомкнутые губы, горделиво прищуренные глаза, двойной подбородок. Не так уж много времени прошло с тех пор, как тикин Ребека переехала в город. И обращением «тикин»¹ первым почтил ее Мисак, а потом так и повелось.

Обычно рядом с нею плелся ее вечно пьяный муж — Татос, то и дело с испугом поглядывавший на жену. Позади них, беспокойно озираясь по сторонам, семенила сестра Татоса, голубоглазая Воски.

Соседи приветствовали семью Мисака, снимая свои фуражки и пряча в поклоне усмешку...

Ребека открывала в своем доме столовую: рабочие небольшого завода, расположенного по соседству, в перерыв приходили сюда обедать. В заводской столовой готовили невкусно, а обеды Ребеки пахли домом. И рабочие отдавали им предпочтение.

Таков был источник доходов Ребеки.

Татос садился обедать вместе с рабочими. Он острил, украшал своей болтовней обед. Пожалуй, больше ничего он и не умел делать.

В воскресные дни, когда рабочие не приходили на обед к Ребеке, Татос долго оставался голодным. Съевшись, кружил он вокруг дома до тех пор, пока Ребека, грозно поводя глазами, не окликала его. Татос вваливался в комнату и начинал балагурить.

¹ Т и к и н — госпожа (арм.).

— Хватит болтать! Не видишь, никого нет! Ешь молча!— сердилась Ребека.

Мисак родных не имел, жил один. Он приходил обедать к Ребеке и в воскресные дни. За стол садились Татос, Мисак, тикин Ребека и ее дочь — шестнадцатилетняя Ермон.

Кончив обедать, Татос облизывал пальцы:

— Здорово готовишь, Реб джан!

Сытно поев, они впадали в дремотное состояние.

— Спой, Ермон джан, согрей сердце Мисаку. Сирота ведь он... — говорила Ребека, не поднимая отяжелевших век.

Ермон раскрывала свой маленький рот и заливалась звонкой трелью, а Татос прищелкивал в такт языком.

Мисаку нравилось пение Ермон, и она забирала все выше, воображая, что голос ее неистощим.

А Мисак слушал ее и думал о том, откуда у всех армянских женщин такой чудесный голос. Вот и у его матери был чудесный голос. Хотя она никогда не пела, и Мисак не мог сейчас вспомнить, откуда он знает об этом.

Женился Мисак на Ермон. Основал семью. И культ семьи с течением времени заполнил все его существо.

Год спустя его семья пополнилась мальчиком. Была у Мисака любимая книга, в которой можно было прочесть почти обо всем на свете: о первом дирижабле, первом пароходе, изобретателе первого киноаппарата. Мисак полистал эту книгу и выбрал сыну имя — Авогадро.

Никто не мог правильно произнести это имя, и мальчика стали называть Аво.

Еще год спустя появился в семье второй сын. Мисак полистал свою книгу и выбрал имя второму сыну — Фарадей. И стали называть его Фаро.

Теперь уже Ребека готовила обеды только для семьи Мисака. Собирались они под одной крышей, за одним столом, эти семь душ. Но у каждого были свои раздумья, свои мечты.

Над семьей Мисака сгустились тучи.

Как-то подрались свиньи тикин Ребеки со свиньями соседа — Петроса. И поскольку свиньи не могли наго-

ворить друг другу обидных слов, Ребека не выдержала, крикнула что-то Петросу. В сердцах сказал что-то вместо своих свиней и Петрос. И тогда она крикнула еще что-то. Потом что-то сказал и Петрос. Потом вышел из дому Татос. Потом Ермон стало плохо с сердцем. Авогадро заплакал у нее на руках. Потом заплакал и Фагадей.

Мисак не вышел из комнаты.

— Нет среди вас мужчины, чтобы мог я по-мужски поговорить!— сказал Петрос, решив, что бьет прямо в цель и вконец уничтожает Татоса.

Это было слишком! Это было как подкоп под семью Мисака, под ее устои. И мысли Мисака заработали в одном направлении. Но это были не мысли, это заговорила кровь древнего рода.

Вечером Мисак делал вид, что не замечает упреков во взглядах Ребеки, Татоса, Ермон...

А ночью он заперся в своей кладовой и придумал ружье. Придумал, потому что как следует не был знаком с устройством ружья. Он придумал и смастерил ружье, вернее, какую-то стреляющую трубу.

В кладовке его мучил все время какой-то запах. Какой-то неприятный запах, который потом преследовал его и в суде, и в тюрьме, и в исправительном лагере.

Утром, когда Петрос умылся и вышел из дому, Мисак со своей стреляющей трубой пошел за ним. Он шел и смотрел в спину Петросу, и в какой-то момент устыдился того, что смотрит ему в спину. На лоснившемся от жира воротнике Петроса он увидел перхоть и несколько седых волосков. Это была очень знакомая спина, чем-то очень близкая семье Мисака.

И Мисаку захотелось, чтобы Петрос обернулся, дал ему возможность сказать, глядя прямо в лицо: «Тебе нужен был мужчина для разговора...»

Глухим, каким-то вопрошающим голосом Мисак сказал:

— Петрос?

Петрос обернулся.

— Аджан?¹ — сказал он.

Мисак не понял, что произошло. Это было неожиданно, удивительно! И откуда вдруг взялось это ар-

¹ Аджан — ласковое обращение: душа моя (арм.).

мянское «аджан», которое и впоследствии звучало в его ушах как символ армянской теплоты, семьи, уюта...

Мисак не успел и слова сказать. Мысли его диктовали одно, чувства—другое. Однако работа, проделанная им ночью, дала свои результаты. Он дернул пальцем. Поднялся дымок, полыхнуло пламя, и Петрос зашатался и так медленно опустился на землю, словно садился в нарды поиграть.

Мисака не удивило то, что он убил человека, не удивило, что выстрелило ружье, только «аджан» удивило его.

И, стоя посреди площади над трупом Петроса, он думал об этом «аджан», об этом чудодейственном слове, которое есть только у армян и которое бог знает где и когда родилось.

Был 1934 год. Вторая пятилетка. Учение Ломброзо опровергали. Верили, что убийцу можно исправить.

Скамьей подсудимого служила принесенная из сквера скамейка с гнутыми железными ножками. На ней сидел Мисак. А в зале суда находилась его семья—тикин Ребека с гордым и довольным видом, Ермон—с непонятым выражением глаз, Татос и Воски. Почему-то Ермон привела в суд Авогадро и Фарадея. На Авогадро были длинные девчоночьи чулки с подвязками. Одна подвязка оборвалась, и чулок сполз ниже колена. Мисак посмотрел на этот чулок, и сердце его сжалось. Очень уж детским, жалким был этот чулок, он как бы символизировал состояние их семьи.

— Держись,—сказал Татос, подняв большой палец, и тут же покосился на тикин Ребеку, дескать, правильно ли он поступает.

В дальнем углу, у стены, сидели жена Петроса с сыном.

И вопреки Ломброзо Мисака приговорили к шести годам лишения свободы.

Чтобы поменьше вспоминать семью, «аджан» Петроса и приблизить день своего возвращения, Мисак весь ушел в работу. Но не работа мучила Мисака, а мысль о том, что он нужен семье. И воображение рисовало ему всех домашних еще более беспомощными. Красота Ермон делала ее еще более жалкой, робкий Татос казался еще более робким, чулок Авогадро слов-

но стягивал Мисаку горло, и даже двойной подбородок тикин Ребеки вызывал чувство сострадания.

И Мисаку хотелось только одного — собрать вокруг себя эти семь душ, защитить их, дать им силы, тепла... И работать, работать для них, и создать прочную семью, и довести ее до десяти душ, потом до...

Так думал Мисак.

Исправительно-трудовой лагерь находился далеко от Армении, на севере, и Мисак часто обращал свой взор на юг. Рядом с ним всегда был другой арестант—Венделин Гак. Они делились своими думами, считали дни...

Венделин Гак был обрусевшим немцем, до заключения работал механизатором в одном из уральских совхозов. Он не любил говорить о своем прошлом: история его жизни была загадочной. По этой причине все их беседы велись вокруг семьи Мисака.

Полученные из дому письма Мисак показывал Гаку, и тот уже различал почерки Ребеки и Ермон, хотя не знал ни слова по-армянски.

— Нужный ты человек,— говорил Мисаку Гак,— побольше бы таких, как ты...

Мисаку никогда не приходилось иметь дело с пишущей машинкой. И все же он взялся починить ее. Шел 1935 год, специалистов было мало.

Мисак разобрал машинку, ознакомился с ее конструкцией, потом начал собирать ее. Оставался работать по ночам — ночи тоже приближали его встречу с семьей.

Машинистка Валентина Вайнштейн смотрела на быстрые руки Мисака, на его вьющиеся волосы...

Как-то пришла к нему ночью: «Послушай,— сказала,— разве ты не живой человек? Разве ты не видишь меня?»

Прильнула к Мисаку, прижалась к нему грудью. У Мисака дух перехватило, он вспомнил вялую свою Ермон в ночной рубашке...

Мисак не оторвал рук от пишущей машинки.

«Да брось ты эти винтики. Кому они нужны?» — горячо вздохнула Валя Мисаку в губы...

Одеваясь, Валя Вайнштейн ни разу не взглянула

на Мисака. Закурила папиросу, пробормотала: «Никогда еще не стеснялась мужчины... Станный ты человек... Неужели твоя жена лучше меня?..»

Мисак смотрел на нее ясными, наивными глазами. Такого взгляда женщины не любят. Валя тоже не любила.

В бараке койки Мисака и Гака стояли рядом. Гак любил рассказы Мисака о людях, словно у него была коллекция различных судеб и он добавлял к ней все новые и новые.

И Гак уже знал всех тех, кто обитал вокруг выложенной булыжником небольшой площади: Кривого Арута, Кожевника Ювана, Чугуна Ваго, Голодранца Смба́та, который и зимой и летом ходил полуголым и имел какую-то свою тайную историю.

«Удивительные люди есть в твоей стране, — говорил Гак, — трагические и в такой же степени смешные...»

Мисак уважал Гака за то, что он был старше, и за то, что говорил умные вещи.

«Есть в тебе что-то такое, Мисак... Может, обычное, но в то же время сложное... У тебя душа отца семейства...»

Мисак по-своему воспринимал понятие «отец семейства». Гак попросту все усложнял. Но Мисаку это нравилось. Слова Гака оставляли в нем неизгладимый след: «Миру нужны отцы семейств. Нужны они и народу Мисака. В этом есть великая мудрость. Люди бегут друг от друга, потом убегают от самих себя. Нет во всем этом ни на грош ума. Но приходят отцы семейств и собирают, сплывают вокруг себя людей. На них, на отцах семейств, держится мир — на отцах маленьких семейств. Трудное это дело — составить семью. Но есть большая закономерность в том, что все же всегда найдутся люди, которые могут это сделать. И дай бог терпения и силы отцам семейств... Горе тому народу, у которого нет отцов семейств...»

Валя Вайнштейн часто приходила к Мисаку. Сидела, смотрела на него, грустила:

— Эх, Миси, был бы ты моим, как бы тебя любила!..

— Вот отбуду срок, придешь ко мне в гости, — гово-

рил Мисак,— теща моя такую кюфту сварит — пальчики оближешь.

— Эх, Миси!— вздыхала Валя. Потом смотрела на него странным взглядом, выкуривала папиросу и добавляла:— Выйду отсюда, стану назло тебе жизнь прожить. Потом снова вернусь сюда. Пусть тебя совесть мучает!

Мисак вспоминал «аджан» Петроса, тяжело вздыхал.

— До каких же пор жену свою будешь любить?— спрашивала Валя Вайнштейн.— Она, наверное, черная, волосатая...

Мисак бледнел, сжимал губы.

— Ладно, ладно, больше не буду,— успокаивала его Валя.

Семнадцатого декабря Мисака освободили.

Мисак обнялся с Гаком, с Валентиной... Она смотрела на него безнадежным взглядом.

В поезде он долго и много раздумывал...

В чемодане были гостинцы для Авогадро, Фарадея, Ермон, Татоса и Ребеки.

2

Снова собрались вокруг Мисака рассеявшиеся члены его семьи, и дыхание их оживило дом. Ребека привезла из деревни Авогадро и Фарадея. Там, у жены своего брата, она нашла приют.

Как в тот, последний, день, на Авогадро были девчачьи чулки и на одной ноге чулок сполз ниже колена. А Фарадей был в огромной, налезавшей на переносицу кепке.

Смотрели все они на Мисака спокойно, может, несколько удивленно.

«Трудно пришлось семье без меня»,— с болью в сердце подумал Мисак. Потом он подтянул чулок на ногу Авогадро, Фарадею сдвинул шапку на затылок.

— Главное, чтобы ребенку тепло было... — пробурчала Ребека.

Татос устроился сторожем в одном из учреждений, там и ночевал в комнате, где топилась печка. А Ермон работала на макаронной фабрике далеко от города и потому решила провести зиму в общежитии....

Мисак открыл чемодан, откинул крышку, и все бросились к нему. Немного спустя каждый держал в руках

то, что ему предназначалось, но дети еще долго не сводили глаз с опустевшего чемодана.

— Сними эту шапку, на кого ты в ней похожа?!— сказал Мисак, поглядев на Ермон.

— Уже не нравится, да?— сказала тикин Ребека, как бы шутя, но с плохо скрываемым недовольством.— Ясно, ясно... Там небось с красивыми девушками погуливал...

Мисак присел на корточки, обнял Авогадро и Фарадея. Тонкие их ребра убегали из-под его огрубелых пальцев.

— Ермон,— сказал Мисак.

— Аджан?— протянула она.

И словно ударили Мисака по голове. Вдруг показалось, что держит он в объятиях не своего, а Петросова сына. Разжал руки, поднялся...

— Ну-ка признайся, соскучился по голосочку своей женушки?— сказала Ребека.

Ермон смущенно повела глазами, опустила голову.

А Мисак был весь в напряжении, думал о чем-то другом.

— Не обнялись даже, — пробурчал Татос.

— Деньги, которые я высылал, получали?— спросил Мисак после долгого молчания.

— Да, Мисак джан, но их ненадолго хватало,— сказала Ермон и подняла на него засветившиеся сквозь слезы глаза.

— Когда в доме нет мужчины — нет и дома. Один только запах мужчины чего стоит!— сказал Татос.

...А во дворе жена Петроса проклинала возвращение Мисака.

ВТОРОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ. 1945 ГОД

1

Мисак все чаще и чаще подходил к окну вагона. А когда появились пейзажи, чем-то напоминающие Армению, он уже не мог оторваться от окна.

Папиросы его лежали в немецкой металлической коробке, в которую он с трудом протискивал два пальца. И с таким же трудом, с каким вытаскивал он папиросы из этой узкой коробки, вытаскивал он из памяти своей

мысли о прошедших днях. Перед глазами его была вся семья — Ермон, Фарадей, Авогадро, Карине, Ребека... Девять душ. Те девять душ, к которым спешил он сейчас...

В переполненных вагонах поездов, в окопах, среди дымящихся развалин, на печальных дорогах войны эти девять душ виделись ему, как девять свечей: пожелтевшие, исхудалые тела и бледные лица — трепещущие огоньки.

У этих огоньков были глаза, губы, улыбки...

Фарадей представлялся ему грустным голубоватым огоньком. В заплаканных глазах Авогадро таилось ожидание.

Вагон был полон. Солдаты награждали друг друга острыми словечками, шутили, смеялись. Мисак смотрел в окно и следил за указателями километров.

— Мисак, что ты прилип к окну? Доедем, не бойся! — крикнул ему полковник.

От соседнего окна к полковнику, потом к Мисаку повернулись широко раскрытые глаза лейтенанта.

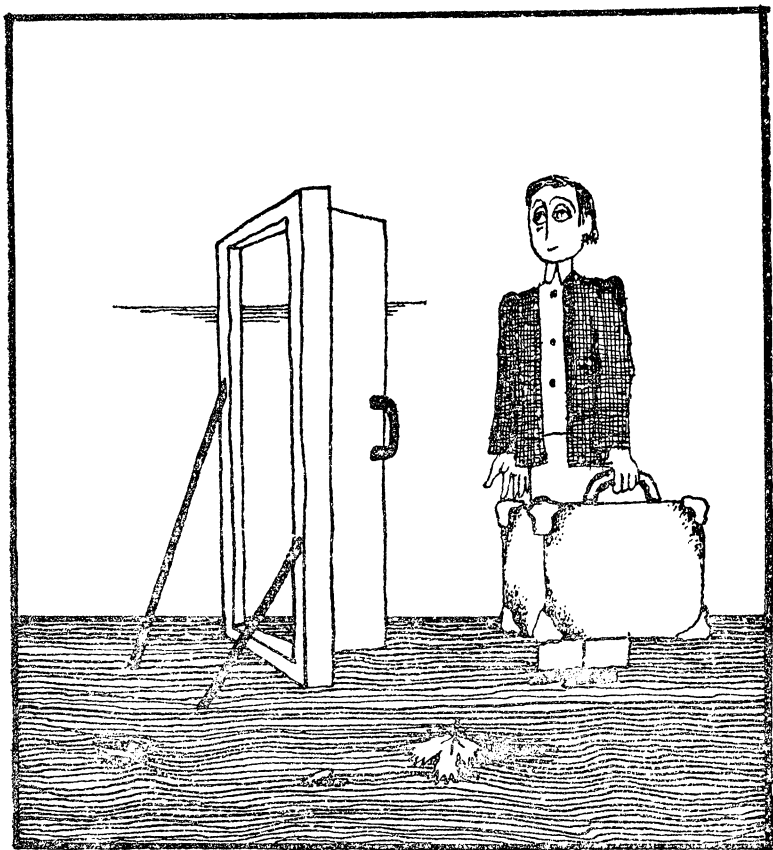
— Не понимают они этого, — сказал лейтенант и подошел к Мисаку. — Я вот тоже боюсь не доехать... опоздать... Недавно какой-то голос говорил мне: «Брось папиросу в окно, быстрее доедешь!» Бросил я папиросу. Потом услышал: «Брось в окно фуражку, доедешь быстрее!» Дома меня мать ждет...

Мисак посмотрел на лейтенанта — тот был без фуражки.

Мисак подошел к другому окну. Перед глазами опять замелькали указатели километров, затрепетали девять свечей, заулыбались и повели с Мисаком разговор о встречах и расставаниях... И Мисак вдруг подумал, что и после этой встречи снова может быть разлука. Со страхом почувствовал он, что разлука эта в конце концов непременно произойдет. И поэтому необходима семья, семья.

Нетерпение его все возрастало. В каком положении застанет он свою семью? Аво, должно быть, уже изрядно подрос, может, уже призвали в армию. Мисак постарался вспомнить возраст сына.

А у Ермон, конечно, забот стало больше. Давно уже не получал он от нее писем. В последнем письме сообщала она о смерти Татоса... Совсем без мужчины остался дом...



Мисак втиснул два пальца в коробку за папиросой. И вместе с папиросой словно вытащил воспоминания последних четырех лет.

Четыре года войны. Огонь, страх, смерть...

Снаряд ударил в танк, разрезал броню, как бумагу. Образовалась огромная щель, и Мисак увидел умирающих в огне танкистов. Словно раздвинулся театральный занавес...

...Солдат обхватил руками ствол березы, прижался к нему, как к женщине, грыз кору.

...Солдат сел на землю, потом упал ничком. Шинель слетела со спины, и все увидели его легкие. Они работали

в воздухе. Прижавшись лицом к земле, солдат хрипел:

— Посмотрите... Что с моей спиной?.. Посмотрите...

Никто не мог смотреть в эту сторону. Все понимали — это конец. Лишь выстрелом можно было прекратить его страдания, заставить легкие не трепыхаться в воздухе — вверх, вниз, вверх...

— Ребята, что с моей спиной?..

...Дни и ночи шагал полк по истерзанной земле. Люди спали на ходу. Когда полк сходил с дороги, слышалась команда: «Дозорным бодрствовать! Остальные могут спать!»

В строю шагал и Мисак. Время от времени он поднимал глаза и видел черную землю, почти не отличавшуюся от линии горизонта...

...Обугленные столбы, в темноте — дом с одной уцелевшей стеной. На стене — гитара, тоже каким-то чудом уцелевшая. Наверное, она зазвенела, когда снаряд ударил в дом.

Мисак закрывал глаза и видел стену родного дома, на стене — фотографии. На одной мать: сидит, сложив на коленях руки. На другой — он сам вместе с Ермон в день свадьбы... Отец на фотографии в военной форме. Значит, и он шагал по дорогам войны и вспоминал стены родного дома и фотографии — отца, матери...

И может случиться, что всем мужчинам их семьи придется шагать днем и ночью с винтовкой за спиной... Может случиться, что вот так же будет шагать и Аво...

Мисак видел Аво с винтовкой за спиной, в коротких штанишках и со сползшим чулком...

Дверь опять была накрепко заколочена и, как ему показалось, той же рукой.

Время было послеобеденное, и во дворе было тихо. Никто не заметил возвращения Мисака.

В окне второго этажа какая-то женщина расчесывала волосы. Волосы спадали на грудь, и она проводила гребенкой от лба к груди.

Мисак опустил на землю два больших чемодана, присел на один из них и лишь тогда почувствовал, что устал, что ноют раны, что ноги окоченели...

В дверях соседей показалась незнакомая Мисаку молодая женщина.

— Папика здесь нет?— спросил Мисак и тут же спо-

хватился: следовало сначала спросить о старой Мариам. Но почему-то так получилось... И потом — кто эта женщина?

— Это мой дом — не Папика! — раздраженно сказала женщина, и губы ее задрожали.

— Здесь жила Мариам, — словно извинился Мисак.

— Я невестка Мариам, — сказала женщина и вдруг опять разозлилась: — А кто этот Папик? Кто? Неизвестно!

— А где Мариам?

Женщина шмыгнула носом:

— От тоски по Карушу... Два месяца пролежала в постели. Все думала, думала... Не выдержала...

Потом женщина снова разнервничалась:

— Два месяца я за ней ухаживала. А этот Папик — неизвестно кто!.. Совершенно чужой человек! Так и не ушел из этого дома. Говорит — куда мне уйти? Говорит — этому дому ты и вовсе чужая. Это он говорит мне, мне — жене Каруша! И не стыдится этот старик — живем в одной комнате.

Мисак вспомнил молчаливую Мариам, Каруша и подумал о том, что и женщина, и Папик — оба они чужие в этом доме. И что придет сюда еще немало чужих людей, а сердце дома останется холодным к ним и уже никому принадлежать не будет.

2

— Пожалей, Мисак джан, пожалей!.. Ведь это твой сын, не чей-нибудь! Ну разве обязательно профессором ему быть!.. — уговаривала Ермон.

— Скотиной он станет, а не профессором! Какое ему время жениться?!

— Э-э, опять за свое взялся! — недовольно махнула рукой Ребека.

— Ты все время о семье говоришь.. Ну что тут плохого, пусть и он создаст свою семью... — продолжала свои уговоры Ермон.

— Люди должны что-то создавать. А он лишь за своей утехой гонится. Скотина он! Из самой страшной породы людей. Что им ни скажи — все свое гнут!

— Безжалостный ты, Мисак. Словно не отец ему!

Невозможно было уговорить Мисака, но и сам он не находил выхода. И в новогоднюю ночь он объявил:

— Делайте, что хотите. Я умываю руки.

Ермон поцеловала его.

— Ах, оставь ты, ради бога!— заворчал Мисак. — Этой ночью он опять с дружками шляется по улицам, на кларнете играл.

— У любви свои законы. Душу за сыночка моего отдам... — протянула Ермон.

...Тесно было от гостей в доме Мисака. Глядел Мисак на Аво, на его маленькие, словно тушью вычерченные усики, на узкий ремешок, потом на сидящую рядом с ним Назик, которая становилась женой Аво, и жалел себя, и жалел всех этих людей... Потом он посмотрел в сторону товарищей Аво и, сам не зная почему, улыбнулся.

— Вот видишь, ты тоже радуешься!— сказала Ребека. — А как противился, не хотел!

— Да,— сказал Мисак и вдруг с болью понял, что даже не стоит им объяснять, чего именно он хотел. Тщетное это дело!..

Перемешались в доме Мисака звуки кларнета, аккордеона, патефона.

Воски вошла в круг, сплясала. Выпили за ее здоровье, поморщились. Мисаку не нравилось происходящее, но он вдруг почувствовал в глубине души тепло ко всем этим людям. Кто знает — может, так и должно быть!

Вот это и есть его семья, продолжение фотографий, глядящих со стены, продолжение его рода, много видевшего и испытывавшего.

Мисак выпил вина, и по телу его разлилось тепло. Он хорошо руководил столом и людьми, заполнившими комнату. Какие только мысли не появились у этих людей... Они были противоречивы, были вдохновенны, красивы, коварны, преступны. Они вспыхивали и тут же гасли. Если б огни этих мыслей так мгновенно не угасали, рушились бы миры и возникали бы миры, совершались бы грандиозные преступления и грандиозные деяния...

...Потом поднялся директор завода Шаварш Карпович, и все замолкли, и он произнес тост на русском языке.

...Потом Папик опьянел и сказал: «Моя специальность — честность. Нет, нет! Не подумайте, что я честный человек! Честность — это моя специальность...

Очень выгодная специальность. Честностью я зарабатываю деньги. И наш Мисак вот тоже честный...»

Папик заплакал, и его припухшие веки еще больше покраснели. Женщина, жившая с ним в одной комнате, утешала его. Ребята тянули Папика за плечи, старались усадить его на место, но он упорно не садился.

— Дайте мне досказать! Выслушайте меня... Я одинокий человек, и лет мне немало, а семью я так и не создал... — С трудом выговорив эти слова, Папик на минутку замолчал, улыбнулся сам себе: — Я охраняю чужие семьи и радуюсь. Вот у Мисака большая семья... Он любит свою семью. Но я хитрее, чем он. Что семья Мисака? Маленькая частица... Частица моей большой семьи. И вы все тоже входите в мою семью. Все! Потому что все мы — одна большая семья. И все другие семьи тоже моя семья! Я хитрый...

— Ты все перепутал, все на свете перепутал! — рассмеялись ребята. — Лучше садись!

Папик уселся и долго еще разговаривал сам с собой.

Мисак решил написать Гаку о первой свадьбе в своей семье, даже придумал первую фразу. Потом он забыл о своем намерении.

3

Пять месяцев спустя Аво сбежал с какой-то циркачкой.

Мисак извел себя, стараясь понять поступок Аво, найти хоть какую-нибудь зацепку для прощения, для оправдания его. Не мог он понять своего сына.

Назик плакала.

Ермон получала письма от Аво, но скрывала их от Мисака, поучала Назик:

— Не убивайся... Нагуляется — вернется. Ты его жена. И ребенок у тебя будет.

Но Аво не выказывал желания вернуться. Мотался вместе с цирком из города в город.

Как-то раз Ермон осторожно спросила Мисака:

— У вас на заводе есть униформист?

— Это еще что такое?

— Специальность...

— Нет... Формовщики у нас есть.

Тогда Ермон сказала:

— Аво на работу поступил.

— Что за работа?

— Пишет, что униформистом стал...

Мисак начал интересоваться, расспрашивать — что значит «униформист». Молодой токарь из его цеха, любивший жонглировать инструментами, сказал ему:

— Это работник цирка, Мисак Сергеевич. А зачем вам?

Мисак смутился:

— Да просто так...

На следующий день он повел Ермон и Ребеку в цирк.

Первое отделение смотрел напряженно, стремясь угадать, кто же тут этот униформист. Покосился даже на клоуна.

В антракте подошел к билетерше, продающей программки, спросил:

— Кто здесь униформист?

Билетерша потянула Мисака за рукав к арене, указала на человека, подметающего ковер.

— Тыфу ты черт! — застонал Мисак.

Ермон и Ребека ели мороженое, на их лицах играла улыбка.

— Вставайте! Уходим! — сказал Мисак.

Всю дорогу он взволнованно и раздраженно говорил, говорил не умолкая, и все-таки не мог высказать свои истинные чувства.

— Бродяга он, бродяга!.. У других сыновья настоящими людьми становятся, учатся, работают... Саркису двадцать шесть лет, он уже инженер. Люди цели своей добиваются, а наш... Тыфу, мартышка поганая! Семейный очаг, честь... Да разве он в этом что понимает?! Черт со мной, буду как вол работать на вас. Только имейте в этой жизни цель! Да где там!.. За потаскушкой погнался... Уни-фор-мист!

— Э-э, Мисак... — тяжело вздохнула Ермон.

— Перестань тарыхтеть! — цыкнула на него Ребека. И Мисак умолк.

Население Армении достигло двух миллионов. О рождении той, что закруглила второй миллион, написали в газетах. Это была внучка Мисака.

Аво по-прежнему мотался с цирком, а дочка его росла...

Назик скучала, смотрела телевизор и кормила ребенка.

Фарадей окончил школу и каждый год сдавал экзамены в институт.

Пронеслась эпидемия гриппа.

Приходили новогодние праздники.

Раз в неделю дома делали стирку.

Несколько раз отремонтировали комнату.

Каждую субботу Мисак со своими товарищами ходил в баню. После бани пили пиво. Иногда по выходным дням шли есть хаш.

Мисак получил шесть почетных грамот.

В новом районе города завод строил жилой дом, и семья Мисака с нетерпением ждала окончания строительства.

Воски удалили аппендикс. Муж Воски стал тучным и теперь каждое утро подставлял голову под холодную струю воды. Они получили новую квартиру.

С соседней улицы трамвайную линию перенесли на их небольшую, выложенную булыжником площадь.

Мисак ходил на похороны. Снимал шапку, когда мимо него проносили покойника.

Во дворе сменилось двое соседей.

Каменотес Арташ — девяностолетний старик родом из Вана — умер в уборной от разрыва сердца.

Из деревни к Мисаку несколько раз приезжали гости. И тогда стол превращался в кровать. Спали и на столе, спали по четыре человека в одной постели. Гости привозили лаваш и свой особый запах. Уезжали и увозили с собой этот запах.

Жили-поживали в Армении семьи...

ТРЕТЬЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ. 1964 ГОД

1

Лицо Ермон обвязано большим платком. Всю ночь не давал ей покоя больной зуб, но сейчас боль притупилась и только глухо ныла челюсть. Ермон шла, плотно сжав губы, — даже от малейшей струйки воздуха больной зуб давал о себе знать.

— Здравствуй, Ермон,— неожиданно перед ней вырос Индзак. Он, видимо, только что побрился, и пудра щедро лежала на его подбородке и на носу. Волосы были уложены парикмахером аккуратно, и Индзак осторожно нес свою голову рядом с Ермон.

Ермон кивнула ему в ответ. Ничего другого не могла она сделать. Тихо застонала, подняла руку к обвязанной щеке, как бы оправдывая этим движением свой нелепый вид.

В тот же день вечером они встретились на глухой городской окраине. Волосы Индзака были так же бережно уложены, и он боялся шевельнуть головой.

Ермон была уже без платка, однако все еще не решалась разжать губы, смеялась отрывисто, с закрытым ртом.

Индзак нес свою голову рядом с Ермон и нашептывал ей анекдоты, косил глазом на ее округлые плечи, на ее маленький рот.

Улица была темной, без фонарей. В темноте проглядывали очертания бараков, железнодорожные рельсы, поблескивали золотые зубы Индзака.

Задыхаясь, прижал он Ермон к какой-то белой стене, ладонями обхватил ее спину... Когда Индзак крепко прижался к ней губами, Ермон, как сквозь сон, чувствовала зубную боль. Но эта боль обволакивалась каким-то сладостным-сладостным чувством...

Мисака Ермон забыла. А когда вдруг возникали мысли о Мисаке, Ермон отгоняла их, не подпускала близко.

Мисак был какой-то иной стороной ее жизни—серьезной, земной. А это... Это была завораживающая сказка...

Ермон думала о Мисаке как о хозяине, который заботится о ней, который, вдруг увидев все это, улыбнулся бы прощающе, так, как это, наверное, сделал бы бог.

Вечером, когда Ермон вернулась домой, Мисак своей жесткой рукой стряхнул с ее спины известку:

— Как это ты шла, вымазалась вся!

И Ермон успокоилась.

Ребека восседала на тахте. Назик, жена Аво, прикорнула у ее ног. Ермон полулежала на кровати. Комната освещалась экраном телевизора.

В дверях показался Мисак.

— Ермон,— сказал он сдавленным голосом. Лицо его было бледно. — Ермон,— повторил Мисак. Он хотел вести себя сдержанно, с достоинством, но не смог.

— Разрушила ты мой дом, Ермон!— крикнул он и стал биться головой об стенку. На лбу появилась алая полоска крови.

— Что ты делаешь, Мисак джан!— жалобным голосом протянула Ермон, хотя поняла все.

2

Впервые за всю свою долгую жизнь убегал Мисак от семьи. Два дня он ехал в поезде. Но здесь ему было еще тяжелей. Мисак ходил из вагона в вагон, беспрерывно курил.

Попробовал было пить, но и это не помогло. Обычно Мисак пил лишь тогда, когда дела его шли хорошо и он был спокоен.

Мисак хорошо помнил адрес Венделина Гака, но то и дело доставал из кармана его письмо, написанное еще в тридцать восьмом году.

Он столько ходил по вагонам взад и вперед, что примелькался пассажирам всех купе. И все они казались Мисаку счастливыми, даже пожилой одноногий человек.

— Куда вы едете?— спросил он у Мисака.

— В Томск,— протягивая ему коробку папирос, сказал Мисак.

Закурили.

Долго молчали.

В манере курить, в молчании одноногого было что-то знакомое — присущее людям, прошедшим войну.

— В гости едете?

— Да,— кивнул Мисак.

— Я тоже в Томск еду.

— Там живете?

— После войны... Раньше в Минске жил. Немцы семью мою порешили...

— Большая была семья?

— Три сына...

Он вытащил из кармана фотокарточки сыновей и, показывая их Мисаку, стал рассказывать о каждом в отдельности.

Мисак не вникал в его слова, все думал о своей

семье. И снова зашпешили, спутались мысли, потом вдруг что-то сдавило ему горло...

Он схватился за сердце.

— Вам плохо?— спросил одноногий.

— Нет.

— Как дела... в вашей семье?— осторожно спросил одноногий.

— Ничего...

— Большая семья?

— Девять душ.

— Сыновья?

— Есть и сыновья.

— Женаты?

— Женаты. И внуки уже есть. Трое их.

— Счастливый ты человек,— сказал одноногий.

Мисаку захотелось рассказать одноногому свою историю, спросить его, что же это такое — семья? Может, сам он придумал это понятие, сам создал эту боль своего сердца, этот загадочный клубок, один конец которого где-то далеко-далеко, а другой — где-то еще дальше... Может, все это и есть жизнь? Может, прав Папик? Или он и Папик — оба одинокие?.. Одинокие люди среди одиноких...

И снова спутались мысли Мисака.

Что скажет обо всем этом Гак? Гак — единственный человек, который может понять его...

...Остаться в Томске. Жить рядом с Гаком, снова создать семью, снова работать, лезть из кожи... В шестьдесят лет создавать новую семью?.. Какую семью? Семья бывает только одна, она имеет свое начало, должна иметь и свое продолжение...

Мисак закурил. И вдруг подумал: убить Индзака... Вспомнился Петрос, его жалкое посиневшее лицо...

Не думать ни о чем, пока не встретит он Гака, не думать...

Может, удастся взять себя в руки, что-нибудь поправить... Господи, хоть бы ты был на этом свете, хоть бы ты был...

— Счастливый ты человек... — сказал одноногий.

В Томске Мисак снова и снова вытаскивал из кармана конверт, сверял адрес. Улицы с таким названием не было... В справочном бюро тоже ничего утешительного он не услышал, наконец какая-то женщина, евшая мороженое, сказала ему:

— Кажется, на двадцать пятом километре, в поселке, есть такая улица.

В поселке такая улица была, но номера домов кончались раньше, чем номер, указанный на конверте.

Постучал в дверь крайнего дома. Вышла женщина, кормившая грудью ребенка, указала пальцем в сторону далекого огонька.

— Если в том не найдете, значит, здесь уже не ищите.

В темноте, сопровождаемый собачьим лаем, поднялся Мисак вверх по пригорку...

Это был чистенький барак с цветником, разбитым возле дверей. В темноте все цветы казались фиолетовыми, они вились по стене барака и взбегали к подоконникам.

Мисак постучал в окно. Потом постучал сильнее.

Маленькая девочка, сидя за столом, читала книгу. Мисак, хоть и глухо, но слышал ее голос и удивлялся тому, что она его не слышит.

Постучал еще сильнее. Ожидая, пока откроют, постарался представить себе Гака. Каким он стал? Как выглядит?

— Кто там?— послышалось из-за стены.

Мисак кашлянул и снова постучал. Девочка не шелохнулась.

— Кто там? — спросил все тот же голос. Молодая женщина прильнула лбом к оконному стеклу. Потом открыла дверь.

— Кого вам?— спросила она.

— Гака,— сказал Мисак и виновато улыбнулся. — Венделина Францевича Гака...

И он протянул женщине свой конверт.

Девочка слышала их разговор, грустный разговор двух незнакомых друг другу людей. Девочка жалела Мисака за то, что он уже очень старый и что, наверно, тоже скоро умрет, как дядя Венделин... Девочка жалела его и в то же время радовалась, что сама она не старая и, наверно, никогда не будет старой. Потом она опустила свою русую головку на книгу и уснула.

— В прошлом году... Никого не было рядом, некому было даже похоронить его. Рабочие фабрики собрали деньги, фабком сумму выделил... Бедняга был совсем один.

— Когда он потерял семью?— спросил Мисак.

— Семьи у него никогда не было.

— Никогда... — грустно пробормотал Мисак.

Женщина стояла в дверях до тех пор, пока Мисак не спустился по тропинке вниз. Свет, падающий от двери, помогал различать в темноте тропинку. Потом дверь закрылась и свет исчез. В темноте виднелась лишь седая голова Мисака. Он плакал.

Потом он вышел на улицу, к людям, и немного успокоился. Так бывало в детстве—он успокаивался и засыпал, зная, что будет утро. А утро — это ясность, это жизнь...

3

Два месяца прожил Мисак в чужом городе. Его желание обосноваться вдали от дома, в каком-либо северном городе постепенно слабело. И все это — новый город, который был, новая работа, которая могла быть,— все стало казаться ему бессмысленным.

Наступила зима. Мисак как-то весь съежился, и то, с чем раньше он не мог примириться, сейчас вызывало у него лишь горькую улыбку. Со многим примирился Мисак. И все чаще подумывал о том, что он все еще нужен внукам, что он должен заботиться о них, опекать их до тех пор, пока руки умеют трудиться... Он должен быть рядом с ними, хотя бы даже ради того, чтобы снова не была накрест заколочена дверь его дома.

И он вспомнил свою семью. Вспомнил Ермон... И, странное дело, сердце не заняло от этого воспоминания.

Потом он вспомнил Карена — сына Петроса. И удивительное чувство охватило Мисака. Ему захотелось увидеть Карена, рассказать ему о своих раздумьях — много было у него мыслей, но слов, которые могли бы выразить их, Мисак не знал. Он знал только, что, если снова попытается поделиться с кем-либо своими тяжелыми раздумьями, его слова прозвучат наивно и смешно. И его не поймут...

Почему это люди не хотят понять друг друга?

Почему не понимают друг друга даже члены одной семьи?

Снег поскрипывал под ногами. А Мисак все думал... Как рождается вина? Где та точка, которая, получив некий толчок, расплывается, мутнеет и вступает в дикую круговую пляску?..

И Мисаку вдруг стало страшно — захотелось ему понять, где та точка, с которой началась его, Мисакова, беда, совершенное им убийство — эта великая вина перед всеми и перед самим собой... И Мисак подумал о том, что все беды мира имеют какую-то связь между собой.

«Люди беспомощны», — подумал Мисак. И пожалел всех, всех — и Гака, и Петроса, и Ермон, и Индзака... и больше всех самого себя.

Мисак вдруг остановился и сам себе сказал: «Мама!..» Губы его не шевельнулись, но слово, которое он произнес, было похоже на вопль.

И Мисак почувствовал, как он беспомощен.

Воздух потрескивал от мороза. Из рта у людей шел пар. И люди двигались. Что-то смешное было в них.

День был ясный. И очертания людей виделись особенно ясно, четко, как в детских книжках, которые Мисак видел давно, очень давно.

И словно заново началась жизнь — Мисак увидел свое детство, и детство своего отца, и детство деда, и их предков. Потом все они стали отцами, а он — маленьким ребенком, но ребенком с седыми волосами, старчески съжившимся, растерянным, усталым сердцем.

Возле пивной будки стояли люди. Один из тех, кто был в начале очереди, выпил пиво, обтер губы, обернулся, и... Мисак увидел Аво.

Мисак обомлел, с места не смог сдвинуться. Аво шел прямо на него. Потом он поднял голову и увидел отца.

Вырос Аво, усы отпустил. У него было мужественное скуластое лицо. Мисак вспомнил — такие же скулы были у его деда.

Аво все расспрашивал, расспрашивал отца — лишь бы отец не задавал ему вопросов. Но Мисак ни о чем и не спрашивал, просто рад был тому, что не будет уж так одинок в своем одиночестве.

— Как ты разыскал меня, отец? — спросил Аво. — Наверное, через Гастрольбюро?

Мисак в ответ покачивал головой, и взгляд его был чистым, спокойным. Он видел убежденность Аво в том, что отец ради сына проделал такой долгий путь, и стыд-

но было ему, что на самом деле это не так, что здесь он ради себя...

И снова затосковало сердце Мисака.

Долго шагали они по снегу. Сын смотрел на ноги отца, отец — на ноги сына.

— Пойдем к нам... — сказал Аво, но, заметив в глазах отца колебание, сразу же согласился с ним: — Правда, комнаты у нас пока нет... Живем у свояченицы. Но скоро получим.

Потом Аво сказал:

— Зря ты приехал, отец. Не вернусь я домой. Поздно...

Мисак не хотел говорить об этом. Он был один на один со своим горем, а сын казался ему таким счастливым.

— А я вернусь,— пробормотал Мисак.

— Ну, конечно,— улыбнулся Аво, — что же еще ты должен делать...

И Аво почувствовал облегчение при мысли, что все разрешилось так легко.

— Кем ты сейчас работаешь? Опять униформистом?— после долгого молчания спросил Мисак.

— Нет, что ты!.. У меня собственный номер!— оживился Аво. А Мисаку показалось, что оживление это наигранное.

Аво вытащил из кармана вчетверо сложенную афишу, раскрыл ее, отошел от отца, вытянул ее в руках, как матадор... На фоне снега афиша казалась еще более яркой.

«2-Авогадро-2» — было написано на ней.

И Мисак подумал о том, что он сам создал эту афишу еще в те дни, когда выбирал своему сыну имя, и мысль эта была для него как открытие.

Это был небольшой летний клуб — плохо отапливаемая деревянная постройка барачного типа.

Возле сцены сидел небольшой духовой оркестр, игравший невпопад, сбивчиво.

В зале было мало народу, и Мисак уселся в первом ряду. Зрители были в пальто, и Мисак испытывал чувство неловкости, когда на сцене появились полуголые артисты. Как только они заканчивали номер, парень, стоявший в углу, накидывал им на плечи пальто.

Наконец появились Авогадро и его жена. На полуобнаженном теле Аво была одежда, украшенная цветным

стеклярусом, и он весь сверкал, переливался. Жена его была худошавая и мускулистая, как мужчина. Лет ей было сорок пять.

Аво установил у себя на лбу стул. Жена ловко вскочила ему на плечи, села на стул, Аво стал ходить по сцене. Голова его вошла в плечи, жилы вздулись, напряглись...

4

Мисак возвращался домой.

Какой увидит он дверь своего дома — опять накрест заколоченной? Неужели за эти два месяца опять заблелась его семья?

Эта мысль подгоняла Мисака... Снова собрать их всех, снова лелеять их, заботиться о них — иного выхода не было. Поставить всех на ноги, чтобы жили они, чтобы было у них потомство...

На вокзале играла музыка. Встречали какую-то делегацию. С трудом выбравшись из толпы, Мисак направился домой. На улице, в киоске, купил туфли для Вилика, брючки для Самвела и еще много всякой всячины.

Мисак дошел до площади, вымощенной булыжником, огляделся. Защемило сердце. Много мыслей пронеслось в голове.

Он шагал по площади, и от нетерпения ноги его подгибались. И сердце захлестывалось радостью. Оттого, что снова он идет к своей семьей. И от радости дрожали руки, и какая-то очень странная тоска поднималась от сердца к горлу.

Мисак смотрел на окна, взглядом искал знакомых, чтобы поздороваться.

— Мисак? — услышал он вдруг за спиной.

Обернулся...

— Аджан?.. — еле вымолвил Мисак.

УДИВЛЕННЫЙ, ВЛЮБЛЕННЫЙ, РАСТЕРЯННЫЙ ТУРИСТ

Бетонированная полоса .Ту-104. Взлет. Самолет взмывает вверх. На крыльях — солнце, а внутри — люди. Одно из ста мест мое. Об этом свидетельствует находящийся у меня в кармане билет величиной с носовой платок, на котором написана моя фамилия.

Блаженно откидываюсь на кресле, оглядываю салон, смотрю вниз, на землю. Я горд, что и у меня есть место в этом замечательном самолете выше облаков, у самой кромки солнца, и еще есть место там, внизу...

На этом маленьком шарике, от которого я попробовал ненадолго оторваться, есть краешек каменистой земли, которая была моей еще до моего рождения, моей останется и после смерти. Вернуть билет на этот краешек невозможно, бессмысленно... Оттуда меня подняли и везут показать Восток. Я всегда могу выйти, осмотреться вокруг, поглядеть на других и вернуться.

Бетонированная полоса. Самолет идет на посадку. Ташкент. Гостиница из бетона и стекла. В гостинице нет мест. Чемоданы. Носильщики. Экспрессы. Бездомные, вернее, безгостиничные гости.

Рядом с гостиницей строится новое здание.

Швейцар, узбек с наивосточнейшими усами и в наивосточнейшей европейской классической униформе швейцара, утешает:

— В будущем году достроят... это гостиница... Милости просим...

Я счастлив. Меня всегда радует завтра.

Наверху синее, тысячелетнее, древнее-предревнее небо, под ним — тысячелетняя, древняя-предревняя земля. На ней двое...

— Вы тоже без места?

— Тоже...

— Дайте ваш чемодан... помогу.

— По-моему, вы больше нуждаетесь в помощи. У меня свободна одна рука. Давайте ваше ружье.

— Это мольберт.

— Вы художник?

— Да... Студент второго курса. Как вас звать?

— Маро.

— Очень рад... Меня...

— Ой, что вы делаете!.. Наверное, раздавили краски... Можно знакомиться и без рукопожатия.

— Уже два часа.

— Не люблю, когда смотрят на часы. Вы что, недавно купили их?

— Да нет. Просто так...

— Двадцать минут третьего.

— Накрапывает...

— Небо-то чистое.. Скоро пройдет.

— Видно, придется зайти в вашу гостиницу.

— Уже светает... Я провожу вас.

— Куда?..

— На Восток...

— А ваши дела?

— Я турист... Я хочу увидеть Восток... и вас... А вы?

— Я должна навестить подружку в Бухаре и родственников в Самарканде...

...Двое, два человека, женщина и мужчина, знакомые друг с другом уже тысячелетия... И вот снова познакомились.

Старый Ташкент начинается с рынка.

Все оттенки Востока. Узкие пыльные улицы. Глиняные домики. Жмутся друг к другу, постепенно взбираясь куда-то вверх. По их плоским крышам можно шагать, словно по ступенькам. Старики у порогов. Один из них возлежит на дощатом помосте. Перед ним пиала с чаем. Со стороны можно подумать, что помост этот

сколотили специально для старика. Он неспешно поглядывает по сторонам.

Деревянная лавчонка. Торгуют лисьими шкурками. Шкурки свежие, с кусочками мяса. Продавец — бритоголовый узбек в расстегнутом халате. Рядом со шкурками большой чайник.

Всевозможные фрукты: урюк, изюм, виноград...

Среди этой пестроты — стандартный киоск «Союзпечати».

По привычке подхожу, беру «Правду» и «Юмани-те». По-французски читаю только заголовки. На всей первой полосе воспроизведение одной из синих росписей Жана Кокто. Я жалею, что купил газету. Кокто никак не вяжется с Востоком.

Маро покупает журнал мод и местную газету.

Разворачивает газету, просматривает отдел объявлений.

Прямо посреди улицы готовят плов.

— Попробуем? — предлагаю я.

— На улице?..

— Да... Пусть будет настоящий Восток... Ведь мы туристы!

Маро смотрит по сторонам, в глазах вспыхивают шаловливые искорки, она машет рукой:

— Ладно, будь что будет!..

Едим, смеемся. Я щурюсь от солнца. Предметы вокруг расплываются, теряют очертания, в глазах только краски, пестрые, сливающиеся в одно сплошное пятно.

И все перемешивается: смех, Маро, Ташкент, плов, люди... Белое, желтое, красное...

— Посмотри-ка, я не съела помаду? — Маро выпячивает губы.

— Хватит еще на обед и ужин!

Губы Маро широко открываются, с них слетает смех. Смех красноватый, цвета солнца... Смеюсь и я. Смех разливается вокруг нас. Мы утопаем, плывем среди смеха. Смех волнами расходится от нас, заражая окружающих. Смеется сидящий рядом с нами узбек, и другой узбек, сидящий подле него, смех распространяется дальше... Улыбаются окружающие нас люди... Смеются, потому что смеемся мы... Волна смеха ударяется о толстую шею тучного человека... Он сердито оборачивается, но затем тоже начинает смеяться вместе со всеми.

Перестрелка смешинками... Дуэль улыбок...

Самолет. Мы с Маро сидим рядом. По ту сторону стекла — люди в чалмах. Доносится аромат шашлыка. «Даже запах стал реактивным», — думаю я.

Взлет.

Сидящий передо мной таджик в чалме трясет бородой. Видно, молится.

Посадка.

Душанбе.

Чуть ли не самый южный город нашей страны. Сделаешь еще шаг, попадешь в Индию, в пьяном виде поставишь ногу чуть левее, окажешься в Афганистане. На горных высотах живут памирцы — потомки Македонского. С восковыми, как у Христа, лицами, застенчивыми глазами, с осторожной богоподобной поступью.

В городе две гостиницы. Две гостиницы, расположенные друг против друга. В одной из них нет мест для женщин, в другой — для мужчин. Я устраиваюсь в общежитии одной гостиницы, Маро — в общежитии другой.

В моей комнате человек пятьдесят — узбеки, казахи, таджики, корейцы, осетины... Жильцы меняются каждый час. Один прибывает, другой уезжает. Меняются языки, постели, оттенки храпа. Неизменен только висящий на стене громкоговоритель. Говорит с утра до поздней ночи. Жду, пока радиостанция закончит работу, и, наверное, вместе с дежурным радиооператором засыпаю.

Из моего окна видно окно Маро. Между нами площадь. Площадь, заполненная солнцем и цветами. Солнца сколько угодно, и без всякой платы... Купайся в нем, бери, пей, натирай им лицо, обнимай, прячь за пазуху. Цветы же по десять копеек штука. На тротуаре сидят старухи и продают цветы с букетом солнца впридачу.

Спускаюсь вниз, обхожу площадь, сажусь на скамейку в скверике. Затем покупаю три цветка и иду в гостиницу напротив.

Гостиница пробуждается. Люди кашляют, прочищают горло, моют руки, лица... Полотенца, куски мыла, вода... и аромат утра.

Первый этаж. Три цветка — слишком уж подчеркнутая симметрия, словно картина, продающаяся на базаре. Один цветок оставляю на столе сонной дежурной.

Поднимаюсь на второй этаж. «Дешево и старо, как в комедиях Гольдони», — думаю я и сую второй цветок в руки дежурной.

Поднимаюсь на третий. «Неудобно». Оставшийся последний цветок бросаю в лестничный проем и вижу, как он падает перед нервной работницей камеры хранения.

Стучусь в дверь, за которой живут пятьдесят женщин, одна из которых — моя знакомая по имени Маро.

Воскресенье. В парке. На танцплощадке не повернуться, все шахматы разобраны, в читальне нет свободных мест, на скамейках людей больше, чем полагается, в чайхане длинная очередь за чаем... Жарко и суматошно. На открытой эстраде сидят шестеро музыкантов. Два тара, два кларнета, один аккордеон и один бубен. Играющий на бубне — руководитель ансамбля. На нем широленные брюки. Курчавые, тщательно расчесанные волосы, видно, являются предметом его гордости. Тонкие и маленькие усики. Он поднимается с места, делает знак и начинает играть. Мотив звонкий, простой. Один из таристов от напряжения высунул язык. Музыка слышна только на площадке перед эстрадой, поэтому слушатели постепенно приближаются, сбиваются в тесную кучку. Чуть поодаль играет духовой оркестр. Если отойти немного от эстрады, можно попасть в волны духовой музыки, и от восточных инструментов ничего не останется.

Танцуют все, кому вздумается, сколько захочется. Танцуют главным образом таджики.

Маро вцепилась в мою руку. В ее глазах и радость и грусть.

Руководитель ансамбля самоуверенно смотрит вокруг, подтягивает на коленях брюки, и наконец становятся видны его туфли.

В саду качели-лодки. Мы становимся в очередь, садимся в качели, похожие на ракету, с надписью «Восток-2».

Возникает ветер, но теплый, как воздух в саду.

Подол Маро взлетает вверх, обнажая ее по-детски худые бедра.

Маро хочет что-то сказать, но не может. Мешает шум. Маро кричит. В ее голосе и смех и слезы. «Восток» останавливается, и я вижу, что щеки Маро мокрые, а глаза подозрительно красные.

— Ты плакала?

Она пожимает плечами.

— Ты плачешь?

Она пытается засмеяться, но всхлипывает.

— Ты испугалась?

— Не знаю.

Мы выходим из ракеты.

— Ты плакала?— снова спрашиваю я, обнимая ее за плечи. Маро, словно ребенок, смотрит мне в глаза.

— От радости можно совершить самоубийство? — спрашивает она полусмущенно.

— Нет.

— А если радости много, так много, что нет уже места?

— Все равно нет...

— А я хочу...

— Что?

— Умереть...

Мне кажется, что рядом со мной уже не Маро, а кто-то другой, другая девушка, и тогда я тоже становлюсь другим.

— От радости?..

— И от радости, и от грусти, и от любви, если их чересчур много...

Я смотрю на Маро, и она кажется мне очень родной, родной и беспомощной.

— Пошли... Здесь шумно, а люди спокойны, они двигаются, танцуют, а все же спокойны... Разве это радость?..

Я целую волосы Маро. Она шаловливо смотрит на меня.

Руки у нас мокрые, ноги тоже...

Мы с Маро сидим на траве. Я рассказываю ей про Сирано де Бержерака. Описываю невиданную, полную страданий любовь Сирано, его безобразную внешность. Потом Маро кончиком длинного стебля щекочет мне шею... Затем я целую ее... Затем снова идет дождь... Журчащий, светлый дождь. Сначала мы прячемся под первым попавшимся деревом... Дождь усиливается, и мы сдаемся ему... На, хлещи, мочи, ласкай!.. Мы твои!

Дождь перестает лить, и мы, совершенно промокшие, направляемся в город. Темнеет. Вдали видны огни, а перед нами узкое, блестящее от воды шоссе. Волосы Маро

липнут к щекам... Я обнимаю ее за плечи, дотрагиваюсь до мокрых щек, глаз, бровей, губ... Она целует мою руку... Я боюсь выказать свое отношение к этому поцелую. Делаю вид, будто в этом нет ничего необычного... А сердце сжимается.

Слышно кваканье лягушек. Они пересекают дорогу перед нами.

Я не могу думать ни о чем больше. Я не имею права думать. Я вижу, как теперь нужен Маро. И вдруг я понимаю: ничто не сможет разлучить нас.

Сзади нас освещают фары. Оборачиваемся. Маленький «Запорожец» быстро приближается, обгоняет нас, обдав грязью.

Смотрю на запачканное лицо Маро, на ее платье, смешно пытаюсь смахнуть грязь рукой, улыбаюсь. Обнимаю ее. Голова ее где-то ниже моего подбородка. Я обнимаю ее мокрую спину. Мы идем дальше, грязные, мокрые, усталые...

Чувствую, что я сейчас необычно искренен с Маро, быть может, впервые.

— Отсюда поедем прямо домой...

— В Карабах?— спрашивает Маро.

— Все равно, в Армению... Построим хороший домик с аистами на крыше, с мастерской... И будем жить долго-долго!..

— И никогда не уедем оттуда?..

— Никогда, что бы ни случилось... Никуда не уедем... В нашем доме будут твои портреты — много-много... Портреты наших детей, наших дедов... Будут приезжать туристы из других стран и смотреть наш домик, мои картины...

Шоссе переходит в городской проспект.

На улице редкие прохожие. Они с недоумением оглядывают нашу грязную одежду и, вероятно, думают бог знает что...

Уже поздняя ночь... Я провожаю Маро в гостиницу. Выхожу на площадь. Стоит такси. Случай тоже любит шутки. Сажусь.

— В гостиницу напротив,— говорю я удивленному водителю.

Теперь начинается совершенно новый день. Утро. Маро еще спит. Но она со мной. И я не чувствую себя

одиноким. Я шатаюсь с мольбертом за плечами и с палитрой в руке. Сегодня все вокруг меня обрело яркий, необычный оттенок, мне хочется рисовать. Краски словно исходят из моего существа. Вместо слов рот мой наполняется красками. Краски — любовь, краски — удивление, краски — полет, краски — самопожертвование, краски — человек, краски — сердце...

Устраиваюсь рядом с чайханой. На коврах, поджав под себя ноги, сидят таджики. Лица у них выразительные, живые, движения медлительны.

Рядом с чайханой арык, от которого пахнет чаем. Смотрю, течет почти что чай, зеленый, дымящийся... С потолка свисает клетка, в ней угод...

Первые мазки на холсте. Подходит какой-то таджик.

— Пожалуйста, отведайте,— просит он и ставит рядом со мной большую пиалу с чаем.

— Здорово, земляк, — говорит другой по-армянски.

Армянин небольшого роста, со смеющимися глазами, под носом кусочек щетины. Обнимает меня.

— Когда приехал?

— Сейчас.

— Работать?

— Нет.

— Жить?

— Гулять и немного рисовать, — объясняю я, и опять рот мой наполняется красками. Хочу сказать ему: гогеновская желтая, синяя Пикассо, цвет пламени Сарьяна.

— Ищу квартиру,— вместо этого говорю я.

— Найдем, это пустяки... Пойдем выпьем бутылочку вина,— тянет он меня за рукав.

— Погодите, соберу все это.

Идем вдвоем по улице.

К нам подходит еще один армянин.

— Нерсес! — категорически объявляет он и жмет мне руку. — Я карабахский, знаешь Карабах, наш старый Сюник?..

— Знаю,— бормочу я.

— Ничего ты не знаешь... Карабах, понимаешь?! Я человека распознаю раньше, чем он откроет рот. Не пытайся обмануть меня!

Они выводят меня на главную улицу. Нерсес замечает кого-то в троллейбусе и поднимает руку.

Троллейбус резко останавливается.

— Здорово, Лаврент,— говорит Нерсес водителю.— Где бы найти комнату для нашего земляка? Прибыл на три месяца из Еревана.

Лаврент радостно протягивает мне из кабины руку.

— Когда приехал, как в Ереване?

И показывает свои крупные зубы.

Рядом с троллейбусом останавливается автобус.

— Послушай, Лаврент... Что случилось?— спрашивает водитель.

Лаврент показывает на меня.

— Приехал из Еревана... Надо найти ему комнату.

Я начинаю рассказывать: «Желтая Гогена, синяя Пикассо, пламенная Сарьяна».

Чуть погодя останавливается троллейбус, идущий с противоположной стороны.

— Ребята, что тут стряслось?— спрашивает новый водитель и тоже по-армянски.

— Приехал из Еревана, нужно найти ему комнату.

Водитель выскакивает из кабины.

— Когда приехал?.. Как в Ереване?..

На улице образовалась пробка. Сигналят машины, ропщут пассажиры.

— Почему не едем?— кричит высокая женщина.

— Земляки встретились,— улыбается молодой таджик. — Пусть поговорят, ничего...

— У нас пустой вагон,— говорит Гаго. — Давай все-ляйся, живи сколько хочешь, платить не надо...

— Какой вагон?— удивляюсь я. — Настоящий вагон?

— Настоящий... Скорый!.. — говорит Гаго, и ребята смеются.

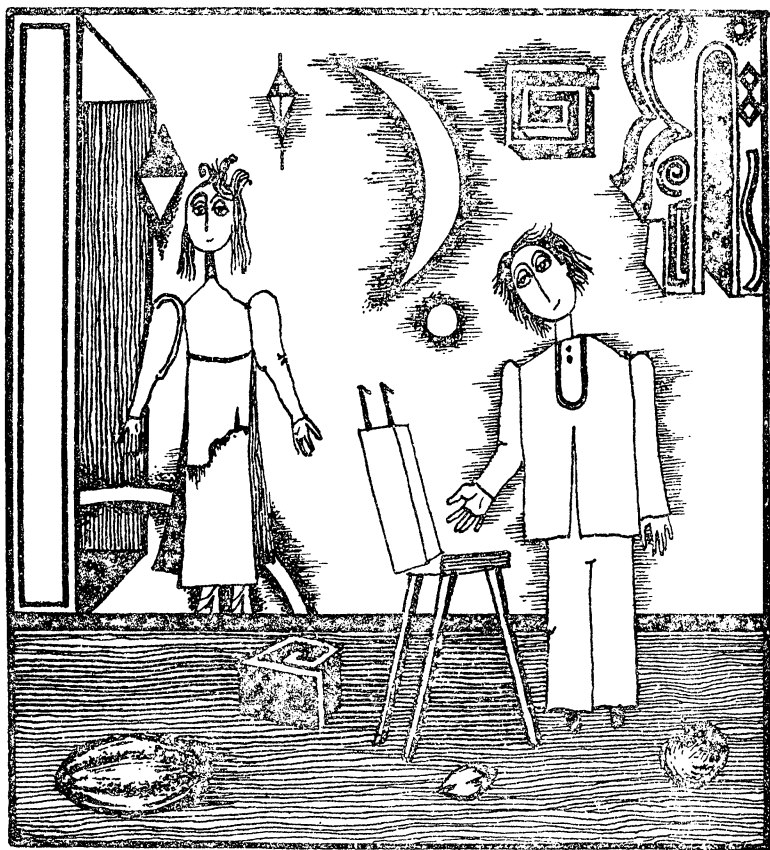
На пригорке выстроились в несколько рядов вагоны, колеса глубоко сидят в земле. На окнах занавески, как в настоящих домах.

В однообразии этих вагонов есть какая-то жалкая наивность, что-то детское.

Неподвижные вагоны...

Мы с Маро устроились в одном из вагонов, принадлежащих автобусному парку.

На нашем вагоне и в самом деле написано: «Ско-



рый». В вагоне стоит кровать, ребята притащили откуда-то.

Вагоны разные, повидавшие свет. Таблички: «Москва—Андижан», «Ташкент — Душанбе» и даже «Варшава — Петроград».

На вагоне, где живут водители — Гаго, Лаврент, Нерсес, кто-то начертил: «Джандам-Джандам»¹. Может быть, это шутка, а может быть, страничка из их биографии. Вагон чистый, устроенный. На стенах обложки журнала «Экран». Аккордеон, гитара, бутылки...

¹ Из ада в ад.

В соседнем вагоне живут девушки с суконной фабрики.

Из окна нашего с Маро вагона видны все остальные. Я смотрю на эти изношенные, усталые от долгих дорог вагоны и представляю себе большущий поезд, армянский поезд, от которого оторвались, рассеялись по миру эти вагоны — один здесь, другой в Бейруте, третий в Париже, четвертый в Фрезно...

— Долго мы будем жить в вагоне?

— Пока он не тронется с места.

— Никогда не тронется.

— Нет, обязательно... Сами потянем, повезем...

— Смешной ты... Где же твоя страсть к туризму?

— А я все увижу из окна...

— Все?

— Все. Весь Восток... и тебя.

Неподвижные вагоны...

Из «Джандам-Джандам» слышны песни. Ребята веселятся.

От каждого вагона тянется тропинка. Где-то они сливаются воедино, расширяются и доходят до главной улицы города. Улица ведет к вокзалу. От вокзала одна из дорог тянется к Ашхабаду. Из Ашхабада есть дорога на Красноводск...

Все дороги сливаются, продолжают, уходят очень далеко, кружат и кружат по свету, но даже из Венеции снова возвращаются на эту улицу, снова делятся на тропинки, и одна из них ведет к нашему вагону, где живем мы с Маро.

Против чайханы — зоологический магазин.

Температура в тени — сорок градусов. Мы с Маро шагаем под самыми стенами, в тени деревьев. Какое наслаждение эта сорокаградусная тень!

Из чайханы — в тень автобуса, потом два шага под солнцем и, чтобы передохнуть несколько секунд, останавливаемся в тени гиганта-памирца. Памирец уходит, и мы бежим в зоомагазин.

Я разглядываю попугаев и смахиваю капельки пота, сбегаящие из-под берета.

— Смотри! — тянет меня за рукав Маро.

Объявление:

«Сегодня в продаже:

1. Рыбки.
2. Попугаи.
3. Обезьяна, резус-макака, цена 50 руб.». — Купим! — нетерпеливо говорит Маро. — Посмотри, — показываю я на цену. — Что-нибудь придумаем. — На что она нам?

Однако чувствую, что и во мне появляется желание приобрести обезьяну.

— Обезьяна, живая обезьяна, представляешь?.. Я повяжу ей бант на шею, — и Маро обращается к продавцу: — Товарищ, товарищ, дайте нам одну обезьяну!

— Встаньте в очередь, — говорит человек в майке.

— Нам не нужно рыбок, неужели и обезьяны в общей очереди?!

— Почем знать, может, и я покупаю обезьяну, — говорит другой.

Кто-то фыркает.

— Что тут смешного?..

— Товарищи, — объясняет продавец, — обезьяна всего одна... Если желающих из очереди нет, пусть берут молодые люди.

Маро крепко обняла резус-макаку. Обезьяна оценивающе смотрит на нас. Мне кажется, что она хочет уяснить себе наши с Маро отношения. Я подмигиваю обезьяне. Она мне тоже.

Все смотрят на нас. Постепенно растет ватага ребятишек, обступивших Маро.

— Где их продают? — спрашивает какой-то военный.

— Больше нет, всего эта и была...

Влезает в троллейбус.

— Три билета.

— Тью, тью, тью... — с нежностью обращается худая женщина к обезьяне, затем говорит что-то по-немецки соседке.

— Как ее зовут? — спрашивает немка, доставая из сумочки шоколад.

Резус-макаку мы устраиваем в свободном конце нашего вагона. На голову надеваем купленную в Ташкенте панаму.

Смотрим на нее и смеемся.

Макака добрыми глазами смотрит на нас.

Все трое смотрим друг на друга.

Я сплю мало.

Бодрствуя, вижу приятный сон, а когда засыпаю, сон исчезает.

— Чудак! — говорит Маро.

— Почему?.. — глухо бормочу я.

— Ты не похож на других.

— Почему?

— Другие давно бы оставили меня, ушли...

— Почему?

— Так устроен мир...

— И ты не жалеешь?..

— Очень мне нужно!

— Почему?

— Чудак!

Маро спит. Я думаю. Крепко держу за руку Маро. И вдруг ощущаю страх. Я становлюсь жалким. Раньше мне казалось, что я владелец огромного сокровища, которое берегу для необычного дня, для какой-то необыкновенной девушки. И ждал этого дня, чтобы извлечь и выложить это сокровище, — огромную преданность, сумасшедшую любовь, искренность, не знающую границ, то единственное, вне которого я ничто... И был уверен, что, если бы извлек мое достояние, снял бы с глаз завесу иронии и глаза бы стали наивными, люди поразились бы моему богатству... Неужели я беспечно кладу у ног Маро именно то, что так крепко запираю в себе?..

Я целую руку, запястье, плечо Маро...

— Спи... — бормочет она.

Молчим.

Маро засыпает.

Я чувствую, что теряю все, что лелеемое мною богатство, мое знамя, моя гордость равны одному поцелую, имеют цену одной ночи. А остальное...

— А еще говорила, что люди не умеют любить...
Что люди спокойны...

Маро поворачивается во сне.

Вдруг мной овладевает тревога, и я в панике шепчу:

— Маро, проснись!.. Я должен сказать тебе что-то... очень важное!..

Ее глаза открываются.

— Что тебе?..

— Послушай... в другой раз я не смогу сказать... это очень серьезно!..

Глаза спокойно смотрят на меня.

— Хочу сказать, пока не рассвело... Пока я не стал другим... — продолжаю я.

— Ну-у... говори, — бормочут губы Маро.

Я смотрю на ее глаза, губы и вновь настораживаюсь, пытаюсь удержать мое сокровище.

— Тебя когда-нибудь любили?..

— Чудак,— обиженно говорит Маро, потом закрывает глаза.

На мольберте листы картона. За ними спит макака. Время от времени издает какие-то звуки. Интересно, видят ли обезьяны сны?

Мы с Маро все время ходим вместе, ее рука всегда в моей ладони.

— Ты очень изменился,— говорит Маро. — Глаза стали совсем другими...

— Какими?

Маро пытается найти слова. Смеется.

Я целую Маро. Делаю вид, будто целую ради поцелуя. Говорю о любви других, говорю, потому что не могу не говорить.

Маро смотрит на меня очень просто. Чувствую, что она ничего не скрывает. В глазах вся она. И они говорят: «Что тебе нужно?.. Не понимаю... Почему ты рассказываешь эти любовные истории?.. Я уже твоя... Вот я... Что тебе еще нужно, не понимаю... Чудак!»

И я слабею, умолкаю. На самом деле чудак!

В окне вагона появляются головы Гаго, Нерсеса и Лаврента.

— А мы решили, что ты тоже уехал... — говорит Лаврент.

— Куда?.. — удивляюсь я.

Лаврент пожимает плечами.

— А ты разве не знаешь?

— Не-ет... — улыбаюсь я.

— А куда ушла твоя девушка?.. — насмешливо говорит Нерсес.

— Ладно, ребята... — говорит Гаго. — Пошли!

Я смотрю на макаку и продолжаю рисовать.

Головы Лаврента и Нерсеса исчезают. В окне остаются только две точки-глаза да кривой нос Гаго.

— Ребята видели на вокзале... Ты разве не знал?

— Нет...

— Кажется, в поезде на Бухару... Поссорились?

— Нет...

Мой карандаш начинает двигаться энергичнее над очертаниями морды макаки.

— Почему ты побледнел?

— А чего тут бледнеть?— спрашиваю я с деланным равнодушием. — Так, значит, уехала?

— Да... Но я не о том,— кривит рот Гаго, затем прибавляет: — Вечером приходи к нам. Девочек четверо, а нас, парней, трое. Придешь?

Вагон неподвижен, а мне хочется бежать...

Выглядываю из окна моего неподвижного вагона. Люди устроили окна, чтобы видеть, что делается снаружи. Окно было и в той комнате, где я родился. Окно было в классе, где я учился. Окна есть в больницах... Окна были в Освенциме... И окна есть даже в закрытых кельях монастырей.

Люди устраивают окна, чтобы видеть людей, чтобы быть ближе к ним. Люди снабжают окна решетками, чтобы быть подальше от людей.

Из окна моего вагона видны тропинки, и по одной из них ушла Маро. И только теперь я замечаю, что на окне моего вагона тоже есть решетка. И я чувствую себя еще более одиноким.

Макака взлезает на окно и, держась одной рукой, повисает на решетке.

Сквозь решетки солнце падает на пол со странными фиолетовыми отсветами. Оглядываюсь вокруг и жалею, что оставляю наш вагон и резус-макаку.

Каждый предмет, каждый угол в вагоне говорят мне о Маро. Даже «Джандам-Джандам» напоминает о ней.

Я хочу рассмеяться, хочу быть беззаботным — мол, «видал, что вышло?..». Обыкновенная история, одна из множества встреч... Я буду продолжать писать портреты ребят из «Джандам-Джандама», веселиться с ними, рисовать макаку и гулять, гулять... Нет, не могу. Губы

Маро, краски Маро, походка Маро, плач Маро... И везде она...

На маленьком столике в стеклянной банке — длинный, желтый, какой-то меланхоличный цветок, названия которого я не знаю, как не знаю названий многих цветов. На стене висит моя палитра, засохли краски: белая, красная, берлинская лазурь... Под койкой чемодан. Вокруг меня повсюду этюды, сделанные сангиной, углем, пастелью: Маро, резус-макака, снова Маро, Маро, Маро...

Складываю мольберт, потом снимаю со стен картины и прячу в чемодан.

Макака грустно смотрит на стены. Глаза у нее всегда грустные. Она поднимает с пола пустые папиросные коробки и бросает в мой чемодан.

Я отправляюсь искать Маро.

Макака сидит на руках Нерсеса и смотрит на меня. Рукой снимает панаму и машет ею. Потом пытается вырваться от Нерсеса, тянется ко мне. Глаза у нее грустные, очень грустные. Я впервые вижу, как плачут обезьяны.

В поезде дыни. Выхожу из поезда — и тут дыни. Республика дынь. Песня дынь. Красные, желтые, оранжевые, зеленые... Палитра дынь. Мятееж дынь. Дыни продаются и на станции Каган, и в пристанционном поселке. Люди таскают дыни. Дыни везут в вагонах. Две маленькие дыни я втискиваю в свой чемодан.

Чайная — легкое деревянное сооружение. Я кладу дыни на стол и достаю большой восточный нож.

— Здесь дыни есть нельзя, — подойдя к моему столу, говорит заведующий.

— И водку пить нельзя, — обращается он теперь к сидящему напротив меня русскому.

— Я хочу, чтобы вы меня огорчили, — говорит русский.

— А я не хочу, — вставляю я.

Заведующий улыбается.

— Вы араб?

— Нет, — отвечаю я, обрадованный, что я похож и на араба.

— А я араб, — воткнув указательный палец в волосы на груди, объявляет он.

— Разве здесь есть арабы? — спрашиваю я, чтобы не обидеть его.

— Мало, — отвечает он, сверкая зубами из-под черных усов. — Но я араб!

— Молодец! — говорю я, чувствуя себя немного обалделым после дороги.

— Можете есть свои дыни, — говорит он. — И ты можешь пить водку, только перелей в чайник, чтобы не догадались, — обращается он к моему соседу.

— Нет, так не пойдет, я хочу, чтобы вы огорчили меня, понимаете?.. — говорит мой сосед.

— Садитесь в трамвай, — предлагаю я. — Непременно огорчат вас...

— Здесь нет трамвая.... — серьезно объясняет он. — Вы можете огорчить меня?

— Нет.

— Не можете или не хотите?

— Не могу и не хочу... А зачем вам это?

— Доктор прописал.

— В аптеке спрашивали? — с кислой миной пытаюсь пошутить я.

Он пьет из чайника водку, а я из стакана чай.

Через пять минут, когда сосед узнает, что я студент художественного института, а я узнаю, что он имеет отношение к киносъемочной группе, мы становимся друзьями.

Часть моего существа прочно захвачена Маро, а другой частью, насколько возможно, я слушаю историю собеседника, ищущего огорчений.

Кино было его мечтой. Однако неудача за неудачей преследовали его. Поступил во ВГИК. Началась война. Его ранило. Попал в плен. После войны работал в разных местах... С институтом так ничего и не вышло. Но кино оставалось его единственной целью. А без образования его и близко не подпускали к кино. Годы сделали свое дело. Врач сказал: «Горе и несчастье до того довели вас, что теперь нужен полный покой». И теперь самое опасное для его жизни — это большая радость. Представляете? Радость, которой у него почти не было. Врач сказал: «Большая радость может покончить со всем». А теперь между Бухарой и станцией Каган поляки снимают фильм «Фараон». Он участвует в качестве

статиста. Все-таки он перед аппаратом, с криком режиссера в ушах. Вчера режиссер позвал его и снял пробы. Режиссер сказал: «Если подойдете, может, возьмем на одну из главных ролей». Наконец он может добиться своей цели, но он не имеет права радоваться. А как не радоваться, когда это самая большая его мечта? Уже сердце его бьется в радостном ожидании. И он боится взрыва радости, взрыва, сводящего с ума... Он старается сохранить свое обычное меланхолическое состояние. Он ищет огорчения...

— Завтра не пойдете?— удивляюсь я.

— Мне нужно горе.

— Может, радость будет и не такая уж большая?..

— Нет... если получится, радость будет страшно большая... Я уже ощущаю начало радости и боюсь.

Я начинаю понимать его. Представляю свою встречу с Маро и понимаю искателя горя. Любовь, сумасшедшая любовь!..

— Стало быть, не ходи, — говорю и себе и ему, но думаю: «А я пойду, пойду, все же... Пусть умру от радости... Что за роскошная смерть!.. Я, Маро и радость... Убивающая радость, взрывающаяся радость, человеческая радость!..»

Воронкообразная площадь.

Стоят автобусы, образовав круг. Отсюда они по разным направлениям взбираются на горы.

Кажется, что в центре площади должна быть дыра, где можно, как в горло воронки, проскользнуть вниз, под землю.

Подошвы моих туфель стерлись в поисках Маро.

В центре площади сапожник. У него синие хитрые глаза. На голове традиционная тибетейка. Белая кожа, нос кривой, чуть сдвинутый в сторону. Лицо обрамляет борода. Усы с двух сторон спускаются к подбородку. Настоящая модель для этюда. Поищи, найди второго такого! Смотрит на меня и улыбается.

— Можете быстро починить?— спрашиваю я.

— Можно, — удивительно чисто по-русски отвечает он.

Я снимаю туфлю, протягиваю и смотрю на его бороду.

— Армянин?.. — вдруг на странном армянском спрашивает он.

От удивления вскакиваю.

— Я давно заметил тебя, — улыбается он.

— Вы... Вы?..

— Армянин... — не дожидаясь окончания моего вопроса, говорит он.

Я поражен. Самый настоящий азиатский армянин. Разные приходят мысли в голову... Смотрю на туфлю — вертится в его руках, смотрю на гвозди, он держит их в зубах.

И спрашиваю:

— Карабахский?

Из-за гвоздей он не может ответить и только отрицательно мотает головой.

— Значит, из Эрзерума?

Снова нет.

— Из Вана?

Он достает гвозди изо рта.

— Не-ет...

— Ваш отец переселился в пятнадцатом году?..

— Что?.. — не понимает он.

— Или, быть может, во время резни девяносто пятого года бежал из Турции?.. Много армян рассеялось.. По всем концам света.

И он счастливо улыбается:

— Не-ет... Я здешний...

Смотрю в его глаза, и они кажутся мне очень знакомыми, словно видел их вчера.

— Не может быть.

— Здешний я, — повторяет он.

— Ваш отец?..

— Родом из Бухары.

— А его отец?

— Тоже...

— А его отец?

— Из Бухары.

— А самый первый?

— Из Бухары, из Бухары!..

Я сержусь:

— Как же так, ведь в Бухаре не мог родиться армянин!.. Должен же был кто-то приехать в Бухару.. Ваш прапрадед!

— Все мы из Бухары... Даже прапрадед... Здесь хорошая земля, богатая земля...

Я хочу рассказать ему о происхождении человечества. Думаю о каменном веке, Греции, Персии. Путаюсь. Хочу что-то вспомнить из прочитанного. Но чувствую, что для объяснения этого мало.

«Дали, дали, пыльные дали!.. Дали, дали, разоренные дали!

Нужно, чтобы память армянина за секунду преодолела по крайней мере тысячу километров».

Беру туфлю, рассматриваю, потом машу рукой:

— Хай...¹

В темноте движется слабый свет. В этом слабо освещенном пространстве видны дремлющие люди, сложенные друг на друга чемоданы. Это автобус Каган — Бухара. Некоторые едут в Бухару на работу, другие сошли с поезда.

— Вы едете в Бухару?— спрашивает маленького роста, улыбчивый человек. Он сидит на своих двух чемоданах, обняв третий. Только начинает светать, и в этот час голоса людей звучат как-то глухо.

Я киваю.

— Вы художник? — снова спрашивает хозяин чемоданов.

Хитрые, пронизывающие глаза. Не удивлюсь, если он будет знать и мою фамилию.

Снова киваю и мысленно прошу: «Ну скажи же мою фамилию».

Словно угадывает:

— Вы армянин?

Опять киваю.

— Ищете кого-либо в Бухаре?

«Наверное, телепат»,— думаю я и хочу поколебать его уверенность.

— Нет.

Не верит. Улыбается. Лучше меня знает, чего я хочу.

— Я вам помогу,— говорит он, — покажу, где гостиница... В Бухаре есть что рисовать... К нам часто приезжают художники.

¹ По-таджикски — «хорошо, добро». Но «хай» одновременно означает «армянин».

Когда ты не выспался, всегда думаешь о грустном. Я думаю только о Маро.

Автобус останавливается на маленькой площади. Мы вылезаем.

Улыбчивый человек, словно старый знакомый, обращается ко мне:

— Возьмите этот чемодан... Пойдем вместе: я вам покажу, где гостиница.

Сует мне в руку самый громадный чемодан... и я следую за ним.

Словно кто-то сдергивает с неба занавес, и наступает рассвет. В рассвете нечто неожиданное. Потрясающий город, разноцветный город, иллюстрация всего Востока. Все известное мне, от персидских миниатюр и до путешествий Синдбада, бледнеет перед этим чудом.

Под тяжестью груза я не могу вволю смотреть по сторонам.

— Это Хауз-Ляби-Хауз, — глядя на чемодан, который я тащу, поясняет улыбчивый человек, воодушевляя меня, чтоб силы мои не иссякли.

— Это медресе Дивон-Бега, а это компол... Я вам помогу... Покажу Бухару...

Беспокойное желание видеть Бухару овладевает мной.

— Долго до гостиницы? — почти в отчаянии спрашиваю я.

— Еще немного... еще немного... я помогу вам.

Похоже, мы выходим из города. Мои пальцы болят от тяжести. «Что в этом проклятом чемодане?» — думаю я.

— Я помогу вам, — продолжает незнакомец.

И наконец мы входим в какую-то странную улицу.

— Рая! — зовет мой спутник.

«Интересно, откуда должна выйти Рая?» — не могу угадать я. Где дверь, где окно? Экзотический лабиринт. Вдруг рядом со мной возникает завернутая в шаль зевающая женщина.

Оставляем чемоданы и выходим. Возвращаемся назад.

— Вот гостиница, — с улыбкой говорит мой проводник.

Смотрю вокруг — да это же остановка автобуса! Не могу понять, что произошло.

— Спасибо, — говорю ему и разгибаю заостеневшие пальцы.

— Пожалуйста, — отвечает он и исчезает в улочке, узкой, как шкаф.

С жадностью накидываюсь на Бухару. Вхожу в ее улицы. Словно кто-то собирается отнять у меня это чудо. Иду по одной улице, выхожу на другую. Внутри у меня все переворачивается от удивления. Я почти готов плакать. Странное дело: от удивления можно, оказывается, волноваться и плакать. Не от красоты, а от необычности.

Улицы похожи на комнаты. И в комнатах комнаты.

Эти несколько минут заставляют меня забыть всю мою прожитую жизнь, все виденные мной города. Если бы меня в эту минуту спросили — кто я, наверное, ответил бы:

— Абу Хатим аль-Мерденшах!

Вхожу в улицу, похожую на туннель, потом выхожу к саду и вдруг вздрагиваю. Передо мной стоит милиционер. С очень черными и густыми усами. Он засунул кончик платка в ноздри и чистит, словно стекло керосиновой лампы. В нагрудном кармане выстроились шесть шариковых ручек, которые, видно, служат ему вместо орденов. Сверкают блеском золота и серебра.

— Да здравствует Бухара! — говорю я милиционеру.

— Салам! — отвечает милиционер.

Я ищу Маро повсюду: на улицах, в мечетях, во взглядах, в походках, в звуках...

Теперь, среди чудесных неожиданностей, среди поражающих взор памятников Бухары, Маро отступила на второй план, присутствуя как оттенок, меланхолическое, лирическое восприятие окружающего. И я чувствую себя немного и туристом.

Живу почти что на базаре. В Доме колхозника. Одно окно выходит прямо на базар, к чайхане, а другое в бывшую конюшню эмира Бухарского.

На базаре можно купить японскую сливу, похожую на персик, и персик, похожий на сливу.

Над базаром высится, быть может, самый высокий минарет магометанского мира — Калян, а рядом мечеть, медресе Мир-Араб, Токи-Заргарон.

Но самая большая неожиданность для меня — три компола города.

— Как пройти мне в городской сад?— спрашиваю я.

— Пройдешь через два компола.

— Как попасть к кинотеатру?

— Он находится между вторым и третьим комполами.

В период процветания Бухары купцы построили в самом сердце города эти комполы. Они, как пауки, втянули в себя все улицы города. И куда бы ты ни пошел, вынужден обязательно пройти через компол. А если вошел в компол, то едва ли тебе позволят выйти оттуда без покупки. Когда издали смотрю на комполы, на меня нападает что-то вроде страха... И вместе со страхом рождается надежда: может быть, найду Маро в этом крепком узле дорог.

Чайхана возле Хауз-Ляби-Хауза.

В носках, поджав под себя ноги, я сижу на ковре с порцией морковного плова.

— Угощайтесь, пожалуйста,— говорит молодой узбек с университетским значком на груди и протягивает мне пиалу зеленого чая.

— Спасибо,— отвечаю, — я не пью чай.

— Уу!.. — удивляется другой узбек с желтым лицом. — Бедный!

— Почему? — бледнею я.

— Без чая пропадешь... Бедный!

Кусок застревает у меня в горле.

— Пей чай!.. — упрямо повторяет он. — Еще Омар Хайям говорил:

Вопросов полон мир, — кто даст на них ответ?

Брось ими мучиться, пока ты в цвете лет.

Ты пей, и на земле ты рай создашь, — в небесный

Не то ты попадешь...

— Вы любите Хайяма?

— Уу!.. — смотрит он вверх.

Хайям и чай!..

Из мечети Дивон-Бега слышен стук бильярдных шаров.

В углу мечети сидит заведующий бильярдной, а перед ним, разумеется, чайник. Два бильярдных волка, с головы до ног в мелу, гоняют последний несчастный шар, оставшийся на столе.

— Дуплет!— кричит один.

Голос грохочет в пустой мечети и, словно шар, отскакивает от стенок. Затем, словно проникнув в минарет, глухо звучит вместо голоса моллы: «Дуплее-т!..»

У входа в мечеть на ступеньках бассейна рядышком сидят люди. Ноги у самой воды. Сидят три бородатых русских старика. Эта тройка, подобно лучшим образцам классической скульптуры, составляет единое целое, отдельное от окружающих. Один из них очень маленький, у него длинное лицо, острая бородка, на носу очки. Другой очень тучный, у него толстые ноги, толстые руки, даже уши толстые. Наверное, распухли от какой-то болезни. Мой взгляд словно спотыкается на нем. У третьего белая короткая борода, колющий как иголка взгляд. Бодр, подвижен и, кажется, моложе других.

— Вы не здешний,— говорит бодрый старик тоном, не терпящим возражения.

— С Кавказа,— отвечаю я и думаю о Маро.

— А-а!.. Да?.. — еще более оживляется старик и обращается к друзьям: — Прохор, слышишь, он из Тифлиса.

Остальные тоже смотрят на меня.

— Я бывал в Тифлисе... Хороший город... Богатый город... Купил там семьдесят четыре бочки вина и послал в Петербург.

Я не прочь уточнить, что сам не из Тифлиса, но не хочу мешать ходу своих мыслей. А в мыслях у меня Маро, которая к вечеру превратилась в некий грустный синеватый образ.

Смотрю на отражение мечети в воде, на площадку у вершины минарета, похожую на гнездо аиста. И все, все впечатления приходят для того, чтобы оттенить это трепещущее, причиняющее боль желание — найти Маро, увидеть Маро, поцеловать Маро, смотреть на Маро, вдыхать Маро... Потом, подумав, что Маро нет и в Бухаре, ощущаю вокруг себя пустоту...

Замечаю, как движутся губы старика. Он что-то возбужденно рассказывает. Я не слышу ни слова.

«Что делать?— думаю я. — Куда пойти?.. Может, Маро уехала в Самарканд?.. Кажется, у нее там родст-

венники... Быть может, поднялась в какой-нибудь кишлак на Памире, ей ведь так нравились памирцы с лицами Христа...»

Кто же я теперь, Арлекин или турист?

Вдруг замечаю, что старик спрашивает о чем-то.

— А?.. — говорю я.

— А?.. — повторяет он.

Бог его знает, о чем он спросил.

— Да,— отвечаю я. Может, и попаду в точку.

Они шепчутся и с недоумением смотрят на меня. «На какой это вопрос я ответил «да», чем они так удивлены?»

— А нас сослали сюда в двадцать седьмом году,— говорит старик. — Сказали, что я кулак... Какой там кулак? Всего двадцать лошадей, разве это кулак.

История возвращается. Живые кулаки.

Потом бывший кулак воодушевляется, вспоминает своих лошадей, ленивого брата.

— Один-одинешенек, вот этими руками трудился, копил...

И глаза его загораются, краснеют.

— Вы когда-нибудь любили?— спрашиваю, не в силах оторваться от Маро, ибо сейчас меня ничто больше не интересует.

— А?.. — Он захвачен врасплох неожиданным вопросом, затем возвращается мыслью, видимо, из очень далеких мест, успокаивается и улыбается.

— Еще бы!..

— Сколько у вас детей?

— Ни одного, — обняв палку, говорит он. — А как вы думаете, сколько мне лет?

Я плохо угадываю возраст.

— Пятьдесят.

Он хихикает.

— Восемьдесят девять, сударь, восемьдесят девять!.. Вот оно как!.. Старше всех по годам, моложе всех на вид!.. Потому что не имел бабы!

— А любили? — снова спрашиваю я.

— Еще как!.. Любил, и меня любили... Вон в шестом году повез в Варшаву шесть вагонов пшеницы... Познакомился с одной вдовушкой полячкой... Любил... Был у нее... Платил... И любила меня, и одежду стирала, и обед готовила... Хорошо было... Удобно... Многих любил. И всегда было удобно.

Хочу уколоть его, и тут же вспоминаю свое положение.

— А неудобной любви не было?

Он, серьезно подумав, деловито отвечает:

— Было такое, в Казани... Огонь была девка, сказанная... Даже убить меня хотела... Дал околоточному красненькую, он и продержал ее в кутузке, пока я убрался из города. Но тосковал по этой суке... — Его глаза становятся еще мельче и смотрят в одну точку. — И теперь иной раз тоскую... э-эх! — Он щелкает языком.

Уголок моего мозга, где засела Маро, еще более воспаляется. Был кулаком, но совет все же дать может. Старый, видел свет...

— А как успокоить чувства при безответной любви?

— Самое удобное... — он кривит рот, потом решает: — Убить.

— Прощайте, — говорю я и, не сумев улыбнуться, ухожу.

Город похож на ящик, который опрокинули и высыпали содержимое. Да еще стукнули разок по доньшку, чтобы в углах не осталось ничего. И тем не менее я застрял в щелочке. Еле волочу усталые ноги. В старом городе не видно ни одного огонька. Я иду спать. Днем солнце оставило свою печать на моем затылке и спине. И теперь там горит.

Одинокó брожу по пустынным улицам. Вхожу в компол. Второй компол, третий компол. Пустой базар.

В комнатах никого не осталось. Все вынесли свои постели наружу. Падаю на кровать. Жарко. Ворочаюсь с боку на бок. Спать невозможно.

Во дворе колхозники храпят со странной очередностью.

Возвращаюсь на рынок. Ложусь на тахту в чайхане. Над головой минарет. Рядом с ним высокие стены медресе. Ни звука, ни шепота.

«Нет Маро, — в отчаянии думаю я. — Осмотрел все возможные места...» Потом безнадежно: «Разве не смешно, что я так старательно ищу ее?» Затем мной овладевает шутливое настроение: «Так ведь я еще и турист!» Потом думаю: «Компол»... Интересное персидское слово... Никогда не забуду.

— Э!..

Надо мной нависли чернобородое лицо и еще молодое солнце.

— Эй!.. Ишто хочешь?— спрашивает борода.

— Чаю,— говорю я, моргая.

Узбек от души хохочет.

— И весь ночь ожидал, чтобы чай пить?

— У вас вкусный чай, — беспардонно вру я. — В Бухаре нигде такого чая нет.

Чувствую, что, если не придам словам шутливый оттенок, они покажутся издевкой. И все же узбек польщен.

— Рахмат,— говорит он. — Рахмат... Иди одевайся, а я чай исделаю...

Раздумывая, кружу вокруг арки эмира, прохожу через компол, шагаю мимо медресе Улугбека. Два медресе на одной улице, друг против друга. На пороге медресе Абдулазиз-хана трое ребят играют в карты. Любопытство берет верх, я вхожу.

Росписи стен изгажены пошлостями. На персидском узоре — плоская шутка, нацарапанная гвоздем. Сердце у меня защемило. Ругаюсь себе под нос и выхожу во двор. Обширное пространство. В стенах комнаты-кельи, которые называются «худжра». В старину в них жили учащиеся. Тифлиссские армяне худжрой называют шкафы. В самом деле комнаты напоминают шкафы. Вхожу в одну. Темно. Валяются камни. В голову врываются страшные мысли и картины. Гаремы... Скачущие кони... Горящие дома... Восточные поэмы... Воин Тамерлана на коне... Он крепко держит поводья и мчит, словно ветер. Впереди скачет татарский всадник. Бежит. Оглядывается, шурит черные глаза, прищипривает. В глазах воина Тимура улыбка. Злорадство, торжество, возбуждение. И торжество имеет меру. После нее и оно теряет смысл. Глаза воина круглятся. Я почти вижу в глубине кельи: страсть и безумие. Ребенок и старик. Горят его зелено-красные глаза. Радостно-страстная улыбка густеет в глазах воина Тимура. Он должен уничтожить убегающего монгола. Сегодня Тамерлан будет доволен. На пирамидах из черепов прибавится еще один череп. Воин догоняет монгола. Приподнимается на седле, крутит кривую саблю над головой жертвы. Монгол испуганно жмет к седлу. В глазах воина радостная

страсть. Он смотрит на монгола, как смотрел бы на нагую женщину.

— Айи!.. — визжит он и вот-вот опустит саблю, успокоится, отдохнет...

«Доннг!»

В темноте я стукаюсь лбом об стенку. И чувствую, что на лбу растет круглая шишка. Моя фантазия никогда не приводила меня к добру. Держась за лоб, вхожу в другую келью. На полу валяется куча каменного угля. Делаю два шага, и вдруг передо мной вырастает черная фигура. Я испуганно пячусь назад. Фигура надвигается на меня. Я отступаю и упираюсь в угол худжры. Двигаться больше некуда. Голова уперлась в круглый свод потолка. Фигура подходит ко мне.

— Гаго?— удивляюсь я.

— Ты что тут делаешь?

— А ты?..

Тягуче звучит какая-то индийская мелодия.

Мы с Гаго сидим в Ханака-Хаузе Ходжи Зайнуддина. Гаго глотает водку. Я слежу за ним. И словно солнце входит мне в желудок.

— Что же будешь теперь делать?— спрашивает Гаго.

— Хочу поехать в Самарканд.

— Маро в Самарканде?

— При чем тут Маро?.. Я турист... Потом я решил взять темой дипломной работы Тамерлана.

Гаго ухмыляется себе под нос.

— Все знают, что ты словно угорелый бегаешь за Маро.

— Послушай... ты!..

— Брось ее... Скажи, сколько хочешь достану... Одна красивей другой... Рядом с ними твоя Маро — что жук...

С силой опускаю стакан на стол. Таджик удивленно смотрит на нас.

— Погоди, не горячись... Ведь знаешь, захочу, побью тебя. Неужто сомневаешься? Погляди-ка, на нас смотрят... Скажут: встретились двое армян, и уже драка...

Я хочу встать, Гаго крепко держит меня за руку.

Долгое время молчим.

— Послушай, почему ты думаешь, что можешь побить меня?

Гаго смеется.

— Потому что я сильнее тебя, а ты влюблен... Ладно, оставим, нечего обезьяну корчить. Да, твоя макака тебе приветы посылала! Не соскучился по ней?

Спускаемся в новую Бухару.

Кондитерская фабрика. Вместо кислорода воздух насыщен шоколадом, а вместо углерода — ванилью. Я наполняю свои легкие сладким воздухом.

— Хорошо?— спрашивает Гаго.

Гаго приветствуют все: мужчины по-дружески, девушки с улыбкой.

— Когда ты успел познакомиться со всей фабрикой?— спрашиваю я.

— А что тут трудного?— удивляется Гаго.

Он заходит в кабинет директора, и чуть погодя его штопорообразный нос показывается в щели приоткрытой двери.

— Заходи...

За письменным столом сидит краснощекий узбек. На голове традиционная тюбетейка. На столе два чайника.

«Здесь чай можно пить с воздухом»,— думаю я и улыбаюсь.

Улыбается и директор, приняв мою улыбку за приветствие. Поднимается с места, берет мою руку в две пухлые ладони и трясет. Гаго что-то говорит по-узбекски. Директор отвечает. Смотрят на меня и друг на друга.

Я киваю головой.

Когда выходим из кабинета, у меня появляется желание отведать соленой рыбы.

— Наверное, думаешь: вот бы сейчас кусочек селедки?— спрашивает Гаго.

— Как ты узнал?

— Да ведь я тоже...

— Ты говорил по-узбекски?

— Да.

— А другие языки знаешь?

— Помаленьку.

— Какие?— допытываюсь я.

— Таджикский, турецкий, грузинский, курдский...

— Откуда?

— Разве я не армянин?

— Нет, в самом деле...

— Долгая история.

— Ты из Еревана?

— По-настоящему я карабахский...

— Так ты тоже?..— удивляюсь я, потом думаю о разном, повторяя под нос: — Карабах, Карабах!..

От частого повторения звуки эти приобретают какую-то сухую стройность и теряют настоящий смысл:

— Ка-ра-бах, Ка-ра-бах, Ка-ра-бах!..

В сопровождении расторопного узбека мы входим в пустую комнату, и Гаго говорит:

— Празднуют двадцатилетие фабрики... Ты должен написать лозунги... Хорошо заработаем. Я сказал директору, что ты заслуженный художник.

— Поверил?

— Не видел, как он смотрел на тебя? Он хочет необыкновенную работу. Напиши такими буквами, чтобы обалдели!.. Министр должен присутствовать. Хочу его удивить... Ведь сможешь, правда?.. Во время твоей работы тортов будет хоть отбавляй.

— А селедки?

— Селедку принесу я.

Гаго уходит, оставляя меня с полотнищами и с ведром белой краски.

Чуть погода входит расторопный узбек, ставит рядом со мной торт и дает страничку из календаря, с которой я должен списать узбекский текст.

Начинаю. Стараюсь вспомнить миниатюры Рослина и Пицака¹ и по возможности приспособить их живописные буквы к узбекскому алфавиту. К буквам пририсовываю сказочных птиц, рыб, а сами буквы скручиваю, сплетаю друг с другом. Ем торт и рисую.

Подвижный узбек прибегает, смотрит и свистит от восхищения.

— Ого-го-го!.. Академик!— говорит он восхищенно. А я думаю: «Бедный Рослин!»

Вечером уже готов один из юбилейных лозунгов.

Входит подвижный узбек, пораженно смотрит, по-

¹ Торос Рослин и Саргис Пицак — знаменитые средневековые армянские миниатюристы, создавшие замечательные портреты и оригинальные начертания букв для украшения книг.

том начинает хохотать. Потом входит какая-то старуха, затем две девушки, и скоро комната полна людьми. Меня немного тошнит от торта и моих разукрашенных букв.

Расторопный узбек переводит содержание написанного мною лозунга:

«Аборты можно делать только с разрешения врачебной комиссии».

Я списал текст с другой стороны календарного листа. Начинаю все сызнова.

Мне опять приносят торт, и я снова начинаю думать о селедке.

Объявления у входа во второй компол:

«Владивостокскому порту нужны грузчики. Обращаться: Каган, Песчаная ул., 3».

«Ура-тюбинскому театру нужны: один первый любовник и две гардеробщицы».

«Сурхансовхозводстрою» требуются: техники, слесари, водители».

— Что скажешь?— спрашивает Гаго.

— А что говорить?

— Решил поехать во Владивосток.

— Вот так сразу?

— Сразу.

Достает из кармана билет и пачку денег.

— Плата за лозунги, бери.

— Так много?

— Бери, мне до Владивостока хватит... А там платят вперед. Бери, а то когда еще придется писать лозунги. — Гаго усмехается. — Давай поедem в Ура-тюбе, а?

— Зачем?

— Там нужны влюбленные.

Не понимаю, о чем он.

— Артисты нужны.

— Нет, любовник... — снова смеется он.

— Завидую тебе, — перевожу я разговор на другую тему. — Владивосток... Причал... — Хорошая тема.

Гаго становится грустным.

— Хорошо... А ты в Самарканд?

На почте, в отделе «до востребования», на мое имя ничего нет. Гаго получает телеграмму.

— Кто послал?— спрашиваю я.

— Нерсес,— читая телеграмму, бормочет он.

На станции вывешены те же объявления. В зале ожидания сидят две девушки: в мятой одежде, в брюках, с рюкзаками.

Молча смотрю на пересекающиеся рельсы станции. Железные мосты, пересекающие их дымы, пересекающие дымы поезда... Линии — как ножи, разрезают друг друга... Вспоминаю работы Пита Мондриана.

Гаго смотрит на девушек.

Подходит скорый Челябинск — Душанбе.

— Ну я поехал... — объявляет Гаго и направляется к поезду.

— Куда, Гаго? — поражаюсь я.

— В Душанбе... Прощай!.. Желаю удачи!

На ступеньке вступает в спор с проводником, но все же поднимается в вагон, втолкнув на площадку и проводника.

Поезд, притормозив было, снова ускоряет ход.

Смотрю на удаляющийся состав и не знаю, что делать. Махать рукой — это что-то опереточное, а в данном случае — просто неуместное. Однако я все же поднимаю руку.

Из двери вагона высовывается голова Гаго рядом с желтым флажком проводника.

— Пиши!.. — кричу я и тут же съеживаюсь, ибо слова мои лживы. Он не напишет. И я не знаю, сколько я еще буду помнить его точки-глаза и штопорообразный нос...

Самарканд. Из поезда высыпают туристы. С бородами «битников», с магнитофонами, в шортах. Толпятся у входов в станционное здание, появляются с другой стороны его, врываются в город. На лицах любопытство, в руках фотоаппараты. Врываются, как фаланги Македонского. Врываются, чтобы захватить улицы, музеи и, главное, гостиницы.

Администратора гостиницы осаждают «разведчики» туристов. Они вооружены самым действенным оружием наших дней — документами.

«Мест нет» — написано на стекле.

Я, махнув рукой, выхожу из гостиницы. Может быть, мне удастся найти Маро до ночи. Может, найду место для ночлега в Доме колхозника, в чайхане... В конце концов, найду кусочек синего старого неба в этом теплом древнем городе...

Справа и слева восточные маленькие лавчонки, которые называются «дукон». Языковедческая часть моего мозга начинает действовать. По-грузински они называются «дукани», да и армяне говорят: «дукан». И моя мысль мчится на тифлисский майдан, к Шайтан-базару, к Метехской крепости и к водоворотам Куры под ней, к маленькому минарету. Затем почему-то через мост проходят Вано Ходжабеков и грустный Пиросмани.

Знаменитая мечеть Биби-Ханым. Вокруг лавки медников, домики-развалюхи, возле домиков минарет, украшенный кружевной резьбой. У минарета старики с белыми бородами и в белых чалмах. Пыль, пыль... Солнце и пыль...

Это какое-то другое солнце. Как будто растворено в воздухе. Странно, думаю я. Совершенно незнакомое для меня солнце. Я, привыкший к солнцу, к солнцу моей Армении, я, для которого солнце — нечто вроде родного дяди, удивляюсь этому новому солнцу. Однако все очень приятно. Приятны люди — старики, молодые, дети, чалмы, четки, стеснительные девушки, сопливые носишки... Приятен Восток, любимый Восток, мой Восток... Я улыбаюсь всем. Мне улыбается молоденькая девушка. Маленький, совершенно голый малыш, поднявшись на ножки, лопочет:

— А, салам!..

— Салам! — отвечаю я. Малыш снова садится.

— Люблю Восток, — вслух думаю я и оборачиваюсь. — И Запад тоже, и Север, и Юг...

И тут передо мной является вдруг узнанное из книг: караваны армянских беженцев, трупы умерших от голода детей. Горящие дома Зейтуна, осиротевшие армянские монастыри, пустыня Дер-эль-Зор...¹ Неправда, ду-

¹ Пустыня в Сирии, куда в 1915 году были согнаны и уничтожены несколько сот тысяч армян.

маю я, это бред, выдуманный каким-то сумасшедшим... Вот он, Восток, мой любимый Восток... Почему этот сумасшедший выдумал такие страшные истории?.. Неужели эта земля нехороша вот такая, какой я вижу ее? Когда живут вместе персы, армяне, турки, русские... Каруселью проносятся передо мной разные люди, разные цвета... И в этой карусели ярко выступают вдруг глаза Маро. Я снова вспоминаю. Снова что-то сжимает мне горло. И я беспокоюсь, тороплюсь, сам не зная куда...

Шах-и-Зинда. Кладбище династии тимуридов. Рядом мавзолеи потомков Тимура. Усыпальницы с зелеными, синими фресками... В одной похоронена сестра, в другой — племянница, в третьей — брат, теща, тесть...

Туристка-француженка, всплескивая руками, не может сдержать восхищения.

Действительно красиво. Синяя, тончайшего мастерства фреска... Что за умельцы сработали ее? До самых до небес возносили славу Тимура. Слава? Я не чувствую этой славы. И встают вскруг каждого мавзолея художники с умными, вдохновенными, горящими творческой страстью глазами... И сколько среди них мастеров, возможно, и пригнанных из Ани!.. А теперь я восхищаюсь мавзолеями, созданными ценой их крови.

Тимур!.. Слышишь, Хромец Тимур?! Я не испытываю удивления перед историей твоих дел... Я просто жалею тебя. Ты был мастером интриг, царем коварства, клубком тщеславия... И ничего ты не добился, ничего не достиг. Заставил построить эти памятники и не подумал, что прославляешь не себя, а их, мастеров, что ты исполняешь их заветное желание: созидать, превращать в вечность тот огонь, которым природа одаривает лишь избранных.

Тимур!.. Ты был великим уничтожателем, однако, дабы осталась твоя слава разрушителя, ты поневоле заставлял строить. словно не чувствовал, что противоречишь сам себе, именно этим обнаруживая свое бессилие... И о тебе, как о своем враге, напоминают эти мавзолеи.

Вот и я стою здесь, ветвь армян, крошка разоренного, сметенного тобой с лица земли Ани, и смотрю на твои следы. И нет во мне ни желания отомстить, ни ненависти... Маленький Тимур, бедный Тимур!..

Шагаю, несу на затылке шар солнца.

И вдруг мне кажется безумной моя надежда найти Маро. В самом деле, разве можно отыскать ее в этом большом городе, в этой большой республике, в двух республиках, возможно, даже в трех республиках?.. Однако я иду, потому что не могу не идти. Выхожу на шоссе, шагаю по асфальту. Пронесются автобусы, машины, мотоциклы... Навстречу попадается открытая туристская машина. «Кроме того, ведь я еще и турист», — утешаю самого себя. Увижу обсерваторию Улугбека. Поднимаю взгляд к небу и машу рукой — наверху солнце, яркое, полное солнце. Паренек, размахивая ногами, погоняет, лупит пятками в бока ослика.

— Эй!.. — зову я.

Паренек не слышит. Я убыстряю шаг.

— Хай!.. — зову я наугад, не зная, что означает это самое «хай», потом в голову приходит слышанное сегодня имя: — Нарко!..

Ослик замедляет шаг.

— Тебя звать Нарко? — спрашиваю я, догнав паренька.

Он мотает головой.

— Почему же ты остановился?

— Я не остановился.

— Как так?!

— Ослик остановился.

— Сам?..

— Да, ведь его звать Нарко.

— Твой ослик добился полной автономии, — смеюсь я, затем спрашиваю: — Где Улугбек?

— Во-он!.. — показывает он пальцем.

Дальше мы движемся вместе. Я широкими шагами, паренек на ослике, а ослик мелкими шажками. Оглядываюсь. На гудроне отпечатки моих чешских мокасин № 44 и маленьких подковок ослика. Кажется, притяжение земли удвоилось. Гудрон хватает за подошвы.

У паренька доброжелательное лицо.

— Садись, — предлагает он.

Я не понимаю.

— Садись, — повторяет он и показывает место позади себя.

«На ослика, — догадываюсь я. — Что ж, можно попробовать», — и делаю попытку сесть. Не удается. Паренек улыбается. Потом учит, как сесть. Сажусь.

Навстречу нам мчатся «Волги». За ними целая колонна грузовиков с красными транспарантами: «Сдадим хлопок государству в срок».

В кузове одной машины ровными рядами в пестрых праздничных тюбетейках сидят колхозники.

Пролетает мотоцикл с двумя милиционерами.

«Если в «Волгу» садится хоть один лишний человек — штрафуют. Интересно, можно ли сидеть вдвоем на ослике?» — думаю я.

Никто нас не штрафует.

И мы продолжаем путь.

Регистан.

На фронтоме медресе Шир-Дор — солнце и львы. Я долго смотрю, и мне начинает вдруг казаться, будто один из львов схватил солнце — играет в баскетбол. Другой лев протягивает лапу, чтобы отнять солнце-мяч, но первый блестящим дриблингом продвигается вперед и забрасывает мяч на фронтон соседнего медресе Тилликор. Солнце скользит вдоль фронтона и падает на горизонт.

Наступает вечер.

Я подхожу к сидящему во дворе седовласому узбеку, который здесь и за кассира, и за контролера, и за гида.

— Ака,— говорю я с усталой улыбкой,— не найдешь мне местечко переночевать?

— Это построил Бахадур,— не понимает старик.

— Место спать, переночевать...— я подношу сложенные ладони к щеке.

Старик недовольно морщится, мол: «А я-то думал, ты за красотой сюда шел!»

— Не-ет...

— Эх, ака... Остаться на улице, что ли?..— сокрушаюсь я и прибавляю: — А говорят, что узбеки гостеприимные!..

И направляюсь к выходу на площадь.

— Э!..— зовет старик.

Я продолжаю идти.

— Идем,— говорит он и, заложив руки за спину, направляется к медресе.

Все худжры медресе пусты, только одна келья внизу имеет дверь. Старинная деревянная дверь, с резьбой. На двери висит старый замок, но старик откры-

вает дверь, не притронувшись к нему. Он улыбается собственной хитрости и впускает меня в келью.

К стенке прикреплена свеча. В колеблющемся свете видны пара голов и две пары синих глаз. Это русские ребята моего возраста. Влезли уже в спальные мешки, торчат только головы — читают.

— Такие же, как ты,— говорит старик и, бормоча по-узбекски, уходит.

Разведка взглядами.

— Вы тоже не достали места в гостинице?— наконец спрашиваю я.

— Нет, мы объявили бойкот гостиницам. Мы ночуем только на дворе или в мечетях, в старых замках, на дорогах...

— Туристы?

Я устраиваюсь в углу, и вскоре в худжре слышится только потрескивание свечи да шуршание книжных страниц. Однако от одного случайного слова рождается наше настоящее знакомство. Я узнаю, что ребята—студенты Московского театрального института, необыкновенные романтики, немного сумасбродные и чересчур молодые и неугомонные. А они, в свою очередь, узнают, что я студент художественного института, немного турист, немного растерянный и немного влюбленный. Словно камень ударился о кресало. Они вылезают из своих мешков. Начинается спор, митинг, собрание, потасовка фраз, извержение восторгов... Они говорят только об искусстве. И я говорю об искусстве, однако в каком-то уголке моего существа приютилась Маро и слушает. Свеча сменяет свечу. Восток и Запад перемешиваются. Бомбардируем друг друга именами. Швыряем их друг в друга. Подкидываем вверх и вниз...

С последней свечкой гаснем и мы. Думаем в темноте. Немного погода доносится тихое похрапывание Владлена и ровное дыхание Олега.

Мои мысли все еще скачут. Маро... Львы играют в баскетбол... Баскетбол, мечеть, театр... Поднимаюсь и тихо выхожу во двор. Небо похоже на синий огонь. В проемах многочисленных худжр, стилизованные под краски примитивистов, видятся образы Востока. Кружу по двору, подхожу к двери минарета. Винтовая лестница. Плечи трутся о холодные стены. Выхожу на площадку. Внизу Регистан, Самарканд... Видна мечеть Гур-Эмира... В городе минареты, заводские трубы, ты-

сяча и одно окно, свет и темень, тысяча и одна жизнь — и еще больше исчезнувших жизней в истории города, в предметах... И время кажется удивительно коротким, чувства — незначительными... Там спит живой продавец мороженого, здесь — останки Тамерлана, останки Бахадура.

Мне кажется, что, если я скажу что-нибудь с этого минарета, меня услышат все люди, и не только нынешние, но и жившие в далекие времена. И мир становится величиной с комнату.

И я зову:

— Маро-о-о!..

Внизу показывается Олег в трусиках.

— Что ты кричишь, нас же выгонят отсюда!..

Бетонное пространство. Ил-18. Взлет. В самолете передо мной сидит красивый пожилой таджик. В его ушные раковины вставлены две трехкопеечные монеты. Уши служат ему кошельком. Попробую и я — очень удобно. Хорошо будет в особенности в полном автобусе, когда не можешь дотянуться рукой до кармана. Жаль только, что больше шести копеек не помещается. Хотя бывают уши значительно большей вместимости.

Ходжент.

Солнце во все стороны...

Посадка.

На обочине дороги только одно дерево. В единственном островке тени сидит баран. Хорошее нашел место. Оказывается, можно жить и с бараньим умом.

— Подвинься-ка, — говорю ему и ложусь рядом.

Баран смотрит на меня.

Я смотрю на небо. Приятно...

Здесь словно еще сохранились звуки тысячелетий: грохот рушащихся крепостных стен, шуршание гребешка в волосах гаремной красавицы, стоны, заговоры, сплетни, повседневные разговоры, базарный шум... И все это делалось всегда с одной и той же страстью, с одной и той же убежденностью, с той же неизменной энергией... Тысячи и тысячи лет... И нет ничего... Вот под этим камнем была комната, которую холила хозяйка, украшала, расставляла мебель, мечтала о новой утвари, по одной добывала каждую вещь... А те-

перь нет ее дома, ее мира... Ее желания, шепоты царят над моей головой.

Ибо теперь живу я. И все это—я. У меня тоже есть свой шепот, своя Маро, свое дыхание. В конце концов самым большим, самым верным мгновением в вечности является жизнь. Властвует лишь живое мгновение. И здесь жив только я. Да, забыл, и еще баран.

Таджики уважают друг друга. Таджики уважают старших. Таджики уважают и маленьких. Таджики уважают уважение. Таджики уважают все. Таджики уважают чай. Они могут вдсятером, сидя вокруг одного чайника, философствовать о мире. Таджики уважают гостиницу. Они снимают на первом этаже туфли и в носках поднимаются на второй. И идут с этажа на этаж, гуляют по гостинице в носках. А ведь есть люди, которые лезут тебе в сердце прямо в сапогах...

Уважаю я таджиков!

В моем номере две кровати. Мой сосед по койке всегда приходит поздно. В это время я уже сплю. Вижу его только утром. Теперь уже он спит. И каждую ночь меняется спящий на соседней койке. Каждую ночь новый жилец. Я только во сне слышу, как открывается дверь.

Разные бывают у меня соседи: колхозники, туристы, депутат, однажды даже был лилипут, артист цирка... Утром я посмотрел на кровать и ничего не увидел. Мне показалось, что она пустая. Затем шелохнулось одеяло, и я заметил, что там кто-то есть...

Этой ночью кто-то сильно бьет ногой в дверь и входит. Зажигает свет. «Спишь?» — спрашивает меня. «Неудобно спать», — думаю я. Смотрю на него и улыбаюсь. Он снимает рубашку. Пахнет потом... Потом он открывает чемодан и достает бутылку водки.

— Давайте знакомиться, — говорит он.

Я улыбаюсь.

— На ночь я ем мацони... — говорю шутя.

— Мацони?.. — смеется он. — Хотите много прожить?.. Телята тоже хотят много жить... Потому всегда сосут молоко... Наверное, жили бы долго, если бы мы не резали их.

В его словах есть доля правды. И я беру стакан.

— Откуда приехали?— спрашиваю я, крутя стакан в пальцах.

— Спроси, куда еду,— улыбается он.— В Термез! Дела есть... Дела! Строим, разрушаем... Ребята пишут, мол, приезжай, дел много и, конечно, денег тоже... И жарко, дай бог... Доходит до шестидесяти градусов...

— Экскаваторщик?— почему-то спрашиваю я.

— Почти,— говорит он,— я инженер.— Потом, сморив меня с головы до ног, спрашивает:— А ты?..

— Художник... студент.

— Ван-Гог?.. Интересно, но мне не по душе... Приезжай в Термез, много чего увидишь... Есть хорошие парни, настоящие люди, сильные ребята!..

Ночью долго не могу уснуть. Все думаю, ворочаюсь с боку на бок. Водка делает свое дело. Думаю о Термезе, о шестидесяти градусах, об уважении таджиков, о философии йогов...

Мой сосед, инженер, сразу же засыпает. Он спит крепко, и ему нет дела до моих снов.

Мои мысли мчатся очень быстро, и мне кажется, что они шумят и могут разбудить моего соседа. И я стараюсь думать немного тише. И с грустью вспоминаю Маро. Ее последнюю фразу, непонятную фразу: «Не люблю, когда меня любят». Мысленно целую ее волосы, ее руку, ее пальцы, ее глаза... Обнимаю ее... Я хотел бы всегда идти рядом с ней, всегда смотреть ей в глаза... Думать с ней... Я хочу иметь детей, похожих на нее, чтобы умножились копии ее лица... Чтобы я растерзал себя и отдал Маро, многочисленным Маро... И я удивленно чувствую, до чего же я нужен Маро...

Такие мысли, в конце концов, всегда клонят ко сну.

Слышу шорох. Снова засыпаю. Уже во второй раз просыпаюсь. Только начинает светать. В постели моего соседа лежит женщина. Ее рука свисает с кровати вниз. «Наверное, жена, в гостинице не было мест»,— проносится у меня в голове. Я молчу и, словно вор, отворачиваюсь к стене, чтобы не оскорблять их своим присутствием. Наконец женщина встает и с тихим шорохом одевается. Мой сосед торопит ее. Женщина выходит. Сосед поворачивается и снова засыпает. Я поворачиваюсь, словно ничего не видел, и встаю. Выхожу в кори-

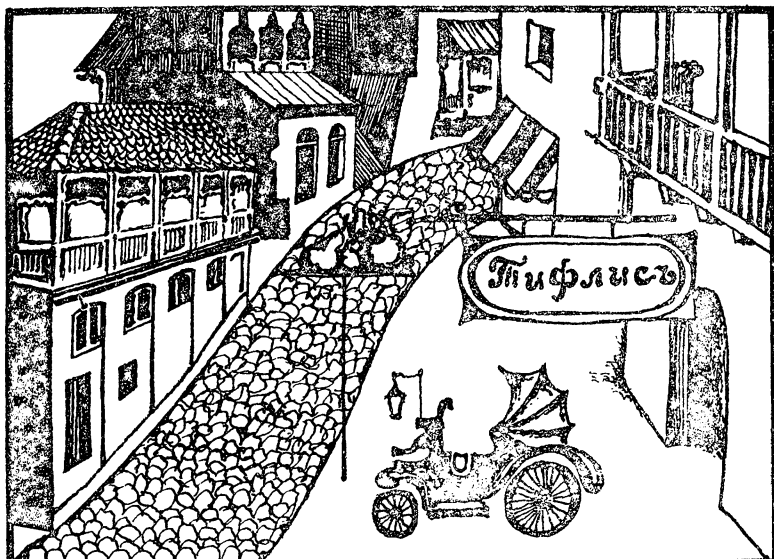
дор. Видна спина какой-то женщины, идущей по коридору к выходу. Это Маро!.. Что-то, напоминающее крики толпы, вызывает у меня желание кричать от радости, звать: «Маро!..» Потом вдруг застываю на месте: а лицо? Может быть, это не Маро?.. Конечно, не Маро! Я одеваюсь и выскакиваю, чтобы увидеть ее лицо. И вновь начинаю искать спину женщины среди людей...

Я собираю свои вещи: дорожный мольберт, ящик с красками, несколько этюдов... Я уезжаю. Мольберт путается у меня в ногах, ящик с красками ударяется о колени.

И я думаю, затем мои мысли переходят в шепот, и вскоре я уже говорю сам с собой:

«Вам не нужна любовь?.. Кому нужна любовь?.. Я могу любить... Только любить... Я могу любить всех вас: больных, несчастных, счастливых!.. Неужели вам не нужна любовь? Я могу любить мою мать, друга, брата, моего вождя, знакомого, незнакомого, мой город, мою родину, мою колыбель, вашу колыбель, наше знамя...

Возьмите мою любовь, умоляю! Я готов умереть за вас... Я могу сказать правду... Ради вас я могу заставить работать до последнего дыхания каждую частицу и моих рук, и моего сердца, и моего мозга!.. Я посвящу вам одно сердце, одну жизнь, одну искренность. Я хочу и воевать ради вас, ради вашего смеха, ради вашей свободы!.. Позвольте мне любить вас!»



ВЫВЕСКИ ТИФЛИСА

Восемнадцать ступенек вело в подвальный кабачок «Симпатия». Спускаться по лестнице было трудно, подниматься еще труднее: тут нужен был настоящий мужчина, чтобы, выпив у Бугдана пять-шесть бутылок вина, удержаться на ногах и одолеть эти восемнадцать ступенек. А если бы на полпути у него подогнулись колени, он уже не рискнул бы снова появиться у Бугдана. Мало того, Бугдан поставил тяжелую дверь на улицу, и выходящий должен был еще и толкнуть ее, а здесь нужны были крепкие руки.

Если ты коротышка, «Симпатия» поднимает тебя на смех, если ты верзила, голова твоя тычется в низкий потолок. Надо было быть высоким и так незаметно сгибаться, чтобы никто этого не заметил, ибо в «Симпатии» не любили склоненных в поклоне мужчин. Чуть легкомысленным был Тифлис, чуть мудрым, чуть щедрым, чуть печальным... Бог с ним...

Со стен «Симпатии» смотрели Шекспир, Коперник, Раффи, царица Тамар и Пушкин. Нарисовал их Григор. И остальные стены тоже он разукрасил. И все хорошо знали Шекспира, Раффи, Коперника и Григора. И Григор всех любил: хорошие были люди — веселились, кутили, тузили друг друга, грустили, порой плакали, песни горланили... Григор словно вобрал в себя этих людей: когда разговаривал с Бугданом, как бы сам с собой разговаривал, когда разговаривал с Пичхулой — опять-таки сам с собой разговаривал. И Григор был Григором, и Пичхула был Григором. И все люди для Григора были единым существом. У Григора душа нараспашку, сам до конца раскрывался и у дру-

гих все испытывал. Делился своими сомнениями, говорил о своих слабостях и грешках, всю свою душу выскребал и — наружу... Когда же ему казалось, что собеседник знает его лучше, чем он думал, Григор вбирал его в себя, чтобы он, этот другой человек, обосновался в нем... Какое-то странное чувство довлело над Григором: ему казалось, что если он не разоткровенничается, если не обнажит свои слабости, свои страхи, свою веру, то не будет ему жизни. Скрывать свою сущность — боль, радость, порывы, мысли, страхи — значит скрыть себя, убить себя и взамен создать другого человека. Но это уже видимость, а не человек, иллюзия, маска. А самого человека нет. И потому Григор чувствовал необходимость внутренней правды, — это было единственным доказательством его существования.

Откровенность Григора распространялась по всему Тифлису: он расписал вывески на дверях кабачков, на витринах парикмахерских, над духанами...

Над дверью духана Капло Григор нарисовал танцующих кинто и ниже вывел очень свободно и ясно, радостно и просто:

ТАНЦУЮ Я
ТАНЦУЮТ ВСЕ
ХОЧИШ СМАТРИ
ХОЧИШ НЕ

Григор был уверен, что эти неуклюжие слова, от которых несло вином и блевотиной, — одухотворены, живы. Истинная свобода... ХОЧИШ СМАТРИ НИ ХОЧИШ НИ СМАТРИ... Ва!.. Это был гимн его свободы... Свобода, братство, вечность... Хочиш сматри, хочиш не...

Вывеска в Шайтан-базаре:

БАРЕВ, КАЦО, МАРД-ОКМИН¹,
ДОБРИ ЧЕЛАВЕК

Вывеска в Сирачхане:

БАЛЬНИЦА	ПУСКАЙ БЕЗ РАБОТЫ
ЧАСТНИ ВЕНЕРИЧЕСКИ	УМРУ Я
ФЕЛШЕР	ЛЕЧУ ВСЕ БОЛЕЗНИ
НЕ ЗАХОДИ, НЕ НАДО	ИМЕУ ПИАВКА

¹ Здравствуй, кацо, человек божий... (арм.)

Вывеска в Сололаке:

В ДУХАНЕ ГОГА
АПЕТИТ БОГА

Вывеска в Ортачалах:

ГОСТИНИЦА
ИМЕЕШ МЕСТО
НА МАЯ ГАЛАВА

Вывеска на Авлабаре:

ДУША РАЙ
ДВЕР ОТКРИВАЙ
НЕ СТУЧАЙ

Вывеска в Клор-тахе:

ВИНИ ПОГРЕБА
КАХЕТИНСКИ АКОБА
ПИОМ ДО ГРОБА
И ДАЖЕ В ГРОБА

Вывеска в Дидубе:

СКОРИ ФАЙТОН
ВЕСОЛИ АНТОН
ИДУ ВАГЗАЛ
И ОБРАТОН

Вывеска в Нарикала:

САЛИДНИ ОБЕДИ ДЛЯ САЛИДНИ ЛЮДИ

И дело было не только в содержании слов. Григор был во всем: его нутро, все без остатка, изливалось в этих надписях.

Откровенность Григора была откровенностью Тифлиса, и, видимо, откровенности одного человека хвата-

ло на то, чтобы прикрыть всю фальшь и лицемерие целого города. Вывески Григора были знаменами Тифлиса. Любая замызганная улочка имела свою вывеску, и вывеска эта открывала улицу, освещала ее. Откровенность Григора парила над городом, и каждое его чувство окрашивало в определенные тона районы и кварталы Тифлиса... Вот так и жил в этом городе Григор...

В «Симпатии» посетителей не было. Пичхула играл на шарманке, Григор рисовал Хачатура Абовяна рядом с Шекспиром, Раффи, Коперником и царицей Тамар, а Бугдан, вобрав свою тяжелую голову в ладони, смотрел на пальцы Пичхулы и на кисть Григора. Бугдан и сам верил, что он добрый человек: Соне, одной из девочек мамы Калинки, он часто давал выспаться в одной из задних комнат кабачка. Иногда Соня с робкой страстью целовала жирную руку Бугдана, иногда Бугдан ложился с Соней, и Соня чувствовала себя хорошо. Это случалось, когда Бугдан бывал печален и пьян, и звуки шарманки трепетали в его ушах, и он проникался к себе жалостью.

Бугдану захотелось сделать добро Соне, и он решил выдать ее за Григора.

Григору захотелось сделать добро Соне, и он решил взять ее в жены.

И как только собрались в кабачке кинто, шарманщики, карачохели и дудукисты — зажгли разноцветные свечи, сплясали шалахо и поженили Григора с Соней — одной из девочек заведения мамы Калинки.

Низкий сводчатый потолок «Симпатии» сгустил, придушил воздух, и густ был красный свет, и густ был цвет вина в красном, и густы были в красном красные газыри архалуков, и черны были в красном черные чухи, и в разрывы этой густоты врывались, подпрыгивая, звуки шарманки, жаждали простора, вносили страсть, вносили стоны и стенания в эту красную густоту. Со стен смотрели Шекспир, Раффи, Коперник, царица Тамар, Хачатур Абовян и Пушкин. Мамаша Калинка терла глаза. И шарманка заиграла шаракан¹. Бугдан улыбался из-под усов и радовался, что он так добр. Перемешалось добро и зло, земля и небо. Все слилось воедино, все было — правда...

¹ Шаракан — средневековая духовная песня.

В подвальном кабачке и свадьба была, и пир, и церковь...

Ночью Григор и Соня остались вдвоем. Григор смотрел на Соню, и ему казалось, что это он сам сидит напротив себя и разговаривает сам с собой. И полюбил Григор Соню. Каждую ночь он рассказывал Соне о любви, говорил о таких вещах, о которых и сам до сих пор не подозревал... Говорил о том, что знает Соню уже несколько сотен лет и с ее помощью вспомнил свое начало, своих предков и ту их большую любовь, с которой зародилась, взорвалась, разлетелась в разные стороны и теперь вновь соединилась их любовь. Вспомнил и внутренним оком увидел людей, которых было много и которые размножались...

И он, и Соня были воплощением этого множества людей: с их бедами, с их прожитой и вновь возрожденной страстью, воплощением чувств и сумятицы жизни всех этих людей. И Соня стала ему родной, и оба они были единым существом.

Ночи Григора обратились в вывески, ворвались в закоулки и трущобы города. Его безумная любовь взлетела на фасады больниц, на уличные фонари, на стены церквей и мелких лавчонок торгашей... Соня пробудила новую ярость в откровенности Григора. Тифлис еще более просветлел от его вывесок, еще более убыстрилось кровообращение Тифлиса. Григор обнажался напропалую: своими радостями и грустью, своими слабостями, желаниями и нежеланиями, своим величием и ничтожеством... Он выносил свою любовь на обнаженные холодные улицы, под студеной сквозной ветер... И вывески полюбили...

Тифлис был влюблен.

Влюбленный город...

Рядом с Шекспиром, Коперником, Раффи, Пушкиным, царицей Тамар и Хачатуром Абовяном оставалось еще свободное место. Григор решил нарисовать Соню. Где ему было знать, что Соня продолжает захаживать в «Симпатию» Бугдана и с той же робкой страстью целовать его руки.

Григор спустился по ступенькам в «Симпатию», развел краски, подошел к стене и в щель за занавеской увидел Соню с шарманщиком Пичхулой. Поздоровался, поискал глазами знакомых, увидел Бугдана, еле узнал. Бугдан сказал:

— Ничего, ничего...

Потом Григор заметил, что это не Бугдан, немного погодя заметил, что Пичхула — это не Пичхула, и Соня — не Соня, а какая-то другая женщина. Григор потер глаза, снова взгляделся — другие это были люди, не мог он их признать. Оглянулся — со стены смотрели Шекспир, Раффи, Коперник... Глянул на сидящего в углу Капло. Капло тут же на глазах как-то изменился и превратился в другого человека, и этот другой человек улыбнулся. Григору показалось, что его тоже не узнают, что он тоже другой... Может, он и не был знаком с этими людьми?.. Смутился Григор, собрал свои краски и пошел к выходу.

Дома водки выпил Григор и стал бить себя по голове.

Всю ночь бродил Григор по улицам Тифлиса и срывал свои вывески. Спустился к Шайтан-базару, поднялся на Авлабар, прошелся по Дидубе и Харпуху... Сорвал все, что сумел, соскоблил надписи со стен, закрасил стекла витрин...

Проснулся Тифлис, и вывесок Григора уже не было. Бугдана это мало тронуло: позвал Зазиева, угостил утром хашем с водкой, днем — чанахом с вином, вечером — портулаком, опять же с вином — и заимел новую вывеску. Потом и его сосед повесил новую вывеску, а Соня вернулась к мамаше Калинке...

Казалось, никто не заметил отсутствия Григора, но мало-помалу Тифлис загрустил, и какая-то серость навалилась на него, словно зевота нашла на город, и стал он равнодушен ко всему. Медленно, но все-таки тифлисцы почувствовали, что в городе чего-то недостает. Разобраться в этом было трудно... Никто не понимал, почему новые вывески — более красочные, написанные более опытными руками — не могут заменить вывесок Григора... Никто не мог представить, что откровенность одного слабого человека, честность одного бедного человека могли полонить большой и богатый, страстный и горячий, сытый и коварный, щедрый, красивый и жестокий город...

По какому-то непонятному инстинкту продолжали собираться тифлисские горемыки под низкие своды кабачка «Симпатия», со стен которого еще долго смотрели наивный Шекспир Григора и наивный Раффи, наивная царица Тамар и наивный Коперник, наивный Хача-

тур Абовян и наивный Пушкин... и кусок белой стены, на котором Григор не успел нарисовать Соню. Долгое время оставались на стене подвального кабачка эти портреты. Потом и эту стену закрасили...

Много позже, когда догадались, чего недостает городу, начали искать вывески Григора...

И по сей день, заприметив в комиссионном магазине или в лавке старьевщика на черном рынке старый рисунок, будь то на искромсанной тряпице, на куске фанеры или жести — люди с жадностью набрасываются на него, бережно берут в руки в надежде приобрести откровенность...

ТИФЛИС

Жил такой генерал Барсегов. Это был уже готовый генерал. Никто не представлял генерала Барсегова без эполет, без его одобренного грузинским русским языком. Его прошлое никого не интересовало. И только сам генерал Барсегов по какому-то странному побуждению вздумал искать свои истоки... Конечно, не этим объяснялось все возрастающее количество портретов Вардана Мамиконяна в комнате генерала. Он и не думал причислять себя к потомкам древнего полководца — слишком много веков их разделяло. Где-то в глубине души Барсегов предполагал, что он отпрыск того последнего оставшегося в живых солдата, который бежал с полей сражений Армении, добрался до Тифлиса и основал здесь свой род. Генерал знал, кто остается живым в бою. Он ясно представлял своего сбежавшего предка и гордился тем, что среди потомков даже самого последнего труса, последнего уцелевшего солдата сегодня есть и генерал. И со странным упорством генерал пытался проследить путь, пройденный его родом.

Отец Барсегова тоже был офицером, дед — поручиком русской армии в наполеоновскую войну, а прадед — уже просто торговцем... Вот только это и знал генерал и пытался проникнуть глубже... А портреты Вардана Мамиконяна рисовал он по той простой причине, что в нем проснулся художник, по мнению генерала, еще одна черта, унаследованная им от того, последнего уцелевшего солдата...

Родственники поговаривали, что генерал свихнулся. Он был болезненно озабочен будущим своего рода. «Ес-

ли опять родится девочка, покончу с собой», — заявил он с блаженной улыбкой, когда жена его забеременела в четвертый раз. И когда родилась девочка, генерал ступил в кладовую, как вступают в битву, и выйти оттуда побежденным не захотел. Желал ли он смерти на самом деле или слово генерала представляло для него ценность большую, чем жизнь, трудно определить: фраза была произнесена, и генерала вынесли из кладовой умирающим. Генерал улыбался виноватой, победной и растерянной улыбкой одновременно. На лбу темнела кровавая ссадина, а на медном котле ссохся с кровью клок его волос.

Из кладовой генерал вышел победителем, но умирать не хотел. Наивно улыбался, и все вдруг заметили, что он уже не генерал, а наивный, улыбающийся человек... Так, с улыбкой на лице, умер последний отпрыск трусливого солдата — храбрый генерал Барсегов.

С востока все шли беженцы, на станции Навтлуги негде было повернуться, тифлиссские улицы и площади затопили люди с испуганными, просящими глазами. Их брезгливо сторонились мокалаки¹, их песни были чуждыми, побежденными, наречие — грубым, как мешковина.

Манташев открыл бесплатную столовую; гуляки-карачохели и полуголодные представители тифлисской богемы собирали пожертвования; у фабрики Адельханова днем и ночью стояла толпа: работали за миску похлебки, потом укладывались спать поближе к воротам...

Жена генерала Барсегова умирала: надела свой чихтикопи² и улеглась в постель. Знала, что умирает, и боялась, что не так наденут на нее чихтикопи. В большой комнате, где она лежала, вдоль стены стояли дочери — Сиран, Варвара, Като и Машо.

В мае 1918 года сосватали Сиран, старшую дочь генерала Барсегова. Милиционер Володя Джабуа заметил что-то нужное ему в едва оправившейся от тифа, остриженной наголо Сиран. Даже на отказ не было сил у Сиран: она раз покачала головой, второй раз покачала, еще раз покачала и согласилась. Так и решилась ее

¹ Мокалак — горожанин (груз.).

² Чихтикопи — головной убор.

судьба. Качни она головой еще раз, может, иначе сложилась бы ее жизнь. И привез ее милиционер Володя Джабуа на пыльный вокзал Зестафони. А через несколько недель Сиран и представить не могла своего существования без Володи Джабуа, без его рыжеватой большой головы, без его волосатых длинных рук...

В первую же ночь испугался Джабуа силы испытанного наслаждения: казалось, его обнимала не только Сиран, а толпы всех этих оборванных беженцев с влажными глазами, заполнивших улицы Тифлиса. В ту ночь он познал всю историю рода Сиран: слезы, стоны, рыдания, протест... И Джабуа, испуганный, выскочил из постели: «Мне столько любви не надо!.. На что мне столько!..»

Джабуа умер через несколько месяцев на Батумской дороге. Сиран отправилась туда, выкопала гроб, поцеловала мертвые руки мужа, его лицо, потом перевезла в Зестафони и снова похоронила.

И стала жить Сиран одна в своем доме на высоких сваях, окруженном полями кукурузы.

Но без любви не могла долго прожить Сиран.

У Луки Хахуа были улыбчивые водянистые глаза, и они избегали чужого взгляда. Лука Хахуа ходил на цыпочках, и его боялись люди. Лука Хахуа бежал из меньшевистской армии, потом бежал от большевиков... И те, и другие стреляли друг в друга, Лука ушел в леса, стрелял и в тех, и в других.

Однажды Сиран вышла за кукурузой и возле своего дома увидела Луку Хахуа. Как побитый пес, бежал Лука от стрелявших в него людей и теперь, присев на корточки под стеной дома, улыбался Сиран.

Когда Сиран вытирала кровь с его лица, Лука поцеловал ее руку. Он был еще слаб, жалким взглядом следил за движениями Сиран. Спустя несколько дней немного окреп, ходил по комнате, покачивал широкими плечами над тонкой талией, мурлыкал песню. А еще через несколько дней хозяином в доме стал Лука.

Потом пришли какие-то люди — друзья Луки, два дня пили, пели и увели в лес Луку вместе с Сиран.

Лука посылал Сиран вперед, и четверо мужчин шли следом за ней. Когда в лесу было тихо и безопасно, Лука иной раз обнимал Сиран, клал руку ей на бедро. А позади поблескивали глазами Бочо, Муртаз, Бондо.

Они проходили по лесам, по чертовым канатным мос-

тикам, и мягкая повадка вора и разбойника Луки нагоняла страх на людей.

Четверо мужчин знали, что Сиран достанется первая пуля. Сиран была счастлива, что эти четверо, обвитые пантронташами, с их осторожной походкой, следуют за ней и что она предупредит их об опасности. Эта опасность была счастьем для Сиран, распиской в ее любви. Порой, оживляясь, она с девичьей легкостью убегала вперед и неловко бежали следом смешные разбойники Лука, Бочо, Муртаз, Бондо. Как-то пошутила — замерла на месте, приложила палец к губам: «Тсс-с», — и все четверо словно окаменели. Сиран расхохоталась. Лука разъярился и ударил Сиран. А Бочо отошел, присел за камнем. Обиделась Сиран, рассердилась, потом подумала, и смешным ей показался их страх. Лука подошел, улыбка в усах, — поцеловал Сиран, и из Сиран хлынуло прощение.

Несколько активистов из соседних сел, несколько атеистов, несколько ликбезовцев во главе с начальником ЧК Иакинте Габлия вскоре поймали смешных бродяг Луку, Бочо, Муртаза, Бондо и вместе с ними Сиран. И стали их водить по всем деревням, показывать, как дрессированных медведей, чтобы другим неповадно было. Шли они гуськом, босые, смешные разбойники, и еще теснее прижимались друг к другу на деревенских площадях.

И ушла Сиран, пропал ее след в пыльных папках канцелярий провинциальных тюрем...

В доме генерала Барсегова собрался народ решать судьбу второй его дочери — Варвары. Среди собравшихся не было родственников генерала. А был там русский офицер, который давно оставил армию, пил и играл на гитаре, рыночные мошенники с «дезертирки»¹, привокзальные воры Паша и Чорна да торговец углем Шио из Кумиси...

Варвара сидела на тахте, ждала. На столе были расставлены тарелки с портретом генерала Барсегова, ножи и вилки с гербом генерала Барсегова.

¹ Так назывался рынок в старом Тифлисе.

Георгий посмотрел на полную грудь Варвары, на ее бедра, обрисованные длинной юбкой, и во рту у него пересохло. Георгий рассказал о соблазнах Парижа, о судьбе горгиджановских¹ девиц, о венерических болезнях, потом сжал руки и сказал:

— Отправим Варвару к отцу Павле.

Варвару усадили в экипаж, разместились вокруг нее и поехали наверх, к монастырю.

Удержать Варвару в монастыре было нелегко: в деревне стояли военные. До нее доносились голоса, дух солдатской бани, и тело ее готово было взорваться. Слышалось ржание коней, обрывки солдатской ругани... И однажды, обезумев, бесстыдно сбросила она свою власяницу, наперекор всем причастиям, судорожно отдала свое горячее белое тело грубому поручику. С тех пор Варвару в Грузии не видели.

Третью дочь генерала Барсегова, Като, похитили трое кинто, увезли в фаэтоне под звуки шарманки. Похитили или сама убежала, бог знает.

Тифлис умирал: только в подвальных кабачках еще оставались люди в традиционной тифлисской одежде. Некоторые сохранили только шаровары, другие — тифлисский жаргон, а третьи — только шапки...

Не стало Тифлиса... На площадях произносили речи и даже шарманки настроили на «Марсельезу».

Като привезли в «Белый духан». Като ни до чего дела не было. Кинто Гриша в постели, в горячем бреде рассказывал об исчезающем Тифлисе, о кинто — этих тифлисских рыцарях, а Като целовала его грудь и чувствовала, что все вечно и что начало всего и конец — здесь. Гриша плакал, стонал, облил вином всю постель и вернулся в Тифлис, чтобы успокоиться в Ходживанке², рядом со своими дедами...

Като, в горе и отчаянии, нашел, утешил и, как щенка, подобрал, увез в Батум шулер полуфранцуз с юркими глазами.

И пропал зов Като в тревожном гуле английских, турецких, французских рыбацких судов, исчез в мире ее голос, который хотел любить и громче всего мог кричать только об этом...

¹ Публичное заведение в старом Тифлисе.

² Х о д ж и в а н к — армянское кладбище в Тифлисе.

В 1955 году прошел в Тбилиси сильный дождь. После дождя еще капала с крыш вода, струилась, отыскивая себе путь, продавливалась отверстия в земле и просачивалась в них. По булыжникам Харпуха, по дворам церквей Сурб Геворга, Сиона, синагоги, по кривым и узким переулкам стекала в Куру вода.

— Барсегова-а! — кричит какой-то косоглазый, небритый человек.

Старая Машо, младшая дочь генерала Барсегова, облокотившись о подоконник, греется на солнце после дождя. На лице ее отсвет солнечных бликов. Время от времени Машо пощипывает пучок волос, родинкой темнеющий на щеке.

— Письмо для Машо!..

— Ва-а, смотри-ка, она еще и письма получает, — шутит Бего.

— Да кто же ей, бедняжке, письма слать будет?.. Никогда в жизни не любила... Одна-одинешенька на белом свете. Сестры ее — те и свою, и ее долю отлюбили...

Машо и сама удивилась, что выкрикивают ее фамилию. Вышла во двор, взяла письмо, повертела в руках. Подошли еврей Ефим и две прачки, рассмотрели письмо и принялись читать:

«Прими пламенный привет моего молодого сердца, дорогая и незабываемая бабушка, моя единственная и родная бабушка! Наконец-то отыскал тебя и теперь могу считать, что я тоже человек, никто теперь не скажет, что я без роду, без племени... Я внук дочери генерала Барсегова — Сиран. Мое имя — Гено, фамилия — Чкадуа. Я очень долго искал свою родню. Отец умер давно. Не думайте, что я совсем один. Вся Мингрелия меня знает. Но родственники — дело другое. Я только недавно узнал, что я внук генерала Барсегова. Мы снова соберемся вместе, весь род генерала Барсегова. Не огорчайся, дорогая бабушка, но судьба не гладила меня по головке. Только не подумай, что я помощи прошу. Я нахожусь в Ортачальской тюрьме. Месяц назад привезли из Диди-Чкони. Четырнадцатого мая будут судить. Если за меня кто поручится, то освободят как несовершеннолетнего. Твой внук — Гено Чкадуа».

Косоглазый доставил это письмо из тюрьмы. После каждой строчки он кивал головой. Машо повела его в дом, налила рюмку водки, достала немного засолен-

ного зеленого перца и тарелку наперченной фасоли.

Машо подумала: «Кто такой, почему Чкадуа, почему в тюрьме?.. — потом подумала: — Мир велик, кто знает?.. Сколько отцов сменилось. Если у милиционера Володи была дочь, а та вышла замуж за кого-то... Что тут удивительного?..»

И Машо захлопотала. Внук Сиран, ее кровь. У нее самой ничего не было — ни любви, ни детей, сычовка, да и только...

Четырнадцатого мая Машо вместе с Ефимом и Бего отправились в суд. Только они приоткрыли дверь в зал, услышали смех. В зале было весело. Выступал защитник.

Длинный рыжеватый парень, сидевший впереди, повернул голову, безошибочно признал Машо, подмигнул и улыбнулся. «Этот», — подумала Машо. Парень широким жестом пригласил сесть рядом с собой.

«Ничего, уж тут как-нибудь...» — замахала рукой Машо.

«Здесь лучше», — жестами, мимикой настаивал парень.

Машо снова успокоила его, мол, ничего, она тут, позади устроится. На сей раз Гено Чкадуа — он был просто удивительно вежлив! — умоляюще сложил руки, вновь и вновь приглашал сесть рядом с собой. Машо уступила, вместе с Бего и Ефимом подошла и увидела, что учтивый ее внук сидит на скамье подсудимых.

Веселый это был суд. Выступал судья. Он говорил очень весело, ярко и остроумно. В пылу воодушевления не заметил, как стал подходить все ближе и уселся на скамью подсудимых. Потом дали слово обвиняемому, какому-то взяточнику. Этот тоже не уступал судье — и получилось так, что он тоже начал постепенно продвигаться к судье, потом занял его место, и стали они так разговаривать друг с другом: спрашивали, отвечали, спрашивали, отвечали.

Когда все очень устали и все кончилось и были очень довольны и судья, и подсудимый, настала очередь Гено Чкадуа. Дело было простое: кража мелкая, сам он несовершеннолетний, поручителей трое — Ефим, Бего и Машо, — и отдали Гено под опеку Машо.

Через несколько месяцев явился на свет божий еще один внук генерала Барсегова. Соседка Машо, гадалка Ева, все думала-гадала да и отыскала в одной из боль-

ниц Армении внука генерала Барсегова — Аветика. Аветик узрел Христа, и его поместили в больницу. Аветик был хорошим мальчиком, пионером, а потом комсомольцем и даже членом колхозной футбольной команды. Но однажды ночью отворилась дверь, в комнату вошел Христос, и с того дня плохи стали Аветиковы дела. Больничный врач, и сам человек не простой, рассердился. «Как выглядел Христос, расскажи!» — потребовал он. Аветик описал знакомого Христа, того, что изображен на многочисленных картинах.

Районный врач вконец разозлился, потом улыбнулся: «Вот если бы ты увидел другого Христа, такого, чтобы ты один его знал, я бы тебе поверил».

Машо отправилась за Аветиком.

В безлюдном конце тифлисского вокзала Гено Чкадуа поджидал второго внука генерала Барсегова. Разглядывал женские коленки и зады и не очень-то раздумывал о том, как этот чокнутый умудрился увидеть Христа.

С востока подошел к перрону старый дребезжащий состав. Остановился, застонал, заскрежетал. Гено побежал вдоль состава и вдруг в дверях одного из последних вагонов увидел сгорбленную Машо. Гено двинулся к ней и застыл с растерянной улыбкой. Следом за Машо выходил какой-то бородатый мужчина с удивленными глазами. Машо оглянулась на него и стала с трудом спускаться по вагонной лесенке. Стара уже была, подкашивались ноги. Кондуктор поддерживал ее за руку. Машо коснулась ногами земли, подол юбки зацепился за ступеньку, стали видны ее увядшие, старческие бедра. Не успела спуститься, торопливо повернулась к бородатому и протянула руки, словно принимая в объятия малого ребенка.

Гено Чкадуа подошел, улыбнулся Аветику.

И двинулись по перрону Машо и два внука генерала Барсегова.

Чтобы покрыть увеличившиеся расходы, Машо советовали торговать семечками и научили, как это делать. Машо ходила на рынок — «дезертирку», покупала у крестьян семена подсолнуха, приносила домой, прокаливала их, потом выставляла в небольшом мешочке у ворот и продавала по стаканчику.

В Чугурети улочки кривые и такие извилистые, запутанные, что даже солнце плутает там долго-долго. Чтобы выбраться на большую улицу, люди поднимались наверх, потом спускались и все мимо тифлиссских дворов. Тифлиссский двор не строили, тифлиссский двор выдумали фокусники, потом щедрые карачохели обмазали его чихиртмой и бугламой¹, полили вином и обмели пучком душистой травы — тархуна... Тифлиссский двор, как старая мысль, тих и спокоен: на балконах — ковры, посреди двора — водопроводный кран... Дворы будто народились один от другого: большие и маленькие — все одного племени, все на один манер. Еще живут в их старинных комнатах разговоры, которым по сто лет, слова о верности и чести, сказанные тысячу лет назад, стоны, мечты и предсмертный вздох, шелест поцелуев... беседы с богом, святые и грешные желания, тихие, сдавленные рыдания. По вечерам выходят эти звуки, кружат по двору, умываются водой из крана, и во дворе раздаются шепоты и шорохи, и двор оживает снова...

Перед тифлиссским двором усаживается Машо в черном платье — на лице поросшая волосками темная родинка — и торгует калеными семечками...

Он вошел неожиданно — дверь была приоткрыта. — Здравствуйте! — сказал он и улыбнулся.

Ему было лет сорок пять, волосы начесаны на лоб, а из коротких рукавов рубашки свисали худые белые руки.

— Здравствуйте! — повторил он. — Ко мне никто не приходит. К другим приходят друзья, девушки... А ко мне никто не приходит. Я все ждал, но никто не приходил.. А если приходили, только за платой за мусор или за воду... Я вот постригся, оделся по последней моде... Все равно не приходят. Не знаю почему. Наверное, некрасивый я...

При последних словах Гено фыркнул. Смешно прозвучало это «наверное». Некрасивость его была очевидной и к тому же не совсем обычной — она вызывала смех. Бывают люди уродливые, но сильные, они могут не нравиться, но внушают почтение, а то и страх. Этот же, напротив, был смешон.

¹ Чихиртма, буглама — распространенные армянские блюда.

— Прими-ка гостя, сынок... — сказала Машо. — Садитесь.

Аветик уступил свой стул. Человек сел, не зная, куда девать свои длинные тонкие руки: то засовывал их в карманы, то клал на стол, потом, лишний раз убедившись в их худобе, складывал на коленях — казалось, будто он запутался в собственных руках.

— Вы доводите... генералу Барсегову... — наконец обратился он к Машо и умолк. Смотрел на сторбленную Машо, на ее седые волосы и не решался назвать ее дочерью.

— Дочерью, — подсказала Машо.

Человек улыбнулся, покраснел, обрадовался, потом уронил на стол голову, сплел над ней корзинкой тонкие руки, и вскоре послышались всхлипывания. Они помолчали, подождали, но рыдания не прекращались. Гено попытался его утешить.

— Ко мне никто не приходит... Я все жду, жду, но никто не приходит... Ко всем приходят, а ко мне нет.

Аветик попробовал расцепить его руки, но не сумел.

— Успокойтесь...

Все растерянно переглядывались.

Человек перестал всхлипывать, еще долго молчал под сплетенными руками, потом наконец развязал этот узел и посмотрел вокруг припухшими глазами.

— Ко мне никто не приходит... — и хотел снова опустить голову, но Гено поспешно схватил его за руку.

— Я внук генерала Барсегова, — растерянно выговорил человек.

Внуки генерала Барсегова переглянулись.

Машо подошла, долго смотрела на него, потом спросила.

— Чей ты?

— Не знаю.

— Кто ты?

— Кривицкий... Юзеф...

— Варварин... — сказала Машо и обняла тонкорукую внука генерала Барсегова.

В старенький самовар снова налили воды, подбавили угля и уселись слушать историю Юзефа Кривицкого.

Так у Машо собралось восемь человек. Один даже с греческой фамилией — Граматикопуло; кто он был и откуда, никто не знал. Веселый был парень, даже слыш-

ком веселый. Смешная это была семейка — внуки генерала Барсегова...

Машо была довольна и счастлива. Забот стало больше: ходила на рынок, стирала, сидела со своим мешочком у ворот и думала о внуках генерала.

В Тбилиси есть три вокзала.

И если кто-нибудь увидит на вокзале бездомного человека, тут же посоветует ему пойти к дочери генерала Барсегова.

— Она добрая,— скажут, — приютит тебя... И потом, кто знает, может, ты ее внук?..

Затем, посерьезнев, и сам поверит:

— Нет, ты и в самом деле ее внук... По всему видать...

И если у человека глаза несчастные и немного странные, внутренний голос подсказывает: «Внук не внук, но поскольку человек, какая-нибудь связь с генералом да есть... Нет, определенно есть... Растворились внуки и правнуки генерала Барсегова в людях этого мира...»

Машо во всех прохожих вглядывается с сомнением. Сколько людей, подобно ее внукам, затерялись, пропали вдали... И родным становится для Машо каждый человек.

Если кто-нибудь подойдет и шутки ради скажет: «Я внук генерала Барсегова», — Машо поверит, поверит не потому, что не поймет насмешки, а потому, что человек этот и сам не знает, что он внук генерала... Или имеет к нему какое-то отношение... А в этом Машо глубоко убеждена.

ВАНО И ГОРОДОВОЙ

Наверху бог, здесь, на земле — мадам Вера. Ваню никак не удавалось остаться один на один с господом богом, всегда встревала между ними мадам Вера. Красивая Вера, умная Вера, закон земли и жизни Вера, всегда во всем правая, раз и навсегда правая Вера. Ваню спасался, убегал от Веры, иногда, случалось даже, наврет с три короба... Ничего другого не оставалось: не мог он быть правильным, не мог быть Вере по душе, не мог как другие... И не мог, не мог каждый божий день приносить домой мясо и икру, усатого сома и длинный

грузинский хлеб шоты, виноград и яблоки, нести все это в охапке, роняя по дороге и одаривая нищих у паперти, и, придя домой, вывалить все на стол, так, чтобы на столе места свободного не осталось, небрежно, вперемежку вывалить на стол, чтобы запылял стол, чтобы полезли друг на друга беспорядочно виноград и мясо, сом и тута, яблоки и икра... чтобы все свешивалось со стола, падало на землю, и чтобы дети уселись на виноград голыми своими задиками, чтобы дети откусывали хлеб один с одного конца, другой с другого... чтобы мясо не могли отделить от икры и чтобы из-под редиски, салата, тархуна, чеснока и лука извлекали пригоршнями черешню и вишню... и чтобы их грязный потолок, чтоб на потолке были отблески всего этого великолепия, этого изобилия, чтоб зазеленел он и раскраснелся, заалел, подобно шествию кеинобы, чтобы Вера рассердилась на мужа за такую расточительность, за такое безрассудство, а сам Ваню в ответ вытащил бы из кармана сотенные, нет, не бумажки — золотые рубли, высыпал бы на стол, а монетки звенят, как колокола на Сурб-Саргисе в пасху... и чтобы стоял, ох, чтобы стоял в воздухе звон и блеск... и чтобы среди этого блеска, чтобы пуще этого блеска сияло ослепительное — белее снега — лицо его Веры... и чтобы Вера сказала, улыбаясь жеманно, как хозяйка дома и его хозяйка: «Смотри, как другие прилично, по-человечески живут, а мне что за горе такое выпало на долю, занялся бы наконец чем-нибудь путным, дети голодные, в доме ни гроша...»

Ничего не получилось — даже в мечтах Ваню не сумел заставить Веру заговорить так, как ему хотелось. Вера ничего другого не умела сказать, из Вериних уст только эти слова и слетали, утром и вечером, в будни и в праздник — всегда. Она то и дело сравнивала Ваню с соседями — с чиновником Бархударовым, мелким торговцем Будаговым, даже с владельцем парикмахерской, главным цирюльником старшим Межлумовым... И совсем этого не нужно было делать, Ваню и сам прекрасно видел, что другие не так, как он, другие деньги зашибают, добро и богатство наживают, женщины их любят и жены боятся их... они все похожи друг на друга и для них понятно и однозначно все то, что их окружает... А он, Ваню, ровно ребенок, особенно при Вере. Вот и теперь. А ну как Вера прознает, что городской Феропонтий Хомов закрыл их лавку и что вчера еще Ваню купил

провизию для дома на чужие деньги... Но хуже всего, да уж, пожалуй, что хуже всего было то, что он вынужден говорить неправду Вере, лгать и изворачиваться... Что за напасть такая!

Кинто Цакуле, взглянув на пасмурное лицо Вано, пригласил его отобедать с ним, он привел Вано под железный Мухранский мост, расстелил на гальке свой большой пестрый платок кинто, выложил на платок одну рыбешку храмул, четыре редиски, несколько травянок котэма и бутылку вина.

— Знаешь, что ты за человек, Вано? Не знаешь, — поднял стакан с вином Цакуле, а Вано горько усмехнулся про себя. — Наши парни клянутся твоим именем, понял? — продолжал Цакуле. — Когда хотят кого-нибудь в чем-то убедить, говорят, пошли к Вано, пусть он скажет... Ты, Вано, как Христос... Если захочешь, пойдешь по Куре, от Муштайда до Ортачалы по воде пойдешь... Весь Тифлис тебя обожает... Если бы мне так верили. Да я бы!..

Вано вспомнил Веру, представил, как явится домой с пустыми руками, представил четверых своих детей, выбежавших встречать его, и спросил:

— Что, что бы ты сделал?

— Ва!.. — Цакуле даже поперхнулся. Потом поглядел по сторонам и, застеснявшись, полушутя-полусерьезно сказал:

— Надувал бы... Ох, как бы всех надувал!.. Вот этот вот песок за жемчужины бы выдавал...

И Цакуле расхохотался, да так весело, что, глядя на него, невольно заулыбался и Вано.

— Но ты этого не делай, — сказал Цакуле, — ты хорош такой, как есть... Когда ты такой, нам можно плутовать... А то все перепутается, и мы уже сами не будем знать, кто из нас сатана, а кто — святой... Тебя бог послал для того, чтобы... — остальное Цакуле сказал про себя, с мягкой улыбкой глядя на Вано, — чтобы ты голодал, чтоб у тебя вечно денег не было, чтоб ты наивным был, чтоб чистым и доверчивым был, чтоб всех любил... чтоб боялся мадам Веры...

Цакуле рассказывал веселые истории, а Вано думал о Вере, и сырость Куры и сумрачная тень от моста наполняли душу печалью. Вано боялся идти домой, боялся той реальной картины, которую снова должен был увидеть, боялся того сравнения, которое снова произве-

дут — он и весь остальной мир... Он снова должен был попасть в свою круговерть с ее единственной железной логикой — детям нужен хлеб, а Вере, Вере нужны наряды, чтобы видела вся округа, чтоб дивились соседи... До чего же он боялся своей Веры, красивой Веры, умной Веры, правой Веры. Вано боялся...

— А теперь давай выйдем за этот вот железный мост, что навис над нами, посмотри, какие барышни идут по нему... туда-сюда... — Цакуле, задрав голову, разглядывал женские ножки, мелькавшие в проемах моста.

Тень от моста проплыла по Куре, поднялась и исчезла. В вечерних сумерках сжалось сердце Вано. Пора домой, что скажет он Вере?

Вано вытащил из кармана рисунок и с печальным лицом протянул Цакуле, достал из другого кармана еще несколько рисунков и тоже отдал Цакуле. Вера, если увидит рисунки, еще пуще рассердится, не приведи бог.

— Что случилось, Вано-джан? — спросил кинто участливо, и Вано чуть не заплакал.

— Городовой лавку закрыл, — ответил он потерянно.

— Ах, чтоб тебя!.. — разозлился Цакуле. — Почему?

— Не знаю... Что-то не по закону было... — Вано горестно вздохнул. — Вера... — начал было он, но не договорил, замолчал на полуслове.

— Ну и что, — подбодрил его Цакуле, — такого, как ты, человека...

— Вера, — пробормотал Вано и опустил голову.

— А что, не знает она разве этих свиней городских?..

Цакуле поднялся с земли, посмотрел напоследок вверх, в проемы моста и сказал решительно:

— Не бойся, я пойду с тобой... Я все ей объясню, — маленькая фигурка Цакуле преобразилась, он принял облик покровителя. Цакуле обнял Вано за плечи, но так как Вано был вдвое выше Цакуле, рука кинто соскользнула вниз и он обхватил Вано за спину.

Подойдя к дому Вано, Цакуле прошел вперед и толкнул дверь, но привыкший к озорным и бесстыжим зрелищам кинто вдруг оробел под суровым взглядом Веры.

— Честь имеем, мадам Ходжабегова... — сказал он неуверенно.

Вера смерила Цакуле взглядом, и кинто попятился.

Вера молча смотрела на Вано, и было в ее взгляде

все — все бывшие обиды, вся жизнь ее с Вано, весь опыт и мудрость и — разочарование, великое разочарование. Она снова взглянула на кинто, потом обвела взглядом комнату, погляди, мол, муженек, как мы живем, нам только кинто в доме не хватало, бродяги уличного...

— Мое почтение, мадам... — пролепетал Цакуле и ретировался.

Вано присел на краешек тахты. В воздухе был один только взгляд Веры, и нервы у Вано напряглись. Вано больше не владел собой. Он хотел улыбнуться, но не смог, зачем-то сунул руку в карман, словно бы желая вытащить конфеты для детей, хотя прекрасно знал, что никаких конфет там нет, и вдруг каким-то непонятным образом в руках его очутился еще один рисунок. Вано смутился, хотел было спрятать его, бумага смялась, выпала из рук, и все — Вано, Вера и четверо детей приковались взглядом к этому рисунку с изображением кулачного боя...

Крайне удивленно, словно известие о смерти получила, — удивленно и озадаченно смотрела Вера на Вано. А Вано, съжившись, став ящерицей в собственных глазах — сущая ящерица, защемившая хвост, — Вано не знал, куда деть себя. Он смотрел на рисунок, и ничтожными и смешными казались ему теперь эти сильные, с крепкими кулаками бойцы. И вообще, бессмысленный рисунок. И сам он никчемный и неумелый, не достойный этой статной, умной и образованной женщины. Вано перевел взгляд на детей, захотел улыбнуться им и не смог. Вано посмотрел на бедные свои стены, снова на Веру посмотрел, и не стало Вано, не было его больше, не существовало... Глаза Веры, почти белые от бешенства, открывали Вано какие-то роковые истины и, глядя на себя глазами Веры, Вано почувствовал, что за душой у него ничего нет. Он был сейчас тем, что видела в нем Вера.

— Это я для Цакуле нарисовал, — машинально сказал Вано.

— Цакуле! Боже мой! — взорвалась Вера. — Хороших дружков себе нашел! Дело оставил, шляешься бог знает где!..

Вера помолчала и заговорила с новой страстью.

— Рисуешь, значит?.. Магазин на запоре, а ты рисуешь...

Вано хотел было сказать, что магазин не он закрыл, но язык не слушался его.

— С каким трудом я нашла тебе дело... Все наследство продала... купила лавку, чтобы хоть на хлеб детям зарабатывал... так нет же, бумагу марать интереснее!..

Вано вдруг захотелось, чтобы Вера пожалела его. Ведь Вано и сам не прочь быть таким, как все, он даже старается походить на других, но не получается у него это, не получается, хоть убей... И Вано захотел, чтобы Вера посочувствовала ему, чтобы пожалела — за его неумение, за невезение, за то, что так несладко ему на свете живется, за то, что он Вано... чтобы пожалела, погладила его по голове, а он бы рассказал ей про все, что накопилось у него на душе.

— Магазин не я закрыл,— сказал Вано,— городской...

Вера вся подобралась, вскинула брови: еще, мол, что за новости... И Вано понял, что говорить этого не следовало.

— Городовой? Почему? Что ты натворил?..

— Не знаю... — Вано действительно не знал, за что взъелся на него городской.

— Не знаешь?.. — процедила Вера. — А что ты знаешь? Боже мой!.. Боже мой...

Ночью Вано лежал на тахте и то просыпался, то проваливался в сон, сквозь какую-то пелену доносился до него Верин голос, провозглашающий истины, голос этот превращался в его сознании в какую-то линию, в черточку, которая плясала, двигалась, прыгала, печалилась, плакала, гордо вытягивалась, опускалась на колени перед балкончиками красавиц и пела песни Саят-Новы...

А Вера отчитывала спящего мужа и удивлялась, отчего это тот разулыбался во сне...

Утром Вано проснулся оттого, что раскрылась дверь и в комнату вошла Вера.

— Очень на тебя похоже,— сказала Вера. — Не умеешь ладить с людьми... С приличными людьми, хочу сказать...

— Да что же я не так сделал?— растерялся Вано.

— Феропонтий Иванович Хомов тебе не кинто какой-нибудь!

— Не кинто,— согласился Вано.

— А ты как с ним обошелся? — не унималась Вера.

— Не кинто, но человек же...

— Человек?— удивилась Вера. — Умей различать людей, пора уже. Тебе что Цакуле, что городской...

Вано виновато потупился, и Вера смягчилась.

— Ну, слушай. Хомов много всякого наговорил, но я поняла — дело в тебе, не нравишься ты ему. Надо что-то придумать... И ничего такого, чтобы подарить, в доме нет...

И тут Вано вдруг осенило:

— Я для Хомова картину нарисую!— сказал и сам же испугался своих слов.

Вера было взорвалась: «Кому, спрашивается, нужны твои рисуночки!» Потом задумалась. Она одевала детей и думала, готовила завтрак и думала, подметала и думала, но так ничего и не придумала.

— Боже мой, до чего мы несчастливые... одолжить даже не у кого, кругом должны, мадам Шермазановой должны, господину Ратнеру должны, Чилингаровым должны... — и заключила со вздохом:— Остается картина...

Вано воодушевился:

— Шахсей-вахсей нарисую... Или поминки...

Вера покачала головой:

— Ты хоть раз свою непутевость путем оберни...—и продолжала задумчиво. — Я у Каракозовых на стенах картины видела, маслом писаны, из Германии и Франции вывезены, красивые невозможно... вода синяя-синяя, вдали пальмы, на воде белые лебеди и отражение от них в воде блестит... Нарисуй что-нибудь такое...

И Вера покосилась на мужа:

— Сможешь?

Вано кивнул обреченно, но все же на душе у него полегчало. Хотя Верин гнев поутих, и на том спасибо. И завтра будет день как день...

Вано до этого масляными красками совсем не рисовал. Он заметался, у плотника мушца Ако одолжил деревянные рейки, у Сако перехватил два метра полотна, в магазине Габо взял гвоздей и клею, у художника Карапетова красок взял и приступил к делу.

Когда Вано рисовал карандашом свои рисунки, он про все на свете забывал, он вспоминал только Веселого Бохо, живущего чужими горестями Укули, бедного, но полного достоинства Георгия, ловкого Жести, Колю с кулаками как дыни — он впускал их в себя и только с ними, с ними только водил дружбу в эти минуты, им рассказывал про свои печали, у них спрашивал совета, с

ними шутил, кутил, хмелел, с ними отводил он душу...

А сейчас Ваню растерянно смотрел на чуждые ему пестрые краски.

Ваню намазал голубой краски на холст, размусолил ее гладенько, получился пруд. Ваню посмотрел на Веру — так? Вера кивнула — так. Верхний угол картины Ваню закрасил светло-голубым — получилось небо. Ваню снова посмотрел на Веру. Лицо жены было спокойно, и Ваню почувствовал удовольствие от этой их согласности, вот он, покой человеческих отношений... Ваню наносил краски на холст и краем глаза поглядывал на Веру. И на довольном ее лице Ваню видел свой успех. Он, можно сказать, рисовал на лице Веры этот успех... Вера довольна, значит, все идет хорошо, значит, и он все-таки чего-то да стоит, не хуже других, значит...

На синей воде Ваню нарисовал белого лебедя. Белая краска смешалась с синей. Ваню забеспокоился, стал поглядывать на Веру, пальцами, ладонью стал подчищать белого лебедя.

Потом Ваню вспомнил городского Феропонтія Хомова, его сурово сведенные брови, до блеска начищенные сапоги и каким-то неведомым седьмым чувством понял, что картина его чем-то напоминает эти самые хомовские сапоги...

Вера то и дело входила в комнату, настроение у нее было хорошее... Вера умница, уж если она довольна, картина непременно понравится городовому.

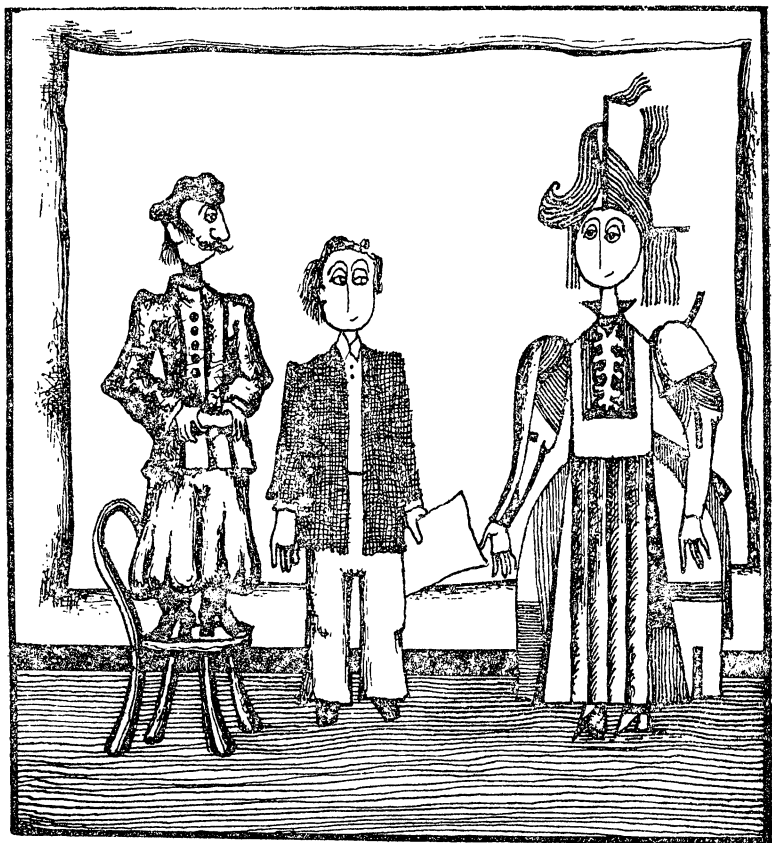
Ваню подумал о городовом и нарисовал на берегу неправдоподобно гладкого сверкающего пруда желто-красные цветы.

— Вот здесь вот еще домик нарисуй,— сказала Вера и нежным пальчиком ткнула в холст.

Ваню нарисовал дом. Вере понравилось. Ну, наконец-то, наконец Вера довольна! И городской Феропонтій Хомов тоже будет доволен. Наконец-то все скажут: «Смотри-ка, Ваню, и ты на что-то годен... такой же, как мы, человек».

И вдруг Ваню неожиданно для самого себя проникся уважением к собственной персоне. Он понял, что можно рисовать и не бояться Веры. Подошла Вера, улыбнулась и сказала: «А здесь вот еще луну сделай».

Ваню поглядел на картину, поглядел на Веру и на голубом небе нарисовал луну. «Чего еще желаете?»—улыбаясь, взглядом спросил Ваню у Веры. Вера пожелала



птичку в небе. Вано нарисовал птичку. Потом встал, отошел, поглядел на картину издали и подумал, что теперь-то уж всем угодил. Он вышел на улицу и вытер пот с лица.

Все шло гладко. Вано был спокоен, но какой-то в нем озноб поднимался, какое-то неприятное ленивое чувство разливалось по телу.

Два дня Вера крутилась возле картины и все дула и размахивала доской, чтобы краски быстрее сохли.

В воскресенье Вера надела свой лучший наряд, полюбовалась в зеркале на свою красивую белую шею, почистила Вано пиджак, завернула картину в шелковый платок, всучила сверток Вано, и они отправились к городовому Феропонтию Хому на дом.

НАША ЧАСТЬ РЕКИ

Наша река была не большой и не маленькой, но достаточных размеров, чтобы оказаться на картах мира. Она начиналась далеко и уходила вдаль. Ее истоки, притоки, а также устье и море, куда она впадала, были нам чужими. Лишь с того места, где она входила в город и до того, где выходила, это была наша родная река, и были нам до боли родными ее запах, цвет и шум.

Река была занесена на карты мира. А на нашем отрезке она имела свою собственную географию: островки и заливы, полуострова и причалы, обрывы и отмели... Истоки ее казались нам отдаленными, несущественными, словно предки, а продолжение ни о чем не говорило, как не говорят ни о чем отдаленные потомки. Мы жили настоящим, нашей частью реки. Да и сама река менялась здесь, менялось ее настроение, ее отношение к нам... На берегу когда-то стояла мельница. Теперь от нее остались лишь высокие кирпичные стены, которые впивались в позвоночник реки. Река, наталкиваясь на них, возмущалась и кипела, и тщетно силилась свалить препятствие.

Стены отличались друг от друга. Одна была высокой, другая пониже и солиднее, третья тонкая, коварная и на вид весьма непривлекательная. Река возле нее то и дело забивалась тиной и песком и, прыгнув с нее, можно было воткнуться в ил, как саженец. Между стенами на берегу пролегли тысячи тропинок, а на них полно было всякой всячины и битого бутылочного стекла. Между стенами по берегу — дома, дворы, висячие балконы.

Возле стен и на самих стенах валялись сотни мальчишек. Нам нравилось с воплями кидаться вниз: выстроившись на стенах в ряд, мы издавали боевой клич и с разгону бросались в воду. Выкрикивали мы что-то бессвязное. И в это мгновение, когда бежишь, и в следующее, когда ноги отрываются от камней, нас охватывало лихорадочное чувство победы и ощущение собственной силы, пронизанное хаотичными вспышками мыслей... В это мгновение вы наедине с собой, со своей победой и — страхом... Оно — рождение и смерть, короткое, как жизнь, сладостное, как мать, загадочное, как мир. Оно в человеке самое умное, это чудесное безумие. Если бы жизнь — без перерывов, без киселеобразной

массы, заполняющей пустые промежутки, — состояла из одних только таких мгновений!

Наши выкрики были задорными и радостными, они одновременно выражали ликование и ужас. Казалось, у этих криков есть далекие истоки и начало их в рассказах моей матери или в историях наших соседей. А может быть, в еще большей, потрясающей дали? Может, это ожившие в нас, задушенные мысли наших дедов, их забытая гордость? А может, их вековое терпение и молчание? И в момент прыжка они воплем вырывались из горла, оборачиваясь несколькими бессвязными, несуразными словами.

Они и сейчас еще, наверное, живут там, на реке, наши крики — прекрасные мгновения нашей жизни!

Вдоль берегов тянулись дома, церкви, мастерские школы, были там также военный комиссариат и парфюмерная фабрика.

Над рекой нависали тысячи труб — от тонких, как палец, до больших, величиной с туннель. Из этих труб, в соответствии с настроением города, вылетали разные вещи. Старые туфли, лохмотья, сломанные керосинки, ведра, бутылки, а однажды выскочил целый шкаф... Часть предметов река уносила с собой, другая оседала на дне. Оно было таким таинственным, это дно! Сколько чудес сокрыто там! Я верил, что на дне реки лежат не покореженные керосинки и ведра, а чудесные сокровища, невиданные миры, овеванные сказочной тайной!

Дно реки тоже имело свою географическую карту, которую, однако, знали немногие. Я был одним из этих немногих. Я проплывал реку из конца в конец и знал даже брод, которого не знал никто.

Мое имя было известно всем ребятам на реке. Эту популярность особенно упрочила моя близость с Хачиком. Хачик жил в соседнем подвале. Он был совсем одинокий и совсем седой. Возраст позволял называть его отцом, дядей и даже дедушкой. А поскольку он не был ни тем, ни другим, его попросту звали Хачиком. Когда-то, спасаясь от резни, он переплыл Черное море. Вошел в море где-то в Турции, а вышел где-то в России. Длилось это несколько дней. Он очень интересно рассказывал, как голодал в море, потом ложился на спину и спал, а утром продолжал плавание. Вообще-то мы привыкли к невероятным, поразительным рассказам ту-

рецких беженцев и быстро их забывали. Эта же необычная история запомнилась потому, что была связана с плаванием. Когда на реке появлялся Хачик, мы оставались на берегу, стесняясь войти в воду. Только лучшие из нас осмеливались демонстрировать свое искусство. А Хачик, стоя на высоком берегу, выпятив хилую грудь, гордо, с каким-то прямо-таки устрашающим достоинством отпускал несколько замечаний и уходил. Те, кто удостоивался его внимания, были счастливыми. И конечно, нашим самым заветным желанием было увидеть, как он плавает...

Его имя произносили с благоговением и всегда приводили в пример:

— Плавает, как Хачик!

Возник даже особый стиль плавания «по-хачиковски». Какой это был стиль, никто толком не представлял себе, но все знали, что хороший.

Наконец мне довелось увидеть, как он плавает. Хачик был под хмельком, мы, обнявшись, шли к реке, и от меня уже тоже стало разить вином, табаком и долмой. Он был такой низенький, что голова его упиралась мне под мышку, и такой худой, словно состоял из одних костей. Шапка военного образца налезала ему на самые глаза, скрывая брови и затылок. У него был длинный и острый нос, под которым чернела широкая полоска усов. Я то и дело поправлял его шапку. Я ее поднимал, но она сползала ему на глаза, я опять поднимал, а она снова сползала. Потом я сообразил, что это из-за формы его головы.

Мы спустились к реке. Раздевшись, Хачик остался в белых кальсонах.

— Ух, хорошо!—сказал он и, довольный, шлепая ладонями по волосатой груди, вошел в воду. Его кальсоны наполнились воздухом и, вздувшись, поднялись над поверхностью воды. Хачик упал на грудь, сильно ударил по воде своей костлявой рукой. «Шлеп!»—звонкий, сухой звук поднялся к берегу и отдался эхом у поворота реки. Я затаил дыхание. Вот это стиль! Потом он протянул руку и снова — «шлеп!». Когда он немного продвинулся вперед, его кальсоны взмыли над рекой белым парусом, а голова погрузилась в воду. Он ее слегка приподнял, но она погрузилась снова. Над рекой виднелись только белые кальсоны Хачика. Я почуял недоброе и прыгнул в воду. Когда я вытащил его на берег, в ли-

це его не было ни кровинки. Он посмотрел на меня вытаращенными от ужаса глазами, а потом вдруг вспомнил... Он совсем забыл о «Черном море»...

Над рекой потянуло вечерней прохладой. Хачик дрожал от холода и своими большими глазами смотрел на меня.

И изменились мои представления о беженцах вообще и о наших — тоже.

Мне стало очень жаль Хачика, я полюбил его еще сильнее.

— Никто не видел? — спросил он.

— Не бойся, — успокоил я его, — никто не узнает.

Когда мы оказались на обрывистом берегу, он сказал подавленно:

— Честное слово, Арташ джан, из Турции я бежал морем.

— Морем? — переспросил я.

— Честное слово... — бежал, — грустно сказал он.

— Знаю, — ответил я, — моя мать тоже была среди вас.

— Бежали... — вздохнул он. — Много мучений мы вынесли по пути.

Мне опять стало жалко Хачика, и я еще больше полюбил его — какой-то грустной любовью.

Мы сидели и долго смотрели на реку. На том берегу какая-то курдянка мыла ковер. В темноте поблескивали монеты на ее груди. Зажглись огоньки в прибрежных домах.

— Хотелось, чтоб в нашем горе было что-то красивое, — бормотал Хачик.

Мы снова обнялись с маленьким, худющим Хачиком, и снова голова его оказалась у меня под мышкой.

Было тихо, солнечно, хорошо. Но нам это приелось. Не верилось, что может случиться что-то интересное, ведь все знаменательные события уже произошли до моего рождения: Парижская коммуна, Каракозов, свержения с тронов... И с сегодняшнего дня навечно установились однообразие, тишина и солнце. Вот, скажем, был бы сейчас здесь мальчишка Пугачев, он бы, наверное, кликнул свой клич и спрыгнул с нашей стены... Я постарался вложить в свой крик гул разъяренных,

оборванных, многоязычных человеческих масс, дыхание степей.

Было тихо, солнечно, хорошо.

Но внезапно в жизнь реки ворвались три значительных события. Первое заключалось в том, что я перенес через реку Абрама.

Абрам был хромой и носатый парень. Из-за хромоты он ходил наклонясь вперед. У него было много недостатков, и все, кому не лень, обижали его. Он к этому привык, и трудно было представить, чтобы что-то могло вывести его из себя.

— Зачем ты им позволяешь?— спросил я.

— А как не позволить?— удивился он.

— Покажи свою гордость.

— Изобьют...

— Пускай.

— Совсем проходу не дадут, хуже будет.

— Пускай будет хуже, а ты им не давайся... Побьют, а ты держись с достоинством. Это главное... Не убьют же... Ты ведь можешь кричать... Смейся, кричи!

— Да я едва на ногах держусь...

— И в лежащем положении держись гордо и не позволяй... Главное — не сдаваться. Даже если останешься с одним глазом и рукой, все равно не позволяй унижать себя.

Мои слова были для него такими далекими...

— Хочешь переплыть на тот берег?— сделал я ему деловое предложение.

— Это я-то?— Абрам решил, что я шучу.

— Мы вдвоем. Пусть смотрят и лопаются от зависти... Не бойся, только крепче держись за мою шею.

Абрам колебался, но идея была слишком соблазнительной.

Мы спустились к реке, вошли в воду.

Я отплыл от берега. Абрам крепко вцепился в мои плечи, я ощущал на затылке его горячее дыхание.

— Вернемся, не надо... Подожди, умоляю, не надо...— твердил он в ужасе.

Чем ближе мы подплывали к другому берегу, тем крепче он прижимался ко мне. Люди высыпали на балконы, мальчишки что-то нам орали. И вдруг Абрам крикнул:

— Аойээ! Гэ!.. Айозэ!

Я посмотрел на него и очень удивился. Взгляд Абрама был странно напряжен, в глазах его отражалась работа мысли и какое-то страстное, невыразимое желание. Он поднял голову, и его большой нос скрыл от меня полреки. Он кричал каким-то незнакомым мне голосом, в этом крике словно бы воплотились его мечты и несбывшиеся желания... На миг мне почудилось, что его мечты сбылись, он горд, счастлив, мы сейчас выйдем на берег, и он зашагает двумя здоровыми ногами — совсем другой человек. И я тоже воодушевленно крикнул: — Аойээ! Гэ!.. Айоээ!

И я понял, что многое могу сделать. Что от меня зависит судьба человека. Если бы я всегда мог переносить его на ту сторону, повсюду, через любую реку, то он, наверное, действительно перестал бы хромать и нос бы у него уменьшился, и сам бы он изменился, и расцвела бы его гордость... Я почувствовал, что я не просто мальчик, «юноша», как любил говорить наш учитель географии, но в моих силах совершить кое-что, и для другого моя жизнь что-то значит, и все люди связаны друг с другом...

Мы вышли на берег, я глянул в чистое небо, а Абрам на свою ногу, и мы сели на прибрежные валуны. Вода стекала с наших уставших тел, Абрам о чем-то размышлял, и взгляд у него был удивленный...

Вторым интересным событием было появление в нашем городе испанских детей — детей сражающихся республиканцев. Поместили их в большом сером доме нижнего квартала, там, где река вытекает из нашего города и перестает быть нашей. Здание ожило, и сразу возросла дистанция, на которую мы плавали. Мы прыгали в воду с наших стен и по течению добирались до серого здания. Кое-кто не выдерживал и на полпути выходил из реки, а до конца доплывали почти всегда двое — я и Ерванд.

— Аойээ! Испания! — кричали мы.

Испанцы вскидывали сжатые в кулак руки, что означало «Рот фронт». А потом и они стали кричать «аойээ!». И стали приходить к нам на реку. Мы подружились.

— Хочешь, переправлю тебя на тот берег? — предложил я одному испанцу, из пяти имен и фамилии которого я запомнил лишь два слова: Сатурнино и Эгигурген.

Испанцы обычно ходили группами, самое меньшее их бывало двое. Когда вызывали одного, выходили оба. Если у одного развязывался шнурок на ботинке, то наклонялся и завязывал его второй. Пели они всегда хором, и казалось, будто поет само здание.

Подплывая как-то к зданию, мы увидели нечто удивительное. Во всю стену трехэтажного дома красной краской было начертано: «!Viva la España!» — «!Да здравствует Испания!» с двумя восклицательными знаками. У меня по спине почему-то побежали мурашки.

— Хорошие ребята,— сказал Ерванд. Надпись и на него произвела впечатление.— Любишь их, правда? Уважаешь, верно?

— Да,— ответил я.— Разве можно их не любить, позволяют они?

— А при чем тут они?— удивился Ерванд.

— Когда ты кувыркаешься, заставляя людей смеяться, разве могут они не смеяться?

— Так то смех...

— А это любовь... Они заставляют себя любить.

Вечером мы окинули взглядом наши стены, прыгнули с них, снова оглядели, и стало ясно, что здесь чего-то не хватает. У Максима, красильщика кроватей, мы взяли белил и на самой большой стене вывели: «Да здравствует Армения!» Поглядели — здорово! Спрыгнули со стены в воду. Когда мы вышли из реки, я заметил, что не хватает еще чего-то, и добавил: «Да здравствует Кнарик!»

— Кто это написал?— спросил Хачик.

— Я,— ответил я.

— Ты что, спятил?

Хачик изрядно потрудился, но стереть надпись ему не удалось. Краска размазывалась, темнела, а надпись оставалась. В конце концов он решил выкрасить всю стену. К утру он кончил и, усталый, выпачканный белилами, поплелся домой.

На рассвете солнечные лучи упали на снежно-белую стену, и она засверкала, посылая во все стороны отраженные лучи. Осветились все углы и закоулки.

Алексан, отец Абрама, проснулся рано.

— Эй, что там такое? Спать человеку не дадут. Комната вся светится.

— Кто это сделал?— спросил Гурген.
— Почему я знаю,— ответила моя мать.
— Райсовет, — заметил Хачик.
— Реку ремонтируют,— подтвердил я.
— Зачем же реку? Лучше бы наш дом отремонтировали,— поверила моя мать.

Чему только не верят иной раз люди!

Действительно, реку точно перекрасили. Днем стена посылала на нее солнечные лучи, заставляя сверкать ослепительным блеском, а ночью отражала тусклый лунный свет... И вода становилась белой... И нашу стену было видно отовсюду, как маяк. Из самых отдаленных уголков города видели нашу белую, наивную стену...

Было тихо, солнечно, хорошо... и Хачик скончался. Так нам сказали. Я не видел его смерти. И вообще никто не видел. Было трудно поверить, что его нет. Гордо, с потрясающим достоинством он сел в самолет, поднялся в воздух и пропал... Самолеты из нашего города летели редко, а пассажиры случались еще реже.

Хачик был весел, странно весел накануне полета. Он собирался поехать в Харьков, и кто-то заговорил о самолете.

— Среди наших знакомых никто еще не летал...

— Бросьте, не нашего ума это дело....

— Глотнуть водки перед полетом — и ничего не разберешь.

— Серьезный человек летать не станет... Чего он там потерял, наверху?.. Куда спешить, кто за ним гонится?

— Нет, не говорите, в этом что-то есть.

— Чкалов в Америку летал.

Вдруг Хачик сказал:

— Я полечу самолетом,— и посмотрел на меня.

Это было одно из тех самых наших мгновений. Отступить было нельзя.

У всех слегка приоткрылись рты.

Я донес чемодан Хачика до аэропорта. Мы поцеловались. И от моего лица вновь запахло долмой, вином и табаком. Потом он снял шапку, помахал ею, надел, и она поглотила половину его головы, от бровей

до затылка. А потом Хачик поднялся наверх и исчез. И ничего не осталось от него. Только слава пловца. У него не было детей, семьи. Ничего, ничего... Что же все-таки пропало?.. Что это было: пришло издалека, из самого-самого далека, а теперь прервалось? Не заныло ли чье-нибудь сердце в той дали, откуда он явился? А может, ниоткуда он и не явился? Просто был одинокий человек среди стольких людей... И ничего не убавилось? А может, он ушел из мира, и, сами того не сознавая, все почувствовали острую боль. Такую, от которой людям грустно без причины? Вдруг закололо сердце жителя Барбадоса, схватился за сердце и остановился на миг прохожий на Бродвее... защемило сердце у какого-нибудь малайца, и даже сердце турка в Турции. И неведомо им, что это боль от потери Хачика...

Потом я подумал о нем смешное. Я представил, как, наверное, кувыркалось в воздухе его тщедушное, костлявое тело. Кто знает, а вдруг сверху виднелся его дом, и ему захотелось упасть именно туда, на родную землю. И странное дело — узнав о смерти Хачика, я не заплакал, а вот забавные мысли о нем увлажнили мои глаза.

От Хачика осталась только слава пловца. И только один я знал его тайну. И долго еще после меня жители побережья будут говорить о плавании «по-хачиковски», и даже, быть может, рассказывать сыновьям о некоем Хачике, который плавал чудесно и переплыл Черное море.

ДОРОГА ДЛЯ ЛОШАДЕЙ

Дорога была о двух концах — на одном конце шумный, пыльный постоянный двор в Боржоме, на другом — постоянный двор в Ахалцихе.

Извилистая кавказская дорога, река то справа, то слева, на облучке — извозчик Юван, впереди — две лошади с опущенными головами. Мы сходили с поезда, находили Ювана и направлялись в Ахалцих, к тенистому дому деда, к маленькому саду, напоенному терпким ароматом вишен и роз, к прохладному килару¹ с

¹ К и л а р — погреб, вырытый в земле.

запахом суджука и пряностей и привезенной из Эрзерума медной утвари. Так каждый год: начинались школьные каникулы, и мы вместе с отцом или матерью, или же в сопровождении какого-нибудь ахалцихца с серебряным поясом отправлялись в «эрзерумский дом» дедушки.

Я смотрел на реку, смотрел на обочины дороги, смотрел на спину извозчика Ювана, следил за его движениями, прислушивался к шелканью бича и его понуканьям. Чтобы развеселить нас, Юван шутил, распевал смешные песни. Он любил повторять одну — про Симона и лимон, — показывая после каждого двух слов серебряный ряд зубов.

Я старался разглядеть из-за спины Ювана лошадей. Но увидеть удавалось только половину лошади, то слева от спины, то справа. Мерно двигались ноги, вздымая пыль, и, разбуженная и оторопелая, она не знала, куда деться — вверх или вниз, липла к ногам лошадей, стараясь изменить их четкие контуры, растворить в неопределенности.

Ноги были заняты своим делом и двигались, попеременно сменяясь посреди взволнованной пыли, трудолюбивые и деятельные... И только цокот копыт напоминал о гладкости дороги — цок-цок, цок-цок...

Я хорошо знал этих лошадей. Одна из них — смешная и грустная, высокая, с длинными ногами и длинной шеей... Глаза ее были печальны, иногда на них выступали слезы.

Но когда она скалила зубы и задирала верхнюю губу, эти глаза уже не казались печальными.

— Но, Курка, но, Маруся, но, родимые, — понукал Юван лошадей и опускал плеть на их спины.

Маруся была серая в крапинку, приземистая и выработанная.

Иногда Юван сажал меня рядом с собой, и тогда вся окрестность открывалась моему взгляду, дорога скользила под ногами, перед носом бежали Курка и Маруся. Я ликовал, дрожал от восторга, неизъяснимые желанья теснились во мне и, разгоняясь, пускались в дикий хоровод. Я старался унять их, удержать, боясь их красоты, боясь их чистоты, боясь их безграничности... А вдруг они исчезнут, во что-то выльются? Я чувствовал их с каким-то трепетом и страхом, сдерживал,

оставлял эти желания на «потом». Я знал, что это «потом» где-то впереди, что оно бесконечно, как бессмертие, и эта дорога ведет к «потом» и таит в себе счастье. Это счастье виделось мне духовым оркестром — литаврами, барабанами, волынками, красным цветом, запахом коры сосны, дыханием реки, «эрзерумским домом» дедушки и, самое главное, — бескрайней дорогой. Идешь по ней, идешь, и нет ей конца и края...

Впереди бегут Курка и Маруся. «Но!» — кричит Юван и хлещет плетью по спине Курки. Маруся съеживается, напрягается, ожидая удара, ее кожа становится гладкой, лоснящейся, морщины разглаживаются. Глаз Маруси сейчас и в самом деле грустный. Она смотрит на Курку, наверное, чтобы утешить его, принять на себя часть его боли и в то же время и сама ждет удара, чтобы облегчить боль от него. Но вот Юван натягивает вожжи, и Маруся, повернувшись влево, уже не может смотреть на Курку.

— Не бей, дядя Юван, — прошу я шепотом. Он не слышит меня и причмокивая опускает плеть на спину Маруси. Кажется, Маруся обрадовалась, удар был не таким сильным, а ожидание тяжелее удара...

— Что ты сказал? — спрашивает Юван.

— Не бей, — снова шепчу я.

Покрасневшие глаза Ювана улыбаются.

— Ладно, тихонько ударю...

Курка хочет посмотреть на меня, он, конечно, слышал все, слышал.

Юван натягивает вожжи, и голова Курки снова смотрит вперед. Мне кажется, что Юван не хочет, чтобы Курка смотрел на меня.

— Н-н-о-о-о!..

Лошади снова бегут. Виднеются знакомые места. Скоро я буду у деда.

— Поскорее, — говорю я Курке. — Ты не обижайся на меня, ладно? — шепчу я ему. — Скажи своей подруге, чтобы и она не обижалась. Что делать, коли нет железной дороги... Вот когда-нибудь я стану королем, президентом или премьер-министром и отдам приказ — не ездить на лошадях...

Часто эта бегущая пара казалась мне смешной, смешной и жалкой... Когда мне было смешно, я жалел их, когда жалел — было смешно. Мне казалась смеш-

ной их любовь, их преданность, их доброта. Ужасным было это ощущение смешного. Я даже стал бояться. Мне иногда даже хотелось, чтобы они не любили друг друга, возненавидели, обманывали, лягались, громко смеялись, как люди, показывали язык друг другу и мне, и Ювану... Наверное, я тогда бы не так боялся. Но они были верны и преданны и бежали дружно, умные и добрые супруги — Курка и Маруся. И все вокруг становилось от этого печальным...

— Что вы будете делать в Ахалцихе, дядя Юван?

— Поедем обратно, — говорит Юван.

— Прямо сегодня? — удивляюсь я.

— Прямо сегодня, — говорит Юван.

Я испуганно смотрю на лошадей и снова спрашиваю:

— А потом?..

— Что потом?..

— А что будете делать потом?

Юван смеется.

— Снова приедем в Ахалцих.

— И больше ничего?

— А что еще?.. Это их маршрут.

А я украдкой смотрю на лошадей, чтобы они не заметили моего взгляда.

Отсюда — туда, оттуда — сюда.

Идут, возвращаются, снова идут... А дальше? Где же дорога?.. Бесконечная дорога... Как вы живете без такой дороги?.. Мысленно я обращаюсь к Курке и уверен, что он меня слышит. «Почему вы не убегаете? Почему вы не разорвете упряжь? Почему вы не продолжите свой путь?.. Слышишь, Курка?.. Возьми свою подругу и не останавливайся, уходи, уходи... Дорога ведь длинная, счастливая, добрая».

Курка хочет повернуть голову в мою сторону, но боится Ювана. А я смотрю с таким выражением, чтобы Юван не понял, что я говорю:

«Уходите, не останавливайтесь... Ты же меня слышишь, Курка, мой вороной... Умоляю тебя, не бойся... Ты же хорошо бегаешь... Ювану никогда не догнать тебя... Ты сильнее Ювана. Уходи, не обращай на него внимания. Что он может сделать? Разве можно так жить?.. Как ты терпишь?.. Ради чего?.. Ведь у этой дороги нет конца».

Курка смотрит на Марусю и ржет.

«Ты ведь меня понимаешь... Идите, пока не кончится дорога, идите, пока она не вступит в вечность...» Я украдкой смотрю на Ювана.

«А если вам не терпится — сейчас же сверните с дороги... Скоро будет развилка, сверните и войдите в лес, идите на луга, мало места, что ли?

Ступайте и дождитесь меня... через месяц я приеду к вам, и мы вместе пойдем по этой дороге».

Юван ни о чем не догадывается, он не слышит моего шепота. Мы проезжаем развилку. Курка и Маруся бегут, но они взволнованы, над ними поднимается пар. «Не получилось, да?.. Ничего, есть еще одно удобное место. Оттуда свернете, а я пойду пешком. Еще немного. Неужто вы пойдете назад и снова назад?..»

Но в этом удобном месте Юван вдруг вышел из оцепенения:

— Но-о...

Вечером, пыльные, одуревшие, мы добрались до «эрзерумского дома» дедушки. Юван распряг лошадей и повел за дом, туда, где была трава. Я подошел к ним.

— На этот раз не получилось... Ничего, в следующий раз. Ждите меня...

Они молча слушали меня, и видно было, что наша тайна останется между нами.

Спустя два месяца я снова пришел на постоянный двор. Вместе с дядей мы ждали Ювана посреди сломанных экипажей, колес, вокруг стояли мужчины в папах, в армяках и с кинжалами. Юван пришел, но в экипаж был запряжен только Курка.

— Где же Маруся? — спросил я.

— Околела.

— Как это?

— Лошадь слабее человека, не выдерживает, — сказал Юван.

«Будто не знаешь, отчего она околела», — подумал я со злостью.

Я подошел к Курке.

— Здравствуй. Ты не забыл наш уговор? Или опять будешь терпеть?

Мы отправились в путь. Я теперь ничего не замечал,

занят был только Куркой. Я говорил с ним, подбадривал его.

«Здесь удобно, ну, беги...» Курка слушал меня, хотел свернуть, но что-то напрягалось в нем, какое-то глупое непонятное чувство сковывало его. Никак не могу понять — отчего. Ведь ему ничто не мешало, ничто.

«Уходи, уходи, уходи... вот сейчас уходи...» Но Курка смотрел на меня и никуда не сворачивал.

Когда мы доехали, я был разбитый и грустный.

«Ничтожество, трус, ничтожество. Бежишь себе, опустив голову... Опять не смог. Что тут трудного?.. Трусы...» Потом я смотрел в его глаза и жалел его: «Ладно, в следующий раз...»

Через год мы встретили Ювана на базаре.

— Что ты здесь делаешь, Юван? — спросил отец.

— Железную дорогу построили, — сказал Юван. — Сейчас здесь живу.

Я подскочил, все смешалось во мне, странные чувства переполнили меня. Я увидел бескрайнюю дорогу, проходившую по лугам, лесам и ущельям, и подумал: «Железная дорога — просто отговорка, лошадь, наверное, сбежала».

— Курка удрал?.. — злорадно спросил я.

— Куда он мог удрать? — сказал Юван.

— По длинной дороге, до конца...

— Как может лошадь удрать? — улыбнулся Юван.

— Не знаю... Вместе с экипажем, или...

— Нет, — уверенно возразил Юван.

— А что он делает? — спросил я осторожно.

— В деревню я его взял, в Цурхут...

— А что он там делает? — не мог успокоиться я.

— Ходит взад-вперед.

— Как это взад-вперед? Туда и обратно?

— Туда и обратно.

— Дорога такая же?

— Нет, покороче. Теперь Курке будет легче.

— Легче? — удивился я. — Как это легче? Труднее же будет, труднее...

Неужто он забыл мои слова?.. Я поеду в Цурхут, разыщу Курку и скажу ему все снова. Скажу:

— Слушай, Курка...

За упокой душ Вано Ходжабекова, Пирсмани, Карапета Григорянца, Етима Гюрджи, Гиго Шарбачяна, Кара-Дарвиша, Геворка Джотто, Бажбеука, Каралова и других дардимандов «Тифлисского ордена».



Самая большая и роскошная улица Тифлиса — Головинская. Если же мы последуем за этим творением безвестного, но гениального художника и пойдем в направлении его указательного пальца, то он поведет нас по кривым, узким и горбатым улочкам, где у печали привкус вина, а время, подобно уксусу, выделяет из себя пузырьки воздуха.

Посреди Тифлиса — Кура. На ней шесть мостов — Михайловский, Верийский, Мухранский, Авлабарский, Метехский и самый значительный — Мнацакановский. Его построил за двадцать пять тысяч рублей и подарил городу господин Мнацаканов. Это дало ему право называться почетным гражданином Тифлиса. Говорят, что с этого дня свои деньги он считал в единицах моста. «Сегодня на бирже я выиграл два моста». Дочь он упрекал так: «На твои платья и шляпки я истратил шесть мостов». Он лелеял мечту подарить мосты Санкт-Петербургу, Парижу, Лондону... Он поглаживал свою бородку «буланже», воображая рядом с лондонским Ватерлоо мост Мнацаканова — ух ты, хорошо!

Одной из наиболее важных особенностей этого моста было то, что под ним живет Хечо Чопуров. Он родом из села Шиних. Когда он был совсем маленький, отец — Чопур Етимов — рассказывал ему на сон грядущий удивительные истории, он рассказывал то, что, по его мнению, должно было присниться маленькому Хечо. Но рассказывал он только первую полови-

ну, оставляя Хечо вторую половину досматривать во сне. И сын засыпал. Но он так никогда и не увидел того, что недосказал ему отец. Потом, гораздо позднее, когда Хечо вырос и стал спать под Мнацакановским мостом, он понял, что эта его жизнь и есть та вторая половина сна... Этот мост над его головой, холод, которым веяло от Куры, отдаленные звуки и голоса, не имеющие к нему никакого отношения...

Господин Мнацаканов! Господа! Живете вы уютно и благоустроено. Вы имеете все — что нужно и что не нужно. У вас, господа, есть теплое место, где можно спать, деньги, еда... Вам, господа, и вам, господин Мнацаканов, не хватает одного — несчастного человека, которому холодно, голодно, которому предназначено самой судьбою быть несчастным. Вам нужен такой человек, чтобы ночью, сытно поев и забравшись в постель, вспомнить и сравнить с собой. Такое сравнение вам необходимо, чтобы полнее ощутить свою устроенность, свое довольство, свою мягкую постель, свою здоровую, бархатную кожу, свое счастье... И этот человек — вот он, Хечо. Пожалуйста под мост, и вы увидите его... У Хечо не было и не будет ничего. Он отказался даже от своих желаний ради желаний других людей... Даже то, что он не имел, он отдал первому желающему... Всю жизнь он мерз и терпел неудобства. Хечо вручает себя вам. Берите — и вы почувствуете вашу постель еще более удобной и вашу жизнь еще более обеспеченной...



Давление воздуха в Тифлисе 406.

Над купцом Тамамшевым оно равно 404.

Над Воронцовым-Дашковым — 308.

А над нашим Кара-Вурди — тысяча. Может быть, именно по этой причине у него нет дома и спит он под открытым небом — чтобы хоть слегка уменьшить давление свыше. Спит он где попало: весной в фаэтснах, зимой в банях Мирзоева, летом в саду Муштаид...

Вурди презирает все — жилье, улицу, одежду. Но ведь надо же что-то носить, и он надевает широкополую шляпу, украшенную куриным пером, а в петлице сюртука вместо цветка у него — красная редиска. Где-то же надо поесть, и он продает в духанах и во дворах свои мысли, придумывает тосты, одаривает речью надгробные камни, вот так, например: «Бог да хранит убитых живыми». Над ним потешаются, но слова и мысли запоминают, пересказывают своим женам и детям, начальству и любовницам... И мысли и чувства Вурди становятся достоянием людей...

Вот какие слова бросил Кара-Вурди в ресторане «Бомонд» после торжественного сборища «Кавказского отдела попечительства императрицы Марии Федоровны интеллигенции — поклонников Вольтера» этим сытым, ковыряющим в зубах членам общества, этим поклонникам Вольтера:

«Вы — наиболее яркие представители мещанства! Я назову человеческий гений мыслью. Вольтер был мыслью, а не интеллигентом. И самые ярые его враги — это вы, интеллигенты, дешевые потребители, паразиты, размножающиеся около мысли, вы вторгаетесь в нее, поедаете и сковываете мысль. Вы, лицемеры, губите мысль и делаете из трупа идол!»

За это выступление его месяц продержали в Метехской тюрьме. Сегодня он ночует в фаэтоне Антона, и если вы не боитесь его острого языка, можете посетить его...



Кинотеатр «Мулен-Электрик».

Когда на улице редееет толпа, музыка пианистки из «Мулен-Электрик» мадам Ауферман выпархивает на улицу, и мадам знает, что она играет уже и для улицы... Этот последний сеанс — ее бенефис, источник ее вдохновения, мгновения ее торжества...

Зайдем в «Мулен-Электрик» поглядеть на старушку Ауферман, а главное, на Таши, безрукого художника

афиш. Он и в самом деле безрукий, обеих рук у него нет. «Бог прекрасно знает, что делает,— говорит Таши,— он не хочет, чтобы творил кто-нибудь, кроме него. Он нарисовал мир и не хочет, чтобы ему подражали, а то и что-нибудь поменяли. Бетховен был глухим, Гомер — слепым, а я — безрукий, тифлисец Таши, единственный в своем роде. Он знает, что я тоже могу воссоздать мир, и пожалуйста — отнял у меня руки... Ух, чтоб тебя! — И Таши скрежещет зубами и воет, обратив лицо к небу, и проклинает бога.— Но я дерзаю рисовать... Посмотрите — вот портреты Веры Холодной, Марион Леонард... ангелов моих с длинными ресницами».

Таши расстилает на полу вестибюля «Мулен-Электрик» полотно, одним махом сбрасывает туфли, хватая пальцами ног кисти, поигрывает ими и уверенно опускает на холст. Он будто доказывает себе и богу, что руки человеку не нужны. Он принимает потрясающие позы, ложится, переворачивается, танцует на афише, парит в воздухе, то и дело вынимает ногой папиросу изо рта, другой вытирает пот и снова пишет... В зале время от времени усиливаются звуки рояля и слышится постукивание костлявых пальцев мадам Ауферман по клавишам. А когда там раздается взрыв смеха, вестибюль кажется еще более пустынным, а одинокий Таши нским фантастическим существом... А после работы, поздней ночью, он идет в кабачок близ Песков, прихватывает с собой Кара-Вурди из фаэтона и Хечо из-под моста... Там Таши пальцами ног поднимает бокал и пьет за свое безрукое счастье и за Тифлис.

Хотя между тостами он и скрежещет зубами, браня бога, но под конец, перед сном — о удивительный мир, удивительный Тифлис! — плачет навзрыд: «Прости меня, боже, пожалей и прости...» И крестится пальцами ног.



День и ночь течет Кура, кое-где робко, будто на-бросила на голову покрывало, стыдась торчащих из

своего тела камней, а то вдруг шумно, с шипением, точно кобылица с пеной на губах. Порой она замедляет свой бег, рассматривая черно-белые мельницы по берегам, останавливается, прислушивается к звукам тара и кяманчи, раздающимся из тусклых окон нависших над водой веранд, и даже возвращается, чтобы опять вздохнуть под тихое бормотание Саят-Новы.

Кура течет. Ей безразлично, что в лицо ей плюют «Французское пароходное общество Паке и К°», «Северное пароходство», пароходные общества «Австрийский Ллойд» и «Германский Ллойд». Они выливают в нее свои нечистоты и приглашают тифлисских миллионеров и князей в карнавальный рейс по Атлантическому океану на пароходе «Глобус».

Кура проглатывает плевки и грязь, переворачивает отходы и с грустью сознает, что ее хозяин — Тифлис, и она навечно прикована к Тифлису...

Прямо против церкви — узкий туннель для сточных вод, по которому можно попасть во владения Бедо. Туннель вползает оттуда под церковь и выводит в иной, особый мир. Другой мир в центре Тифлиса... Здесь собираются и направляются по туннелю к Кура сточные воды. Но и канализационная вода тоже может стать водопадом, вдохновенно зарычать и пролиться вниз...

Кочкочан — тифлисская Ниагара. Сточные воды со всего города: остатки супа харчо, кровь забиваемых баранов, содержимое ночных горшков, слюна и мокрота — все это притекает в Кочкочан и словно вдруг взрывается, с шумом низвергаясь, бесстыдно обнажается, сверкает на солнце, демонстрируя свою силу и буйство...

Здесь растут поразительные растения — зеленые-зеленые, выющиеся-выющиеся, переплетающиеся, густые-густые... Порой они кажутся ползучими существами — зелеными ящерицами, зелеными червями, зелеными, переплетенными друг с другом змеями, наполовину зарывшимися в землю, они кусают друг друга, убегают друг от друга, входят друг в друга. Иногда кажется, будто у них шевелятся хвосты. Они плачут, смеются, свистят, мяукают...

Наверху, в этих зеленых зарослях, скрывающих свет, стоит дом, в котором живет Шушаник. В дневное

время он вызывает смех, по ночам — страх и растерянность. Дом словно зарос мхом, превратился в скульптуру. Растения из ущелья как бы обвивают, закрывают единственное окно, чтобы скрыть от Тифлиса историю Шушаник...

Шушаник была простой девушкой. Она из окна смотрела на Тифлис и часами заплетала свои длинные косы. Дай им волю, они бы отросли, спустились ниже пояса, добрались до пят и дальше, сплелись бы с зеленью, растущей во дворе, с влажными и скрытыми ее стеблями. И эти длинные косы, сплетенные из зеленовато-фиолетовых цветов, черных трав, из темноты и стонов, заскользили бы вокруг стен, обвивая их тысячу раз...

А если бы Шушаник распустила свои волосы, они бы обняли весь Тифлис, часть их реяла бы над городом, подобно знаменам, другая укрыла бы все уголки и закоулки — и мост Мнацаканова, и «Мулен-Электрик», и винные погребки.

Шушаник была простой девушкой, радостью старика отца, наивного и простодушного учителя Габриела. Она училась в Верийском женском училище и влюбилась в молодого члена товарищества «Союз-копейка» Гедеванова. Их венчание в церкви Св. Карапета походило на шепоты во дворе, где они жили.

Шушаник распускала свои косы, волосы скрывали ее тело, и она гладила их и тело под ними. В теле Шушаник начиналась новая жизнь...

Гедеванов был примерным мужем. Лицо его было таким четким и правильным, таким твердым и завершенным, что ничего лишнего не могло на нем уместиться — ни чрезмерное удивление, ни чрезмерная радость, ни чрезмерная грусть. Когда акушерка мадам Ходжапарухова вышла из комнаты роженицы и безнадежно посмотрела на мужа Шушаник и ее отца, Гедеванов с достоинством принял этот удар судьбы... И даже когда заплакал, услышав весть о неудачных родах дочери, отец Шушаник, Гедеванов по-прежнему продолжал сохранять неизменно твердое выражение лица. Но затем... Но затем все стало очень непонятным. «У моего ребенка нет тела», — заявила Шушаник с просветленным и мудрым лицом. Как быть и что тут сказать — никто не знал. Шушаник была счастлива и любила сво-

его невидимого ребенка. Все было как у людей. Она кормила его грудью, со спокойным и довольным лицом смотрела в пустые пеленки, качала пустую колыбельку... Это казалось столь естественным, правильным, приятным для глаза, что Гедеванов и Габриел то и дело заходили в комнату Шушаник и заглядывали в колыбель и в кровать... Вызвали врача-немца. «Бывает... Душевная травма. Нужен покой». Но Шушаник еще больше привязывалась к пустой колыбельке, любила ее, говорила с ней, пела для нее. Она была счастлива, и это особенно пугало родных. Пригласили психиатра Гоциридзе-Гомартели. Он задумался, поднял вверх брови и произнес: «Душевного расстройства нет». Потом растерянно написал несколько рецептов, посмотрел вокруг и вдруг порвал все рецепты и забормотал: «В медицине подобного случая не было... Но кто знает... Может, здесь существует некая правда... Она родила душу... без тела. А? Как по-вашему?» И ушел. И вот тут-то сломалось лицо у Гедеванова, он испугался, что потеряет ощущение прочности окружающего мира и ушел, убежал от змееподобных растений, длинных-длинных кос, зелено-синих талисманов и жены, рожаящей души... Через несколько дней скончался отец Шушаник.

Говорят, Шушаник продолжает рожать души... И Тифлис зовет ее «Шушаник, рожаящая души». Еще говорят, что она очень быстро ставит на ноги своих детей и отправляет в кривые, горбатые улочки Тифлиса, в винные погребки, под мосты... И если вы хотите поговорить с ними, повидать их, уйдите от дерзкого блеска роскошных и сытых магазинов Дворцовой улицы, и все время следуйте в направлении указательного пальца «хади по палцам». И не бойтесь. Откройте сердце, расскажите им о своих печалях и горестях, будьте открытвенны до конца. Но только не требуйте от них ничего материального, не пожелайте товара, не добивайтесь предметов, не стремитесь к деньгам, не говорите о деле: они не понимают реальности предмета, они не ощущают прочности вещества, не знают о власти вещей. Если вы будете правдивы и искренни, вы увидите их, и они вам скажут самую сложную и простую истину — как быть счастливым...

ЧЕТЫРЕ ДОБРЫЕ СТЕНЫ

Комната моя находится на берегу реки, и стены ее вечно сырые и печальные.

Мой дом строил некий Дандуров.

Одна стена комнаты выгнулась наружу, на другой, ощерившейся красными кирпичными зубами,— портрет моей бабушки в чихтикопи, на третьей «Таитянка» Гогена. Под ней прямо на полу стопка книг: сочинения несчастного грешного француза Мопассана да еще десятка других не ужившихся с этим миром людей...

Посредине комнаты стоит моя кровать в стиле рококо с маркой итальянского города. На этой самой кровати умирал нищий армянский буржуа Мелик-Каракозов, издававший газету тиражом в сто штук и выступавший с речами в тифлисском национальном собрании. Умирая на этой кровати, Левон Мелик-Каракозов завещал: «Подарите что-нибудь ему», имея в виду меня. И мне решили отдать кровать, что была под ним. А его самого хоронили старые армянские интеллигенты. Черные старики играли в прихожей на скрипках, одни лишь старики сидели там. Желтые старушки пели «Аллилуйю». И гроб несли одни лишь старики, которые переговаривались между собой по-английски, по-французски, по-немецки, по-русски... А кровать подарили мне... Но это между прочим. Это всего лишь история кровати, что стоит в стенах моей комнаты.

Трамвай въезжают в нашу узкую улочку и, касаясь снаружи моих стен, несутся со звоном дальше.

Однажды утром покосившаяся стена вдруг пошатнулась. Качнувшись два раза, она рухнула. И сразу обнажилось пол-улицы. Потом будто растаяла вторая ветхая стена. Осела она, исчезла, рассеялась, словно дым. Пропали также третья, четвертая стены... Моя комната утратила стены. И я остался в середине — на своей итальянской кровати.

Мой сосед Баграт брел по тротуару, он вошел в мою комнату и вышел, словно меня в ней и не было... И моя комната стала продолжением тротуара. По ней засновали взад и вперед прохожие. Шагая по тротуару и увидев деревянный пол без стен, они входили в комнату и раз-два-три! — несколько шагов шли по ней. Это было как игра: так легко и просто можно было

забраться в комнату, пройти по ней и выйти на улицу...

Какой-то долговязый тип даже перешагнул через мою кровать. Словно меня здесь нет.

Двое ребят прицелились к люстре, все еще висевшей у меня над головой. Один из них бросил камень, но не попал и рассердился, второй подобрал его, швырнул, и на этот раз он угодил прямо в мою бронзовую люстру. Она зазвенела, как колокол, качнулась, стукнулась об потолок, потом пошла в другую сторону и снова ударилась в потолок...

Спустился вечер, стемнело, а осколки звона точно застряли у меня в ушах. Прохожие входили в мою комнату, рвали мои книги и присаживались на корточках в углу.

И я заговорил сам с собой вслух, дескать, вовсе я и не боюсь... Люди всегда так поступают, когда темно и им страшно...

СВЯТАЯ ИСТИНА

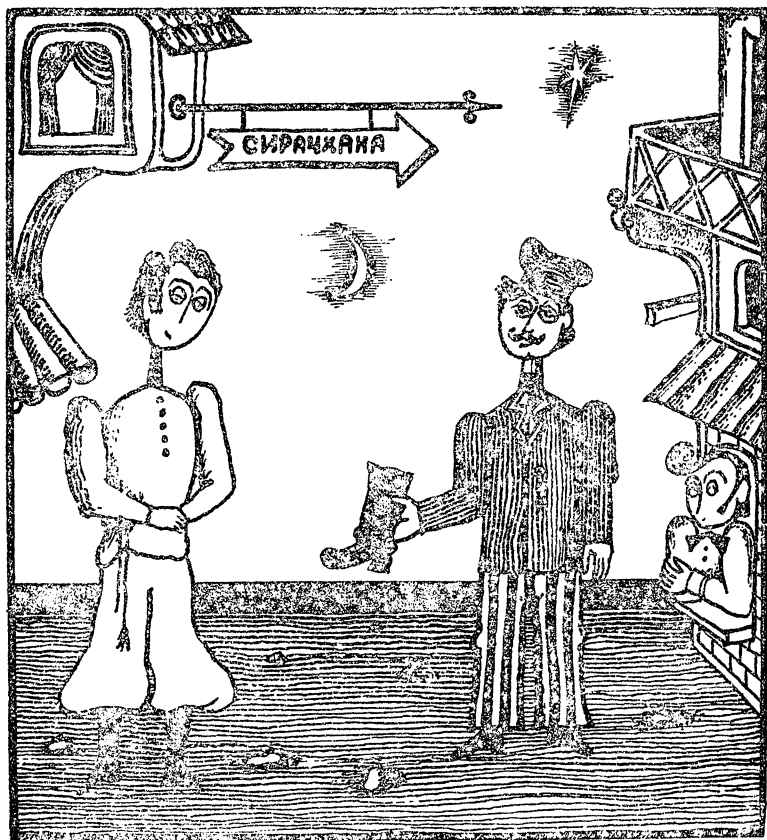
Чипро еще ходил в учениках у мастера Гевурга, делавшего колодки для сапог, еще месяц ему оставался, а мастер с усмешкой сказал:

— Нет, братец, не годится мне твой характер, не для моей лавки ты колодка...

И Чипро спустился по Сирачхане и определился в лавку красильщика Самсона. Через несколько дней Чипро ходил раскрашенный с ног до головы, как пасхальное яйцо, но одежда, которую он красил, выглядела довольно бледно...

— Черт тебя дери, на физиономию свою погляди... у меня ведь лавка, а не цирк,— сказал мастер Самсон.

И отсюда ушел Чипро, перекочевал в лавку гробовщика. Все тут ходили радостные, один Чипро был грустен: часами глядел он на улицу, задавал нелепейшие вопросы мастеру Мкртуму о жизни, о смерти, о белом свете. И лицо у Чипро делалось при этом такое скорбное, что все, кто стоял поблизости, покатывались со смеху... И пошел Чипро из веселой лавки гробовщика, спустился пониже — в лавку лудильщика черкеса Алима. По Сирачхане взад-вперед сновали красивые женщины, и Чипро выбегал из лавки и взглядом провожал их, смотрел оторопело, пока те не скрывались за углом.



Однажды, когда Чипро выскочил посмотреть, как идет по улице одна хорошенькая барышня, черкес Алим надвинул папаху на глаза и сказал:

— Больше не возвращайся...

Чипро постоял-постоял, поглядел кругом и двинулся по Сирачхане, раздумывая, куда бы еще себя при-ткнуть.

Сирачхана — это такой спуск, наверху — Авлабар, у подножия — Шайтан-базар, и получилось так, что Чипро в Авлабаре сел на собственную задницу и, как на санях, соскользнул вдоль по всей Сирачхане — к самому Шайтан-базару. На Авлабаре были церкви, в Шайтан-базаре — мечети, на Авлабаре была восточная баня,

в Шайтан-базаре — персидские бани, на Авлабаре потряскивал аппарат синематографа, в Шайтан-базаре, позвякивая колокольцами, вышагивали верблюды. Авлабар и Шайтан-базар объединяла расположенная на скале Метехская тюрьма... а чуть подалее, если пройти немножко по берегу Куры, начинался Ортачальский «рай» — места для пирушек, девицы... словом, хочешь — в церковь иди, хочешь — на базар, хочешь — в баню пожалуй, хочешь — в тюрьму...

Поболтавшись дня два на базаре, Чипро присоединился к троице, игравшей на мандолинах. Тифлис был веселый город... Китайцы показывали во дворах фокусы — глотали огонь; итальянцы пели «бельканто», играли на мандолинах и гитарах.. Настоящие итальянцы и китайцы мало-помалу перевелись или попросту стали тифлисцами, кто знает, и огонь уже глотали и на мандолинах играли — армяне, грузины, русские...

Тренькали мандолины в прибрежных дворах, и текла жизнь в этих дворах, совсем как вода в Куре...

Чипро с мандолиной в руках становился рядом с маэстро Мосе-Барнабо и указательным пальцем ударял по одной и той же струне. Чипро смотрел на резные балконы, на дам, высыпавших на эти балконы, на госпожу какую-нибудь распрекрасную и ошибочно бил по другой струне. Маэстро Мосе-Барнабо обрезал все струны на мандолине и оставил только одну, по которой должен был бить Чипро. Но музыка так действовала на Чипро, так его волновала, что он своим пухлым указательным пальцем обрывал и эту единственную струну. Мосе-Барнабо был добрый человек, но у него вышли все струны...

В Тифлисе были кахетинские вина всех цветов радуги; ереванские абрикосы и тавризский виноград сами собой ложились в корзины, черная тута искрилась на подносах кинто, персы разносили на головах «кялау» в сковородках. В Тифлисе были индийская хурма, корица и гвоздика, восточный сироп, кальян... и все эти запахи витали над городом, смешивались, объединялись и становились волшебным пестрым облаком — облако это кружило над Авлабаром, Шайтан-базаром, над улочками Нарикалы, потом делалось дождем, и этот пахучий разноцветный дождь сыпался вниз. И Чипро задирал голову, раскрывал рот и глоток за глотком пил этот дождь...

— Ты что это делаешь, Чипро? — спрашивали его кинто.

— Обедаю,— отвечал Чипро.

— Чтоб тебя...— смеялись кинто.

Днем Чипро растягивался на песчаном берегу Куры, по ночам прятался в свою каморку под лестницей господина Асатурова, и, наверное, очень немногим бы довольствовался он в жизни, если бы в тот день не пошел на улицу.

И словно все запахи Шайтан-базара с новой силой влились в его кровь, все оттенки Харпуха¹ вошли в его капилляры, все тайны проникли в его суставы и устроили ему засаду... горькая и сладкая, острая и соленая, душная и ласковая засада, истома бархата и нега белой простыни... Параджанов выписал из Парижа девочек...

На главную улицу Тифлиса — на Головинский проспект — вышли прогуляться тридцать две красотки Ортачалы: понедельник был их выходным днем. Показывались их бедра, словно в предчувствии грядущих тревог, пестрые наряды их набегали друг на дружку, как вспененные волны Куры, под одеждой обозначались женские ноги, и было в них что-то грубо властное. Еще никогда не было так — чтобы вместе появились на тифлисской улице сразу тридцать две бесстыжие красотишки. Тифлис не видел более победного шествия; набегу шаха Аббаса и Махмуд-хана были детскими играми по сравнению с этим. Тифлисцы никогда еще не видели так близко, рядом с собой, этих таинственных правительниц Ортачальского рая, и один вид их уже был напоминанием о грехе, о раскаянии, о сладости ада... Но еще не ставились в сравнение тайное, недозволенное и явное, общепринятое; не сравнивались, не ставились еще в сравнение нежеланное, приличное и желанное, постыдное...

Женщины были в шелку, переливались ожерелья, поблескивали украшения. И сквозь всю эту рябь то и дело стреляли женские взгляды — нечто новое для Тифлиса, сладкий и бесстыжий взгляд, всемогущий и робкий, умный и бесшабашный, хитрый и простодушный, спокойный и пылкий...

Тифлисские дамы и барышни спешно затворяли ок-

¹ Район старого Тифлиса.

на, и только некоторые из них тайком наблюдали из-за штор это ужасное шествие. Они смотрели и чувствовали, что с ними творится что-то непонятное: им хотелось любить до безумия, хотелось раздеться донага, выскочить из дому, кататься по кровлям, прыгнуть в Куру...

Это шествие многим перевернуло жизнь. Воспитанник Нерсисянской школы Сукиас, например, — его кровь словно изменила направление, Сукиас бросил Хоренаци и Нарека, и пошел, и пошел... Шивший черкески вагаршапатский Мехак обанкротился в пух и прах, и бог знает что еще произошло тогда в несчастном Тифлисе...

Всю эту ночь Чипро проплакал, скрючившись в своей каморке, он плакал, а сквозь плач вдруг прорывался смех не смех, а клекот какой-то... Ничего-ничегошеньки на свете для Чипро больше не существовало, кроме этих четырех фаэтонов.

В огородах Ортачалы петрушка и киндза так и перли из земли и, как безумные, рассыпали свои кудри на плечи земли, зеленая кровь их кипела и клекотала, огурец исходил болью, так натянуты были его тугие и крепкие молодые жилы, помидор наливался, наливался, и его красная нежная кожица тосковала по силе и хотела лопнуть от прикосновения, от грубого объятия...

В садах Ортачалы под темным ночным небосводом зажигались разноцветные фонари, и в белой, убийственно благоухающей постели отдавались приехавшие из Франции красотки...

Пировали в садах Ортачалы: Асатуров из «Булочная. Асатуров и сыновья», банный король Гогиллов, Мильян из «Мыловаренный завод Милова», «Кузиков и К°», Мцхетский Моурави, Тамамшевский каравансарай, заведение Мелик-Казарова...

И эта наша тифлисская шваль Чипро, сирачхановская наша шпана, авлабарский этот паяц горел, как в огне: копился, скапливался, видно, в нем Тифлис со всеми своими верблюдами, шахсей-вахсеями, серными банями и прочей мишурой, и все это сделалось его кровью, красноватой ли, оранжевой, коричневой, бог весть, но теперь эта кровь трепала тело Чипро, хотела вырваться из него, завывала, плакала, стонала, молила, сжималась от боли и несла с собой какую-то дождливую плаксивую грусть. И когда эти четыре фаэтона входили в его дымящуюся растревоженную кровь, Чипро весь исходил слезами, он вспоминал своего отца и

плакал, вспоминал мать и плакал еще пуще, вспоминал отцовский залатанный домишко и заходился в плаче. Эта наша тифлисская шваль Чипро день-деньской крутился возле садов Ортачалы, глядел побитой собакой, хлюпал носом и вбирал в себя каждый шорох и запах, и шепот, и дыхание...

Это сколько же копеек надо, господи, чтобы набрать пять рублей, думал Чипро... Это какой же умный, должно быть, господин Тамамшев, что столько денег может сосчитать... Бедный Чипро, да ты если даже столько лет будешь собирать копейка по копейке, как ты эти копейки потом сосчитаешь... Ну, хорошо, а если попросить пять копеек у Гевурга, пять копеек у красильщика Самсона да пять копеек у лудильщика Алима, это сколько же, значит, получится?.. Все равно для Ортачалы не хватит... И почувствовал Чипро, что самое трудное на свете — считать...

Ночью Чипро сидел в темной своей каморке, обхватив руками колени, и грустно беседовал со своей кровью: «Не смогла прилично, как подобает, стоять рядом с гробом, дрянь никчемная, на одной струне играть не смогла, колодки, чего уж проще, и то не одолела... так как же ты смеешь теперь шуметь во мне, подлая!.. Ты ведь не слаще, чем кровь Тамамшева... Ну и заткнись, значит...» И Чипро бил себя, щипал — вот тебе, вот тебе... А утром, утром Чипро встал и зашагал — куда бы вы думали? — в церковь. В церкви каменные своды обдавали Чипро холодным своим дыханием, и Чипро почувствовал себя самым праведным на свете человеком, он утратил ощущение своего сального неряшливого тела — его тело, казалось, постепенно обрело прозрачность. Да, да, Чипро показалось, что он стал словно бы прозрачным, ему показалось даже, что его не видно, что острый луч света, падающий из дверей, проходит сквозь него, что сейчас он и сам смешается со светом и вознесется... вознесется, воспарит и — и спустится в садах Ортачалы...

Чувства Чипро были светлы и чисты. Чипро взглянул на стены, на огромные глаза святых ликов, и ему показалось, что все сочувствуют ему и все озабочены исключительно его, Чипро, состоянием...

Из своего закутка вышел священник, и вместе со многими предметами в поле его зрения попал и Чипро. И святой отец поразился. Лицо Чипро было такое оду-

хотворенное и возвышенное и такое выразительное, что тслом тщедушный и никогда ничему не удивлявшийся священник подошел к Чипро и перекрестил его. Чипро зарыдал — как вам сказать, просто что-то очень искреннее, переполнявшее его хлынуло, полилось из него.

— Что случилось? — спросил священник у Чипро, забыв свой сан и то, где они находятся, спросил так естественно, как если бы на улице упал человек и он, священник, оказался рядом.

Чипро взглянул на священника, и взгляд его, открытый и просветленный, отпер дверь в душу священника, проник внутрь, и Чипро рассказал священнику про то, как у него дома умирает единственный сын, что его сын — это сын вселенной, что если он его потеряет, то уже никогда и никого не сможет любить... что сына он любит не только потому, что это сын, а просто — это та бусинка в человеческом ожерелье, которая если оборвется, то все ожерелье рассыплется.

Сын умирает, потому что мир суров, а бог — одинок...

Сукин сын Чипро и сам так верил в истинность своих слов, что ему не надо было искать и придумывать какие-то слова... Он был настолько естествен, что священник не почувствовал грубых тифлисских словечек, отдававших бранью, похожих на кашель и похрипывание...

Священник вошел вместе с Чипро в свою келью, обнадежил его как мог, потом предложил откусать... Но Чипро нельзя было терять ни минуты, Чипро должен был бежать спасать ребенка, он и сам уже в это свято верил, и Чипро отказался от трапезы.

Чипро вышел из церкви, крепко зажав в кулаке пять золотых рублей, и устремился — к ортачальским садам...

День едва еще занимался, а ортачальский «рай» только-только отходил ко сну... Еще какие-то голоса сохранились от ночи, скрипела дверь уборной, далекий лай раздавался...

И Чипро забегал, засуетился, стал крутиться волчком, внимательно и нетерпеливо ловя признаки пробуждения...

ТРЕВОГИ

В одном котле варились молитвы и проклятья, кипели, булькали, сплавлялись, становились одним телом, одним понятием и назывались одним именем — Чугурети.

Чугурети был тифлисским кварталом, родным сыном Тифлиса, возможно средним, возможно старшим среди средних, но родным-преродным, кровным-прекровным... Своим небом, своей землей, своими свадьбами-обрядами — решительно по всему Чугурети был равным среди равных, чего-то больше, чего-то меньше — и все равно он был хорош, и, главное, он был подключен к кровообращению города, и чем он там был Тифлису — возможно сердцем или легкими или даже кишками — это не имело равным счетом никакого значения. Что принадлежало ему, того никто не мог у него отнять, и он был весьма собою доволен, он казался себе Монмартром, а может, Монпарнасом. Он был радостен и трезв на рассвете, вечером, как полагается, под хмельком, а по ночам здесь скрипели кровати и раздавался кашель. Что ему принадлежало — то его было, и что его было, то и для всего мира было. И как истый верноподданный мира, Чугурети с достоинством увенчал себя классическими аксессуарами — у него была своя собственная шлюха и своя церковь. Звонкая и роскошная красавица Маргалита и маленькая, разукрашенная, святая и кокетливая, с мраморными ступеньками, задний вход облицован тяжелыми плитами, язык колокола — в небе — «тинг-танг» — церковь Святого Карапета. Суровый и молчаливый отец Минас выделялся темным пятном на фоне Святого Карапета, он словно сдерживал ее улыбку, словно придерживал свою церквушку за полу. Прямой и медлительный, он становился во время больших праздников и служб в ризнице, он знал в лицо всех верующих, равно как и неверующих, потому что каким бы он ни был отшельником, а все равно чугуретец оставался чугуретцем. Во время исповеди он набрасывал на голову исповедывающегося свой передник, и каким бы тот скрытным ни был, каким бы ни был шепетильным, все равно пена его горестей неизбежно всплывала, и чугуретец, явившийся на исповедь, пытался под черным передником отца Минаса уничтожить терзающие его тревоги и наладить свои отноше-

ния с миром, закрыть дверь страданию и открыть дверь совести.

Когда на исповедь приходила единственная в Чугурети проститутка красавица Маргалита, об этом тут же всем становилось известно, и отчего-то всем делалось не по себе. Маргалита напоминала чугуретцам про горечь их тревог и стыд при исповеди. Им не хотелось об этом думать. Каждый на своем примере знал, что жизнь не может продолжаться без исповеди, но каждый, глядя на Маргалиту, думал: «Что за жизнь у Маргалиты...» Тайники в душах чугуретцев должны были время от времени опорожняться. Жанги знал, что на все случаи жизни у него есть отдушина в лице отца Минаса, он собирал, собирал в себе влагу страдания, чтобы потом разбросать ее под дланью отца Минаса. Старуха Манушак после исповеди вновь ощущала благодать дня и воздуха, через прозрачную завесу которого она впервые увидела почти детскую наготу Вагинака — в маленьком водопадике Дебета...

«Это как же получается, что человек не может прожить во лжи? Сказать, чтобы он этого не хотел — очень даже хочет, сказать, что разум не позволяет — очень даже позволяет, но не может, его конструкция не выдерживает, штукатурка осыпается», — размышлял сапожник Авет, подыскивая внушительные формулировки для найденной им почтенной истины.

Учитель русского языка Артем Португалов-Ротинянец — узкий нос, очки в белой металлической оправе — частенько попадал в лапы тревог. Тревоги росли, попевали в нем, начинали свербить в мозгу, потом перебегали в жилки, забирались в кости, разрастались, становились огромными и сокрушали несчастное тело — поди уразумей тут причину! Португалов-Ротинянец знал грабар, читал по-немецки Канта, а по-латыни — книги про онанизм, но к тревогам обращался по-армянски, да и то на диалекте: «Ана-джан, ана-джан...» Но не было на них управы ни на каком языке и, подобно всем, Португалов-Ротинянец приходил к отцу Минасу на исповедь. «К кому, спрашивается, идешь и зачем», — посмеивался он над собой, сердился, петушился, но все равно не был в состоянии сменить дорогу, ноги сами шли, и хоть ты тресни, он должен был прийти сюда хотя бы еще раз... Покой отпущения грехов был блаженный, всепроникающий, а неприятно-постыдная исповедь — только одна

минута. Безучастное лицо отца Минаса можно забыть до следующего поражения.

Кура время от времени становилась мутной, выходила из берегов, вода забиралась во все закоулки, заливала подвалы, потом по сточным канавам шла вспять и подступалась к мраморным ступенькам Святого Карапета...

Из каждого двора, из каждого дома, из теплых постелей, отовсюду несли чугуретцы свои взлелеянные и коварные, сумасшедшие и губительные, бессмысленно скачущие и последовательно-спокойные тревоги отцу Минасу. И куда они девались потом, эти тревоги, исчезали в воздухе, уходили под землю или, сгущаясь, становились маленькими-маленькими невидимыми точками?..

«Плод обратно становится косточкой, косточка — семенем, семя делится на бесконечные, бесчисленные частички и продолжает путь вечности», — так, вполне философски, трактовал природу своих тревог управляющий товариществом «Граммфон и сыновья» М. Грикуров. Но когда в магазине из лоснящихся безмятежных граммфонов слышался глухой и благоуханный голос примадонны Роффи, Грикуров, между прочим, отмечал про себя, что отец Минас такой же, как он, человек, та же плоть. И если бы наблюдение это не сопровождалось трелями граммфона, мог рухнуть внутренний мир Грикурова, и тогда прощай товарищество «Граммфон и сыновья». М. Грикуров удивился сам себе, рассердился и поскорее спровадил опасную мысль — пошла прочь!..

Ни богатство, ни гордость, ни положение — ничто не могло избавить чугуретца от исповеди. Правда, актер Ионесян, чья гордость, как на афише, была наружу, любил поговаривать, попивая с мастеровыми: «Господь мне сказал — будь проклят. Сказал — будь прокляты все дарованные мною тебе блага, твой голос, твое умение произнести слово. Захочешь, сказал, — не сможешь. Захочешь — не поймешь». И под конец добавлял: «Аминь». Ионесян осушал стакан и горько заключал: — Я бы все вынес, кроме этого «аминь».

Мастеровые хлопали.

Эти слова, возможно, самые искренние, единственные собственные слова, так и остались для всех очеред-

ным его театральным выступлением, смешавшись со всеми прочими его выпренными и безвкусными декламациями. Подчас он сам начинал сомневаться в своем авторстве, ему казалось, что это текст из какой-нибудь средненькой драмы, обычная театральная бутафория. Когда же тревоги подступали к нему, он закрывал глаза, он вел смелые диалоги с собственными тревогами, но не в силах побороть здравой логикой глупую безвыходность положения, он, как и все, шел к отцу Минасу.

Чугурети был весь окутан туманом, и только купол Святого Карапета пробивал его, уходил ввысь.

Скулы у отца Минаса выпирали, и весь он словно не умещался под рясой, казалось, он прикладывает усилие, чтобы собрать свои мощи воедино и держаться прямо. Он выходил из своей обители через задний ход и шел вверх, к Казарменному кварталу. Устав, он поворачивал обратно и шел вниз. Он не мог стоять величественно, не мог двигаться быстро — когда он спешил, ноги его заплетались, а когда он стоял, ноги сами двигались...

Отец Минас вернулся к себе, прошел в свою комнату, выглянул в окно, потом взял жестяную коробку и вытащил из нее старые пожелтевшие фотографии с изображениями бледных, с застывшими взглядами людей. Множество самых разных людей смотрели с фотографий — дети, старики, женщины... Все смотрели, выглядывали из своего мира наружу — в будущее, которое было для них уже прошлым... Отцу Минасу показалось, что они стреляют в завтрашний день, своим потомством они выстреливают в неизвестность, в этот туман: вот кто-то заложил свое дитя в сегодняшний день, как снаряд в пушку, и стреляет—посылает его в завтрашний день, а этот в свой черед в муках закладывает свое дитя в жерло пушки и яростно стреляет — метится в будущее... Куда, почему... На фото изображен маленький Минас... Бесстрастное лицо святого отца дрогнуло, расслабилось, в глазах его было отчаяние... Отца Минаса терзала тревога...

Он вышел на улицу и неопределенно двинулся направо, налево, вверх, вниз... Он ко многим подошел дверям и в сомнении отошел от них, он топтался на месте, тревоги душили его, хватали за горло, они бросили его в свой водоворот и закружили. И не было уже спа-

су от них. Они дышали отцу Минасу прямо в рот, и это было адское зловоние, они набросили на все покров мрака и воткнули время, словно ось, в землю. От двери к двери, от двери к двери, и наконец отец Минас толкнул одну из дверей.

Маргалита долгое время не могла понять, о чем это так горячо толкует ей святой отец, но она чувствовала, что для отца Минаса это очень важно, что ему от этого становится легче, и чтобы не огорчать его, Маргалита слушала, вытаращив сонные глаза, в радостную непосвященность которых изо всех сил старались вложить сочувственную грусть. Маргалита впервые видела, как мужчина ничего не требует от нее и признается в совсем-совсем непонятных и незнакомых грехах.

НАША ПЕЧАЛЬ ВОКРУГ КЕЖО

Прямо сегодня, безо всякого на то повода во мне вдруг ожила почти забывшаяся давняя моя печаль о Кежо. Почти сорок лет спустя ко мне вернулось молчание Кежо, похожее на песню. Я напрягаюсь, чтобы отчетливее увидеть мягкую благостную улыбку на лице Кежо, но она ускользает, оставив на моей совести свой расплывчатый край... Словно время, которое, испарившись, выливается во мглу... Я до сих пор не пойму, в какой части вечности остался облик Кежо. Где-то, совсем отдельно от всех, не имея ни с чем и ни с кем дела, она утверждает какую-то вечную истину...

И потому, наверное, я не нахожу формы, такой конструкции словесной, чтобы, не обожествляя Кежо, однако и не впадая в банальщину, описать естественное поведение этой простой девушки и поведать людям о моей печали по поводу всего красивого в этом мире.

Из всего виденного мною эта история — пожалуй что, самая заземленная притча о божестве: я впервые увидел, как на станке будней из повседневных мелочей житейских плетется ткань божьего радения.

...В те времена в школьных дневниках вечность отсчитывалась шестидневками, шестой день недели назывался «днем отдыха». На пятый день первой шестидневки марта 1935-го мы получили телеграмму — в далеком селе, затерянном среди, можно сказать, цикло-

пических утесов и скал, скончалась моя тетушка. Следующий день был выходным, и в коридоре нашего коммунального полуподвала с каменным полом стояло оживление: патефон играл танго «Утомленное солнце», шипели примусы и тут же в коридоре развешивалось белье — двора у нас не было. Мать моя расплакалась, сокрушенно хлопнула себя по коленям и отправилась хоронить сестру. Через несколько дней она вернулась и привезла с собой шестнадцатилетнюю дочку покойной сестры — Кежо. Глаза у Кежо были светло-синие, волосы рыжевато-красные, руки-ноги толстенькие и крепенькие, от нее исходило тепло, как от только что вынутой из печи сдобы.

Я, одиннадцатилетний, сестра семи лет, матери тридцать четыре, отцу сорок — вот наша семья, которая кое-как разместилась в подвальной комнатке с асфальтовым полом. Отец мой был чернорабочий и частенько латал этот самый асфальт в нашей комнате. Сироту Кежо поместили тут же. Для этого пришлось мою с сестрой постель поднять на единственный в комнате стол. По утрам, когда мы еще спали, мой отец, позавтракав на полу, на одной из своих асфальтовых латок, уходил на работу. Мать отправлялась на швейную фабрику имени Розы Люксембург, и мы оставались на попечении Кежо. В утренних сумерках Кежо тихонечко, стараясь не разбудить нас, хлопотала по хозяйству. В тесной комнате это было так трудно, ей частенько приходилось пролезать на корточках под столом, держа в руках вымытую посуду или же кастрюлю с кипятком. Мы вставали, вернее слезали со стола, она кормила нас завтраком, потом бежала занимать очередь за керосином, потом долго и усердно мыла руки перед тем, как пойти за хлебом (мы терпеть не могли, когда от хлеба пахло керосином), приносила хлеб и устало и довольно смотрела на меня, и всегда на лице ее была одна и та же ласковая улыбка. «Что ты все время улыбаешься?» — говорил я. Кежо пожимала плечами и продолжала улыбаться. «Не улыбайся», — говорил я. «Хорошо», — отвечала Кежо и крепко сжимала губы, но лицо ее все равно улыбалось. И меня начинало раздражать ее лицо.

Потом я уходил в школу и когда возвращался, видел, как Кежо мыла пол в коридоре или же развешивала белье в кладовке или же катала мою сестру на

грехколесном велосипеде все в том же коридоре. И, как всегда, улыбалась. «Не улыбайся!» — орал я и швырял в нее портфель, она подбирала портфель, вытирала его передником и снова, сжав губы — смотри, мол, послушалась тебя, не улыбаюсь, — радостно смотрела на меня.

Однажды моя сестра вдруг сказала: «Мама, от Кежо пахнет...» Я поглядел на сестру и, сам не понимая почему, со злорадством подтвердил: «Да, пахнет».

Мать подошла к Кежо.

«Ничего не пахнет», — сказала она. Тогда и отец подошел к Кежо и тоже потянул носом — так, как он обычно принимался к обеду. После чего дал мне подзатыльник.

На следующий день Кежо пошла в баню и вернулась оттуда вся пунцовая. После этого она каждый день утром и вечером мылась в темной кладовке, стащив туда все наши тазы и банки. Кладовка была общая, здесь был свален весь ненужный хлам всех четырех семейств, электричества, конечно, не было, и Кежо в темноте натывалась на какие-то вещи, что-то падало, с шумом брякалось об пол, трещало — все это очень скоро стало раздражать нас. «Не шуми», — говорили мы. «Хорошо», — отвечала Кежо и не обижалась на нас. Она никогда не обижалась. Она совсем-совсем не обижалась. Нас стало раздражать и то, что она не обижается. Почему это она, интересно, не обижается? И однажды моя сестра снова сказала: «От Кежо пахнет». И не стала обедать. Я посмотрел на сестру и тоже отодвинул от себя тарелку: «Пахнет». Кежо стала душиться одеколоном. От хлеба запахло сиренью, и тут уже я по-настоящему пришел в ярость. «Пахнет! — заорал я. — Воняет!» В конце концов родители мои были вынуждены перевести Кежо в темную кладовку. По вечерам Кежо брала свою постель и отправлялась в холодную клеть. Мы с сестрой открывали дверь и в крошечной тьме, среди битых ведер и тазов искали свернувшуюся калачиком Кежо, она спала на сломанной железной кровати.

Когда в кладовке раздавался шум или что-то падало, это значило, что Кежо проснулась. А спала она так бесшумно, что до самого утра казалось — в кладовке нет ни души. «Не боишься?» — спрашивал я. «Нет», — мотала головой Кежо и смотрела на меня с улыбкой.

Чем больше она нас прощала, чем ласковей была и снисходительней, тем невыносимее она делалась для нас с сестрой. Она никогда не жаловалась на нас нашим родителям, ничего им не рассказывала о наших проделках. И наша уверенность в безнаказанности, эта наша абсолютная уверенность в ее порядочности вконец нас распустила.

Ребята нашего квартала собрали футбольную команду и играли с другими кварталами. В нашем квартале было много выходцев из Муша, Вана, Карса, и поэтому нас звали «командой беженцев». Я выступал только в роли наблюдателя. Играть меня не брали, но чтобы не обижать, разрешали быть утешителем команды. Тренером же был сам центральный нападающий Гужан. Моя деятельность начиналась после игры — после каждого поражения я вдохновенно доказывал, что наши играли лучше, проиграли же по чистой случайности, просто нам не повезло. Этим чистым случайностям не было конца, и однажды, когда у меня просто язык не поворачивался сказать что-то в утешение своей команде, я нашел убедительный довод: «Вот если бы у нас был настоящий кожаный мяч... А то что же это, мешок, набитый тряпьем». «Найди нам мяч, возьмем тебя в команду», — усмехнулся Гужан. Соблазн был велик, и я задумался, как бы мне изловчиться и раздобыть этот самый кожаный мяч.

У нас с сестрой была свинка, пузатая гипсовая свинонька, в которую взрослые опускали монеты. В один прекрасный день мы с Гужаном приспособили проволоку, извлекли из свинки все ее содержимое и купили в магазине «Динамо» замечательный кожаный мяч. В тот же вечер сестренка, взяв с комода копилку, чтобы дать ее отцу — он собирался опустить туда мелочь, — вдруг удивленно приложила копилку к уху, встряхнула и вытаращила глаза — «не звенит!». Снова встряхнула — ни звука: свинка, конечно же, была пустая. Чтобы не выдавать себя, я тоже взял копилку и стал трясти ее возле уха, «пустая», — сказал я и с сомнением посмотрел в сторону Кежо. Родители мои переглянулись и тоже уставились на Кежо.

Сестренка моя разревелась. Нас вывели из комнаты, и родители долго говорили с Кежо. Я припал ухом к двери и слышал, как моя мать, а потом и отец печально выговаривали Кежо. Что именно они говорили,

я не слышал, но когда Кежо, заплаканная, вышла в коридор, я успокоился: все уже было позади.

И хотя в этот день Кежо ходила как в воду опущенная и в нашем подземелье все словно вымерло, следующая шестидневка потекла своим чередом, так, как будто ничего и не было: Кежо с утра, подобно муравью, начинала снова туда-сюда, занимала очереди, делала покупки, отводила сестру в школу, приводила ее и долго катала на велосипеде в нашем темном и узком коридоре. Потом мыла на ночь весь каменный пол нашего подземелья.

В начале каждой шестидневки в кинотеатрах менялись фильмы. Для меня и моей сестры поход в кино был самым большим праздником.

Как-то мать дала Кежо три самых дешевых билета и отправила нас с нею в кино.

Смешные приключения «Гонщика против воли» Монтибенкса забавляли нас в течение двух часов и только растравили наш аппетит. Мы с сестрой совсем разошлись и не желали идти домой. Был самый лучший вечерний час. Пестрые афиши и толпа перед кинотеатрами настраивали на определенный лад. «Еще хочу», — захныкала моя сестра. «Посмотрим еще один фильм», — предложил я.

— Поздно, — сказала Кежо. — Дома волноваться будут.

— Да что тут такого, всего два часа... Скажем, что пешком шли, гуляли... — я схватил Кежо за теплую большую ладонь и тянул ее назад.

— В кино хочу... — ныла сестренка, повиснув на Кежо.

Но Кежо тянула нас домой, а мы, упираясь, гримасничали и ворчали.

— Да ведь денег у нас нет... — шепотом призналась Кежо. — Завтра еще придем.

Делать было нечего. Я примирился с печальной мыслью, что сегодня нам кино больше не будет, но все равно из вредности продолжал бурчать и протестовать.

Так, препираясь, потихоньку приближались мы к нашему дому. Вдруг я заметил, что кто-то вплотную следует за нами. На улице былолюдно, вполне можно было предположить, что это обычный прохожий.

Но потом я заметил, что Кежо забеспокоилась

и ускорила шаг. Когда же человеческий поток поредел, стало очевидно, что человек преследует именно нас. Он о чем-то спросил Кежо, и Кежо вздрогнула, словно ее стегнули хлыстом. Я обернулся, посмотрел. Человек в полосатой кепочке, щуплый, с тоненькими усиками поспешно перевел умильный взгляд с Кежо на меня. Я посмотрел на Кежо, чтобы понять, чего хочет этот «полосатый» и какое все это имеет к нам отношение.

Кежо ускорила шаг. Полосатый тоже заторопился, он еще что-то сказал и, не получив ответа, подошел еще ближе. Встретившись со мной взглядом, он снова расплылся в улыбке, словно сто лет был нашим родственником, — трудно было не улыбнуться ему в ответ. После этого он совсем осмелел и, с улыбкой поглядывая на меня, о чем-то спрашивал Кежо, все спрашивал и спрашивал...

Он возникал то с одной стороны, то с другой, отставал, снова нагонял нас, семеня рядом, подвижный и юркий, как челнок, он вертелся между нами, словно сплетая нас всех в одну кружевную вязь.

— Оставьте нас,— грубо сказала Кежо, мне даже неловко стало: я еще не видел ее такую, жестокою и чужой, прямо какой-то другой человек.

Полосатый было опешил и остался стоять на месте как вкопанный. Мы прошли вперед, и я подумал, что полосатый обиделся на грубость Кежо, но тут он снова объявился рядом с нами, как выскочившая из воды пробка. Он молча шел рядом с нами, дружелюбно поглядывая на меня, потом сказал неожиданно:

— «Сумурун» смотрели? Какой фильм!.. Сегодня последний день идет...

Я посмотрел на Кежо. Она крепко сжала мою руку в своей мозолистой твердой ладони и ускорила шаги, чуть не бегом пошла.

Полосатый по моему взгляду понял, что мне очень хочется посмотреть этот самый «Сумурун», и стал рассказывать его сюжет.

Я опять посмотрел на Кежо и потянул ее за руку, чтобы она не шла так быстро, ведь такая удача, у нас самих денег нет, а этот полосатый, похоже, собирается купить нам билеты... Чего еще надо?..

— Пошли, Кежо...— прошептал я.— Он купит билеты...

Кежо больно сжала мне руку, и я, обиженный, вырвался от нее с криком: «Тебе билеты даром дают, а ты!..»

— Если ты не хочешь идти, я один пойду... — заупрямился я и посмотрел на полосатого — тот закивал головой.

Мы с сестрой повисли с двух сторон на Кежо и запыли: «Хотим в кино...».

— Нельзя... Денег нет... — побледнев зашептала Кежо.

— Так ведь этот покупает билеты...— удивился я и почувствовал, что жилы у меня на шее напряглись, так громко я это крикнул. Как это она не понимает таких простых вещей, что это с ней? Обычное упрямство, она всегда была такая.

— Не понимаю, какая разница, кто купит билеты?! — взвился я.

— Вот именно... какая разница...— рядом с нами снова возник полосатый и, запыхавшись, протянул нам билеты.

— Вот... три билета... я уже видел...

Кежо и не думала их брать.

Я испугался, что полосатый унесет их обратно, и выхватил у него эти самые билеты. Он улыбнулся мне, молодец, дескать, так и надо, и вдруг как сквозь землю провалился. Исчез.

— Три билета,— сказал я Кежо.— Пошли.

Кежо в нерешительности оглянулась.

— Не понимаю... Чего ты боишься... — я потянул ее за руку.— Идем, опоздаем.

И мы с сестрой нетерпеливо и плаксиво затеребили Кежо, подталкивая ее к кинотеатру.

В зале я вдруг заприметил полосатого, он по-своему подмигнул мне и растворился в толпе.

Рядом с нами одно место было свободное. Когда свет в зале погас и все наше внимание приковалось к экрану, я, словно во сне, заметил, что кто-то занял это место. Только в конце фильма я разглядел, что это был все тот же полосатый.

По дороге домой он нам купил мороженое, и мы узнали, что его зовут Рач Гоганян.

Кежо не говорила ни слова и свое мороженое отдала моей сестре.

На следующий день, возвращаясь из школы, я уви-

дел возле наших дверей полосатую кепку Гоганяна, он о чем-то спросил прохожего, потом, нагнувшись, заглянул в наш подвал.

Из соседнего подвального окна, словно из преисподней, высунулась голова маляра Никифора. Гоганян заговорил с Никифором. И тут к ним подошел я.

— Ты здесь...— оживился Гоганян.— Ну, как ты? Вы что, тут живете?

Я кивнул.

Гоганян сунул себе в рот шоколадную конфету, еще одну протянул мне.

— Ну как тебе вчера «Сумурун», понравился?

Я показал ему большой палец.

— Ага...— он полез в карман и вытащил какое-то фото,— тебе.

Посмотрел я, а это из «Сумуруна» кадр.

Гоганян наклонился и зашептал мне на ухо:

— Пойдешь домой, скажи, пусть Кежо выйдет... Поговорить надо.

Что ж тут такого, подумал я, мне и самому приходится иногда так вызывать друзей, непонятно только, зачем он говорит шепотом.

Кежо в комнате не было, а дверь в кладовку была изнутри заперта.

— Кежо,— позвал я,— ты здесь?

— Скажи, меня нет дома...— тут же послышался встревоженный голос Кежо, и я понял, что Кежо спряталась от полосатого.— Скажи, нет дома... Прошу тебя, родненький...

Я заколебался, потом сказал «ладно» и выбежал на улицу.

Гоганян ждал меня, спрятавшись за уличным фонарем.

— Нет дома...— еще издали выпалил я. — Скажи мне, я передам что надо.

Гоганян усмехнулся, пожал мне руку, как взрослому, и ушел.

На следующий день Кежо в коридоре катала на велосипеде мою сестренку, а я, забравшись в клеть, рылся в инструментах маляра Никифора. Вдруг в окне показалась голова Гоганяна. Гоганян очень низко присел, чтобы заглянуть в наше окно, находящееся почти вровень с землей, одной рукой он придерживал шапку,

и, потому что находился в неудобной позе, улыбка его казалась вымученной.

— Рот фронт, — приветствовал он меня, но потом почему-то удивился: — а, это ты? — и я понял, что он принял меня вначале за Кежо, в полутьме-то не разберешь.

Я вышел в коридор:

— Кежо, опять этот...

— Скажи, что нет меня... — всполошилась Кежо.

Но тут на лестнице, ведущей в наш подвал, появился сам Гоганян. Кежо, увидев его, метнулась в кладовку. Гоганян пожал плечами, вышел на улицу и двинулся к окошечку кладовки. Кежо перешла в комнату. Гоганян снова показался на лестнице, снова пожал плечами, дескать, что за странная девушка... Еще раз пожал плечами, повернулся и ушел. Я ничего не понимал.

— Кежо, — сказал я, — вы что, в кошки-мышки играете? Человек тебе что-то хочет сказать, что тут такого... Скажет и уйдет... Что ты от него бегаешь?

В следующий раз, когда появился Гоганян, наше семейство все было в сборе. Я стоял в коридоре и смотрел то на маячившего на улице Гоганяна, то на сидевшую рядом с моими родителями Кежо и строил разные гримасы, чтобы привлечь внимание Кежо. Кежо все поняла, но продолжала разговаривать с моими родителями, которые ничего пока не замечали, Гоганян же по-прежнему бегал от окна к окну и не знал, что родители дома. Кежо покачала головой, потом стала растерянно озираться и, не найдя другого выхода, встала из-за стола и вышла в коридор.

Она вернулась очень быстро, чем-то расстроенная. Я выскочил на улицу. Гоганян удалялся.

Я решил, что все кончилось: Гоганян сказал, что ему надо было сказать, Кежо выслушала его и дело с концом.

Я уже забыл про этот случай и когда время от времени встречал на улице Гоганяна, он уже не обращал на меня никакого внимания. Однажды, правда, я увидел, как Кежо вышла из дома и вдали за электрическим фонарем мелькнула полосатая кепка. Но мои детские заботы были наполнены шумом, голосами и светом, передо мною был весь мир — большой и мно-

гообразный, и я не предполагал, что случайный один миг, ерундовый какой-то отрезок времени может породить события, запомнившиеся мне на всю жизнь. И я не знал еще, что неосознанная шутка детства — тоже серьезная часть жизни, быть может, такая же значительная, как смерть. И что даже смерть, эта фантастическая смерть, которая не должна была приближаться к моему детству, подвластна незначительному случаю, секунде, что она ее равный родной товарищ.

В один из самых счастливых дней моего детства, состоявшего, как я уже сказал, из наших подвальных шестидневок, кажется, это был уже 1936 год, у нас в доме возник переполох. Моя мать била себя по коленям, отец сердился, вдвоем они все подступались к Кежо, о чем-то ее выпрашивали, а Кежо плакала. Потом моя мать заперлась с Кежо и долго с нею говорила. Результатом всего этого было то, что Кежо собрала свои пожитки, уложила их в старый чемодан и покинула наш дом. В доме сразу стало скучно. Мы не знали, кого теребить и на ком срывать зло. Из нашего дома ушло само терпение. Мать частенько отлучалась, навещала, как выяснилось, Кежо, а потом рассказывала нам, что Кежо чувствует себя хорошо и живет в общежитии трамвайного парка, работает кондуктором. Но наша улица высунула мне язык, довела меня до слез, сказала, что Кежо была беременна и мои родители просто-напросто выставили ее.

Я не поверил улице, потому что однажды мы встретились с Кежо в трамвае. Она была закутана в платок поверх пальто, вертела в руках рулончик с трамвайными билетами и смотрела на меня с сестрой с прежней любовью, а моя мать миролюбиво поучала ее, как вести себя в общежитии.

Потом мы еще раз увидели Кежо. Она пришла к нам домой и подарила мне целый рулон билетов.

А однажды у нас в доме изготовили большой венок, в середине поместили улыбающееся фото Кежо, и я узнал, что Кежо умерла во время родов. Отец с матерью пошли хоронить ее, гроб должны были вынести из больницы, наша комната была слишком мала, в ней не было места ни для гроба, ни для людей, впрочем, какие там еще люди, они так редко бывали у нас, разве что наша улица. А у Кежо, кроме нас, никого ведь не было.

И вот я думаю, что недаром время от времени бог посылает на землю таких вот Кежо — ясные и улыбочивые, прощающие и терпеливые, на зло добром отвечающие, нетребовательные и беззащитные, они приходят на землю, чтобы выявить живущее в нас зло, проверить нас, найти виноватого...

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ АВЛАБАРА

С Авлабара видно все. Весь Тифлис с его закоулками: Шайтан-базар, Эриванская площадь, Мыльная улица, Нарикала, церковь святого Саркиса, Сион, греческая церковь... С Авлабара видны дома господ Хатисова, Мелик-Казарова, караван-сарай Тамамшева, театры Тер-Осипова и Зубалова, гогиловские бани... С Авлабара видны зелено-голубые глаза мадам Соломки, белоснежные ноги мадам Сусанны, гордая грудь калбатано Мэри, вздымающаяся, как фуникулер. С Авлабара видны деньги, которые прячет у себя в тюфяке мелочный торговец Мартирос, видны седые волосы пухокрада Софо, заплаты Верзилы Сако... Да что там — с Авлабара видны Коджор, Борчалу, Шавнабади и... Париж! С Авлабара видны тифлисские свадьбы и похороны, болезни и сны... С Авлабара видны беды Тифлиса. И если кого-то уж очень сильно охватит тоска, то с Авлабара ему станет виден винный погребок Саркисова, где «опьянеть стоит один абаз». Это значит: не вино стоит один абаз, а один абаз стоит потопить свое горе в вине. Пей, сколько можешь — плати всего абаз. Знают там, что много невзгод и в Тифлисе, и вокруг Авлабара, и на Авлабаре... На Авлабаре люди строго придерживаются законов чести, ничего друг другу не прощают в вопросах чести, из-за чести готовы убить и себя, и друг друга. И любят здесь так же неистово, как ненавидят, как убивают. А если любовь несчастливая, то доставай абаз и иди в винный подвальчик Саркисова.

Кинто Горело полюбил нелюдимку Олю, каждую ночь собирал он сорок дудукистов и пел на Авлабаре песни, пел Саят-Нову и Бесики, чтобы на лице угрюмой красавицы промелькнула тень улыбки, чтобы она хоть разок взглянула в его сторону своими печальными глазами. Звуки сорока дудуков расстилались над Тифлисом, как просторная скатерть на щедром столе, гото-

вом к пиршеству. Сила этих звуков заставляла раскачиваться кресты на церквах, словно то были ивы.

Любовь бродила по Авлабару, и кто мог знать, откуда эта шалунья появится и куда пойдет? Одного она возвышала несказанно, другого превращала в посмешище — навешивала на него дап и кяманчу¹, сажала на его плечо соловья, и этот скоморох шатался по улицам, и голос его звенел по всему Авлабару, а значит, и по всему Тифлису. Авлабар одну жертву любви почитал, а другую втоптывал в грязь, гнал прочь с глаз своих. Попробуй, например, полюби господин Асатурян, Мирза Асатур Хан, когда-то самый уважаемый человек на Авлабаре, философ, который все знал, повидал свет, о Диогене рассказывал. Волосы у него белые, как чистота Авлабара, глаза голубые, как мечты Авлабара, ростом он высокий, высится над людьми, как Авлабар над Тифлисом. Самый умный, самый ученый, ну просто ходячая библиотека! В Сололаке говорит по-армянски, в Вере — по-грузински, на церковном дворе — на грабаре², с ремесленниками Сирачханы — на ашхарабаре³, на Дворцовой площади — по-русски, на турецком майдане — по-персидски, в Киричной — по-немецки, а с авлабарцами — на авлабарском языке! А на каком языке заговорила с ним любовь — никто не смог разобраться. На Авлабаре не сомневались, что Мирза Асатур не знал ее языка и не должен был на нем говорить. Но посмотрите — он и на этом языке заговорил. Уж лучше бы молчал! Опозорился на весь Авлабар! Теперь никто не мог им гордиться. А жаль! Когда-то авлабарцы специально носили шапки, чтобы снимать при встрече с Асатур Ханом — как еще они могли выразить свое почтение? А теперь? Он был один такой на весь Авлабар, а туда же, смешался с горемыками. Теперь о чем его спрашивать, ежели он сам нуждается в совете? Вот оно как... Эх, господин Асатур, сын джугинца⁴ Мирза Асатур Хана, ты ведь родился в самом старинном и уважаемом семействе Авлабара, ты истинный авлабарец, наш ум и совесть, ты ездил в Германию учиться, жил как святой, в Эчмиа-

¹ Дап и кяманча — армянские народные музыкальные инструменты.

² Грабар — древнеармянский язык.

³ Ашхарабар — современный армянский язык.

⁴ Джуга — древний армянский город, ныне Джульфа.

дзине изучил Слово божие, в Венеции выучился философии и истории страданий человека... Да как же мы позволим размалеванной смазливой рожице растоптать нашу любовь и гордость?.. Когда умер твой отец, Мирза Хан старший, Авлабар был в горе и трауре, под его гробом прошли все карачохели, учителя и артисты, кинто несли впереди гроба все сады Мцхета, цветы с землей и корнями, сам Габриэл-ага Сундукян шел сзади, сняв шляпу. Пронесли его по Авлабару, потом несколько раз по Тифлису, снова вернулись на Авлабар и предали тело земле в Великом Ходживанке. Так-то...

А ты что сделал, Асатур Хан, приемный сын наш и отец родной, наша Академия? Неужели наук и языков не хватило, чтобы объяснить тебе, что любовь — не твое дело? Ты — другой со своими седыми волосами, божий человек, отец Авлабара. А потом — кого ты полюбил? Сорвал бы веточку по себе, взял хотя бы ту же ориорд¹ Парандзем, девушку немолодую, а то — вертихвостку выбрал. Неизвестно откуда она взялась, наплевала на весь Авлабар и однажды, как вороватая кошка, пробралась в твой дом и вышла оттуда брюхатая. Что же это такое?..

Говорят, Асатура присушила к ней гадалка Варо, желая его опозорить. Слава Асатура не давала ей покоя. Шутка ли: Варо предсказала дату смерти американского президента, приезд в Тифлис и даже на Авлабар царя Николая II. Она прикрепил у себя на стене фотографию царя, стоящего во весь рост, на фоне Авлабара, то есть Варо объединила вместе две фотографии — царя и вид Авлабара. Как она ухитрилась сделать это, никто не знал, да и не спрашивали. Для Варо это не составляло труда. На вопрос, как же случилось, что никто не видел здесь царя, она с нервным смешком отвечала: «А он ночью явился, прохвосты вы такие, чтобы не слышать ваших громких криков. Так-то вот!»

А теперь этот Асатур Хан со своим немецким, со своими голубыми глазами хочет перебежать Варо дорогу. «Моих рук дело,— подтвердила Варо,— это я заговорила его, хотела сбить с него спесь и сбила». Не знали авлабарцы, верить ей или нет. «А теперь сделай так, чтобы к нему вернулся разум»,— сказали они.

¹ Ориорд — барышня, мадемуазель.

Долгое время все были обижены на господина Асатура, ходили с непокрытыми головами, чтобы при встрече не пришлось снимать шапку, избегали проходить мимо его дома, на рынке, заметив его, поднимали цены... И все же краешком глаза наблюдали за своим бывшим кумиром и всякий раз с сожалением вздыхали.

На их глазах родилась дочь у Цецилии, маленькая Вард, Вардуи, Вардо, Вардуш, Вардик... Настоящая авлабарка, его творение. Все видели, как помолодел, даже красивее стал Асатур Хан, как во время службы приосанивался, поднимал очи горе, глядя на скопившиеся под куполом молитвы, насыщенные светом.

И слезами наполнялись глаза людей.

По воскресеньям седовласый Асатур выходил с маленькой Вардик и гулял по Авлабару, и казалось, то Христос сошел со своей дочерью. Какое-то новое Евангелие от Авлабара.

Сколько мог Авлабар дуться? И он сдался. Как мог не понять любви Авлабар — сам дитя и плод любви? Ну, пускай, пускай... Что делать, если Цецилия не во вкусе Авлабара, если все это немного смешно...

И опять снимали перед ним шапки, опять улыбались, а главное, свято охраняли его любовь, его семейную честь. Таков Авлабар — душа нараспашку, но в то же время и ревнивый. Семья Асатура Хана — это и его семья, и если он принял ее в свои объятия, то уж в ответе за нее, жизни не пожалеет ради нее. И каждый раз при виде Асатура Хана и Вардик радовался Авлабар и поражался, как он раньше не замечал этакую красоту... Ведь и так тоже может любить Авлабар, и так тоже... Каждое воскресенье кинто приносили маленькой Вардо черную и белую туту в табахе¹, а артисты театра дарили цветы маленькой Вардуи. Авлабарцам была дорога честь Асатура, они с уважением здоровались с тикин Цецилией, сопровождали ее почтительными взглядами. Не дай бог кому-нибудь не так посмотреть на нее. Упаси боже! Авлабар был горд и ревнив, но имел сердце ребенка. Однажды прямо со сцены театра схватили Яго и сбросили с Метехской скалы в Куру. А потом с той же страстью стали спасать исполнявшего эту роль актера Сехбосяна. «Что вы делаете? Вы су-

¹ Та ба х — деревянный поднос, который кинто носили на голове.

масшедшие!» — заплакал Сехбосян, когда его откачали. «Ва! — удивился Авлабар. — Не понимаешь? Мы утопили Яго и спасли актера. Что тут непонятного?» Сехбосян подумал и согласился. Мудрый Авлабар, безумный Авлабар!..

И этот самый Авлабар, что на улицах следил за мужчинами, как бы те не бросили нескромный взгляд на тикин Цецилию, что всегда назначал ей телохранителей — то Гоч Геве, то Стрижку Шаво, — этот Авлабар увидел и схватился за сердце: «Ох, умереть мне, да что ж это такое?!» — Цецилия выходит с Авлабара и отправляется на Головинский, в сад Муштаид и даже — в Нахаловку! Что у нее там за дела? Хоть Авлабар и находился в Тифлисе, но делать ей там нечего! Чего ей здесь не хватает? Базара? Вон он. Церкви? Пожалуйста. Театра? Милости просим.

И многое узнал Авлабар об этом нечестном мире, опечалился, задумался, посидел немного в подвале Саркисова и решил: «Цецилия должна оставить Авлабар, пусть убирается на все четыре стороны!» И Авлабар установил ее вину, припер, прижал к стене. Их Асатур Хан должен оставаться незапятнанным, надо сделать так, чтобы он не сломился, потому что Авлабар знал: если человек сломился, отступил перед своей совестью и честью, он может погибнуть. Он постепенно начинает прощать все, вначале он позволяет, чтобы его обманули раз, потом проглатывает другой неблагоприятный поступок, а дальше уже и сам может говорить неправду... И исчезает его божественная сущность. Асатур Хан может опуститься, потерять свой небесный лик, стать, не дай бог, таким, как Ялла Степка... Ведь мир погибнет тогда... Не так уж просто сотворить правдивого, чистого, справедливого человека с божьим ликом, чтобы так легко потерять его.

Не должна ложь коснуться Асатура Хана. Раз мы знаем об этом, пусть узнает и он, чтобы не стать пошлостью на весь Авлабар. Потеряет он свою цену, и правда его будет смешной, станет хуже лжи...

И поговорил Авлабар с Цецилией, и у нее не было иного выхода, сдалась она, обещала все, как они велют, сделать. Однако и она была не промах, и когда в присутствии авлабарцев рассказала Асатур Хану о своих приключениях, добавив: «Ну что, этого вы хо-

тели?», то после этого, когда, казалось, все уже кончилось, обвела всех взглядом и словно взорвала все вокруг: «И ребенок не твой!» Опешили авлабарцы: «Ох!» Это «ох!» тучей повисло над Авлабаром. Ведь и Авлабар виден отовсюду: с Головинской, с Веры, с Нарикалы и даже с Нахаловки, черт возьми! При слове «ох!» все взглянули наверх — сейчас грянет гром, ударит град и побьет оскверненный Авлабар, потерявший стыд Авлабар. «Жизнь наша, Христова дочь Вардик становится базарной девчонкой, дитем торга».

Асатур Хан вначале опечалился словам Цецилии, потом спокойно сказал: «Вардик моя дочь».

Авлабарцы удивленно воскликнули: «Ауфф!»

«Как это, ага Асатур?— спросили они.— Она ведь сама говорит».

«Она не знает»,— ответил Асатур Хан, и глаза его смотрели ясным взглядом, и все знали, что он не умеет лгать.

«Как это я не знаю?»— рассердилась Цецилия.

«Ты не знаешь»,— ответил Асатур Хан, и Цецилия растерялась, сначала нагло рассмеялась, потом, с сомнением поглядев на авлабарцев, в бессилии заплакала.

«Хорошенько подумай, Асатур Хан,— сказал строгий поборник чести Давид,— коли сама говорит, тут что-то есть».

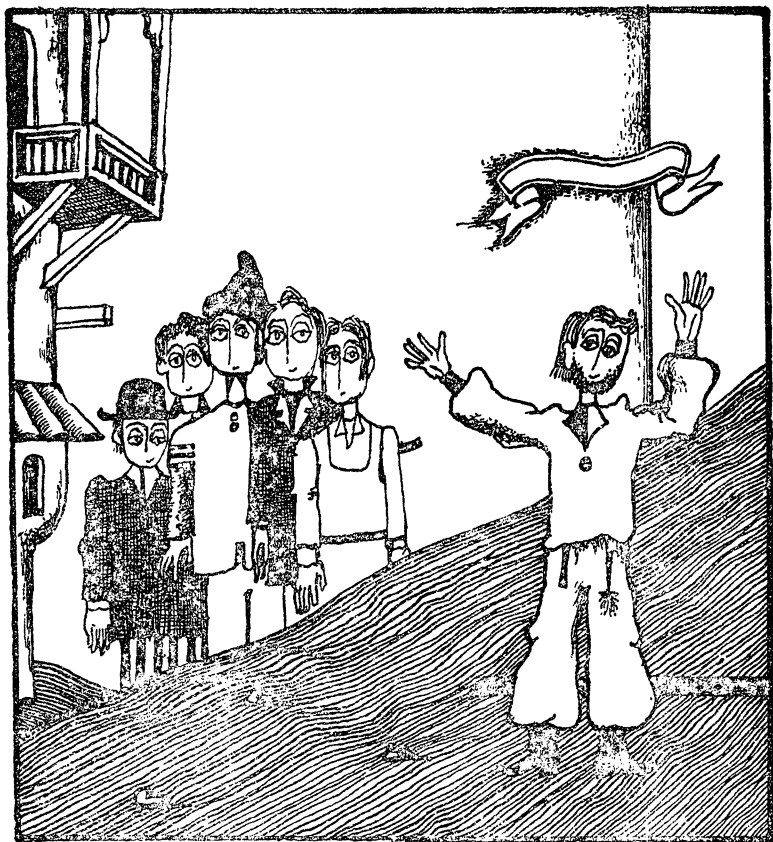
«Нет ничего»,— с открытым лицом, улыбаясь, ответил Асатур Хан, и Давид замолчал и задумался.

Асатур Хан был убежден, и все поняли, что он знает нечто другое, что выше того, что известно акушерке,— это было по ту сторону обычных, простых законов тела.

«Не плачь»,— утешающе сказал Асатур Хан Цецилии. И Цецилия тоже поверила ему. Весь Авлабар внимательно оглядел Вардик и увидел, что она и в самом деле дочь Асатура, хорошенькая девочка, чудодевчушка. Увидели, как любит Асатур Хан Вардик, увидели эту великую любовь, которая не могла быть неправдой. Любовь объясняла все. А что Асатур Хан любил Вардик, а она — его, было очевидно. Эта любовь была как свечение, на каком бы расстоянии друг от друга они ни находились. И если Вардик была на одном конце Авлабара, а Асатур Хан — на другом, то светился лежавший между ними весь Авлабар...

Егор Бумунц услышал вдруг свой собственный голос и остановился: середь бела дня, на улице он разговаривал сам с собой. Залившись краской смущения, Егор огляделся. С пятого этажа черного дома смотрела в окно какая-то девушка, поодаль, у стоянки такси на площади, прислонившись к своим машинам, разговаривали два водителя, возле смахивающего на помятую картонную коробку здания «Аэрофлота» сидела на скамейке женщина. И никому не было дела до Егора. Он успокоился — никто, значит, за ним не следил, никто, значит, не видел, что вытворяет его смешная, сухая фигура, никто не видел его ужимок, его нелепой жестикуляции, не слышал его резкого, колючего голоса. Егор потер щетинистый подбородок, съежился виновато и прямо-таки вжался в стену и продолжил свой путь. Не первый уже раз ловил он себя на том, что разговаривает с самим собой вслух, не раз ловили его на этом другие, и когда потом он представлял себе эту картину, со стыда готов был провалиться сквозь землю.

Егор застегнул свой черный пиджак, одернул полу черной блузы, проверил, по-привычному ли сидит шапка, подправил ее и принял решение никогда больше не разговаривать вслух на улице. «Ну, чего ты хочешь, Егор Бумунц? Что ты, в конце концов, можешь сделать? Заставить людей думать, как ты? Но ты же видишь, что не можешь... Ведь даже с родным братом — и с тем ничего не выходит... С утра говоришь, говоришь ему, объясняешь... А чего ради, на что тебе это? Твердишь, что хочешь ему добра, что ничего другого и нет у тебя на уме, что все остальное глупости, просто глупости... а он не верит тебе и даже слушать не хочет. Два года изводил себя с Варсеник, бился головой об стенку, а чего ради, она и не слушала, а у тебя волосы стали седые. Потом — Женя, с этой борода поседела. Потом — Сато... Ты уже устал тогда, говорить больше не хотел, думал — пускай она сама по себе, а я сам по себе, как-нибудь проживем. Но как же это так жить — чтоб каждый сам по себе? Ведь вместе же надо...» И опять, уже в который раз, Егор забыл, что напрасны были до сих пор все его усилия объяснить, втолковать что-либо другому, опять он об этом забыл и тихо-мирно стал объяснять что-то... Когда же заметил, когда убедился, что и



Сато его не слушает, понял: все это уже было. Но опять заговорив, остановиться не мог — объяснял, повышал голос, а то и кричал... Сато наконец это опротивело, и она ушла от него. Потом то же произошло и с его товарищами. С Максимом, Серо, Захаром... Потом и с другими людьми... Бывало, что Егора встречали смешками, дескать, вот он, наш говорун! — и смотрели на него с невыносимой какой-то самоуверенностью, со страшной какой-то трезвостью и спокойствием, таким здоровым, невозмутимым взглядом. «Ведь чего я всегда хотел? Чтобы меня выслушали. Чтобы поняли. Выслушайте, и все будет в порядке... Почему это никто не хочет тебя послушать? В лучшем случае смот-

рит тебе в глаза, а сам в это время думает о другом — мол, он свое дело знает, не обманешь... мол, сам он обманет хоть сто человек, и, мол, слова эти он слышал уже сто раз». И от этого Егор расходится еще больше, наизнанку выворачивается с мучкой, с кровью вырывает, выбрасывает из себя последние клочья своих мыслей. Он повышает голос, кричит, орет до хрипоты... Ему кажется: когда говоришь громко, тебя тогда просто не могут не услышать, хотят того или нет. Но и зная, что все равно и теперь не слышат, он продолжает кричать, кричать до тех пор, пока не захлебнется в собственном кашле... Вздываются жилы на лбу, на шее. Что же еще? Что он еще может?

В последнее время особенно смешным стал Егор. Чувствует, что все его разговоры впустую, а сам заводит их снова и снова. И все от него убегают. «Опять ворчишь, Егор». Конечно, он ворчит. Конечно, он только и знает, что ворчать. Старики всегда ворчат. «Но хоть однажды только выслушайте, поймите по-настоящему, и я уже во второй раз говорить не стану, не стану повторять все одно и то же, и не будет никакого ворчания, и стариком я не покажусь...» Часто случалось, что, встретив на улице знакомого, Егор останавливал его и в какой-то панической спешке, бурно, сбивчиво выкладывал все, что имел сказать. Знакомый щурил глаза, опускал их, подымал, и Егор уже одно только чувствовал ясно — что тот его не слушает. Но почему, почему? Егор хватал его за руку, тот говорил «да, да», и Егор видел, что все равно он не слушает...

Егору хотелось устать, устать и не думать, устать и не говорить, устать и тихо себе улыбаться, ему хотелось по вечерам возвращаться домой усталым, со всеми во всем согласным, покорным воле других и тихим, довольным ложиться и засыпать.

Он миновал мост через реку, вошел в старый город и стал подниматься вверх по пыльной дороге, по обе стороны которой виднелись пещеры. Пещеры эти когда-то служили жильем, однокомнатными, двухкомнатными квартирами. Сейчас они пустые, в них тишина и пыль...

Дорога превратилась в тропинку, тропинка постепенно затерялась в траве, и Егор оказался на самой верхушке старого города и решил посидеть здесь. Внутри у него еще кипело все, все в нем как будто сместилось — сместилось и не ладилось одно к другому.

Он сидел и смотрел вниз, чтобы успокоиться, прийти в себя, а также для того, чтобы ощутить какое-то новое внутреннее волнение, беспокойство.

По эту сторону реки, в старом городе, топорщились скелеты пустых пещер. Вид у них был удивленный, беспомощный... Возле них оставалось теперь только кладбище да несколько хлевов, а люди переселились в светлые удобные квартиры. Получали квартиры очень легко, особенно после недавнего несчастного случая, когда обвалилась одна из пещер.

Егор неторопливо повел взгляд вдоль словно бы расчерченных по горизонтали и вертикали симметричных улиц нового города. По улицам двигались машины, время от времени какая-нибудь из них сворачивала в направлении старого города и привозила туристов посмотреть на пещеры. Туристы выходили из автобуса и, сбившись в кучку, смотрели и удивлялись.

Даже отсюда, с самого верха пещерного города, Егору было видно их удивление. Им казалось, наверно, что в этих пещерах жили какие-нибудь косматые люди двухметрового роста, с каменными топорами, а ведь в одной из них еще недавно жил он сам, Егор...

Туристы стали подниматься в гору. Экскурсовод, с трудом переводя дыхание, рассказывал: «По строительству наш город занимает четвертое место в республике... В этой пятилетке опустеют пещеры... Люди покидают эти полудикие жилища и переселяются на ту сторону реки, в новые светлые, просторные здания из бетона и туфа».

— Из каменного века сразу в двадцатый! — робко сострил кто-то из туристов, не подозревая, что каждый раз, когда экскурсовод говорит эти свои слова, кто-нибудь обязательно откликается произнесенной им сейчас фразой.

Словно нанизанные на одну нитку, туристы поднялись к маленькой часовне. Они не видели себя и оттого не знали, да и не могли знать, в отличие от здешнего человека, что все это повторяется каждый день. Они вошли в часовню.

В часовне всегда горели свечи. Множество тоненьких свечей освещали под всеми четырьмя стенами грязные лоскутья с безвкусыными вышивками, полотенца, обрывки женской одежды, всяческое тряпье, снятое с больных и увечных. Егор представил себе, как там, среди

свечей, лежит на подставке овечья голова с закрытыми глазами... Какая-то давняя-давняя, удивительная грусть нахлынула на него. Потом туристы ушли, оставив Егора и старый город наедине друг с другом.

Егор уже как будто бы погасил в себе не дававшую покоя раскаленную точку, но что-то предательское, злое внутри снова, будто тешась, разжигало досаду. «Говоришь, говоришь, а они не слушают. Но ведь я же не для себя... Я же им хочу добра... Только бы выслушали!»

Он почувствовал, что опять говорит вслух, спохватился и поглядел вокруг. Далеко-далеко от него двигались рядышком две точки. Сначала он подумал, что это птицы, потом, увидев, что движутся они медленно, подумал, что это овцы, потом, напрягши внимание и зрение, кое-как разобрался, что это люди. Но они были так от него далеко, что он не различал, дети это или взрослые, женщины или мужчины. И вдруг где-то рядом раздались голоса. Он оглянулся в недоумении — никого. А голоса снова — близкие, четкие. Егор без всякого труда различал интонацию, каждое ударение, даже дыхание говорящих. Одна, определил он сразу, молодая женщина из Еревана, другой — мужчина, зангезурец. Но откуда их голоса? Егор поглядел вверх, улыбнулся, поглядел вниз и, сам тому не веря, почувствовал, догадался, что голоса эти — от движущихся вдали точек. Чего только вначале не перебрал он в мыслях: что или чудо тут, или техника, или какие-нибудь там волны... Потом, наконец, вспомнил, что он здесь и раньше много раз слышал такие вот далекие голоса. Никогда не задумывался, отчего это, но слышал. Далекие, едва различимые точки, а голоса от них, как от сидящего рядом... И сейчас совсем по-иному подумал об этом Егор. Воздух, он сам по себе, когда ничего не мешает, хороший проводник, или, вернее, воздух — это ну, все равно что продолжение человека, которое снова потом становится человеком. Егор вспомнил, — как он мог об этом забыть! — что мальчиком, живя вот в этих местах, не раз видел, как переговариваются друг с другом от пещеры к другой пещере — а другая, пожалуй что, за версту — Авак Кичунц и Ованес Бумунц. Аваку, скажем, захотелось спуститься со своей крыши, и Ованес, даже не взглянув на него, уже и сам спускается. И сейчас Егор подумал об этом так: «Мир, он весь из одного вещества: и камни, и го-

ры, и растения, и воздух... Все на свете переходит одно в другое. Кончается дерево — начинается воздух, кончается воздух — начинается камень, за камнем — мох, за мхом — лягушка, за лягушкой — всда...»

Кто знает, где он начинается, человек, и где кончается. Нет пустого пространства. И потому, когда здесь вот вспоминалось что-нибудь грустное Аваку Кичунцу, в другой пещере за версту грустил и Бумунц. Заговорит здесь шепотом чья-то боль — живущий за горой Ваагн услышит. Срывается в какой-нибудь из пещер камень — в других пещерах камни тоже приходят в движение, вот-вот загудят и сорвутся со своих мест. Они изо всех сил сдерживают себя, чтобы не обвалиться, сдерживают, потому что знают — если они обвалятся, обвалится тогда и соседняя пещера, и та, что рядом с соседней, гора расколется, и станет здесь еще одной пропастью больше...

Егор посмотрел вокруг, увидел все сразу — все вместе и одним взглядом. Краски проникали в краски, очертания в очертания... все было слито одно с другим, все одно в другом — земля и камни, цветы и деревья, кусты и колючки, и все такие похожие, все равны в правах, все одинаково прекрасны. Егор почувствовал, что и его — все его мысли — слушают сейчас вот так же сразу и вместе земля и камни, кусты и колючки, его отец, сегодняшние туристы... Но откуда им знать, что они слушают Егора? Просто от грустных раздумий Егора становятся грустными и они, камень скатывается от боли в сердце Егора, рыба бьется и задыхается на земле от пережитого Егором страха, тучи сгущаются на небе от сгустившихся дум Егора...

И Егор снова прошелся взглядом по новому городу, отыскал на его улицах дом Сероба, смотрел на него, смотрел, а потом зашептал ему:

— В прошлый раз ты обиделся на меня, Сероб. Тебе показалось, будто я намекаю на что-то. Но ведь я что сказал, то и сказал. Ничего другого у меня и в мыслях не было...

Потом он перевел взгляд на четырехэтажный дом рядом с домом Сероба.

— Гарегин, зачем ты меня дразнишь? Что тут смешного, если я и Шушик... Что такого, если мы, двое стариков, будем жить вместе? Живем в разных концах города, теперь будем вместе в одной комнате. Что в этом

плохого, чему тут смеяться? От этого и тебе станет лучше. Ей-богу, лучше... Мы связаны друг с другом... А каждая связь укрепляет все связи... — Егор перестал шептать и просто подумал: «Не мешай, Гарегин, от тебя немало зависит... не мешай...»

Минутку он помолчал, а потом его взгляд снова заскользил по городу и остановился на красной крыше самого крайнего дома.

«Арзуман, не смотри так... От каждого твоего взгляда сердце сжимается. Я умру, ей-богу, умру. Если я умру, и тебе будет плохо. Ты этого не знаешь. Не слушаешь меня и не знаешь. Ты хочешь, чтобы обоим нам было плохо? Ну что же, пусть я умру и пусть тебе будет плохо, ладно, Арзуман?»

И еще Егор отметил старенький домик, проверил, тот ли это, который он ищет, решил, что нет, ошибся, еще поискал и, не найдя того дома, заговорил, чуть-чуть как будто стесняясь, — зашептал дороге, выходящей из города:

— Назели, родная моя... Я и вправду тебя любил. Сколько раз говорил я — ты не слушала. Тебе казалось, что не так уж это важно — любить. Что это так себе, выдумки, баловство. Ты не знаешь, а я вот знаю, что нет у тебя счастья. Не слушала, когда я говорил, сердилась, обижалась, что шумлю, мол, много, что покоя от меня нет, а я ради тебя шумел, Назели, ради тебя, родная...

Дорога уходила все дальше и дальше, становилась все меньше и совсем исчезла. Егор подумал, что именно таков вообще всякий конец, окончание, завершение. Потом он поговорил еще с Галустом. Сказал ему все, что хотелось сказать, объяснил, успокоился и умолк.

И вдруг где-то рядом прозвучало:

— Егор!

Вокруг никого не было. Егор улыбнулся и подумал: «Ясно... наверно, вон с той высокой скалы кто-то сейчас со мной разговаривает, но сам далеко и отсюда не виден».

— Слышу, — ответил Егор шепотом. И он долго еще оставался на месте и думал, и что-то шептал, пока не выговорил, не высказал все, и уверенный, что наконец-то его выслушали, спокойно вздохнул, встал, распрямился и, спустившись между пещер, вошел в город.

Дверь опочивальни Трдата уже не открывалась, день и ночь оттуда доносились стоны. Царский дворец был в смятении — люди еще не могли осмыслить происшедшее, сознание города затуманилось, армянский мир не был способен создать в уме систему, которую можно было бы открыто принять и с ее помощью и с общей для всех внутренней убежденностью расставить все по местам. Близкие ко двору люди, число которых Хосровадухт свела к минимуму, делали выводы в соответствии со своим отношением к страдающему: сочувствующие говорили — мучается царь, злые духи проникли в его могучее тело; равнодушные говорили — собака не околеет от одной раны; враги говорили — Трдат превратился в свинью. Никто не входил в царскую опочивальню: только Хосровадухт посещала брата. С момента появления первых признаков болезни до нынешнего дня, когда состояние его стало невыносимым, она была рядом с братом. Только она и знала, как необычайно мощные мускулы Трдата сжались, сплелись в узлы, и теперь он превратился в заросшую волосами бесформенную грудку мяса. Взгляд его — гордый и волевой, неотступный и полный страсти — угасал. Он всегда верил в свою силу, разум никогда не покидал его, а теперь он был в безвыходном положении... Он крепко сжимал толстые губы и не мог их разжать, лишь по временам исторгал глухие стоны. Он смотрел в глаза Хосровадухт и безмолвно вопрошал о своем состоянии. Сестра сперва избегала слов: ведь Трдат не все позволял говорить ему, она не все могла высказать, да и он не мог выслушивать все: его силы всегда были напряжены, гибкое тело всегда готово к отпору, и потому Трдат был мужем среди мужей — первейшим в стране Армянской. Его мысль срабатывала мгновенно, она руководствовалась его желанием, колебания — этот плод робкого и слабого ума — были ему незнакомы.

Хосровадухт промыла раны брата, она смачивала холодным настоем его лицо, подбородок, грудь, высушивала большие раны, но замечала, что все время появляются новые волдыри, напоминавшие маленькие вулканы, эти тоже должны были расти и гноиться... Так возникали все раны.

Хосровадухт потеряла грудь брата. Сжавшись в комок от боли, Трдат перевернулся на спину, раскинул руки, как беременное животное, на лице его появилось выражение удовольствия, смешанного со страданием.

Хосровадухт принимала всех тех, кто мог хоть что-нибудь ей посоветовать или предложить. К ней приходили из Греции, из страны персов, Индии, с гор и скал Армении. Приходили и врачи и различные шарлатаны. Мази, приготовленные из трав, жир диких птиц, снадобье из глаз орла, пилюли из змеиного мяса она принимала и пробовала все...

Хосровадухт больше надежд возлагала на своих лазутчиков, чем на этот шумный продувной народ. Тачат, ее лазутчик, каждый день приходил во дворец. Говорят, что царь обратился в зверя, доносил Тачат, говорят, что царь стал свиньей...

«Лучше свинью считать царем, чем царя — свиньей», — подумала Хосровадухт и снова почувствовала, как в нее входит что-то извне, она ясно увидела, как постепенно все проникается духом разрушения и гниения.

Часто во время купания она делала внезапные открытия, у нее бывали таинственные постижения... Она ощущала весь мир в своем дышащем живом теле и тогда проникала в его тайны. Ее тело было словно бы моделью мира. Ее кости, нервы, капилляры, ее плоть являли собой всех травоядных и хищников, пресмыкающихся и пернатых, пожирающих и пожираемых.

В такие моменты в ней открывалось особое зрение, и она улавливала главное направление в окружающем движении, видела, что нарождалось и что отмирало, что убивало и что гибло. Она боялась этого ощущения: когда оно овладевало ею, она видела перед собой пропасть и утрачивала восприятие окружающего в его определенности и значении. Она могла вдруг почувствовать, как собака хочет грызть кость или как корни жаждут земли. Она могла уподобить свое тело всему и все окружающие ее образы вместиť в форму своего тела, в свой внутренний мир. Ее тело наряду с другими существами было словом земли, выражением бытия. В такие минуты она особенно хорошо понимала брата. Вообще она понимала его всегда. Казалось, она могла даже разделять его желание насладиться красотой Рип-

симэ¹. Хосровадухт обладала той же беспощадной свирепостью, что и ее брат, жестоко наказывавший и уничтожавший греческих христиан-фанатиков.

Хосровадухт знала причину несчастья брата. Страсть его возросла и обрела предметную форму, стала обликом... Сила и воинственность брата, желание и жажда властвовать копились, возрастали и дошли до высшей точки. Все тело Трдата словно превратилось в один мускул, мышцы и нервы сплелись и связались друг с другом, спина согнулась, бедра вытянулись и окаменели. Твердая речь Трдата сгустилась и уплотнилась до воя. Чем иным еще могло быть его состояние, как не крайним проявлением силы, думала Хосровадухт. Это была не болезнь, а естественное состояние... Сила нашла на силу, упрямство — на упрямство, твердость натолкнулась на твердость, желание — на желание. Одного не понимала Хосровадухт — почему человек должен так страдать...

И когда лазутчик Тачат привел старого воина по имени Горг, который также выразил желание помочь царю, Хосровадухт не оставила его без внимания. Но до начала аудиенции она долго смотрела на ожидающего Горга и покрытую перхотью плешь Тачата.

«Я был воином царя и знаю его высшие мгновения, которых не мог видеть никто, даже сам царь...— сказал Горг.— Великий Трдат зарубил на моих глазах четверых и раскромсал их тела на куски, вокруг него взлетали в воздух части человеческой плоти... Я был свидетелем того, как он за одну ночь обладал шестью-семью женщинами... Он чтит всех богов».

«Изнемогло ли его тело, истощены ли его силы?»— испытала старого воина Хосровадухт.

«Тело и воля — разные вещи. Он себе все позволял. Бессилие зачастую оберегает человека. Трдат был слишком силен, но он не знал, из какого вещества сделаны его желания и способности. Человек не принадлежит самому себе. Белое видно на черном, черное — на белом».

Горг говорил Хосровадухт простые слова, но смутил ее. «Скажи, что делать?»

«Я не знаю, что делать, я был только воином царя.

¹ Рипсимэ — согласно преданию, дева, великомученица христианства, замучена и убита царем Трдатом в 301 г.

У меня нет ничего, кроме возраста и военного опыта. Помочь ему может лишь страдальческая жизнь, на которой будут отпечатаны тропы потусторонней жизни. В ущелье реки Касах живет один человек по имени Одинокий Мовсес. Люди верят ему, он во многое глубоко проникает».

Утром Хосровадухт велела оседлать своего скакуна и в сопровождении телохранителей и Горга отправилась к Одинокому Мовсесу. Он нашел себе пристанище к северу от Вагаршапата, в ущелье реки Касах. Пещера была темной, и лицо Одинокого Мовсеса казалось белым и прозрачным, Хосровадухт смотрела на его лицо и видела только кожу. Казалось, его кожа должна была подобно зеркалу отражать ее облик. Хосровадухт ощущала напряжение и могла воспринимать все только разумом плоти. Многочисленные сложные и переплетающиеся взаимосвязи, черты и оттенки становились четкими и резкими, подобно горе, что вырисовывается на равнине. Она увидела Одинокого Мовсеса, как одно вещество видит другое, как плоть видит плоть, и почувствовала отвращение. В ее глазах он был хрупкий и источающий любовь, жидковатый и бессильный... Не поймешь, мужчина он или женщина... Ни то ни се... Он был слаб, даже слабее женщины, и женщина могла совершить насилие над ним.

Хосровадухт уверенно заглянула ему в глаза, и Одинокий Мовсес раскрылся, его глаза стали чище, они стали безбрежными и беспредметными, как небо.

Горг произнес два слова, но Мовсес уже знал Хосровадухт.

«Надо умерять зло... Зло расшатывает человеческую натуру... Трдата разрушило зло».

«Если он произнес «зло», то сейчас произнесет и «добро», — подумала Хосровадухт. И облик Одинокого расплылся в ее глазах, как слизь...

«Кто разгневался — боги или природа?» — спросила Хосровадухт.

Одинокий Мовсес безучастно смотрел на царевну.

«Есть у тебя лекарство? Чего ты хочешь?» — Хосровадухт требовала ответа.

«Трдат должен уповать на добро».

Едва только Одинокий повел свою речь, как Хосровадухт улыбнулась про себя. Эта улыбка была ее внутренним ответом Одинокому, и смысл его состоял в том,

что его глаза не могут не быть добрыми, как больной не может не быть больным.

«Трдат должен изгнать зло из своего тела... Он должен освободить Григора из ямы Хорвирапа... Трдат должен отпустить единомышленников Гаянэ¹, тех, кто еще остался в живых...»

«Ты тоже заодно с ними?» — задавая вопрос, Хосровадухт уже догадалась, кто такой Одинокий.

«Нет, — сказал Мовсес, — я их не знаю. Я знаю силу добра».

Хосровадухт подумала: «Но он сам, Одинокий... Все его лицо и тело... Ведь в нем накопилось другое: любовь и бессилие. Это противно, так же отвратительно, как сборный образ этого добра».

Хосровадухт вышла из пещеры и, не дожидаясь, пока подведут и успокоят скакуна, рывком вскочила на него и пришпорила... Она возвращалась в Вагаршапат, и ей хотелось задать сразу много вопросов. Но кому?.. Если бы она могла громко прокричать их. Громогласный вопрос как будто сам по себе превращался в ответ. Но говорить она не могла — рядом были телохранители. Если б она вдруг посмотрела на них размягченным взглядом Одинокого Мовсеса, они бы тут же насладились телом царевны.

Она вспомнила Одинокого и заговорила про себя: «Умерять нужно и любовь... Большая любовь размыкает сущность человека, разрушает его структуру. Одинокого Мовсеса погубила любовь».

Хосровадухт искоса взглянула на телохранителей — хитроумного гугаркца и могучего ширакца, и они сразу же отвели от госпожи откровенные взгляды, скрыв их под оболочкой пристойности.

Исторические памятники сообщают нам, что Хосровадухт тем не менее уговорила брата принять христианство и освободить Григория Просветителя. Иного выхода не было — это был дипломатический шаг перед лицом болезни. Но удивительно, что Трдат, последовав совету сестры, выздоровел. На его теле остался лишь один изъян, это было, как сообщает предание, свиное ухо — память о жестокости.

¹ Г а я н э — сподвижница Рипсимэ.

В желто-оранжевом покое плоть людская исходила паром. Владения четырнадцати монастырей, четырнадцать деревень, и все это вместе — земля, именуемая Арменией, словно раздалась, распахнулась, расширилась, казалось, гора от горы отстоит дальше обычного, увеличилось расстояние от храма к храму, и размах рук стал шире, и ноги ступали уверенно... Свобода дышала в Армении: она жила, она любила, она думала, она уставала...

Всего только два дня, как были свободны эти монастыри и деревни армянской земли. Всего только два дня, как отсюда вышвырнули, изгнали персов...

Монахи выжимали вино, обрабатывали землю; скинули свои рясы и клобуки, рассыпали волосы по плечам... Юные девушки увидели, что монахи костлявы, волосаты, мускулисты... Почувствовали они, что от одного монастыря до другого доносится запах пота... Монахи ложились отдыхать на солнцепеке, под стенами храма, на его крыше...

Желтый покой под солнцем был теплым, как свежесдобитый лаваш, на закате желтое бледнело — от тоски по страху, от нехватки крови...

Воздух был пропитан сладкой, вязкой жарой; жаром дышали шелковицы и инжир, кусты и травы, припавшие к земле... Запах солнечной страсти перемешивался с запахами растений, земли и даже с запахами цвета... Все страстно дышало... Одинаковые запахи находили друг друга и, сливаясь, становились более сложными, потом они находили запахи противоположные себе, атаковали их, боролись с ними, потом, неизвестно почему, влюблялись в эту их противоположность и, покоряя их, сливали с собой... и соединялись зависть миты и скрытая горечь крапивы, кисловатость трав и сладость меда... Время от времени гадюки добавляли в эту всеобщность капельку яда, придавая сладости какую-то кричащую прелесть, доводя землю до безумия, пробуждая загадочную тоску по всему сущему.

Шелковица сыпала на землю свои ягоды, виноград — свои листья, с инжира стекал на землю густой сок, все это смешивалось, и земля притягивала все это из глу-

бины, а сама чувствовала давление снизу: из глубоких недр золото и медь, железо и соль стремили вверх свои желания, изнемогали от жажды самовыявления, тянулись вверх, впитывались в корни растений и сливались с этой всеобъемлющей страстью...

Глухой Саак погладия свое тело; его руки от ног поднялись к животу, потом к груди... И он почувствовал свой запах, и какая-то давняя тоска вернулась к нему — его запах смешался с окружающим...

Лицо Глухого Саака улыбалось уже два дня: все мышцы его лица расслабились, и лицо приняло естественное выражение. Саак прислонил спину к прохладному хачкару в монастыре, давая отдых своему уставшему от жары телу... Когда над его головой возникли обеспокоенные лица Тадевоса и Егия, глаза Глухого Саака все так же улыбались.

— Глухой, открой глаза!— закричал Тадевос.

— Взгляни на нас, брат Саак,— более мягко сказал Егия.

— Открой глаза!— снова закричал Тадевос.— Мы хотим поговорить...

Глухой Саак слышал глазами, и звуки были бесполезны, когда закрыты были его глаза.

Тадевос ударил ногой по голой ступне Саака.

— Открой глаза, Глухой!.. — повторил он.— Ты отнял нас у бога, Глухой...

Егия закатил глаза и перекрестился:

— Господи, прости грехи наши...

— Грех остается грехом. Глухой, мы большие грешники...

Саак полураскрытыми глазами посмотрел на Тадевоса, но лицо его тем не менее не опечалилось. Он отдыхал радостно, как человек, добравшийся до конца своего пути.

— Нету разных станов, есть только добро!— объявил Тадевос результат своих долгих умственных переживаний. — Понимаешь, добро, добро! Ты нас обманул, Глухой... Мудро и вечно — лишь терпение. И в конце концов — спасительно... Ты перерубил бесконечные корни добра...

— Понимаешь?— сказал Егия с желанием убедить, и чувствовалось, что он действительно хочет быть понятым.

— Деления не существует, — продолжил Тадевос. — В мире нет врагов... Враг — завтрашний друг. Враг — все тот же друг. Завтрашний армянин — перс, вчерашний перс — сегодняшней армянин... Ты всегда помнил про это разделение и погубил наши души.

Глухой Саак прочно ощущал свое счастье, и это было так естественно, что он в течение этих двух дней полностью забыл неестественные смущения своей души. И неожиданно он с удивлением обнаружил, что человеку, даже долгие годы пребывавшему в рабстве, очень скоро кажется естественным другое состояние: значит, человек рожден для свободы. Даже столетия рабства и мрака не в силах приспособить к себе человека, потому что это противоестественное для человека состояние. И полюбил Саак Тадевоса и Егна.

— Уф-ф!.. — с наслаждением выдохнул Саак воздух из своих могучих легких. Он попросту не видел лиц монахов: они стояли спиной к свету, и лица их были в тени.

— Мы человекоубийцы... — сказал Тадевос.

— Я не могу смыть кровь с моего платья. Как ни повернешь — везде кровь... — сказал Егна.

— Вы свободны, — еще не полностью понимая серьезность их слов, сказал Саак. — Свободны ведь?

— Душой мы не свободны...

— Но вы свободны... А свобода — это бог. Ваша совесть свободна.. — сказал Саак, поднялся с места и подошел к ним вплотную, чтоб видеть их губы.

— Ты взбудоражил в нас естество. Мои руки не способны более к крестному знамению... Этими руками я убивал людей...

— Молитвы мои застывают на губах... Что говорить, с кем говорить? Нет меня более, — сказал Егна.

Внимание Саака было приковано к их губам.

— Только теперь вы способны говорить, ибо совесть ваша свободна. С богом может разговаривать только свободный человек...

В дверях храма появился монах Ованес. При виде его возбуждение Тадевоса и Егна еще больше возросло. Тадевос схватил Саака за плечо:

— Выйдем отсюда, Глухой Саак!

Саак ничего не понимал, но тело его было естественным и потому мудрым. Он снял руку Тадевоса со своего плеча, и от этого движения вырвалась наружу

накопившаяся в монахах злость, и они набросились на Саака, поволокли его.

— Что с вами стряслось?— говорил Саак, но внутренне смутно понимал суть происходящего. И загрустила его плоть, дурнота родилась в желудке.

Волоком дотащили его до третьего храма. Саак падал, снова вставал, вместе с ним падали Тадевос, Егия, Ованес... Между двумя храмами пахал землю Погос. Саак в разорванной рясе, с окровавленными коленями бросился к нему и заговорил руками, и спросил шепотом:

— Плохо себя чувствуешь на свободе, Погос?

Погос посмотрел на стоявших позади него Тадевоса, Егия, Ованеса и пожал плечами.

— Вспомните, как мы пошли на персов! С поднятыми вверх крестами, под лесом крестов над головами... Персы дрогнули перед крестами... Но они обнажили мечи, и мы должны были обнажить мечи.. Вы боитесь, что господь вас не простит? Не бойтесь...

От ближнего храма подошли еще два монаха — Егише и Акоп.

— Вся наша жизнь оказалась бессмысленной. Наш аскетизм и терпение, значит, были никому не нужны. Мы не следовали нашим желаниям, возлагая все надежды на всевышнего... Теперь мы все потеряли. Мы смели все это кровавой метлой!.. — закричал Тадевос.

— Вы торгаши!— сказал Саак.— А от своих маленьких удовольствий вы отказались опять же ради собственного удовольствия. Вы попросту возжелали удовольствия побольше... Вы торгаши... Если бы не было у вас страха лишиться большего удовольствия, то вы с первого же дня вашей жизни проливали бы кровь... Но вы проливали бы кровь своих ближних, как это делают люди ради маленьких удовольствий, капризов и страстей...

— Проглоти язык, сатана!— не выдержал Ованес.

— Ты нас побудил к убийству... Вспомни, как ты прокрадывался в наши кельи и сердца, и будоражил, и возбуждал,— сказал Егише, который любил справедливость, и в справедливости — подробности.

— Какая совесть, какое добро могут быть вне свободы?— не понимал Саак.— Вне свободы — все лицемерие, ложь... Вы боялись друг друга, вы лгали друг

другу, даже отец — сыну, муж — жене, товарищ — товарищу...

— Замолкни! — в страшном раздражении от его слов закричал Ованес, но Саак не услышал его, поскольку не увидел движения его губ. — Как же теперь мы приблизимся к богу?..

— Но мы не виноваты, — сказал Егия.

Глухой Саак вдруг принял какую-то странную позу, и это сразу всех насторожило.

«Я понял, — подумал Саак. — Они хотят поторговаться с богом. И хотят это сделать посредством меня. Посчитав меня за причину, они снова лицемерят. Они и сейчас торгаши, трусливые торгаши...»

Но Саак ничего не сказал вслух. Он был горд, тверд, он вспомнил ту прекрасную минуту, когда собрались ночью монахи всех четырнадцати монастырей и на рассвете, в черных рясах, с поднятыми крестами, в согласии с собственным гневом и решением, двинулись на персов... Какой это был душевный подъем!.. Уже за ними потом двинулись крестьяне...

Непреклонный лес крестов двинулся на персов. И не дрогнул ни один крестоносец, не дрогнул ни один из идущих за ними людей. Это единство радовало Саака. Гармония единства была мудра и напоминала Сааку его внутреннюю гармонию во время молитвы. Это всеобщее молчаливое шествие людей было молитвой; помимо молитвы, ничто другое не могло объединить стольких людей единым чувством... А что произошло сейчас?.. Они снова объединяются... И объединяет их страх... Страх из ничего. Страх сам по себе. Они не могут без страха. И без лжи перед богом. Страх воодушевляет их. Вот, приближаются... Впереди идут Ованес и Тадевос. «Может, отступить?.. Нет, ты не отступишь... И как правильно они руководят своими страстями!.. Ничего сейчас не стесняются... Красивы Ованес и Егия. Они и во время битвы были красивы...»

Егише тащит хворост... «Господи!.. С ума они сошли, что ли?.. Неужто решили сжечь?.. Но я не сатана... Так просто?.. Но я ведь не чучело... Вы только посмейте подойти...»

Костер получился большой, и его пламя достигло небес. Огонь бушевал, и это была его стихия, а его алая любовь сливалась со страстными запахами свободной природы.

Человек семейный, занятой, крестьянин, у которого тысяча забот и никогда не было времени сходить куда-нибудь, отправился сейчас путешествовать. Он решил обойти пешком всю Армению, посмотреть что к чему — не так уж это трудно. Некий пенсионер за несколько лет пересек в разных направлениях весь Советский Союз, все его республики, справа налево, слева направо,— что уж говорить об Армении!

Побывав везде и всюду в республике, наш армянский путешественник остановился где-то около Бжни, не то Ошакана, отмерил десять метров земли и уверенно изрек:

— Сюда не ступала нога чужеземца.

Собралось несколько человек: крестьянин, женщина с выпачканными в тесте руками, провинциальный дачник. Они лениво рассмеялись — мало ли психов в Армении! Какой-то практичный тип тихо убрался во свояси. Другой сказал:

— Если бы ты читал книги, то знал бы, что эта земля была когда-то под персами.

— Нет,— ответил пешеход уверенно.

— Да только ли под персами?— раздраженно продолжал тот.— Кто только не прошел по этим местам! Ни одной деревни не пропустили.

— На эту землю ничья чужая нога не ступала.

— Но почему именно на этих десяти метрах?— спросил крестьянин.

— Брось!.. Нашел с кем говорить!

Учителя восьмилетки бесило упрямство пешехода, он сдерживался, чтобы не обругать его, и рыл каблуком землю.

— Ты что-то знаешь?— спросила женщина, у которой руки были в тесте.

— С чего ты так уверен?— сказал провинциальный дачник.

— Да не будь такого клочка, на который не ступала нога чужеземца, как бы уцелела страна?.. Такой кусок должен был остаться, чтобы стать Арменией, — и он снова показал рукой на землю:— Вот она, эта земля...

Обычная земля, армянская, каменистая. И люди

вдруг как-то не веря поверили. Все почувствовали в его словах поразительную и смешную правду.

Пешеход поцеловал землю, захватил с собой горсть земли, сунул за пазуху и отправился домой.

Люди посмотрели ему вслед, окружили землю и долго и молча стояли как перед памятником.

ЧИХЛИ

Она ковыляя перешла улицу, свернула налево на другую улицу и подошла к тоннелю. Она шла, опустив голову, с поникшим хвостом, глядя исподлобья... У нее было какое-то странное чувство, будто кто-то сильно опечалился за нее, стыдится, что она так отчаялась...

Она вошла в тоннель. Она и прежде бывала здесь, и ей была знакома эта прохлада. С потолка тоннеля на ее голову упало несколько капель воды.

Она была собакой. Звали ее Чихли. Когда-то, когда она была щенком, у нее было другое имя. Сейчас она уже не помнила ту благозвучную кличку. У нее были теперь склеротические мозги, склеротические красные глаза... Этот серый, склизкий мусор, который вызывает склероз, залез, забрался во все ее клетки, в мозг, в глаза, в сосуды, идущие от сердца к мозгу, словом, повсюду... И ее мозги с трудом шевелились в этих сузившихся сосудах — закрылась, заклинилась дорога воспоминаний: картины детства не доходили по этим сосудам, набитым всякой дрянью. Только одна мысль копошилась в ней, наполняя все ее существо — мысль о верности.

«Быть верной или нет?» — непрестанно думала Чихли. И когда она решала, что надо быть верной, что в этом смысл жизни, она воодушевлялась и чувствовала себя счастливой... Мир казался легким и белоснежным, и она безмерно любила хозяина и других — других людей, других собак, хозяев других собак... И в то же время любила себя, но какой-то необычной любовью...

Чихли знала, когда ей надо бежать впереди хозяйина, когда — сзади, когда лизнуть ему руку и припасть к его ногам. Она наслаждалась, когда наслаждались другие.

Она не боялась, что ее кто-то может обидеть, и боялась причинить другому неприятность, смотрела в глаза каждого, следила за его настроением и успокаивалась, когда окружающие ее люди были довольны.

Чихли была удивительно гордой, ее гордость была вызвана тем, что она сознавала свою верность, знала себе цену.

И, тем не менее, несмотря на настроение, Чихли все время то лениво, нехотя, то тревожно и беспокойно думала о верности, о гармонии в отношениях собак и людей. Зачастую ее убежденность в своей правоте доходила до экстаза, ей хотелось плакать, целовать землю. Она глядела в небо и прерывисто лаяла, глаза ее в такие минуты становились влажными, и Чихли валялась у ног хозяина. Затем она кружилась на месте, кружилась вокруг хозяина, вокруг его товарищей, их знакомых, незнакомцев... Часто Чихли чувствовала, что хозяин не понимает ее, не замечает ее искренности, но прощала ему, и это прощение приносило ей новое счастье.

Была осень... Чихли полюбила. К ней стал приходиться ловкий проворный пес с маленькими глазами. А как-то раз он проник в их дом и остался под кроватью хозяина.

Увидели, разозлились. Проворный пес удрал, а Чихли в эту ночь сильно избили и выгнали на улицу. На улице под дождем избитая, съездившаяся от холода собака, прерывисто лая, стала раздумывать о верности и засомневалась вдруг в своем убеждении. Что такое верность?.. Неужто это единственный закон жизни или есть еще что-то другое?.. Чихли думала, думала и, устав от своих мыслей, снова смягчилась, подобрела, стала бродить вокруг дома. Ее впустили, и Чихли согрелась на шкуре в коридоре, согрелось ее тело, каждая клетка, каждый сосуд в отдельности; тепло разлилось по всему телу, части тела словно отделились друг от друга, и тело ее как-то очень противно размякло, расслабилось... И какое-то собачье наслаждение по-собачьи вошло в каждую ее клетку, и она снова стала думать о доброте хозяина, и ей стало стыдно за то, что она хотела отступить от верности. Однако что-то, независимо от ее сознания, изменилось в ней. Ее пинали ногами, били в морду, в голову, в живот и спину... И в это же время Чихли снова размышляла о вернос-

ти, оценивала все поступки и удивлялась нелепости мира.

Чихли уже от многого отказалась, со многим смирилась, сломалась... Она была уже научена опытом и печально улыбалась, но избитая, печально улыбаясь, наученная опытом, она тут же угадывала желания других, тотчас же забывая о своих собственных, и выполняла желания других, какими бы ничтожными и мелочными ни были они и какими бы важными и серьезными — ее собственные...

Настало время, и Чихли ошенилась. Она была счастлива и немного грустна и тихо радовалась своему счастью. Она хлопала глазами, зевала и смотрела на своих детенышей. И вдруг потемнело небо над ее головой: как-то утром взяли ее щенят и увели... Всполошилась Чихли, потеряла голову, плакала, скулила, выла, просила хозяина, умоляла, объясняла, как могла, что они поступили неправильно, лизала ему ноги, но ноги пинали ее, и хозяин отряхивал брюки...

Чихли как будто подменили, она тут же решила — никакой верности, никакой нежности, надо быть другой, она наконец поняла, нашла ответ на все свои сомнения. И Чихли стала лаять на всех, она бродила по улицам, металась по тротуарам, рычала, пугала, скалила зубы... Под конец она разодрала брюки двум-трем прохожим и укусила одного за ногу... Чихли так избили, что она еле унесла ноги и осталась на всю жизнь хромой. Ковыляя и повизгивая от боли, она убежала в ущелье, поднялась вверх и спряталась в тутовнике. В ее глазах теперь вечно стояла слеза, и, прихрамывая, она осторожно ступала по краю ущелья, глядела вниз — на маленькие фигуры людей и не решалась спуститься. Она ложилась, клала голову на лапу и думала. «Ничего не получается, ни так, ни этак, людям не нужны ни верность, ни зло... И она сама просто не нужна им».

Как-то раз какой-то голый мальчик вышел из воды и побежал вверх. Его тело было мокрым, блестело под солнцем. Мальчик чуточку мерз.

Сидя под тутовником, Чихли щурила под солнцем глаза и смотрела на купающихся и на поднимающегося мальчика.

Мальчик поднялся и стал приближаться к ней. Чихли съежилась. Мальчик поднялся еще выше.

Чихли видела, что мальчик не смотрит на нее, но почувствовала, как в глазах мальчика засверкала какая-то точка, направленная в ее сторону. Чихли медленно отползла назад. Мальчик уже был наверху, и, когда он подошел к дереву, Чихли поднялась и решила отойти под другое дерево...

И вдруг ей стало жалко мальчика: а может, он обидится на нее за то, что она удирает от него... «Нехорошо так упираться...» — подумала она и присела между двумя деревьями. Мальчик вскарабкался на дерево и стал есть туту. Он срывал ягодки, запихивал в рот и, улыбаясь, смотрел на Чихли, изредка бросая ей по одной ягодке. Чихли не обращала на него внимания, она слишком устала от таких игр: как наивны эти люди, придумали себе занятие... будто не знают, что собаки не едят туту...

Мальчик упорно бросал ей туту, и у Чихли где-то в уголке сердца шевельнулось что-то... Ей стало жалко мальчика. И Чихли стала открывать рот — просто так, чтобы не обидеть мальчика, ловила ягодку и незаметно роняла ее. Мальчик радовался, и Чихли была рада за него. Внизу, в ущелье, лежавшие на берегу ребята позвали его, и мальчик начал медленно спускаться с дерева. Спустился, встал под деревом. Живот у него раздулся, выпятился. Чихли улыбнулась ему. И мальчик улыбнулся ей. Улыбка мальчика доставила ей огромное удовольствие, от удовольствия она как-то вся обмякла. Она уткнулась мордой в землю. Мальчик, улыбаясь, подходил к ней, называя ее «Тузиком». Чихли попыталась завилать хвостом, но хвост отяжелел от бездействия, она подумала — мальчику кажется, что собаки не понимают, когда не знают их клички. Просто они не обращают внимания на такие пустяки...

Мальчик вплотную приблизился к Чихли, погладил ногой сначала ее голову, потом за ушами, потом живот... Чихли совсем размякла. Какое-то неодолимое собачье наслаждение пронзило все ее тело, к ногам прилило тепло, обвисли уши, закрылись влажные покрасневшие глаза, рот оскалился в собачьей улыбке, она захотела поцеловать ногу мальчика, его руку и, как делала когда-то, перевернулась на спину.

И не поняла вдруг, как от какого-то толчка полетела вниз.

Охваченная ужасом, она попыталась метнуться в

сторону, вытянуться, полаять, сказать что-то, позвать на помощь... Но она была такая усталая, что успела подумать лишь об одном: «Почему я забыла, что я решила не быть верной?..»

Она еще не достигла дна ущелья, не разбилась о камни, а ее усталое и старое тело уже впало в блаженство...

СТАРАЯ ТАХТА

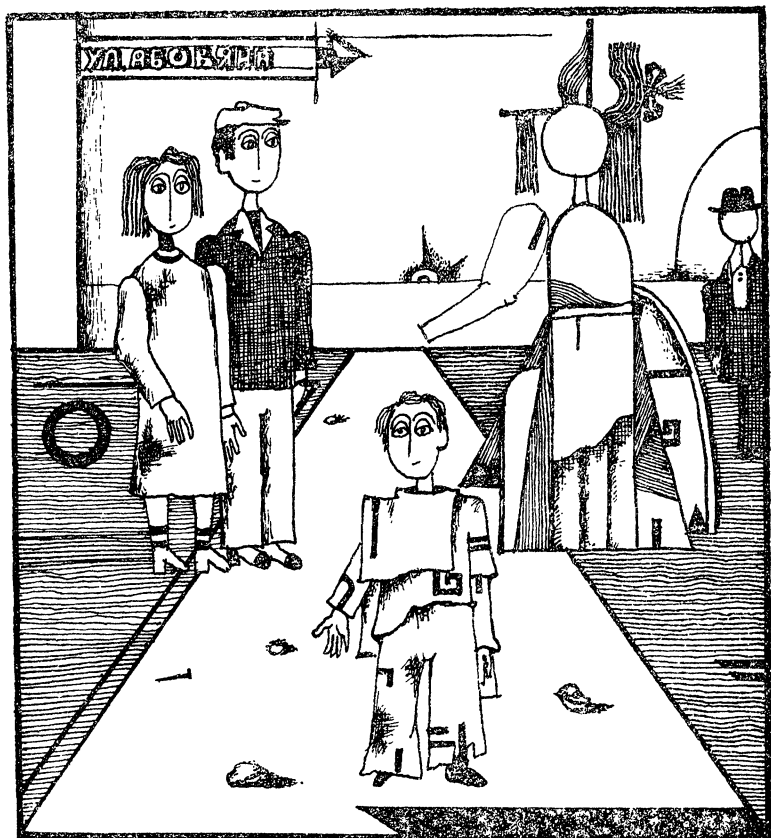
Есть у нас тахта, старая-престарая. Она, как ящик, открывающаяся. Время словно схоронилось, спряталось в нашей тахте. Фокусник в цирке кладет красотку в ящик, потом распиливает ящик посередке — в одной половине голова остается, из другой ноги торчат — потом под аплодисменты зрителей соединяет обе половины, вот точно так же словно и со временем поступили, заложили его когда-то в нашу тахту и ничего с ним не сделалось...

В уголке тахты лежит сверток, в свертке хранится одежда моего отца. Эта одежда запомнилась мне навсегда, потому что отец, когда был жив, частенько меня упрекал:

— Стесняетесь. Стыдитесь родителей. Что не красиво одеваемся, не изящно выражаемся, что лица рябые, что сами слепые, что невежды... А между прочим, такое вот платье было на твоей матери, когда она носила тебя в своем чреве, да. И в этой самой одежде я перешел Аракс... А вы? Родителей своих стыдитесь... нашего грубого наречия стыдитесь... Смотри хорошенько, запомни, эта одежда видела турецкий ятаган, ее стегали плеткой, она дрожала от страха, унижалась, молила о жизни... наконец, эта одежда воевала...

Что и говорить, не раз портил мне кровь отец своим ворчанием. Но когда его не стало, когда он сделался воспоминанием, его слова словно оплели сверток со старой одеждой и затаились в углу тахты.

Я раскрываю тахту. Беру в руки обветшалую одежду. Она прохладная, выцветшая и какая-то вся твердая и грубая... Отчего-то я медлю, и вдруг до моего слуха долетает глухой шепот: «Я взбиралась на крутые скалы, я пряталась в расщелинах, одна пуля прошла сквозь мой рукав, я была в толпе беженцев, я спала



у монастырских стен... я дошла до самой России... меня часто повергали ниц, но я поднималась, всегда...»

Я грустно улыбаюсь. Одежду эту, возможно, шили в одной из эрзерумских мастерских, сукно, пожалуй, английское, а может, французское или даже турецкое, кто знает...

«Я делила судьбу армянскую», — снова слышится мне, и лохмотья тяжело вздыхают, словно стонут.

Я складываю одежду и хочу ее снова спрятать в тахту, одежда шуршит, и я явственно слышу «а-ах...»

И вдруг во мне рождается странное, быть может, нелепое желание. Я напяливаю на себя старые лохмотья, выхожу на улицу и начинаю свое шествие по Або-

вяна. Я вышагиваю по главной улице Еревана, а люди смотрят мне вслед, недоуменно пожимают плечами, смеются, кое-кто испуганно шарахается в сторону. Хохот усиливается. Вот уже двое зевак увязались за мной, ходят по пятам, шуточки отпускают. Я не обращаю внимания. Пусть себе потешаются.

— Какой модерн... — ухмыляется один.

— Старший брат, а, старший брат,— подхватывает другой,— выкройку с брюк не дашь?

Я теряю самообладание и кричу гневно:

— Эта одежда... из Эрзерума!

И я вижу: люди на улице, замирают, потом становятся по обе стороны мостовой, как почетный караул, и я несусь сквозь этот строй, гордо проношу на себе одежду отца.

НЕГРОНК

1

В 1804 году князь Цицианов осадил Эривань. Ученик тавризского оружейника маленький Межлум перешел границу и примкнул к русским войскам. Когда надо было — Межлум чинил оружие, надо было — плясал, надо было — готовил персидский кябаб. В одном из боев он вместе с другими русскими солдатами попал в плен и вновь очутился в Тавризе. Хотели казнить его — убежал и снова перебежал к русским. В Тавризе он появился вновь лишь спустя двадцать лет в составе дипломатического корпуса русского посла Александра Грибоедова. Межлум на рынке спас молоденькую девушку Дехцун, отняв ее у купца-перса, — девушку взяли в плен в Канакере и продали купцу.

Что остается после человека? В результате нападения фанатичной персидской черни на русское посольство удалось опознать трупы лишь нескольких счастливицев... От Межлума осталась только его казачья папаха, которую рвали на улице бродячие псы. А еще осталось дитя Межлума в чреве Дехцун. Сын родился в Петербургском военном госпитале.

В 1850 году поручик Тариэл Межлумов воевал на Кавказе против Шамиля. В день пленения великого

имама в Петербурге скончалась мать поручика, тихая, покорная Дехцун, завещав сыну единственное желание — быть похороненной в родном Канакере. Таризл Межлумов исполнил последнюю волю матери. В военной карете он перевез ее останки в Канакер и похоронил на погосте рядом с ее родными. И Таризл Межлумов отдался на волю судьбы и военных приказов, служа в грязных городишках восточных окраин России — Порт Петровск, Дербент, Грозный и, наконец, Александрополь. Это была настоящая яма, и здесь он растерял остатки свежести и приспособился к местным нравам, кутил с городскими гуляками, брал взятки и громко хохотал над байками гюмрийских балагуров. В Александрополе суставы Межлумова так затвердели и заостенели, что он даже из коляски неохотно вылезал, точно так же и подвижность мысли сохранилась лишь в его собственном воображении. Но в жизни начало часто становится концом, а в конце вдруг начинается что-то необычное и новое. И кто знает, как повернется его судьба и когда она вдруг обнаружит в нем скрытого от него самого и совсем неожиданного для него незнакомца? Запечатанный сургучом приказ из Петербурга посылал Таризла Межлумова в Персию для службы в русском посольстве, а в письме, вложенном в тот же конверт, поручику предлагалось ехать непременно с женой, иначе говоря, ему приказывали жениться. И жениться всего за неделю. Межлумов огляделся вокруг, понял, что это нереально, и решил прибегнуть к крайнему средству. Та, кто меньше всего в Александрополе подходит ему, кто поразительно не соответствует его мундиру, характеру, привычкам и образованию, — та и станет его женой. Мысль о совместной жизни с такой женщиной возбуждала любопытство, придавала всему остроту и загадочность. Волновало его и удивление, которое должно было испытать это кроткое создание... И Таризл Межлумов вертел в руках карту со своим изображением, спеша как можно скорее бросить ее на стол. Девушка, которую увидел он однажды в скучный полдень, на первый взгляд, казалось бы, не составляла с ним большого контраста, ибо была на редкость хороша собой. Но неожиданность такого предложения могла ошеломить девушку, а удивление девушки должно было всколыхнуть и его чувства. И блестящий офицер Таризл Межлумов велел привести к нему в

комнату забредшую во двор боша¹ Джанджан, продававшую сита... Последствия этого необычного шага оказались самыми обычными и нормальными. Жена Тариэла Межлумова стала украшением посольства — светлая, голубоглазая, с той врожденной воспитанностью, которая на языке бога называется совестью, или чувством чести... Самый нелепый поступок Межлумова получился самым естественным, и он обнаружил для себя, что в человеке изначально заложена модель жизни, одинаковая для всех, остальное же — образование, положение, чины, как дым,— ветром приносит, ветром и уносит. Вместо необычного в его жизнь вошли самые обычные человеческие чувства — ревность, тоска, страх потери, хотя поводов для них не было никаких. Ханум Джанджан Межлумова вызывала уважение и у персов и у русских, а между балами и зваными обедами она любила плести маленькие сита...

Первенец Тариэла Межлумова Андраник родился в Тегеране, второй сын, Ростом, — в Тавризе. Тавризский хан Мехти-Гусейн старался находить общий язык с русскими (что было выгодно в его отношениях с Тегераном) и, обязанный этим Тариэлу Межлумовичу, он подарил ему двух слуг негритят, брата и сестру. Служба Межлумова подошла к концу, и он возвратился в Александрополь, взяв с собой чернокожих. Появление в городе маленьких негритят Али и Лейлы, подобно вспышке оспы, нарушило мерное, однообразное течение жизни. Злые языки придумывали разные истории, любопытные часами простаивали у дома Межлумовых, соседи, живущие напротив, смеялись, как дикари, видя постоянно улыбающиеся негритянские лица... Детей стали называть «Межлумовы негры», но поскольку они были единственными неграми не только в Александрополе, но и во всей Армении, то вскоре все стали называть Межлумовых «Негронк», то есть «Негровы».

В 1914 году Андраник уехал на русско-германский фронт. Ростом привозил из Персии ковры и продавал в Александрополе, а когда дело расширилось, открыл магазины в Тифлисе и Баку. Межлумян-младший большое внимания уделял эстетической стороне своего дела: он повез Али в Тифлис и выставил у входа в ма-

¹ Боша — так назывались армяне, занимавшиеся бродяжничеством и случайным ремеслом.

газин, набросив ему на плечо коврик, а сам демонстрировал свой изысканный фарси, восточный узор которого обрызгивал, как духами, французскими фразами.

Торговое дело лопнуло, белыми бабочками разлетелось во все стороны, как разлетаются в стороны листовки социалистов — то было уже время листовок, и в узор ковров никто уже больше не вчитывался... Ростом вместе с Али вернулся к отцу, потом присоединился к армянским добровольцам и уехал на турецкий фронт.

Тикин Джанджан Межлумян по-прежнему принимала дома родственников-боша, относясь к ним столь же сердечно, как и к своему пожилому супругу. Тикин Джанджан спокойно, с достоинством и красиво умерла, покинув дом Межлумова так же, как и вошла туда... Старый полковник долго убивался, не в силах стереть из памяти святой облик молчаливой Джанджан. Он стал больше пить и повел дружбу с александропольскими гуляками.

Негритянку Лейлу никто не хотел брать в жены. А она выросла, расцвела, африканское солнце выпирало из нее тугими грудями и бедрами, крепкими черными мускулами. «Подожди, — говорил ей Тариэл Межлумов, — придут еще за тобой. Вернется с фронта наш полк, с военной музыкой, литаврами, а там есть белый-белый русский солдат, он знает и любит тебя. Он повезет тебя на север, в свой дом... Ты научись ставить самовар... Его родители любят пить чай из самовара». И Лейла верила. Всякий раз, когда на улице раздавалась военная музыка, она тотчас же выбегала посмотреть, не вернулся ли с фронта полк...

Однажды утром Али нашли в пригородном огороде с ножом в боку. Чтобы утешить Лейлу, Тариэл Межлумов дал ей денег и отправил в Тифлис, а сам еще долго жил, и поскольку не мог уже передвигаться, остался под развалинами во время ленинканского землетрясения 1923 года.

Андраник Межлумян вернулся с войны усталый и больной, с почерневшими от германских газов легкими. Без родных Александрополь показался ему еще более

мрачным и грустным, и он переехал в Тифлис, устроился на улице Серебряной, в подвале, который раньше служил винным складом и где неистребим был винный дух — его сырые стены выдыхали винные пары, а в жару потели винными пузырями.

Курд Гасан, дворник, ставил свою метлу и ведра на площадку между дверью подвала и лестницами, ведающими сюда с улицы.

Андраник Межлумян долго не мог найти подходящую работу. Гасан, каждый вечер ставивший метлу и ведра у дверей подвала, видел, каково ему приходится, и однажды ночью сказал: «Андро, сходил бы ты к Габо... Он тебе подыщет работу на бойне». Андраник устало улыбнулся. «Если стесняешься — сам с ним поговорю». — «Спасибо, Гасан, — пробормотал Андраник, снимая с дверей большой замок и досадуя на себя за то, что говорит бесполезное и ненужное, — у меня легкие отравлены. Кому я там нужен?» Гасан лукаво улыбнулся. «Э-э, не любишь ты себя, потому и говоришь о легких. Причем тут легкие! Ты на других посмотри — что у них в порядке? Хороший ты человек, Андро-джан, только совсем себя не любишь...» — «Ладно, полюблю, Гасан... Обязательно полюблю», — произнес Андраник и ушел в свою каморку.

Не успел он закрыть глаза, как запах винной сырости, а вместе с ней и преддремная печаль обрушились на него. Во сне багровые туши, ляжки, копыта, хвосты, кишки, вооруженные ножами и метлой Гасана, надвигались на него. Он увертывался от ножа, но попадал под метлу и страдал от мучительных попыток улететь. Он-то знал, что это сон и что он умеет летать. Вот сейчас поднимет руки и полетит вверх — легко, легко!.. Помахав руками, он с трудом поднялся в воздух, потом вдруг снова очутился в подвале, опять помахал руками и устремился к маленькому окошечку, чтобы вылететь в него, но голова его оказалась снаружи, под ногами прохожих, а туловище осталось в подвале... Мало того — появилась метла Гасана и стала выметать его голову с тротуара. «Но ведь голова прикреплена к туловищу, — рассуждал Андраник, — как же Гасан этого не понимает». А Гасан, злясь, что не может справиться с головой, размахивал метлой все сильнее! — сильнее! — сильнее! «Люби себя! — люби

себя! — люби себя!» — приговаривал он, норовя оторвать Андранику голову и подмести тротуар...

Весь в холодном поту, Андраник проснулся от какого-то шума и сразу посмотрел на окно, но удивился, обнаружив, что звуки идут от двери. Он встал, отодвинул засов. Над лестницей, утопая в солнечных лучах, каким-то подобием иконы стоял Гасан и удивленно смотрел на Андраника. Смотрел-смотрел, потом удивление его сменилось улыбкой. «Андро джан, дорогой, что случилось?» — «А что?» — не понял Андраник. «Кричал ты сильно». Он спустился по лестнице, сел возле узкого окошка и, освещенный слабым светом, отраженным от тротуара, стал ждать, пока Андраник ополоснет лицо, закурит папиросу, оденется. Гасан оглядел стены подвала. «Гиблое место, — сказал он. — Жил здесь торговец вином Шакро. Он тоже по ночам кричал, потом помешался и бросился в реку...»

Андраник оделся, и они с Гасаном вышли на солнечную улицу. «В этом подвале может жить только вино... Оно сильнее человека... Вино мно-о-го знает», — «Вино?» — переспросил Андраник и расстался с Гасаном. Пошел, как всегда, в Верийский парк, где подружился с рябым Иоськой. Иоська садился на скамью, раскрывал блокнот и рисовал портреты. Если он делал в день три портрета, то зарабатывал себе на хлеб, а расходы были маленькие — всего лист бумаги, карандаш и резинка. Андраник любил подсаживаться к нему и смотреть, как возникает на белом листке рисунок. «Сегодня я был в академии художеств, — сказал Иоська Андранику, — помнишь, приходил сюда старик с острой бородкой? Оказалось, профессор академии. Посидел тут, сказал, нарисуй меня. Я нарисовал... Они ищут в народе таланты... Смотри, что я набросал в академии... Нью... Знаешь, что это такое? Голая женщина». Когда Иоська показал рисунок, Андраник глазам своим не поверил. «Не очень молода, но зато какое тело... Негритянка она». Голая женщина была очень похожа на Лейлу. В душе Андраника зашевелились воспоминания детства, они проросли, дали всходы влажной грусти и окутали голое тело Лейлы. Эти всходы-побеги больно хлестнули его, и обласкали, и заставили заплакать... Иоська изумленно посмотрел на него. «Почему ты плачешь?» Андраник пожал плечами. «Хочешь, да? — поняв, посочувствовал Иоська. — Я тоже, случается,

плачу, когда чересчур хочу... А иногда хочу до смерти».

Андраник ничего не сказал про Лейлу. Ему бы хотелось, чтобы она была далеко от него, в другом месте, в мире его детства... Но когда на следующий день Иоська предложил ему пойти к натурщицам академии, у Андраника не хватило воли отказаться... Они долго искали адрес натурщиц, потом Иоська повел по тому адресу, который знал. Долго плутали они и никак не могли найти этот дом... Иоська растерянно остановился у дверей какого-то пустого магазина, подумал и повел Андраника через полотно железной дороги, туда, где одинокие лачуги еще не были поглощены городом и где дорогу им преградили собаки. Андраник недоволю что-то бурчал под нос, а Иоська молчал. Заблудившись, они спустились на соседнюю с кладбищем улицу, и Иоська загрустил. «Мать моя здесь... — сказал он, — все здесь лежат. Давай выпьем за упокой их душ». Он открыл бутылку и протянул Андранику. Андраник знал, что это кладбище не имеет к нему никакого отношения, и вдруг почувствовал какую-то странную пустоту. Он сделал глоток и, разочарованный, сказал Иоське: «Пошли ко мне в подвал».

Иоська в конце концов все же нашел тот дом, деревянное строение в русском стиле. В окне показалось заспанное женское лицо с распущенными волосами. Андранику стало стыдно, и он пожалел, что пришел, пожалел и себя и женщину. Дверь отворилась, на пороге стояла женщина с лампой в руке и недоволю смотрела на них. «Ну?» В первую минуту они смутились, потом Иоська решился. «Я — Иоська из народной студии...» — «А-а», — равнодушно откликнулась женщина. «...Маня» — с опозданием вспомнил ее имя Иоська. Она скользнула взглядом по Андранику и уже мягче спросила: «Хотите войти?» — и отступила, пропуская их. «Мой друг — родственник Лейлы, — сказал Иоська. — Где Лейла?» — «Она далеко живет», — сказала Маня, ушла и вернулась с полненькой улыбающейся русской девушкой. «Где Лейла?» — снова спросил Иоська. Маня неохотно вышла и на этот раз вернулась с Лейлой.

Андраник думал, что фантазия и реальность никогда не встречаются друг с другом, фантазия, такая сладкая и чудесная, живет лишь сама по себе. И как бы назло ей Андраник уже под утро целовал пахнущие

рыбой губы Лейлы, глотал произносимые на гюмрийском наречии ее воспоминания о детстве и Александрополе. «Белый солдат не пришел за тобой?» — серьезно спросил Андраник. Лейла ответила улыбкой, в которой были и мудрость и житейский опыт, и ее улыбка словно убила детство Андраника.

Утром они разошлись по домам, но Андраник не мог найти себе места. Вскрылась гнойная рана его печали и грусти, и боль растеклась по всему телу. Печаль была сильна, как смерть, горька, как слеза, и невыносима, как вопль. На губах Андраника был запах рыбы и губной помады Лейлы, и от этого невозможно было никуда уйти... Андраник некоторое время метался по своему подвалу и снова пошел к Лейле. Днем все выглядело иначе — грязнее и немного зловеще. «Пойдем ко мне», — сказал Андраник. «Встретимся в субботу, — сказала Лейла. — Завтра мне на работу идти». Андраник испугался, что работа отнимет у него Лейлу. «Не иди на работу, не надо... Я сам буду работать. Пойдем ко мне. Насовсем...» Глаза у Лейлы широко раскрылись, в них засветились улыбка и удивление. «Поженимся?» — «Да, — лихорадочно, пересохшими губами ответил Андраник. — Будем вместе, как прежде...» Лейла смотрела на него терпеливым, спокойным взглядом и думала. Потом сказала: «Ладно... Я приду... Только вечером». «Нет, — заторопился Андраник, — сейчас же». Нрав у Лейлы был простой, и с ней было легко. «Соседкам скажу... вещи соберу». — «После, после, успеем».

Лейла набросила на голову шаль, они сели в трамвай без кондуктора и приехали к Андранику в подвал. Никто их не заметил, даже Гасан.

23 марта 1938 года у Андраника и Лейлы родилась девочка. Родилась она тихо, без криков, словно стыдясь своего появления на свет. В полночь Лейла почувствовала себя плохо. Андраник кинулся туда, кинулся сюда, на улице не было никакого транспорта, он растерялся и, не найдя другого выхода, обратился к Гасану. «Как ее доставить в больницу?» — «Я сейчас, сейчас», — сказал Гасан и вышел из дому. Первым ему на ум пришел водитель трамвая Шаво, но он подумал: «Неудобно будить его, да и пока Шаво доберется до парка, чтобы вывести трамвай, будет поздно». В своем добром волнении Гасан даже забыл, что на улице, где

находится роддом, нет рельсов... И побежал к Андранику, все повторяя: «Я сейчас, сейчас». — «Ничего,— сказала Лейла, — и так дойду». — «Сумеешь?» — удивился Андраник. Он бы, конечно, предпочел, чтобы она со своим огромным животом пошла сама и чтоб никого не пришлось беспокоить. Лейла пошла по пустынной улице, опираясь с одной стороны на Андраника, с другой — на Гасана. Они шли втроем, и Андранику хотелось, чтобы они никого не встретили, чтобы никто их не видел и все прошло легко и тихо, и очень обрадовался, когда они наконец подошли к больнице.

Два часа спустя Лейла родила девочку, которую назвала Анжелой. Лейла глядела в потолок и думала, что бог все же существует, потому что «ведь в мои-то годы ребенка могло и не быть».

Андраник все ходил вокруг больницы. Раз даже заморосил ненадолго дождь, хотя день и стоял погожий. Но потом прояснилось, и его сердце наполнилось робкой, обиженной радостью.

С трудом, по частям перебралась семья Межлумянов в Алаверди. Сначала поступил на работу Андраник, потом Лейла с Анжелой. Зарплата была высокой, еда обильной, но Андранику казалось, что весь их квартал день ото дня бледнеет от воздуха, выдыхаемого медными рудниками, и он решил переехать в Кировакан. Оттуда они уехали в Ереван. Здесь родился Константин, второе дитя Андраника и Лейлы.

3

В 1947 году из Бейрута репатриировался Ростом Межлумян. Появился он точно фокусник на арене цирка — с распростертыми руками и восклицанием «алей!». Его «алей!» как будто бы содержало в себе те чудеса, которые он повидал и о которых рассказывал без устали, пока они не стали привычными, как его походка и запах. В Бомбее он учился в школе йогов, долго постился, босой шел по земле Индии. К концу поста от него остались лишь кожа да кости. Его состояние должно было во что-то перейти: голодом и терпением приобретенный опыт йогов он стал демонстрировать, выступая по всему Востоку — в Сирии, Ливане, Египте, Эфиопии — под именем Тахрибея. Он копал себе могилу, ложился в нее, просил закопать его землей, а на

следующий день воскресал и, поднявшись из ямы, кланялся зрителям, ходил босиком по гвоздям и с каменным лицом брал в руки раскаленный кусок железа.

В Ереване в управлении цирка посмотрели его номера и афиши Тахрибея и покачали головой. Ростом так и не понял, почему не понравились его фокусы, но прошло несколько лет и объяснение всего прочно, физически утвердилось в каждой клеточке его тела, теперь он сам бы ответил кому-нибудь другому таким же молчаливым покачиванием головы. Тахрибей нашел другое применение своей ловкости и умению. На окраине города он выстроил дом, разбил во дворе цветник и стал возить в Россию виноград и любил там русских женщин. «Очень их люблю,— говорил он брату,— сколько бы ни старился, буду любить и, даже умирая, буду любить... Приятные они, мягкие...» Однажды Ростом с соседом Амбарцумом повезли в Сочи полную машину винограда, разгрузили на рынке и остались ночевать в машине. Ошалелый от звона цикад, полусонный Амбарцум ночью встал по малой нужде. А дирекция рынка на ночь спускала сторожевых псов, да таких, что не приведи господь нарваться на них. Амбарцум двинулся в сторону уборной, а собаки на него... Тяжко пришлось Ростому — надо было продать виноград, отвезти домой труп Амбарцума и держать ответ перед его родственниками и перед самим собой. Он встал у входа на рынок и даром раздавал всем входящим женщинам виноград, потом забрал труп Амбарцума и вернулся домой и уже больше в Сочи не ездил. Но на месте ему не сиделось. Он как челнок сновал по географическому ковру — тянул то синюю нитку, то черную, то желтую. Побывал в Сибири, на Северном Кавказе, в Прибалтийских республиках, на Дальнем Востоке, добрался до китайской границы. Его охватила жадность на расстояния, словно он хотел растянуть в ширину долгую историю своих предков и разрядить давящую сжатость, сгущенность времен... И однажды он объявил близким, то есть Андранiku и своей молодой любовнице Джульетте Мартинян, свое решение уехать в Америку. Андраник не очень настойчиво посоветовал брату остаться дома, в Армении, чтобы братья были похоронены рядом, на одном кладбище. Лейла сердилась, уговаривала, твердила, что он причинит много вреда и им и самому себе — куда на старости лет

ехать, проживут как-нибудь у своего очага хоть на лаваше, сыре и луке — любимой его еде. И Константина он подведет, многие на него станут косо смотреть. Но Ростом не послушался. Весной 1956 года он уехал в Америку. Они стали получать письма из Нью-Йорка, Провиденса, а последнее было из Лос-Анджелеса. Из этого письма Андраник узнал о самом сногшибательном «фокусе» брата — оказывается, еще будучи в Ереване, Ростом купил место на кладбище, огородил и даже поставил памятник без указания фамилии. Он заботливо приготовил это место для себя и захиревшего рода Межлумянов, а теперь предлагал его Андранику, или, попросту говоря, дарил брату могилу. Андраник растерялся, но потом отыскал выделенный участок и не знал, как все это понять. Иногда ему казалось, что на этом кладбище похоронены все Межлумяны — оружейник Межлум, тихая Дехцун, Тариэл Межлумович, торговка ситами Джанджан и он сам, Андраник... Незаметно он потерял покой, это заранее определенное место представлялось ему роком, давило на него, заставляло быстрее двигаться его усталую кровь. Бывали минуты, когда он примирялся, тогда его одряхлевшему телу и обожженным легким было приятно, что есть для них место вечного успокоения. В остальное же время Андраника преследовал страх: образ этого огороженного конкретного места прилипал к его мозгу, как мокрый лист к подошве туфель. Железные прутья, казалось, стали членами тела — позвонками и ребрами, и он снова и снова во сне пытался выкарабкаться, выбраться из-за прутьев, а метла Гасана сметала, сносила напрочь его голову... Наконец Андраник открылся Лейле, и они пошли посмотреть могилу. Лейла отреагировала очень спокойно: «Будто отцовы кости здесь лежат». Они просидели на могиле до тех пор, пока черное лицо Лейлы не слилось с темнотой и ее большие блестящие глаза взглянули на него словно из недостижимой дали. «Пошли,— сказала Лейла и почти насильно увела мужа с кладбища. — Вот мы и узнали наше место». Посмотрев на его лицо, она сказала: «Ничего страшного, Андраник. Всегда можно будет продать его. Место хорошее». И улыбнулась своими очень белыми зубами. Андраник удивился — как можно продавать смерть?

С ним творилось что-то странное — он стремился

убежать от заранее предreshенного места—сначала этим местом было только кладбище, потом радиус все увеличивался и захватил также и квартиру, кровать... Дом стал напоминать подвал в Тифлисе — с винным запахом и запахом пота: его дом. Промаявшись так несколько месяцев, Андраник однажды пришел домой и объявил, что хочет уехать к Ростому в Америку. Лейла не удивилась, Андраник был пьян, она подумала, что к утру он забудет об этом, мало ли что спьяну сболтнул. Но утро ничего не изменило. Через год и три месяца Андраник с семьей уехали в Италию, откуда должны были отправиться в Америку.

4

Улица Палестрина находится близ Римского вокзала. Она темная и словно продолжает вокзал. Кажется, улица эта создана только для ночи — днем она спит, и в подъезды ее домов надо входить только на цыпочках, иначе рискуешь разбудить здесь стены, двери, лифт и потолок.

Всякого рода приезжих Виа Палестрина принимает и размещает в маленьких усталых комнатах своих старых домов, равнодушные глаза которых смотрят на все еще из густой мглы древнего Рима. Одна из таких комнат приютила и семейство Андраника. Прошло несколько месяцев, но семья не уехала, а их вещи так и не обрели свои места. С Лейлой творилось что-то странное: она пристально смотрела то на Андраника, то в окно, и ее глаза сверлили... Она стала немногословной и наконец совсем замолчала...

Андраник вдруг понял, что у нее мутится рассудок. За матерью ухаживала Анжела. Они жили на деньги, посылаемые Ростомом из Америки, и ждали выздоровления Лейлы, чтобы получить разрешение на выезд... Константин привык к римским улицам, бегло говорил по-итальянски, и знакомые парни и продавцы ларьков звали его Коста. Лежа в углу на кровати, Лейла молча, застывшим взглядом встречала входивших, а когда в ней загоралась искорка жизни, она только воевала с мужем. Ночью, устроившись каждый на своей кровати, они прижимались спинами к стене и глядели друг на друга. Но взгляд Лейлы был особенным, она не просто смотрела, а как бы силилась отыскать конец нити, это

ей не удавалось, и она страдала... Ее глаза не понимали, отчего у мотка нет конца...

Андраник реже выходил из комнаты, он стал равнодушен ко времени, он был внутренне убежден, что Рим — их последнее пристанище и куда-нибудь двинуться у них не будет возможности. И все же каждый раз, когда Анжела возвращалась от врачей, он спрашивал одно и то же: «Что сказали?» Ее ответы бывали похожи друг на друга и всегда неутешительны уже два года подряд. Сейчас она ответила не сразу, подошла к плите, поставила на огонь кастрюлю с супом и стала помешивать. Ее голос донесся одновременно с запахом еды. «Врач сказал — ностальгия». Слова ее сначала показались ему обыкновенными, много он наслышался и навидался за эти два года, тысячи лекарств он достал на рынке...

Анжела расставила на столе тарелки, не глянув в сторону матери. Мать ела отдельно, когда в комнате никого не было.

Короткие брюки Анжелы были очень малы, и отцу на минуту показалось, что она превратилась в мужчину. «Тоска по родине?» — подумал Андраник, и слова эти показались ему трескучими и ничего не говорящими.

Он посмотрел на Лейлу, на ее уже поредевшие и поседевшие негритянские волосы, на черное лицо и, улыбнувшись, пробормотал под нос: «По Африке, что ли?» — «Не знаю», — ответила дочь. Они принялись есть молча, глядя каждый в свою тарелку. Только Коста бросал частые взгляды на окошечко, ожидая, когда его позовут друзья.

«Значит, тоска по родине, по Африке то есть», — задумчиво проговорил Андраник. «Через Армению», — сказал Коста. «Как?» — напрягся Андраник, пытаясь понять. «Говорю, тоска по родине через Армению», — между прочим повторил Коста и хотел еще что-то добавить, улыбнулся, но не успел, снаружи со скрежетом остановилась машина, его позвали, и в комнату ворвались обрывки итальянской речи — быстрые, певучие, не имеющие смысла...

ФИЗИОЛОГИЯ РОДА

Аракел в этот город с Путиловского завода пришел, Костан — из Персии. У Аракела была большая сум-

ка с документами, было пальто с меховым воротником, и он должен был основать завод в Армении. У Костана была кипа фотокарточек и больше ничего.

Ревком дал Аракелу длинную пустую комнату, бывший хлев, наверное, или что-то в этом роде. Тут-то и встретились Аракел с Костаном. Целый месяц комната пустовала, Аракел все ходил в Ревком, — и однажды, не выдержав, в сердцах швырнул сумку об пол, сказал:

— Не хочу, ничего не хочу... Я путиловский рабочий... А чем сейчас занят? В каком я положении, хочу сказать? Армяне завод не признают, не понимают...

Городок славился церковью и улицей кузнецов. И Костан отправился на улицу кузнецов. В первой кузнице работали два потешных кузнеца. Одного почему-то звали «Французский», другого «Английский». Это были веселые люди, после каждого удара молотом они приговаривали «оп-ля!» Во второй кузнице работали Колесник Оник и Колесник Гевор. Колесник — то ли прозвище, то ли фамилия. В их кузнице висели афиши с изображениями велосипедов и автомобильных гонок. Все это мало вязалось с армянским городком, но зато сильно повышало авторитет Колесников. Костан прошелся по улице кузнецов разок, другой, посмотрел, как орудуют Колесники, и сказал:

— Ладно работаете, ребята, ладно... — потом, прикидываясь простачком, спросил: — Почему вдвоем работаете?..

Колесник Оник ответил рассудительно:

— Один должен держать, другой — бить, не так разве?

— Не знаю... — сказал Костан и, прищурив один глаз, снова спросил: — Для третьего дела не найдется?

— Смотря... — неопределенно протянул Колесник Оник, а Костан воодушевился:

— Рука руку моет, две руки — лицо... Если бы мы это вовремя поняли, мы бы не упустили страну... Вот так бы собрались сначала два человека, потом четыре, потом, глядишь, десять, сто... А?.. И пусть бы кто тогда подступился... А?..

Колесники, Оник и Гевор, оставив работу, насмешливо смотрели на Костана.

- Тебя рябой Аракел подослал?
- Хочешь нас в тот сарай затащить?

Костан улыбнулся:

- Почему же сарай. Завод...
- Убирайся-ка подобру-поздорову...

Но Костан повадился ходить на улицу кузнецов. Мастеровые посматривали на него косо. Однажды Костан изрек:

- Аракел говорит, армяне работать не умеют...

Онику и Гевору Костан давно уже надоел. Они переглянулись и приняли решение.

— Врет твой Аракел, — сказали они. — Приходи сегодня вечером, выпьем вместе, Аракелу твоему назло. Приходи давай...

Вечером собрались Гевор и Оник, Смбат и Дереник, Петрос и Симон, Французский и Английский и — Костан. Выпили. Крепко выпили. Ночью, когда расходились, уже на улице они сказали Костану:

— Значит, говоришь, собрать завтра манатки и явиться в ваш хлев... то есть завод... так, что ли?..

— А может, еще и немецкий рубанок с собой прихватить?— спросил Смбат.

Костан довольно улыбался:

— А что, пригодится... Еще люди подойдут... Сначала десять будет, потом сто, потом, глядишь, тысяча наберется... Вот тебе и завод... армянский... промышленная Армения... хорошо...

— А ты хозяин, так, что ли?..

— Почему?— серьезно ответил Костан. — Директором Аракел будет.

— А детей моих кто вырастит?— сказал Оник и захватил Костану по уху.

И навалились все на Костана и замолотили кулаками.

— Оп-ля!— говорил Французский и бил.

— Оп-ля! — говорил Английский и тоже бил.

На следующий день Оник, Гевор, Английский и Французский, протрезвев, ждали последствий.

— Больше он в эти края не заявится, — сказал Французский.

— Да уж, отвадили, — сказал Оник, высморкался в кулак, да так и замер на месте. В конце улицы показался Костан. Лицо чем-то обмотано, рука на перевязи. Костан приблизился, попытался было улыб-

нуться, потом сказал «Утро доброе». Язык его запал в пустые десны. Передние зубы отсутствовали полностью.

Костан подошел, здоровой рукой взял в углу кузницы железный прут и, придерживая ногой конец, согнул его.

— Это — одной еще рукой... — и он снова улыбнулся. Потом оглядел всех по очереди и сказал: — Здорово вы меня вчера... мне понравилось... и знаете, почему? Ни за что не угадаете. Сказать? Потому что вместе били... ввосьмером... А я что говорю? Когда много, это сила. Ну что? Вот так, если все сообща будем делать, дела наши еще как пойдут...

Тевекелян Костан — брат моего деда, не знаю, как определить одним словом родственную эту связь.

У нас, у Тевекелянов, у каждого что-то да не так. У Костана нет зубов, у Шушан печень не в порядке, а у деда снаружи чего-то не хватает, а внутри что-то лишнее имеется... Но они живы по сей день — девяностая, ста, ста с лишним лет, они живут со своими изьянами, живут сердито, живут радостно, живут, чтобы всегда быть живыми.

СТАРАЯ ЕПРАКСИЯ И ЕЕ ПОЖИЛОЙ СЫН

Старая Епраксия чистит картошку и говорит. Говорит она безмолвно. Свои заботы и желания она вверяет чугунной сковородке, ножу, мясорубке, своим искривленным ногтям.

— Апла¹, — произносит сын Епраксии. Она оглядывается, но ничего не говорит. Сын Епраксии подходит к матери, садится напротив. Ему сорок пять лет. Он худой, с седыми волосами и торчащими скулами.

— Апла, — стонет он, — несчастный я человек...

Епраксия не раз слышала эти утомительные жалобы, но сердце ее снова сжимается.

— Да, сынок, у нас вся семья несчастная, да...

— Жизнь прошла, апла...

— Что ты, сынок, ну что такое сорок пять лет? — наверное, в который уже раз говорит Епраксия.

— Нет, невезучий я...

¹ Апла — мать.

Он собирает со стола крошки сухарей и бросает в рот.

— Ни детства, ни молодости, — говорит он жуя. — А потом еще эта болезнь... Все напасти на мою голову. Э-э-х, апла... А первая моя беда — отец был пьяница... Бил меня, ругал на чем свет стоит... Чего только я не вынес!

— В каждой семье свои горести, — говорит Епраксия, — ты по виду не суди.

— Нет, апла. У меня другое... Ни детства я не видел, ни молодости, ни семьи. Ну ничего, совсем ничего.

Пожилой сын Епраксии начинает волноваться, тягостные мысли лезут ему в голову.

— Моя жизнь ни с чем не сравнится, нет. Да еще эта болезнь, — он кладет руку на грудь. — Если бы я умер в семнадцать лет, было бы лучше...

— Считай, что тебя тоже взяли на войну и там... — Епраксия не договаривает.

— Это, пожалуй что, верно, — успокаивается сын Епраксии, на душе у него делается как-то легче, он даже веселеет.

— Сколько народу погибло, правда? Скажем, и я там умер... А это моя вторая жизнь... Настоящая находка, да, апла?

— Конечно, сынок.

Сын Епраксии заметно оживляется, как будто в самом деле нашел вторую жизнь.

Мясорубка визжит, стол скрипит.

Мать и сын долгое время молчат. Сын Епраксии задумывается и снова мрачнеет.

— Не надо было тебе выходить за отца, апла... Вот откуда все наши беды. Не обмозговала ты это дело. Ну, скажи, зачем пошла за него, зачем? — вновь распаляется он.

— Почему я знаю. Я не хотела, сестры заставили. Что я могла поделать? Беспомощная сирота.

— Нет, сплеховала ты, чего уж там, — перебивает он ее.

— Приезжал он на фаэтонах вместе с зурначи, играли под нашими окнами, из револьверов стреляли в воздух... Проходу он мне не давал, — рассказывала старая Епраксия, и голос ее доносился откуда-то издалека, оттуда, где сейчас находились ее мысли.

— А ты бы о детях подумала.

— Теперь уж поздно говорить об этом, сынок, ни к чему... Отец давно умер, ушел от нас...

— А потом эта болезнь меня настигла... и заперла на десять лет дома, — продолжает сын.

У Епраксии в горле застревает комок.

— А ты считай, что десять лет просидел в тюрьме. Сколько пересидело народу!.. Дело житейское...

Пожилой сын Епраксии вновь смягчается.

— Значит, в тюрьме, говоришь? Почему бы и нет... Положим, десять лет провел в тюрьме,— произносит он и снова впадает в задумчивость.

— Нет, не надо было тебе за отца выходить. С того все и началось. Совсем ты обо мне не подумала, ну нисколючки.

Пожилой сын Епраксии возвращается в свою комнату. А старая Епраксия продолжает возиться на кухне. Мысли ее далеко. Ей вспоминается тот день, когда она отправилась с женихом в церковь, да еще шумное солнечное воскресенье, когда на фаэтонах повезли крестить сына в далекую горную церковь. А потом она представляет тот час, когда ее повезут на городское кладбище. Отдохнет, забудет обо всем. И вдруг ей кажется, что все это — и муж, и фаэтоны, и недавний разговор все же не исчезнет. Все это будет, останется навечно... Только вот на этой стороне, а сама она будет на той. И что все это останется в памяти мира.

ПОДУШКА АЛЕКСАНА

Мы жили в подвальном помещении, а на штанах моих вечно красовались заплатки.

Мой дядя Алексан жил на втором этаже, и все в их комнате было мягкое, пушистое.

Когда у нас нечего было есть, я поднимался к дяде.

...Дождя самого не видать было, но земля была мокрая, и в лужах то и дело возникали маленькие лунки. Наше жилье совсем затопило, в нашей комнате шипел-фырчал примус, и моя матушка сидела возле стола пригорюнившись. Самая печальная штука на свете — голос примуса дождливым вечером.

По витой лестнице я поднялся на второй этаж. В доме моего дяди на всех стульях имелись маленькие подушечки, а на тахте их лежало видимо-невидимо.



В комнате этой ходили разувшись, в одних носках. Алексан, мой дядя, сидел, утопая в подушках, подогнув ноги по-турецки, и перебирал в руках четки.

— Девушка, а ну-ка для нашего Арташа чай сообрази, — сказал мой дядюшка и разгрыз кусок сахара.

Жена моего дяди Ерануи отложила в сторону маленькую подушечку, которую до этого шила, и поднялась с места.

— Подушек-то у вас сколько, — вырвалась у меня.

— Э-э-э, парень... Ты бы в Карсе у нас видел... сколько их было...

В комнате было тепло. На столе стояло варенье. Вкусно пахло чаем.

— Вот эта подушка с нами из Карса приехала,— сказал Агван, сын дяди.

— Из самого Карса? — удивился я. — Не может быть...

— Отец, расскажи ему...

— Про подушку? Да, душа моя, эта одна из Карса... — и он поднес подушку к своему лицу.

Подушка действительно отличалась от других. Чувствовалось, что все остальные подушки старались делать по этому образцу, но она все равно отличалась от всех прочих, а уж чем, не могу сказать.

— Убегать трудно было?— спросил я.

— Э, хорошо тебе, парень, что не видел всего этого. Кому повезло, тот уцелел, остальных так тряхануло, что и не сказать, сначала в городе, потом в пути... Золотом дороги вымачивая, шли мы... да...

Алексан поднял крупную, пухлую руку и повел ею в воздухе, как маятником.

— Чего-чего не было... Десять золотых я дал одному турецкому аскяру, чтобы позволил разбитую телегу взять, еще двадцать золотых другому аскяру дал, чтоб не трогал нас... Набились в колымагу все невестки, братья мои...

— И подушку эту с собой взяли?

— И подушку... еще аскяры по дороге встретились, все, что было у нас, с собой унесли, все добро наше... Слава всевышнему, самих не тронули...

— А подушку не взяли?

— Что?— не понял мой дядюшка.— А, подушка,— скорее догадался он, — на что им подушка. И шли мы, умирая, все по дороге оставляя...

— Подушку не оставили?

Алексан разозлился:

— Далась тебе эта подушка!

Все замолчали. Потом Агван стал, позвякивая ложкой, помешивать чай, потом Алексан ложкой зазвякал, потом я. И вдруг мне представилось: едет по дороге эта мягкая подушка, на колесах, словно телега, едет, на ней, подогнув ноги по-турецки, восседает мой дядюшка Алексан, дядюшка пьет чай с вареньем и сыплет золото на дорогу... И почему-то мне ужасно захотелось спросить: «В Карс когда вернетесь, подушку эту с собой возьмете?» Но я постеснялся.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗВОНОК В ДОМЕ СТАРОГО ИНТЕЛЛИГЕНТА

Поздним вечером на одной из старинных улиц Еревана Гевонд, покачиваясь, говорил своему другу Амо:

— Есть такое слово... Единственно важное... Я его хочу сказать... За свою жизнь я много болтал, но пока ничего путного не сказал... Меня это злит... выходит, зря я прожил столько лет... Все остальное ложь, и одно только слово — оно все поставит на свои места, все сделает понятным.

— Ну, говори, — спокойно сказал Амо.

— Скажу, но мне тебя мало... С тобой я и так много говорил. Ты не поймешь.

— Гевонд!

Гевонд хотел сказать, почему Амо не поймет, но прикинул в уме, что объяснять придется долго, махнул рукой и избрал легкий путь — рассердился:

— Не поймешь, и все тут!

Он сказал это, доверившись своей любви к Амо. Но это могло ведь стать началом ссоры, если бы Амо не был Амо и не знал Гевонда и вообще эту черту армянского характера, когда величайшее выражение близости — искренность переходит в грубость и от сильной любви, веры и доверия грубят друг другу эти наши армяне! Он тоже грубит своему самому любимому человеку. Иногда самому любимому существу, богу, даже самому себе.

— Мне кто-нибудь нужен, чтобы слушал, и вино, — требовал Гевонд.

— Откуда в полночь найти для тебя слушателей? Рестораны закрыты, да и мы крепко выпили... Завтра скажешь свое слово...

— Завтра? — испугался Гевонд. — Значит, ты ничего не понял. Я же не просто говорить хочу, я хочу сказать слово... Ведь вся жизнь наша — это одно слово...

— Ладно, успокойся... — сказал Амо и стал думать, где достать вина, но ничего не придумал.

— Ну-ка, стукни меня разок, — выгнув грудь, сказал Гевонд. — Услышишь, какой звук издаст моя сущность.

Вдруг в ушах у Амо раздался звонок разносчика керосина, и он вспомнил:

— Есть у меня старик родственник, интеллигент... Вино у него — настоящее миро, сам делает... Если застанем дома, значит, повезло.

— Вино? Чудесно! — произнес Гевонд. — Да еще хозяин — старый интеллигент!

Амо забыл, где находится дом, а улица была темная, ворота — в полутьме. Он подошел к двери, поднялся на цыпочки, стараясь прочесть фамилию.

— Вроде эта.

— Что там написано? — спросил Гевонд.

— Букв не разберу, но дощечку вижу. Если есть дощечка, значит, та самая.

Амо нашел кнопку звонка, нажал.

Рядом с дверью открылось окошечко, и показалась голова старика, потом она быстро исчезла, окно столь же поспешно захлопнулось, открылась дверь, и Амо с Гевондом вошли во двор.

В дверях старик внимательно оглядел их и спросил:

— Кто из вас больной?

Гевонд оглянулся, посмотрел на дверь и на Амо: нет, то действительно был Амо, они вместе вошли сюда, и старик, наверное, был родственником ему, потому что Амо смотрел на него таким взглядом, который говорил, что старик по меньшей мере его приятель.

— Амо, а ты не ошибся? — спросил Гевонд. — Это — твой родственник?

Амо улыбнулся. Почти девяностолетний интеллигент переводил взгляд с Гевонда на Амо.

— Когда вы виделись в последний раз? — спросил Гевонд.

— Шестнадцать лет назад, — ответил Амо, продолжая улыбаться.

Глаза у Амо были полузакрыты, и Гевонд подумал, что для этого убеленного сединами старика вспомнить кого-нибудь через шестнадцать лет и в самом деле не легко.

— Лицо мне очень подходит, — сказал Гевонд, приблизив нос к носу старика: — Разве непременно нужно быть больным, чтобы прийти к такому чудесному человеку, как ты? — сказал Гевонд и, крепко сжав голову старика, поцеловал в лоб.

— Я пришел к тебе поговорить, остальное пустяки...

— Мартин Христофорович, — произнес наконец Амо, — это я, Амо!..

Старик еще более недоуменно взглянул на них, потом сменил очки:

— Да, да, у тебя были вьющиеся волосы, — произнес старик, впав в воспоминания, и на его лице заиграла улыбка, но потом он снова ушел в себя. Старый старомодный интеллигент и не думал все уточнять: какая разница, к чему? Все в этой жизни идет своим чередом...

Старик словно не был живым существом... Может быть, неживой была лишь внешняя оболочка, несколько слоев, как возрастные слои у деревьев. Но внутри существа было подвижное, живое ядро. И старик казался нереальным, его просто не было, и для него не существовало ни Гевонда, ни Амо. Подвижное, живое ядро было запрятано очень глубоко, далеко от глаз, оно было вне повседневных желаний. Внешняя безжизненность старика и его внутренняя живость нарушали привычные представления. Его сердцевина казалась продолжением очень древней жизни, которая не может никогда прерваться: жалкое и одряхлевшее тело, со скрипом противоборствуя внутренней жизни, должно исчезнуть, а жизнь останется, будет существовать без тела...

— Да, да, — растерянно произнес старый интеллигент и посмотрел на Амо. — Что я должен делать?

— Ничего... — сказал Гевонд. — Садись, я посмотрю на твое почтенное лицо, умный и бледный лоб и скажу тебе одно слово... Сейчас ты для меня все человечество, ты — Моисей, Адам, Ной... Сейчас скажу тебе одну вещь...

В эту минуту музыкальный звонок на двери заиграл: «Тинь-тинь-дрень...», и слово Гевонда осталось невысказанным. Врач забеспокоился, тревожно осмотрелся по сторонам и деловито проследовал в соседнюю комнату, повторяя: «Одну минуту, одну минуту».

Амо и Гевонд устроились за большим столом, Гевонд во главе стола, Амо — в углу.

Гевонд мучился нетерпением, а Амо взглядом искал в шкафу широко известные вина дядюшки.

— Ну, как мой родственник? — спросил Амо.

— Подходяще, — ответил Гевонд.

Наконец вошел, вытирая руки, хозяин.

— Мартин Христофорович, дядя Мартин, ну-ка вынь из тайника свои бессмертные вина... Я очень хвалил вина твоего приготовления...— сказал Амо.

— Вино?.. Да, да, минутку... сейчас,— произнес старик и не сдвинулся с места.

Гевонд и Амо переглянулись.

— Вино ерунда... Я его сейчас принесу, — сказал Гевонд.— Главное — выпить за здоровье, тост сказать, понять друг друга.

Гевонд подошел к старому доктору и, крепко ухватив его за подбородок, стал целовать в бороду. Глаза у Гевонда увлажнились.

— Боже мой, это же просто удивительно — человек! Был когда-то ребенком, а теперь — смотри, у него белая борода... Она — как знамя мира.

Гевонд снова поцеловал старика в бороду, вытер ладонью глаза и губы и сделал движение в сторону Амо, чтобы и его поцеловать.

— Что за чудо у тебя дядя, Амо джан,— приговаривал Гевонд,— я непременно скажу свое слово... Потом пусть умру... После этого слова и смерти нет... Ведь смерти вообще нет.

Снова протренькал звонок, и старик указательными пальцами обеих рук высвободил свою бороду из кулака Гевонда и засеменил в прихожую.

— Сейчас приду, сейчас,— бросил он на ходу.— Это больной, клиент...

Снова Амо и Гевонд остались у пустого стола. Амо посмотрел на выстроившиеся в шкафу бутылки.

— Это лекарства,— забормотал Амо,— но есть у него и хорошее вино,— добавил он с надеждой.

С минуту Гевонд молчал, потом не выдержал и крикнул в сторону двери:

— Иди сюда, дорогой, у тебя же лицо святого!

— Погоди, он больного принимает,— сказал Амо,— не бросать же его.

Гевонд нетерпеливо ерзал, пока доктор снова не вошел. Подойдя к столу и вспомнив, он пробормотал:

— Да, вино,— и снова исчез в соседней комнате. Вскоре он принес какой-то странный стеклянный сосуд.

— Это что, вино? — испугался Амо.

— Конечно, вино,— сказал доктор и, вытерев пыль, поставил сосуд на стол. Винный сосуд оказался мензуркой. Цветом вино было темное, густое и мутное...

— Ничего,— виновато взглянув на Гевонда, сказал Амо,— посуда пустяки, было бы вино хорошее.

Гевонд с трудом откупорил бумажную пробку, наполнил стаканы и каким-то просветленным взглядом посмотрел на старика, собираясь заговорить, но тут опять прозвенел музыкальный звонок, и старик поспешно встал.

— Вы пейте, я сейчас приду,— сказал он и закрыл за собой дверь.

Гевонд уже начинал сердиться и часто поворачивался в сторону двери. Старик задерживался.

— Что он лечит, почему к нему ходят по ночам? — устав от ожидания, спросил Гевонд.

— Нет,— поспешно ответил Амо каким-то своим мыслям и покосился на мензурку.

— Стаканы похожи на посуду для анализов... Может, он в них делает анализы?

Амо усмехнулся и подумал, что стаканы не для анализов, а чтобы ставить на спину, как банки.

Опять появился старик и сел рядом с Гевондом. Гевонд улыбнулся, поднял стакан, и в это время «дзинь-треньк-треньк» — снова заиграл звонок.

Старик торопливо поднялся и, извинившись, направился к двери.

Гевонд тяжело опустил стакан на стол.

— Выпей,— сказал Амо в утешение.

— Я слово хочу сказать.

— Что же поделаешь, работа, частная практика,— примирительно сказал Амо.

— Сколько он берет? — уже достаточно протрезвев, спросил Гевонд.

— Десятку, наверное.

— Разве человеческое слово не стоит десяти рублей? — спросил с горечью Гевонд.— Куда ты меня привел? Все в этой жизни можно найти, только ума, веселого ума не встретишь!

Амо успел взглядом прошупать старые французские обои, столетней давности фотографии, глазами пробежался по мебели в стиле рококо и барокко.

Старик все не появлялся. Это было уже слишком, и Гевонд не вытерпел, сказал в сторону двери:

— Послушай, отец, старший брат, родственник Амо! Я к тебе пришел... Иди же сюда, садись... Хочу поглядеть на твое лицо, тост произнести.

— Не услышит,— показав на ухо, сказал Амо.

Гевонд уже встал было с места, когда, вытирая руки, снова вошел доктор.

— Садись! — приказал Гевонд.— Сядь же напротив меня!

Старик попытался улыбнуться и сел с другого края длинного стола — напротив Гевонда.

А тот добился своего, торжественно встал, поднял над головой стакан и открыл рот... но сейчас же, словно это вылетело из его рта, послышалось: «дзин... тинг... танг...»

Содрогнувшись, Гевонд подошел к старику и положил руку на его плечо.

— Нет, ты никуда не пойдешь... Плюнь на десятку. Знаешь, какие интересные вещи есть на белом свете?— он не смог вслух уточнить, что именно, только махнул в отчаянии рукой.

Снова звякнул музыкальный звонок. Гевонд крепко удерживал старика за плечо. Старик беспокойно задвигался, пытаясь встать, и почти смог поднять свой зад, несмотря на тяжелую руку Гевонда. Гевонд, осознав, что создается какое-то неопределенное положение — полустоячее, полусидячее, полувнимательное, на третьем тренькании пошел в приемную и вскоре вернулся с каким-то удивленным типом.

— Садись, — сказал Гевонд, и удивленный человек сел рядом с доктором. Над губами у пациента свисал большой, круглый и красный нос.

— Садись, дорогой, ты болен? Что с тобой — нос беспокоит — такой большой, красный и блестит? Что делается, а? Только важен не нос, а человек...

— Лукинария кутас,— словно оправдываясь, сказал удивленный человек по-латыни, показывая на свой нос.

— Я хочу сказать слово...— произнес Гевонд.

Удивленный человек посмотрел на доктора, Амо и Гевонда. Гевонд поднял стакан, не зная, какими же словами выразить свое трескучее, как мороз, струящееся, как жара, сжавшееся, как страх, ленивое, как мир, и спешащее, как мир, состояние. В его слове должен быть крик новорожденного, таинство смерти деда, мудрость сострадания, муки от сознания своих ошибок и тревоги за свое будущее и прошлое.

Слово как будто опустилось на корточки, стало мягким-мягким, и состояние Гевонда не изливалось в

словах. Он жестом показал: «Сейчас, сейчас», и вместо взрыва мыслей, которого ждал от себя, снова услышал звонок. Гевонд напрягся и увидел, как старик встает с места.

— Снова десятка?

— Это же больной...— сказал старик.

— Зови его сюда,— сказал Гевонд и, пройдя в приемную, вернулся, таща за руку человека с повязанным ухом. Тот стеснялся, упирался, но Гевонд все же привел его, усадил рядом с врачом и красноносым.

Доктор хотел что-то спросить у нового пациента, но Гевонд показал жестом, что хочет говорить, и все замерли, обратились во внимание.

И снова все повторилось. Едва Гевонд начинал говорить, тренькал звонок в дверь старого интеллигента и появлялся новый больной. А Амо, улыбаясь, считал десятки.

Через час за столом, кроме Амо и доктора, сидело шестеро. У одного, как вы знаете, был красный нос. Большой такой, обыкновенный нос, он стал уже необычным, со своим латинским названием. У второго было повязано ухо, у третьего, пожилого меланхолика, тоже был поврежден нос, но он у него был просто повязан, и надо было иметь очень независимый характер, чтобы днем с запрытанным носом выйти на улицу. У четвертого был перевязан весь подбородок и рта не было видно. У пятого шея в гипсе, а шестой просто не мог ни на что сесть, он так и остался стоять с рукой на чьем-то плече, как на групповом снимке. И пока семеро молча и очень серьезно сидели и выжидательно смотрели на Гевонда, он уже вполне протрезвел. От долгого ожидания его вдохновение испарилось и собственный мозг представлялся ему не в виде двух полушарий, а в виде спокойной, гладкой поверхности... Гевонд посмотрел на лица со смешными повязками, на покорные взгляды и не знал, что сказать.

Люди, смотревшие на него, были забавно серьезными, наивными, они находились в необычной ситуации. Один все моргал глазом, наверное, из-за боли в ухе, другой с трудом сдерживал желание почесать нос.

Гевонд долго смотрел на них и спросил буднично и мягко:

— Очень болит?

Потом он устало опустился на стул, положил голову на локти и точно сквозь пелену увидел, как движутся люди... Вскоре пелена спустилась, но он по-прежнему видел сосуды, мензурки, круглые стаканы, колбу с вином...

Ночь кончалась, унося с собой теплую, полную загадок страстную атмосферу, в которой раскаляется мозг, пробуждая воображение, волнуя вечные инстинкты... Наступал белый, холодный рассвет.

КАВКАЗСКОЕ ЭСПЕРАНТО

В 1918 году, в Ереване, в квартиру Анаит Георгиевны Тарханян среди ночи ворвалась ее младшая сестра Мариамик. «С ума сошли мужчины на Кавказе!.. Бога нет!..» — Мариамик была вне себя. «Мужчины повсюду посходили с ума... Который час?» — проговорила старшая сестра, не открывая глаз и ощущая во рту ночную горечь. «Помоги,— Мариамик разразилась рыданиями,— помоги...» И пошла такая мешанина, такие нервы, что сладкое нельзя было отличить от горького.

А всего-то Арсена Бейбутия арестовали в его бакинской квартире. А Арсен — всего-навсего муж Мариамик. Пересохшего горла и охрипшего голоса Мариамик могло бы хватить, чтобы оплакать арестованных и убитых в тот день на всем Кавказе. В то утро на улицах Еревана лежали семьдесят три трупа умерших от голода людей. В Баку из ящика с песком, используемым для трамвайных рельсов, извлекли изрубленное тело русской женщины, о красоте которой можно было судить, расставив по местам части ее тела, и то лишь благодаря богатому воображению. На станции Борчалу были взорваны два вагона, битком набитых солдатами. Река Кура возле Анчхата выкинула на берег утопленницу, молодую девушку с длинными волосами.

Всего-навсего Арсен Бейбутия был арестован в Баку... Мариамик делала из мухи слона. Не в первый раз утешала сестру Анаит Георгиевну, прекрасная госпожа Анаит, предмет вожделения чиновников, прогуливающих по улице Астафян, почетный член и украшение ереванского отделения общества «Кавказское эсперанто». Она любила утешать лежковерных и не очень кра-

сивых женщин. На этот раз такой необходимости не оказалось: Мариамик не могла ни слушать, ни рассуждать, чувства ее были настолько обострены, что любое слово вызывало боль. Когда младшая сестра от отчаяния теряла голову, такие минуты были отвратительными и постыдными, но Анаит Георгиевна знала, что спокойное настроение Мариамик было как светлое утро, и она многое отдала бы за те минуты веры и вдохновения, которые бывали у младшей сестры.

Старшая сестра собиралась было проснуться, трезво посмотреть вокруг, ведь есть же способ все уладить — всего-то-навсего посадили Арсена. После того как уляжется горькое и шумное возбуждение Мариамик, весь этот переполох окажется очередной легкой истерикой, хорошо ей знакомой. Но положение было сложнее, чем она думала вначале: этим и объяснялось небывалое волнение Мариамик. Ее мужа арестовали вместе с бакинскими комиссарами. «Какая связь может быть у Арсена с комиссарами?» — Анаит Георгиевна не понимала. «Что творится на Кавказе, что здесь происходит?» — бессмысленно повторяла Мариамик. «Повсюду одно и то же... Мужчины спятили», — сказала Анаит Георгиевна, вспомнив прежние вечера в московской гимназии с галантными кавалерами, которые после каждого слова просили извинения с приторной вежливостью.

«Сейчас, я сейчас встану, оденусь», — сказала она. «Нет-нет, — Мариамик испугалась, — поедem скорее, сейчас же...» — и снова зарыдала. «Ладно. Скажи, куда надо ехать?» — спросила Анаит Георгиевна, пока еще не представляя следующего шага, смысла и сложности этого шага. «В Баку, немедленно», — Мариамик теребила ее руку. «Сейчас, когда и на улицу-то выйти опасно, ехать в Баку? — подумала старшая сестра. — Как мы поедem, что можно сделать, когда такое происходит?» Анаит Георгиевна не могла себе этого представить. Но присущим ей особым инстинктом понимала, что, даже если не ехать тотчас же, необходимо предпринять попытку для того, чтобы вытащить Мариамик из этого омута. Надо действовать, даже не надеясь на удачу, вопреки логике. Если бы дело касалось только ее, она бы и пальцем не пошевелинула. Всего-то Арсен Бейбутиян, тот самый, что день и ночь не выходил из бильярдной, как он может быть замешан в каком-ни-

будь серьезном деле, когда он дальше кончиков своих усов ничего не видел в мире... Бедная Мариамик... Ведь погибала-то сестра... Поезда шли теперь не каждый день, да и были ли они вообще?.. Но Мариамик было необходимо, чтобы они немедленно тронулись в путь, нужна попытка, хотя бы иллюзия поездки... На это Анаит Георгиевна пошла бы ради сестры — любой ценой. И они вместе вышли в город.

У Анаит Георгиевны знакомых было много — и все как на подбор. Бывший начальник городской тюрьмы Гедеванов посоветовал сестрам успокоиться, а потом сесть в поезд (когда таковой подвернется), и заверил, что хотя времена и настали смутные, тюремная мораль имеет слишком давние устои и так быстро людей не расстреливают... И он даже прищелкнул языком, мол, «нет, не расстреляют».

Бывший чиновник «Мещанской управы», бывший житель села Чердахлу Вартанов, мучительно старавшийся выскочить из кожи простолюдина, избавиться от собственной физиономии, от всего, что получил от предков, относился с особым уважением к происхождению семейства Тарханянов. Коля Вартанов позвонил по разбитому телефону какому-то служащему вокзала, но сестры ничего, кроме улыбок, от него не получили. Бывший старший советник бывшего «Российского страхового общества» Исидор Ванцян предложил сестрам сопровождать их хоть пешим ходом, и, наконец, английский офицер Дональд Филс предоставил в их распоряжение автомобиль «форд». И сестры Тарханян, распустив на ветру волосы, вместе с англичанином Дональдом Филсом двинулись к Елизаветполю.

Старый «форд» самоуверенно тарахтел, привлекая внимание конных отрядов и попадавших местных жителей, пребывавших в страхе и растерянности. Сперва дашнакские солдаты провожали их печальными взглядами, потом сестры окунались в улыбающиеся и издевательские взгляды мусаватистов с тысячью вожделений, потом какие-то беглецы, вооруженные бродяги похотливо и недружелюбно смотрели на них, но всех отрезвлял английский флаг, который легкомысленно трепыхался на носу «форда».

Филс смотрел на виноградные лозы, выглядывающие из-за раскинутых по краям дороги мусульманских надгробий и христианских крестов, и вспоминал, как

они кормили мулов изюмом. На железной дороге стояли сгоревшие и поломанные вагоны, по одной колее медленно двигался бронепоезд, на крыше которого солдаты в черкесках жарили шашлык. Филсу было приятно, что он находится в столь чуждой ему среде и полная опасностей его жизнь застрахована от единственной, самой большой опасности. У него была возможность видеть себя со стороны — он восторгался этим, чувствуя себя одновременно и героем кинематографа, и зрителем. А когда он узнал, что муж Мариамик арестован вместе с бакинскими комиссарами, в его голове возникли различные сопоставления, и интерес к происходящему обострился сверх всякой меры... Ныне Дональд Филс вез обезумевшую жену к любимому мужу, и ему было совершенно все равно, большевик ли тот или меньшевик, мусаватист или крестоносец. Кавказ был для него Кавказом — кратером диких страстей и острых запахов, и даже благовоспитанность миссис Ани, разыгрывающей европейку, была на вкус сродни кавказским блюдам.

Отчаяние Мариамик сменилось натянутой напряженностью, на другом конце которой брезжила надежда. Дональд Филс порой поглядывал искоса на выражение взволнованности, запечатлевшейся на ее лице, и ощущал всю смехотворность высоких чувств.

Мариамик не разрешала нигде устраивать привал, но возле Шемахи и автомобиль, и они сами попали в такую пыль, что Дональд Филс был вынужден прекратить этот бег взахлеб возле одноэтажного маленького дома, где впервые на Кавказе англичанин не увидел знакомой вывески «Hotel», вместо этого — множество папах и гостиница, выдыхавшая запахи шкур и чая.

Они умылись, выпили чаю, причем Мариамик ни кусочка не поднесла ко рту, спеша скорее в машину. А Анаит Георгиевна размышляла о том, почему они, две сестры, такие разные...

Баку вобрал в себя машину Филса без удивления и, помотав из стороны в сторону, в конце концов забросил ее куда-то к нефтяным вышкам, насосам, лодкам с почерневшими бортами, ломовикам с перепачканными нефтью копытами. До этого «форд» побывал около тюрьмы, в армянских кварталах, а теперь уперся носом в порт и крепко-накрепко встал.

В Баку Мариамик еще больше растерялась: в тюрьме

они узнали, что арестованных отвезли в порт, а в порту сообщили, что вместе со многими другими беженцами их посадили на пароход и вывезли в Каспийское море. Анаит Георгиевне показалось, что на этом дело закончилось, как кончается все на свете, теперь Мариамик переживет высшую степень напряжения, оплатит свое горе и привыкнет к нему, утихнет... И она незаметно следила за лицом сестры. Напряженность Мариамик, накаленная до предела, дальше которого металл уже чернеет, стала обретать новые оттенки, и изумленная Анаит Георгиевна открыла для себя новый предел страданий. Мариамик смотрела в сторону моря и бормотала: «Аник-джан, что нам делать, что делать?» И оскорбившись, Анаит Георгиевна мысленно отвернулась от Мариамик — требовать от нее еще что-нибудь было нагло и эгоистично, но потом в ней вдруг что-то зашевелилось: «Ну так что же! Ведь и это может быть вершиной для натуры, дарующей утешение и помощь, это тоже своего рода накал». И, не отводя взгляда от измученных глаз Мариамик, уже с сумасшедшинкой в глубине, она спросила:

— Поедем?

Мариамик кивнула головой, и сестры начали изыскивать средства. Дональд Филс нашел двух английских офицеров и, вероятно, для того, чтобы удивить их, рассказывал о сестрах и такой необыкновенной любви, но сам удивился еще больше, узнав о решении своих спутниц. Он помог собрать сведения о том, что пароход с беженцами и комиссарами берет направление на Астрахань. А служивший в порту айсор Эзов сказал: «Еще чего, в Астрахань! В Красноводск, к черту на кулички!»

С борта парохода «Вишневка» Мариамик ни разу не оглянулась на Филса, так и не вспомнив его лица — ни разу до конца жизни. Она замечала странные вещи: на палубе стояли фаэтоны, обыкновенные фаэтоны, без лошадей — куда их везли, зачем?..

Утром рано, на рассвете, когда пароход приближался к Красноводску, Анаит Георгиевна вспомнила это «к черту на кулички» и сама подумала о «подмышках сатаны». Ранним утром Красноводск был суров и мрачен. Скупость его форм, казалось, шла от гладкой белизны местности и провинциального покоя, она грозила каждую минуту взорваться, но так и не взрывалась, по-

тому что была окончательно сдержанной, одновременно и безразличной и манящей.

«Как уехать отсюда, с какой стороны, можно ли сесть снова на пароход или отсюда вообще не выбрать-ся?» Это был первый страх, который посетил Анаит Георгиевну на рассвете, и что-то как будто оборвалось у нее внутри. Так всегда начиналась ее печаль...

С парохода они сошли сравнительно легко, их обеспеченный вид, исходящий от них аромат изнеженности создавали вокруг благоприятствующую атмосферу, которая увлекала и вела сестер по причудливой и пестрой тверди этой жизни. На их документы даже не смотрели: взгляды не спускались ниже губ и подбородка Анаит Георгиевны, а если и спускались, то лишь задерживались на ее белых длинных руках. Только какой-то небритый капитан армянин из русской армии до боли сжал руку Анаит Георгиевны и, мельком взглянув на документы, спросил: «Куда едете?» — «В Ашхабад, к родителям», — сказала наугад Анаит Георгиевна. «Ох уж эти армяне беженцы...» — поморщился капитан, а сестры ступили на это ледяное поле под солнцем — Красноводск.

Вокруг арестантского дома бушевало беспорядочное и непонятное людское кольцо. Полномочия и возможности, должности и положения окончательно перепутались, все смешалось: полуграмотный солдат-анархист, ругаясь, приказывал мичману Каспийского флота, на котором еще ладно сидела его форма. Какие-то мелкие решения возникали прямо на месте, судьбы на лету меняли свой ход... Дашнакский полковник с несколькими георгиевскими крестами на груди тщетно пытался командовать маленькой группой туркмен. Они только улыбались про себя, как будто не к ним относились слова полковника. Метранпаж типографии, где печатался «Вестник Закавказских железных дорог», установив перед собой пулемет, сидел на верблюде и грыз сушеную рыбу.

Среди людей, увешанных оружием с головы до ног, начальник караульного отряда казался почти голым. В своей черной блузе навыпуск он был похож на бедного студента, блуза плотно облегал его худой торс: вот, мол, я весь тут. И начальник караула Осик Осипов

с таким видом играл шелковыми кистями своего пояса, как будто он случайно здесь оказался. Юный Осик изумлялся ясности своего рассудка, такому простому рисунку жизни и человеческой сумятице. Мир был прост, очень прост был мир, намерения и дела людей были ясны, чересчур ясны... И люди понятны: что бы они ни предпринимали, все давно уже сделано в этом мире... Один высокого роста, другой — низкого, а чья в этом вина?.. А теперь вот чокнутый доктор из Елизаветполя, этот свихнувшийся Шпалов пытался ослабить туго натянутые нити жизни и чуть не нарушил покой Осика.

— Мне известна технология бога. Я знаю, каким образом наказуется грех! — выкрикивал доктор Шпалов. — Психологи с тупой самоуверенностью определяют тот или иной душевный недуг, находят тысячу и одну причину, но им не хватает дара ясновидения, чтоб понять ту технологию, посредством которой наказуется грех. И до сих пор доктора не могут объяснить, почему на пути к самому невинному удовольствию стоит такое чудовищное препятствие, как сифилис. Я не могу излечивать от сифилиса вот уже пятьдесят лет. Ведь надо же богу как-нибудь осуществлять наказание — и пожалуйста, — у него есть такое простое средство... Я знаю технологию карания — она проста, но ее надо познать... Врачи по-разному разъясняют, но найти верных средств не могут. Врачи умирают, так и не поняв одной вещи: грех всегда порождает грех. Это не формула вероучения и не призыв к принципам добра. Это простая технология... Лечить можно лишь одним способом — нравственным. Врачи безрезультатно пытаются изменить химизм греха... Как бы не так...

Все эти сумасбродства были бы забавны, если бы Шпалов не сказал:

— Я знаю и твой конец. Я знаю формулу твоей гибели. Хочешь, выведу формулу твоей смерти?

Осик не хотел упустить ничего из того, что относилось к нему, даже такую чушь, и, испытывая к старику брезгливое чувство, все же сказал:

— Пускай выводит.

И чокнутый доктор взял карандаш и на каком-то грязном клочке бумаги стал писать свою формулу, писал обычные числа и алгебраические знаки, и среди них то здесь, то там помещал слово «грех». И «грех»

возводился в квадрат, множился на иксы и игреки... На бумаге росла и выстраивалась сложная алгебраическая задача. Старик так серьезно этим занимался, что Осик и трое солдат склонились над бумажкой. Решив задачу, старик получил какое-то число и к нему приписал слово «наказание».

— Вот здесь твой конец,— вытирая руки об одежду, сказал Шпалов и предложил немного изменить формулу, и в качестве первого шага — ни больше ни меньше как отпустить всех арестованных.

Старика отвели в сторонку и приклепнули, но у Осика остался неприятный осадок. Он тряхнул рукавом рубашки, словно стирая эту формулу, похожую на паутину. А когда ему сказали, что одна красивая дама добивается встречи с ним, образ полоумного доктора тут же выветрился из его сознания.

Увидев Анаит Георгиевну, Осик в уме уже предугадал ее желания и предложения: она захочет выбраться из этой ямы и отдаст за это перстень, обручальное кольцо, серьги, наверное, и деньги... У Осика была учительница, похожая на нее, такие женщины принимали его за сопляка, и это вызывало в нем особое возбуждение.

Они остались одни в домике. Осик вежливо предложил Анаит Георгиевне сесть, следя за тем, как меняются очертания ее пышных бедер, с каким достоинством она откидывается и как они любят друг друга, эти ее боязливые, стоящие рядом ножки... «Ее тело, такое лживое и такое подлинное, такое фальшивое в разговоре и такое правдивое внутри, в раздумьях о кровном. И как проста его формула, сумасшедший доктор...» Осик окреп, тело его налилось силой, от своей силы и понятливости ему хотелось вопить, метаться, но он весь подтянулся и напрягся...

— Куда тебе нужно, мадам?.. — не давая ей раскрыть рта, спросил Осик.

Его «тыканье» застало ее врасплох: то, что она увидела за эти два дня, не обещало особой вежливости, но она ждала иного от этого юноши с тонким лицом и мягкой наружностью. И удивительным образом это сочетание породило совсем другое, то, чего прежде Анаит Георгиевна не испытывала: кровь ее закипела, оболочка внешней благопристойности спала с нее.

— Не для себя прошу...

Осик опять не дал ей окончить фразу:

— Для любовника?..

Анаит Георгиевна хотела вскочить с места и уйти, но все это отдалось в ней таким потрясением, что в глазах ее появилось что-то дикое и воинственное.

— Для мужа, господин...— проговорила Анаит Георгиевна и, чтоб как-то овладеть собой, положила на стол сверток с деньгами.

Осик взял сверток и подошел к Анаит Георгиевне, положил сверток прямо перед ней и слегка коснулся ее волос, отчего она оробела,— какими нелепыми показались ей и этот сверток, и их приезд, и вообще все: революция и гражданская война, анархисты, большевики, Красноводск, «форд», Мариамик, ее муж, все, что нарушило обычный ход жизни. Ей хотелось встать и уйти, только бы уйти, убежать отсюда...

— Фамилия? — спросил Осик. И Анаит Георгиевна немного успокоилась.

— Бейбутян... Арсен...

— Не большевик ли?..

— Нет...— Анаит Георгиевна испугалась.

Осик улыбнулся, внимательно взглянул в глаза Анаит Георгиевне.

— Нет ни большевиков, ни меньшевиков, есть только хорошие люди и плохие люди...

Куда девались все прелести Анаит Тарханян, куда пропал ее блеск, у нее осталось только робкое согласие.

Осик открыл ящик стола и пробежал глазами свои списки. Этой фамилии не было среди имен комиссаров, и вообще Бейбутяна не было в списках. Он, наверное, числился среди беженцев — той трухи, которая остается после отлива.

— Он комиссар, мадам...— сказал Осик.— А комиссаров не любят ни турки, ни англичане, ни мусаватисты, ни дашнаки, ни эсеры. Только ты их любишь, раз добралась до этих мест,— неизвестно почему Осик опять посмотрел на ноги Анаит Георгиевны — то ли хотел определить, как она дошла этими маленькими ножками, то ли хотел перевести разговор в другое русло...

— Откуда ты приехала?

— Из Еревана,— сказала Анаит Георгиевна, и внезапно ей захотелось рассказать, как ее любят в Ереване, сколько там у нее знакомых, а сам Ереван скроен по ней, как футляр по виолончели.

— Из Еревана? — Осик удивился. — Ты подумай... А ко мне никто не приезжает... Далеко, мадам, трудно... И не бабье это дело...

Это грубое слово «бабье», и этот гладкий, ухоженный юноша в черной блузе... Тут было неожиданное противоречие, порядок вещей был нарушен, а от этого — и ее роль и возможности... За несколько минут этой встречи время как будто само разрушило себя, минута восстала против минуты, мгновение — против мгновения...

— Значит, ты прошла такой путь, чтоб освободить мужа... Или у тебя другие намерения?..

Анаит Георгиевна узнала иное обличье страха. Она вспомнила влажность губ ереванского прокурора, целовавшего ей руки, она никогда не предполагала, что работники суда имеют такую власть и могут ввергнуть человека в такой кошмар.

— Может, ты ехала с партийным поручением? — продолжал Осик.

— Нет,— растерянно проговорила Анаит Георгиевна. — Какой из Арсена партиец... Он играет в бильярд...

— А может, ты здесь для спекуляции валютой?

Неизвестно почему, это еще сильнее подействовало на Анаит Георгиевну.

— Нет,— вскрикнула она, и этот крик был последним остатком ее смелости.— Это муж моей сестры!.. Ее муж... Они любят друг друга... Сестра любит его, понимаете?.. Она там, на улице...

— Врешь ты, баба...— лениво сказал Осик, и лицо его изменилось. Анаит удивилась — лицо начальника караула перестало быть гладким.— Рассказывай эти штучки старым девам в театральном буфете, пусть едят вместе с конфетами.

Анаит Георгиевна даже улыбнулась — театр, буфет... Это были вещи, далекие от Красноводска, и в устах Осика внушали надежду, что еще можно найти избавление...

— Ты же знаешь, баба, что мне надо...

Анаит Георгиевна уже давно это почувствовала, и сама была к этому готова и даже в душе испытала облегчение, хоть под спокойным взглядом Осика она и выразила несогласие. А когда его жесты совпали с внутренней ее примиренностью, Анаит Георгиевна посмотрела на грязные стены комнаты, стебли соломы, свиса-

ющие с потолка, на единственный стол и земляной пол...

— Не тебя, мадам... — сказал Осик.

И неизвестно почему Анаит Георгиевну покорило от этого «мадам».

— Твою сестренку... — спокойно сказал Осик. — Говоришь, она там?

Анаит Георгиевна вскочила с табурета и поспешила разрушить замысел, который зародился в этом странном месте, в этот странный час, в голове этого странного человека... И она складывала слова, но желание и испуг, мольба и вопрос опережали ее речь. Ведь это невозможно, хотела она сказать, ведь сумасбродка, которая приезжает из Еревана в Красноводск ради Арсена Бейбутияна, не пойдет на такое... Но вместо этого она повторяла: «Она некрасива, она некрасива...»

Все произошло в маленьком глинобитном домике. Анаит Георгиевна ждала под откровенно издевательскими взглядами синеглазого солдата-туркмена, она смотрела на серую поверхность моря и не представляла, что на каком-то его берегу может быть город, освещенная улица, человеческая радость.

Мариамик выбежала из домика как загнанная лошадь, держа в руках бумажку о том, что Арсен Бейбутиян подлежит освобождению, и она была подписана рукой Осика Осипова.

Во время расстрела комиссаров Осик стрелял из маленького револьвера, который носил под блузой, в кармане брюк.

Арсен Бейбутиян узнал о похождениях сестер Тарханын и незамедлительно покинул Кавказ и бедняжку Мариамик. Он демонстрировал кавказские танцы в мелких ресторанах Парижа. До глубокой старости все его имущество умещалось в одном чемодане: шестнадцать кинжалов, три смены черкески, два бильярдных кия.

Начиная с 1924 года Осик Осипов служил в различных закавказских кооперативах.

В 1943 году в Ереване была раскрыта группа расхитителей государственного имущества и взяточников, главарем которой был Осик Осипов. Во время судебного разбирательства Осик думал, что у него есть еще много сил и желания жить, и потому боялся полагая-

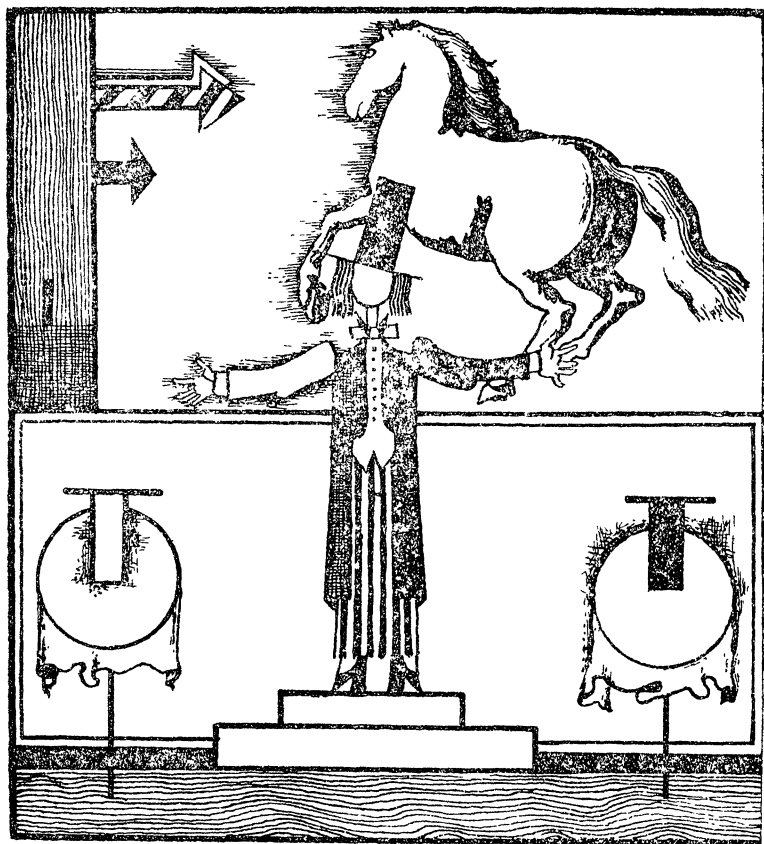
щегося по закону военного времени смертного приговора. Ему было трудно стоять на ногах. Два милиционера поддерживали его под руки, и Осик совершенно не стеснялся своего вида и того, что у него ноги подгибались на глазах у множества людей.

В ходе следствия вместе со многими делами всплыла и история расстрела комиссаров. Какая-то старая увядшая женщина вручила суду записку об освобождении Арсена Бейбутияна с подписью Осика. И когда Осик вспомнил Мариамик, в его памяти очень смутно промелькнул старый сумасшедший доктор и его исчерканная грязная бумажка. И только теперь он болезненно и мучительно хотел вспомнить, какие же цифры были написаны на том листке.

КОРОННЫЙ НОМЕР

„Фух!“ — произнес он мысленно, собираясь исполнить свой любимый номер. На одном столике стоял белый цилиндр, на другом — черный. Опустив кролика в белый и улыбнувшись, он произносил «фух!» и вынимал кролика из черного цилиндра. Номер шел уже давно и успел изрядно надоесть публике. Однако она хлопала, потому что так было принято, существовала некая взаимная договоренность. Люди построили цирк — место, где собираются и смотрят зрелища, аттракционы, разные манипуляции и хлопают. Если бы они вдруг вздумали нарушить эту условность, то номер оказался бы совершенно ненужным. Впрочем, зрителям было приятно уже оттого, что все идет своим чередом, все на месте: освещение, манеж, фокусник, цилиндры, кролик, униформисты, администратор, выходы... Однако более всего радовался фокусу сам фокусник. Он еле сдерживал ликование, стараясь, чтобы лицо не расплывалось в улыбке, когда он вытаскивал кролика. Он испытывал благоговение перед собственными действиями и перед тем, кто придумал этот фокус.

Но в ту минуту, когда он сказал себе «фух», перед тем, как кролику очутиться в другом цилиндре, он вдруг ощутил прилив такого вдохновения, что оно вызвало совсем неожиданное ощущение — внезапно его охватила грусть. Он на миг замер, с полуулыбкой глядя на съежившегося кролика. Вот сейчас он произнесет



«фух!», и кролик окажется в другой шляпе. И тут он по-новому удивился тому, что кролик вообще существует. «Фух!» — и из ничего возник кролик. Кролик сам по себе — это уже фокус, даже чудо, и не имеет никакого значения, очутится он в другом цилиндре или нет. Разве в этом фокус? Взгляд его задержался на собственной руке. «Фух!» — и он родился, «фух!» — и попал в тюрьму ни за что ни про что. Там познакомился он с фокусником, и тот научил его разным манипуляциям. А выйдя из тюрьмы, он сам стал показывать трюки. Если бы не этот фокус с попаданием в тюрьму, вряд ли он стал бы фокусником. И он был доволен, что попал в тюрьму. Смешно, конечно, но это было так.

В нем вдруг возникло странное ощущение, что все вокруг хорошо, что он любит всех. Любит не только людей и животных, небо и землю, но и что-то еще большее. Это большее было трудно выразить словами. Оно было внутри него, и он сам входил в него как часть в целое. Его охватило огромное воодушевление, возникло сознание своей силы, своей правоты... Словно внезапно границы возможного раздвинулись, узкие рамки вдохновения стерлись, и он понял, что может все. Может сделать видимым для других и осязаемым любое свое чувство, свою доброту и любовь. Любовь и доброта всесильны, они даже могут обрести плоть! Истинная любовь и доброта способны творить чудеса, они настолько могущественны, что дают начало всему телесному. Лысый фокусник произнес мысленно «фух!», и в центре манежа появился большой кролик. Вдохновение его было сдержанным, но странно глубоким и необъятным... Он еще раз сказал «фух!», и на арене, словно из-под земли вырос белый конь. Это могли заметить лишь немногие, и он сам не сразу догадался, откуда этот конь. Он оглянулся — двери цирка заперты, униформисты, зевая, глазают по сторонам. Он сосредоточился, сказал себе «фух!» — и на манеже появилась вторая лошадь, горячая гнедая. Фокусник догадался — его любовь обладает свойством материализоваться. Вот, пожалуйста, к вашим услугам! Он уже чувствовал, как в нем совершается переход от этого «пожалуйста» к делу. Почему все оказалось так просто, откуда шла эта легкость? Он, больше не задумываясь, сказал «фух!», и в центре манежа родился красный конь, пламенный, как его любовь, и вихрем понесся по арене. Удивляться не было времени. Он повторил заветное слово, появился новый конь. Это была жизнь — насыщенная, полная любви! Точно его внутренняя теплота и чувства сжались, как газ, который, сгустившись, превращается в нейлон. Чувства сконцентрировались, превратились в плоть и кровь, в живого скакуна!.. Он познал настоящую жизнь, его обычное удивление улетучилось, все прежнее существование исчезло — все страхи, половинчатая любовь, полуправда... Уж с ними бы он ничего не сумел создать!.. Проклятье, проклятье! Как же это просто: «фух!» — и вновь появляется конь! Фокусник отбросил в сторону трость и галстук, он стоял со спутанными волосами и командовал конями, создавая

все новых и новых. Скакуны как будто рождались из него. А внутри него горел пожар, его просто распирало от любви, поразительной любви! Он знал, что из накопившегося в нем чувства может сотворить что угодно. Это было чудо.

Арена заполнялась скакунами, а он все продолжал их создавать. Но зрелище стало утомлять зрителей. Коней перевидали они сегодня предостаточно. Кто-то поднялся, направился к выходу. Администратор незаметно подошел к лысому фокуснику и будто между прочим прошептал: «Послушайте, так нельзя... Надо же знать меру».

А фокусник ничего не замечал и не слышал. Кони — красные, тусклого золота, вороные, помесь огня и угля, с бронзовым, стальным блеском смешались на манеже и кружились рядами — одни вправо, другие влево, третьи снова вправо... Манеж горел, бился и стучал, как огромное сердце...

Фокусник имел очень забавный вид, полы рубашки выглядывали из брюк, глаза горели от возбуждения. Радость его была смешна, были смешны его лысина и движения. Он размахивал руками и мысленно твердил свое «фух!». А зрители устали и самые бесцеремонные покидали цирк.

Они не видели чуда, им нужен был фокус.

СКАЗКА

По вечерам я возвращался в холодную гостиницу и входил в свой холодный номер. В полутьме я ложился на кровать, накидывал на себя еще и одеяло с соседней кровати и весь съеживался — в надежде немного согреться. Ночью от холода то и дело просыпался, наконец набрасывал поверх одеял еще и пальто, снова закутывался в одеяла — и думал: на кой черт я заехал сюда...

Жалкая моя жадность до новых впечатлений, мое бессильное, ребяческое желание успеть взять от жизни как можно больше, так как, уйдя из нее, ты уже не вернешься,— побудили меня забраться в эти места... «Но что я еще возьму от жизни? Ну, зачерню еще несколько точек на карте, прошумлю чуть громче других... А потом?..»

Этот город (или село), который значится не на всех картах и не во всех учебниках географии, приманил меня, притянул к себе. «Здесь я могу пробыть лишь несколько дней: у меня мало денег, мало также и времени...» И сегодня весь день я бродил и ощупывал стены, камни, разглядывал дома, впивался глазами в старенькие постройки, похожие на церкви... «Ты должен успеть увидеть и это и вот это, чтобы ты понял, какова жизнь и, может быть, постиг ее мудрость, смысл... Спешу увидеть, чтобы не сказали, или, вернее, не сказал бы ты сам о себе: болван, бездарь, кто только не бил тебя... ты так ничего и не увидел на свете, ты просто слаб, слаб... и потому ты ничего не взял, не смог взять даже то, что другие и не желают брать, даже то, что твое...»

Этот город (или село) и впрямь удивителен. В центре его — небольшая площадь, как, впрочем, и во многих других городах и селах; все главные улицы, лучеобразно расходящиеся от этой площади, устремляются высоко вверх и там переходят в зубчатую горную цепь. Вместе все это образует нечто похожее на воронку, края которой имеют вид пилы. На двух из этих каменных зубцов стоят церкви, на остальных пасутся овцы.

Убраться, удрать отсюда почему-то казалось мне делом нереальным. словно я был обречен терпеть весь век гнетущую скуку этой каменной воронки... На станцию автобус отправлялся в три часа ночи, да и то раз в два дня, поезд уходил в пять часов ночи, да и то в три дня раз... Желание уехать не давало мне покоя, однако я был в состоянии какой-то расслабленности, я весь как-то размяк...

Должно быть, меня уже знали все жители. Каждое утро я начинал свой путь с площади, оттуда поднимался на гребень одной из гор, и если приросшие, пригвожденные к площади фигуры лениво поворачивали головы в сторону гребня, где улица обрывалась и где показывался я, то через несколько часов они поворачивали головы в сторону гребня другой горы, потому что я показывался уже там.

Темнело рано, темнота приходила вместе с холодом, улицы делались еще пустынее, иногда мне попадались мрачные существа, подозрительно косившиеся на меня.

В селе (или городе) рынка не было, и я питался в столовой гостиницы. Я исходил уже все улицы; побы-

вал уже и на кладбище; там были хорошо отесанные плиты, бросались в глаза хачкары — каменные кресты; на одной могиле росла виноградная лоза, могила была огорожена ржавыми спинками железных кроватей.

После обеда сразу наступал вечер, и холод становился удручающим. Возле площади было что-то вроде кинотеатра, где я, коротая время, смотрел забытые, старые фильмы...

Мне необходимо было выйти к трем часам ночи на площадь, сесть в автобус и поехать на станцию — только и всего. И я, как ни странно, не мог, не верил, что могу решиться все это сделать...

Я подолгу смотрел на поднимавшиеся вверх улицы, на церкви, видневшиеся наверху, и уже не взбирался туда, на макушки гор, а, поглядев на них, возвращался в гостиницу...

Я выпил стакан чаю, и одетый в засаленную куртку официант, он же повар и вообще всему делу голова, почему-то попросил у меня паспорт, хорошенько рассмотрел его и вернул. Я выпил еще чаю, слегка отогрелся, сказал «спокойной ночи» и побрел в свой номер.

Под самым потолком висела загаженная мухами лампочка — и свет был тусклым. Я вскочил на стул и попробовал стереть с нее полотенцем грязь. Грязь засохла, и стереть ее почти не удалось. И все же мне показалось, что в номере стало чуть светлее. И в чем был — в шерстяных носках и верхней рубашке — я влез под одеяла, бросил на них еще и матрац с соседней кровати и попытался почувствовать себя защищенным.

Стекло моего окна было замазано кое-как, и от ветра все время вызванивало. Казалось, ветер врывается в комнату, и оттого приятное ощущение слабого тепла моей постели усиливалось... Я понимал, что мне нужно встать и как-то укрепить стекло, но я этого не делал, откладывал на потом. Иногда я вставал и подходил к окну, но делал это мысленно, и значит — оставался лежать; получалось, точно в какую-то игру я играл. Мне любопытно было узнать, когда я действительно подойду к окну и как это произойдет. Все мои движения совершались в моем мозгу так, словно я двигался на самом деле, и мне трудно было представить себе, какими же будут или должны быть эти мои движения в действительности... Наконец я вышел из состояния оцепене-

ния — встал и подошел к окну. В окне я увидел себя, протянул руки к стеклу и — оторопел. Видневшаяся в нем фигура была выше меня. Глаза были большие и внимательно на меня смотрели. Я припал лбом к стеклу, подышал на него и убедился — голова смотрела снаружи, она была не моя. И я подумал — бежать, немедленно бежать, и мной овладели все постыдные чувства, и это было отвратительно. Должно быть, от страха я не смог отойти от окна — и вгляделся. За стеклом вырисовывался голый человек. Я отпрянул, но тотчас же выругал себя и снова припал лицом к стеклу. Человек исчез. Я успокоился, отошел от окна и снова увидел в стекле висевшую под самым потолком тусклую лампочку и мое обыкновенное, небритое, недоуменное лицо.

«Игра воображения», — заключил я и лег в постель.

Проснулся от утреннего холода. За окном все белело — улицы, церкви: ночью шел снег.

Глазам сразу же предстало ночное видение. Однако утро выдалось такое белое и было таким ясным, четким, предметным, что видение это показалось мне непостоянством, обрывком сна.

Я все хотел выпростать из-под одеял руки и не мог, но спустя некоторое время в коридоре раздались голоса, и это заставило меня встать...

Горячего завтрака в столовой не оказалось, и я удовлетворился хлебом, сыром и чаем. Просидел я довольно долго, прикладывал озябшие пальцы к стенкам стакана, посматривал на покрытые скучными пятнами стены, на выставленный в буфете рокфор и, размышляя, пришел к заключению, что вечность, вероятно, не что иное, как вот этот сыр, этот неряшливый буфетчик, и наступивший день, и грядущий вечер... Буфетчик долго не спускал с меня заспанных глаз, потом смахнул с моего стола крошки хлеба и спросил:

— Какой у тебя номер?

— Сорок третий, — ответил я нехотя, перехватив его взгляд и машинально выдвинув ногу вперед; был убежден: что бы я ни сказал, он не поверит; скажу, что жизнь хороша, не поверит, скажу — нехороша, опять-таки не поверит.

— Сорок третий, — повторил я и собрался встать и уйти, но встал я только мысленно, так же мысленно направился к дверям и вышел.

Он натянул перед собой свое полотенце — точно так, как отмеряют ткань, и приблизил его ко мне:

— Такую ногу ты видел?

— Есть баскетболисты ростом в два метра и тридцать сантиметров. У них ноги приблизительно такие.

— Ты видел?

— Видел.

— Я не видел,— не поверил он мне и, обернувшись к окну, указал рукой на улицу.

— Сегодня утром наш хромой набрел на следы чьих-то ног,— тянутся до самого верха горы. Я сказал— твои. А? Следы большие. Теперь вижу: не твои. Хромой подумал, что медвежьи. Следы дошли до макушки горы и пропали...

Я вспомнил вдруг случившееся ночью, чуть было не заговорил об этом, но сдержался.

— Медведи же не обуваются, — сказал я.

— Да, ноги были босые.

— Значит, кто-то босиком шел по снегу?

— Медведи иногда проводят нас, спускаются с гор. Но я подумал, что следы скорее всего твои. Ведь здесь только ты добираться до самого верха гор...— И он захохотал, сразу подняв на смех и мою позу, и бессмысленность моего появления на свет, и бесцельность моего существования, и то, как я был одет, и все, все...

— Смешно?

— Да нет... Отчего же?... Кроме нашего хромого пастуха, у нас никто так часто не взбирается на эти горы. И притом он только на одну макушку взбирается, а ты за день успеваешь на всех побывать.

Я понял, каким смешным казался я окружающим, и почувствовал себя лишним, ненужным. И теперь я и сам признал себя действительно смешным: то на этой горе вырастаю, то неожиданно — на другой.

— Хочу лучше увидеть ваш город... здесь удивительные улицы... церковь с пятнадцатого века стоит...— пробормотал я под нос, как бы оправдываясь. Потом промямлил что-то о готическом стиле, о персидских фресках, отчего глаза буфетчика приняли другое выражение.

— Ты по церковной линии приехал?

— Нет,— сказал я растерянно,— просто интересуюсь.

В будке сапожника, поставленной возле гостиницы,

несколько человек разговаривали о таинственных следах; перед сапожником лежали две картонные подметки, мастерски вырезанные им в форме этих следов.

Моя боязливость заставила меня предположить, что сапожник и его приятели могут подумать обо мне черт знает что, заподозрить меня в чем-то дурном, связать с загадочными следами, и я опасливо и заискивая выложил им все, все услышанное мной о следах, как последний предатель приукрасив свой рассказ выдуманными подробностями. Чего не сделаешь, когда боишься людской молвы!.. И вдобавок я, как последний трус, ни словом не обмолвился о моем ночном видении. И мне стоило большого труда, чтобы не взмолиться: нет, я вовсе не странный, совсем не сумасшедший... пожалуйста, поверьте... не смейтесь надо мной, я такой же, как вы...

Потом я сказал, что улицы как улицы, что слоняюсь себе, ничем не интересуюсь, просто-напросто боюсь ожиреть... да и врач посоветовал... не то чего ради лазил бы я на ваши горы?

В холодную погоду слухи распространяются еще быстрее. Когда я проходил через площадь, по всему было видно, что историю загадочных следов знали уже все.

Люди, собирающиеся на этой площади, на все смотрят долго; пристально, упорно, томительно долго. Если в поле зрения человек, то они рассматривают его ноги, его голову, шапку, лицо, глаза, уши; они смотрят на него, не мигая, не отрываясь, пока он не исчезнет из вида. Они уже насмотрелись на свои горы, на свои улицы, друг на друга, и теперь уже ничто их не интересовало, кроме меня...

Я опять вошел в столовую.

— Подозревают, что это следы снежного человека, — сказал буфетчик и кивнул на сидевших за столом людей.

Это предположение я расценил уже как дань моде. Я равнодушен к появляющимся в прессе статьям о снежном человеке и вообще о всяких фантастических вещах. Сидевший за столом учитель, разгадав выражение моего лица, тут же начал излагать свои соображения относительно снежного человека, делая при этом ссылки на ученых разных стран. Рассказывая, он изредка взглядывал на меня, чтобы видеть, как я, житель большого города, удивляюсь эрудированности жителя

маленького города (или села). Я и действительно удивлялся, хоть мне и были неприятны эта его осведомленность и в особенности его настроение... «Господи, пусть он уличит меня в незнании какого-нибудь элементарного закона физики или, к примеру, таблицы умножения,— говорил я про себя,— и таким образом сразу докажет, что я неуч и профан. Ведь иначе эта демонстрация учения и эрудиции будет продолжаться... Однако ж и после того как учитель достигнет своей цели, я вряд ли проникнусь к нему уважением... Я знаю, он взвешивает, оценивает каждое слово, каждый жест сидящих за столом людей; с помощью своих весов он давно уже определил, что стоит и что значит каждый из них, и буфетчик, и он сам...»

«Ты можешь думать хорошо о человеке, который сделал тебе дурное?» — спросил я его мысленно.

Я направился в угол и сел за маленький столик. Им, учителю и прочим, не понравилось, что я обособился,— они нет-нет да и поглядывали на меня исподлобья.

«О людях я думал хорошо, но относился к ним плохо, следует поступать наоборот: думать плохо, но относиться хорошо», — сказал я, размыслив.

Потом буфетчик положил на стол нарды, и учитель бросил на меня вопрошающий взгляд. «Это по-человечески, он хотел бы сблизиться со мной, — рассудил я про себя, встретив взгляд учителя.— Не подойти — значит преступить закон людей».

Они не много потратили времени, чтобы выяснить, кто я есть, каков запас моих возможностей, какова мера моей находчивости. Прощупывая меня, будто между прочим ощупали и мои мускулы, постукали по коленям, желая узнать, крепко ли держусь на ногах,— и успокоились, вернее — вдруг как-то устали от меня... А главное, они уточнили, какого мнения я сам о себе, поняли также, что по причине своей слабости я, вероятно, уважаю их все-таки больше, чем самого себя... Спустя некоторое время им уже не хотелось отвечать на мои вопросы, и я переспрашивал. И не обижался. Все свелось к этому, и я уже имел право незаметно уйти. Я так и сделал, твердо решив, что завтра непременно уеду, уеду — как бы ни было холодно, как бы ни было трудно проснуться среди ночи, выпростать из-под двух одеял и пальто теплые руки, выйти на площадь и там дожидаться автобуса. И вдруг испугался: а есть ли

здесь автобус, поезд? Не за пределами ли мира этот город (или село)?

Земля была еще белее. Тяжелый, сумрачный и грустный свод нависал над моей головой. Я медленно обошел площадь. Потом мне захотелось выйти на одну из поднимающихся вверх улиц и взобраться по ней на вершину горы, на которой ни разу еще не был — может, оттуда разгляжу вдаль железную дорогу, другие какие-нибудь места?..

Спотыкаясь, спускалась навстречу мне женщина с ведрами в руках, метнула на меня искоса благочестивый взгляд старой хитрой грешницы, от которого я почувствовал себя потерянным, жалким. Объятый унынием, я посмотрел наверх и стал спускаться вниз. На мокрой стене шевелился клочок афиши, у стены стояли два человека в сдвинутых набок черных кепках и в длинных, с квадратными плечами пальто. В киоске я купил газеты месячной давности. В номере, не снимая пальто, повалился на кровать и, развернув газету, начал водить глазами по буквам.

Вечер приближался медленно. Я взглянул в замерзшее окно и ясно ощутил, что переносить скуку и терпение я более не в силах. Я вышел из гостиницы и выбрал на одну из улиц. Она тоже вела вверх, однако в отличие от других улиц сперва немного спускалась. Это была улица старого города (или села), имевшего лишь одну гору, и как раз на ее вершине стояло одинокое строение — не то церковь, не то мечеть. Если б строение было без купола, я не подошел бы к нему... Узкие улочки старого города спутывались, балконы домов налезали друг на дружку, из-под снега высывались булыжники, выше, там, где мостовая сходила на нет, их сменяли валуны, на которых снег уже не мог держаться.

После утреннего разговора я еще больше тяготился своим одиночеством.

Внизу, под горой, город был весь в тумане. Мысль, что мне придется спуститься вниз, ужаснула меня, и если б впереди была дорога, я так и продолжал бы идти, пока наконец не выбрался бы из этих мест...

Строение оказалось хлевом. Однако в его наружных стенах я увидел украшенные резьбой камни, дверь была в узорах, а внутри стены были расписаны; на них сквозь темноту мало-помалу выступили фрески — очень

цветистые и очень простые, изображающие любовь, страсти, смерть и сказки человека. Здесь было все то, что остается от людей — желание жить, страх, тревоги... Здесь были нарисованы лица людей, от которых ждали помощи, однако глаза на этих лицах выражали испуг и робость.

Я вышел. Неподалеку стояла какая-то женщина в черной шали, смотрела на меня, вобрав голову в плечи. Долго смотрела на меня эта женщина. Я повернулся лицом к строению и дал ей понять, что интересуюсь только им.

До ночи было еще много времени, ходить по скользким валунам было трудно, оставалось снова войти в помещение. И чтобы убить время, я принялся рассматривать каждую фреску в отдельности. Фрески показались мне слишком старыми, избитыми, убедительно аргументированными железной логикой и временем...

Понемногу темнело. Я боялся взглянуть на часы... «Подожду, пока совсем стемнеет, может, это облака или тени какие». Вскоре темнота сгустилась, и я обрадовался, что время движется; пока спущусь вниз, пройдет еще один час.

Внизу ковылял хромой человек, которого я встретил вчера. Я сделал несколько шагов и обернулся — чтобы лучше запомнить вершину горы, запечатлеть в памяти и его, взять с собой и этот кусочек мира, хотя и тягостный, хотя и грустный.

Из-за выступа скалы кто-то смотрел на меня.

Я быстро опустил голову, прибавил шаг, однако удивительный чей-то образ вновь засветился в моем мозгу... «Загадочные следы, ночное посещение... Довольно фантазий!» — прошептал я в раздражении и повернулся, чтобы удостовериться... И похолодел: за выступом скалы стоял голый человек. Это была женщина. На фоне снежной пелены тело ее едва виднелось, только длинные, спадавшие с плеч волосы делали ее доступной для глаза. Она смотрела на меня. Я вспомнил, что близна снега вызывает обман зрения... «И все же не лучше ли сорваться с места и убежать?» Я вспомнил также разговор в столовой, человека, стоявшего за моим окном. И остолбенел. Так нередко случается ночью — жизнь превращается в сон, и на душе становится легко, и ты отдаешься своему состоянию, своему сну. Это, видимо, и есть то ядро твоей жизни, ради которого жи-

вещь, оно сильнее смерти, чувствуешь, что именно его всегда несешь в себе.

Я направился вверх, даже не подумав взглянуть вниз, в воронку, чтобы узнать, есть ли там люди. Но пройдя несколько шагов, я остановился — и потупился... Мозг мой был возбужден, и мне могло примерещиться что угодно. Я поднял голову. Женщина спускалась вниз. Она шла спокойно, и уже четко вырисовывались ее обнаженные груди, стан, бедра. Большие ее глаза смотрели на меня, лицо ее завораживало. Я забыл все, и мной снова завладела ненасытная моя страсть — поверить и в этот сон, унести с собой и этот обман...

Я протянул руку, провел ладонью по ее плечу, потом по всей руке и слабо сжал ей пальцы. Кожа была нежной, но женщина, по-видимому, не чувствовала холода. Я посмотрел в ее глаза и не смог отвести взгляда. Пришедшая мне в голову первая в моей жизни мысль, которая осталась во мне и которая, по всей вероятности, была продолжением какой-то другой мысли, все страхи, когда-либо испытанные мной, все мои слабости были в ее глазах. Я как бы видел свое подсознание. В ее глазах были и мои затаенные чувства, которые я скрывал из гордости, и моя простительная беспомощность, и мое великое беспокойство. Передо мной стоял не чужой человек. Я поцеловал ей руку, потом поцеловал ее в губы — и больше ни о чем не думал.

— Вчера ты была у гостиницы? — спросил я и по выражению ее глаз понял, что она не поняла моего вопроса, она не понимает моего языка. Я снял пальто и накинул ей на спину. Она улыбнулась. Пальто сползло и упало. Потом она долго разглядывала меня... Потом она потянулась губами к моим губам.

Я полюбовался ее добрым, открытым взглядом, и вдруг в моем уме мелькнула новая мысль: «Если это видение столь материально, что я ощущаю бока, бедра, грудь, я должен воспользоваться случаем...» И она не могла не появиться — эта постоянно, неизменно повторяющаяся в умах, обусловленная многими причинами мысль. «И даже если стоящая передо мной женщина просто снится, я все равно должен воспользоваться ее наготой, ее простодушием, незащищенной доверчивостью...» Она взглянула на меня, ответила лаской на ласку, и я по взгляду ее понял, что ничего дурного не произошло и что принизить ее я не могу.

— Кто ты? — спросил я.

Она всмотрелась в мои глаза и показала рукой на горные тропы, вдалеке исчезающие в белом высоком тумане.

Я почувствовал, что, всматриваясь в мои глаза, она может ответить также и на третий мой вопрос, и на четвертый... И я подумал: ах, бог мой, зачем же мы насочинили все эти слова, предложения, ударения, которые только растягивают, затемняют, запутывают наши мысли, позволяют хитрить, кривить душой?.. Я почувствовал, что она все видит и что лишь одно это — естественно. И я показался себе варваром — вместе со всеми законами и условностями своего языка...

Я крепко держал ее за руку, опасаясь, чтобы она не ушла. Казалось, сейчас проснусь — и все рассеется. Я осязал ее руку и забывал о будущем. И не знал, что дальше делать: спуститься в город? идти куда глаза глядят — с голой моей женщиной?.. Бессвязные и обыкновенные мысли роились у меня в голове. Я вспомнил, что в три часа ночи придет автобус, которого я так мучительно ждал, вспомнил бог весть почему, что еще не обедал, потом — что должен показаться вниз. И вдруг вздрогнул от страха — снова ощутил руку женщины... «Еще раз попытаюсь накинуть ей на спину пальто, доберемся до города, проникнем в гостиницу, там одену ее во что-нибудь, никто ничего не узнает, и ночью уедем ко мне домой, затем — женюсь...» И тут я снова впал в отчаяние: «Но ведь она может так же легко приблизиться к любому другому... ведь соблазнить ее — дело нетрудное: она голая, добрая. Непосредственность, которой она дарит меня, другие используют куда ловче... Я знаю, как это произойдет... Я здесь один... И только поэтому она со мной». Мне стало жаль себя... «В состоянии ли я буду — такой смешной — бороться вниз за нее?»

Площадь была пустынна, не было ни души и на улицах; в пустой городской автобус, позевывая, ввалился человек с мешком в руках, и автобус тронулся.

Я шел оскальзываясь, крепко сжав руку голой женщины. Дверь гостиницы приоткрылась, задребезжала, я прикрыл собой свою спутницу, и мы втокнулись вовнутрь.

Уборщица, когда мы вошли в коридор, похрапывала.

Она приподняла голову, повернула ее в нашу сторону, не открывая глаз, и тут же опустила на стол.

Чуть свет я побежал в столовую. Вечер и ночь никак не укладывались в моем мозгу... Не выдумал ли я их? Естественный, привычный ход моей обычной жизни здесь прерывался. «Но, может, и такое с людьми случается, я могу поверить, я легковверный...» И теперь минутами приходило в голову — на земле ли я нахожусь? И так мне захотелось возвращения всего знакомого, всегдашнего!.. Я будил в себе каждодневные мои мысли, ощупывал стены, двери... Моя голая женщина была в номере, спала — нагая, без одеяла.

Я обводил глазами наслезанные лестницы, висящие в каморке директора ключи от номеров, сложенные у него на столе истрепанные паспорта — и порывался спуститься на землю, и не понимал своего состояния.

Буфетчик был в пальто, тер глаза — растревоженные, бегающие. Здесь был и сапожник — стоял, нагнувшись над печкой. В такую рань здесь был и сапожник.

Буфетчик уставился на меня, хотел было что-то сказать, сообразил, что это я, — и промолчал. Но поскольку ему все-таки хотелось что-то сказать, он пробормотал, ни к кому не обращаясь:

— Я говорил... чуяло мое сердце...— Потом усмехнулся и адресовался непосредственно ко мне: — Ты спал? Видишь, весь город всполошился...

Я подумал о моей вчерашней встрече. Должно быть, нас вчера заметили — меня и голую женщину. Вот тебе и на!

— Почему?..— чтобы не выдать своего состояния, попытался я спросить спокойно и — осекся.

— Э-эх! — тряхнул рукой буфетчик и вдруг подскочил к окну.— Вот еще один! — разразился он истеричным криком.— Вот! Еще один идет в эту сторону!

Сапожник бросился к дверям, закрыл их на ключ, затем схватил кочергу и встал у окна.

Из-за их спин я посмотрел на улицу. По мостовой шел голый человек. Я с радостью подумал, что, следовательно, в этом городе ничего необыкновенного со мной не произошло — его, голого человека, видят и сапожник, и буфетчик, и все остальные. И я весь погрузился в мою сказку.

Это был уже голый мужчина. С длинными ногами, длинным корпусом, с белыми руками, широкоплечий.

Он гордо двигался плавной поступью по направлению к площади и не оглядывался по сторонам.

И вдруг я испугался — что моя голая женщина, возможно, не одна... что я могу потерять ее... Испугался также — что я другой, совершенно другой — не голый... И меня охватило безумное желание — сбросить с себя все свои тряпки, оголиться. И я испугался своей наготы...

Сапожник взорвался:

— Если б кто-нибудь ударил, убил его! Наверно, сейчас его видят и мои дочери, и моя жена!.. Ух! Неужели его так и не застрелят?

Внутренняя дверь кухни открылась, и в столовую вошли вооруженные старинными охотничьими ружьями люди — учитель и еще трое.

— Смотрите! Смотрите! — крикнул сапожник. — Вот еще один!.. Их много! Их очень много!

Учитель подошел к нему.

— И все идут в эту сторону, — сказал учитель и насунился. Затем лицо его приняло еще более суровое выражение, и он добавил: — Ничего у них не выйдет — не придут! Не так-то это легко, мы не дадим...

Я вздрогнул от его слов и выразил слабый протест:

— Зачем вы так? Что они нам сделают?

— Что сделают? — спросил учитель тоном совершенно неожиданным для меня. И вдруг вскипел: — Ничего особенного! Просто покажут свои тела, покажут свои голые тела, и все. А после они захотят, чтобы и мы оголились... Вот что они сделают!

— С кем разговариваешь — с ним? — обдав меня холодным взглядом, подсадовал буфетчик.

Учитель, буфетчик и другие стали неузнаваемы. Я подумал о моей голой женщине: «Только бы спасти ее, и больше мне ничего на свете не надо».

— Они голые, безмозглые! Ты что, не видишь? — раздраженно бросил мне пришедший вместе с учителем неизвестный. — Сегодня мы попробовали поговорить с одним из них по-человечески. Не получилось. И мы его — бах! Так-то... — И он звонко прищелкнул языком.

— Теперь разрушатся наши очаги, и не будет у нас покоя!.. Смотрите, они не боятся и не защищаются...

В конце улицы показались еще два голых человека. Это были юноши — рослые, статные, с широко открытыми голубыми глазами. Они были красивы, но красота

их вызывала странное чувство, какое-то противоположное чувство — хотелось кричать, причитать, вопить.

— Я больше не могу! Стреляйте!—ломающимся от ярости голосом взвизгнул буфетчик.— Им нет конца.

Показались и две женщины, одна с ребенком на руках, другая, вероятно, ее мать — нагая старушка.

Дверца в воротах с низким козырьком внезапно отворилась, и в сторону молодой женщины полетел кусок железа; железо ударило ей в ногу, женщина удивленно огляделась и повалилась на землю.

— Так! — возликовал сапожник.

Я побежал в гостиницу и ворвался в свой номер. Кровать была пуста. Я кинулся в коридор, постучался в две-три двери, потом из окна уборной посмотрел во двор. Во дворе, возле кочегарки, на заляпанном черным мазутом снегу лежала моя голая женщина. Вокруг толпилось человек тридцать, и они пинали ее ногами и оплевывали...

Тело женщины было измазано грязью. У нее не было желания защищаться, она не понимала, чего от нее хотят, и удивленными, умными глазами смотрела на измывающихся над нею людей. А те смотрели на ее тело, на ее соразмерные формы, тугие груди, и в их сердцах зарождалось желание любить, но вместо того чтобы целовать это тело, обожать и боготворить эту женщину, они пинали ее ногами.

Глаза людей, убивавших женщину, почему-то улыбались, были полны страсти, ликования. Все эти люди уже и сами не знали, чего они хотят.

Некто веснушчатый, мясистый усердствовал больше всех... Вот он рассчитанно поднял ногу, ослабил и с силой наступил на грудь женщины. Затем, продолжая самодовольно ухмыляться, нажал, женщина закричала, кто-то швырнул в ее открытый рот ком грязного снега.

— Зачем вы так?.. Прошу вас...— пролепетал я, закрыв глаза.

Меня оттолкнули, ударили по голове. Я хотел пробиться к телу, защитить его... Когда я пришел в сознание, голая женщина была завалена снегом.

Голых людей становилось все больше. Они спускались с близких гор и по извилистым, тесным улицам подходили к площади. Было уже довольно светло, и они были не бестелесными существами, а людьми.

Из-за ограды грянул ружейный выстрел. Голый че-

ловек упал навзничь. Со всех сторон полетели камни. Голые люди были сильными, их с трудом сбивали с ног. Тут и там распахнулись ворота частных гаражей, выкатились автомашины, рванулись навстречу голым людям. Воодушевление росло...

Голых людей становилось все меньше и меньше. Наконец высыпали из закоулков женщины — с палками и с кухонными принадлежностями в руках, звероподобные мужчины с топорами, из гостиницы вышли учитель, буфетчик и остальные. Со двора гостиницы вывалила сделавшая свое дело толпа — возглавляемая кочегаром... Примчались и дети...

И все наносили удары, стреляли, били — камнями, палками, чем попало.

Мне было уже все равно; я видел восторженное иступление жалких, трусливых и, должно быть, больных людей...

И мне захотелось погибнуть. Можно было бы оголиться и побежать, пристать к голым людям, и увесистый кусок камня покончил бы и с этой моей сказкой... Однако было холодно, и я только мысленно захотел, мысленно сбросил с себя одежду.

На площади скопилось множество неподвижных тел; голые, они гармонировали с белым снегом и напоминали волны. И не было вокруг следов крови, следов смерти — и все случившееся действительно походило на сон.

Вокруг площади теснились возбужденные люди в черных длинных пальто. От них клубами поднимался пар, но им было холодно. Теперь они были в еще более лихорадочно-приподнятом настроении и, быстро повертывая головы, высматривали — нет ли где уцелевших голых людей...

Я почувствовал, что отныне они будут еще более жестокими, еще более жалкими и еще более несчастными.

Я хотел и не мог представить себе — какая сила должна защитить этих вооруженных топорами, ружьями и машинами бедных людей...

Учитель обозревал окружающее, и вдруг вдали, в самом конце улицы, там, где она переходила в нагорную тропу, он увидел голого человека.

Это была старая женщина со струившимися по спине седыми волосами, которая уходила, убегала прочь от площади.

Учитель усмехнулся, сунул в ствол ружья патрон, прицелился и выстрелил.

Старая женщина продолжала идти.

Люди повернулись лицом к учителю.

Учитель снова зарядил ружье и снова выстрелил.

Старая женщина продолжала идти. Она дошла до скалы, и тело ее слилось с чертой горизонта. Несколько человек недоуменно посмотрели на учителя и все вместе вскинули ружья. Раздались выстрелы.

Старая женщина продолжала идти. И я уверовал, что убить ее невозможно.

Долго виднелось ее удаляющееся красивое голое тело, и все почувствовали, что она еще вернется на их площадь.

Я — МОЯ МАТЬ

Мой знакомый режиссер пригласил на съемки молодого актера из Москвы. Я знал этого актера по фильмам и был знаком с ним лично.

Работы по фильму только начинались. Немногие, наверное, знают про все сложности в кино. Ситуация была что надо: клубок разгорающихся страстей, клубок все более осложняющихся взаимоотношений... Еще в Москве и потом, в дороге, режиссер говорил не столько о фильме, сколько о всяких организационных делах. Актер со своим именем мог помочь режиссеру, на сценарий нацеливались многие, руководство студии колебалось в окончательном выборе постановщика... Актер уже сделался единомышленником режиссера, он верил ему и должен был включиться в борьбу во имя фильма, во имя замысла, ставшего уже как бы общим.

Оба, актер и режиссер, были воодушевлены предстоящей работой и сидели сейчас в уютном номере гостиницы «Ани», слегка притихшие, подуставшие от собственных темпераментных речей... Актер потеплевшим взглядом смотрел на режиссера, на его худые нервные руки, на впалую грудь, на тощие ноги, и ему хотелось упрятать куда-нибудь свою широкую грудь, большие ладони, длинные и сильные ноги, словно все это было предательством, потому что, как же так — сам он такой большой и ладный, режиссер — до того неудачно скроенный...

Актер смотрел на режиссера без внутреннего барьера, как смотрят на близкого человека, которому верят безо всего... Вдруг его пронзила жалость. «Как же ты любишь женщин,— подумал он,— как женщины любят тебя, как ласкают они твои костлявые пальцы, да что женщины, как обнимаешь ты собственного ребенка?» — и незаметно для самого себя повторил движение его руки. Просто так, чтобы уяснить самочувствие владельца этой беспокойной руки. Потом актер поднялся с кресла и с максимальной точностью скопировал походку режиссера, стал вышагивать между креслом и окном. Точно так же, как тот, он наклонил голову, ссутулился, стал у окна рядом с режиссером.

...Удивительная это была игра, такое неодолимое желание понять логику чужих движений...

Режиссер смотрел в окно...

Актер еще раз взглянул на режиссера и уже озабоченно и нервно повторил его последний жест. И вдруг с ужасом почувствовал, что руки его истончились, грудь запала, пальцы стали дрожать, он утратил переполнявшую его всегда радость. Все оставалось прежним, но настроение изменилось, и актер подумал о будущем фильме и связанной с ним удаче уже безо всякого подъема. Он съезжился, грудь у него болела, дыхание сделалось трудным, он подошел к креслу и упал в него неловко, неудобно.

Режиссер обернулся, увидел бледное лицо товарища.

— Что с тобой?— спросил он и плеснул в рюмку коньяку.

Актер выпил коньяк и неожиданно для самого себя сказал с улыбкой:

— Ты лжешь... ты лгал всю дорогу и сейчас лжешь...

Режиссер тоже улыбнулся, понимая:

— Перепил...

Улыбка исчезла с лица актера, уступив место ясному выражению:

— Ты не человек, ты — ложь, ты — неправда, понятно?

— Ради бога, что с тобой?— уже всерьез забеспокоился режиссер. — Что за муха тебя укусила?

— Просто я повторил твои движения...

— Ну и что?

Актер был бессилен что-либо объяснить. Он пробурчал что-то невнятное и выскочил из номера.

Он шел по Абовяна, потом свернул на окружную, стал подниматься к Киевской.

Режиссер догнал его и долгое время плелся за ним — вначале с чувством оскорбленного самолюбия, потом из вежливости, потом — из страха утраты... Так они прошли несколько кварталов, потом актер не выдержал, промычал что-то да как рванет, только его и видели...

Их разрыва на студии никто не понял. Режиссер и все остальные сочли это очередной выходкой актера, из серии его чудачеств...

На самом же деле все было значительно проще. Этот актер был настоящим актером. А это очень большое дело. Он вошел в шкуру товарища. Он разгадал его. Он был настоящий актер, и был у него, кроме всего, талант человеческий, необходимый и при всех других профессиях, разумеется. Но актер — это особое дело. Если только это настоящий актер. Он может быть человеком не так, как врач или землепашец. Впрочем, есть какое-то зерно, которое всех объединяет и всех роднит.

Диалог между мною и моим братом повторялся уже сто, тысячу, миллион раз, он повторялся так часто, что мы почти наизусть знали все наши реплики, наши лица принимали привычные выражения, и дальше шла лавина знакомого страдания и боли. Казалось, нажимаешь какую-то кнопку и диалог начинает оживать. Этот диалог возник тридцать лет назад и возобновляется при каждой нашей встрече по сей день... Мы начали наш разговор еще в доме наших дедов, потом продолжали его всюду: на кухне этого дома, в трамвае, на даче, в купе, в общежитии у брата, в его квартире, у него на кухне — везде, везде. Тысячу раз я говорил себе: уже хватит, уже все, сколько можно одно и то же, сейчас даже и нет смысла выяснять... Да и что выяснять, собственно, разве можно понять жизнь, прожитые тридцать лет, понять точный смысл наших движений, понять, кто насколько ошибался и кто насколько вредил себе самому и другим? После каждого диалога, утомленный и немного умиротворенный, снисходитель-

ный ко всему, я повторяю про себя эти соображения, но изменить что-либо я не в силах: через определенное время наш диалог повторяется. Я чувствую, что диалог этот может длиться до самой смерти, пока кто-нибудь из нас не умрет. Наш диалог повторяется, как хорошо продуманная богом, срежиссированная, обкатанная мизансцена. Я чувствую, что остановить ее ход я не в состоянии, потому что у нее есть свой механизм, она родилась из взаимоисключающих чувств, из прощения и из эгоизма, из логики и из страсти, из сострадания и из отчужденности... и все это между двумя людьми... Нужно только представить всю сложность этого — между двумя людьми, которые любят друг друга, которые связаны кровными узами.

— О человеке нельзя судить по его поступкам, — сказал мой брат.

Я вспомнил, как он когда-то говорил: «О человеке нужно судить по его поступкам». И какая-то логически обоснованная система в моем мозгу начала изнутри воспаляться, мгновенно я подумал, что так человек может и изменить, и убить... и черт знает что еще натворить. Неужели нет одной-единой логики для всех, сжатой, крепкой, как закон? Я почувствовал себя таким беспомощным и таким одиноким, глядя на невинное, чистое и измученное лицо брата, мне даже не хватило времени счесть сказанное им бессмыслицей, несуразностью, улыбнуться, не обратить внимания, короче говоря, повести себя правильно — нет, мне тут же захотелось удариться головой об стенку, стукнуть ладонью по столу, вообще — перестать существовать, эта фраза моего брата была новой в нашем диалоге, и она хлестнула меня, словно плетка.

— А как же тогда понять, — взорвался я, — что ты любишь меня, любишь своего сына, любишь нашу мать... Как понять — через рентген? Если так — мир давно бы развалился... — и я повторил его слова, как бы наивно подчеркивая их смысл.

Младший сын моего брата, привычный к нашему диалогу, почувствовал, что взрыв был из сильных, встал, вышел в соседнюю комнату и подсел там к телевизору.

— Сегодня праздник, люди радуются, дарят друг другу цветы, а мы тут терзаем друг друга, — с горечью сказал мой брат.

Он был прав, я подсознательно чувствовал это, когда говорил, но механизм сработал, и я сказал то, что было давно и прочно запрограммировано:

— Неужели это важно, внешняя сторона... ложь... если мы будем дарить друг другу цветы в такое время, мы только отдалимся друг от друга, поставим барьер вежливости между собой, а нам нужно проникнуть-ся друг другом, понять, наконец...

У моего брата что-то встало в горле, и после того, что он сказал, мне показалось, что он вовсе и не слушал меня.

— Я совершенно одинок,— сказал он.

Это была вторая плетка, я разозлился и одновременно пожалел его, и, оттого что пожалел, еще больше разозлился, ведь это его вина, что он одинок, я давным-давно предсказывал это.

— А кто виноват, что ты одинок? Я все делал для того, чтобы мы не были одинокими, чтобы нам было хорошо, чтобы тебе было хорошо, мне было хорошо, нашей матери было хорошо, всем нам вместе было хорошо... А как мне может быть хорошо, если тебе плохо?.. Я тебе говорил, переезжай в Ереван — ты не захотел, сказал, что в Ереване не сможешь жить, тогда я сказал, что переберусь в Ленинград, оставлю работу, плюну на все и переберусь в Ленинград, чтобы быть рядом...

— Откуда мне было тогда знать, что все так получится...

— Но ведь я говорил тогда, что так получится...

Я давно уже в конце каждого диалога объявляю: погодите, мол, придет время, и вы скажете: «почем я знал, что так все получится?..»

И снова я почувствовал себя ужасно одиноким и подумал, что человек навеки осужден на непонимание, даже самый близкий человек — и то... Если мы сегодня преподнесем друг другу цветы для того, чтобы спасти мгновение, каждый из нас еще сильнее закупорится, закроется в своей оболочке. В этой страшной оболочке, которая еще более жестока и губительна, чем каменные стены тюремной камеры. Эта оболочка обрекает человека на бессмысленные поступки, и человек действует сам против себя и не понимает этого. Царь Николай I всяческими способами убивал Александра Пуш-

кина, убил наконец и при помощи нескольких жандармов опустил в землю прах поэта. Внук Николая I полюбил внучку Пушкина неземной любовью, и царь и поэт соединились в своих потомках. Мне хочется взвыть: зачем же ты тогда уничтожал прекрасного Пушкина, царь, глупый человек... ну, почему, почему ты не подумал, что можешь когда-нибудь соединиться с ним в одном теле? Ты ведь себе навредил, и потеря твоя куда больше, чем если бы, скажем, ты лишился всего своего государства...

Я выглядывал из окна последнего пушкинского дома, смотрел на канал, и мне делалось все грустнее. Я видел Зимний дворец и площадь, где в свое время выстраивались солдатские ряды — совсем как поэтические строчки на старинном письменном столе рядом со мной. И что было удивительно: царь со своей площади видел эти окна, а из этих окон виднелась холодная площадь, солдаты и царь. Можно было совсем близко заглянуть в глаза поэта, увидеть его нутро.

Я, гость, испортил настроение всем в доме моего брата, брат мой все сглаживал, делал вид, что не помнит вчерашнего нашего разговора, но все равно атмосфера была уже отравлена. И я не мог избавиться от мысли, что вот я приезжаю, живу здесь, порчу людям настроение в эти праздничные дни, а потом беру и уезжаю себе. Все это так, но во мне снова поднялось раздражение против брата — как был бы он счастлив, если бы перед тем, как сделать какой-то шаг, подумал бы и об окружающих, и как это так, что он, добрый и чистый, не понимает других, как же это получается, что он не вырвется из своей оболочки, из этой злополучной оболочки, которая разъедает мир и делает человека несчастным. Эта невидимая оболочка — я представляю себе яйцо, чью скорлупу изнутри продавливают птенчик, продолбил и высунул наружу головку. Точно так же хотелось мне разбить эту невидимую оболочку, которая обволакивает непроницаемой броней каждого из моих близких: мою мать, отца, брата, мою любимую женщину, мое дитя, моего друга... Эта оболочка, эта невидимая железная оболочка забирает из человека человека, и в результате в одной комнате годами обитают изолированные, несчастные люди.

Когда ты считаешь себя правым настолько, что эта правота раздражает и взвинчивает тебя, в конце концов

ты доходишь до другой крайности — ты начинаешь осуждать себя, теперь тебе кажется, что ты во всем неправ, и то, что ты чувствовал недавно, — ошибка. И ты начинаешь унижать себя, ты топчешь себя с тем же пылом, с каким недавно обвинял другого.

Я посмотрел на пожелтевший лоб своего брата и подумал: наверное, у него тоже есть какая-то своя истина, мне захотелось посмотреть на все его глазами, его кровью почувствовать будущее... может быть, тогда я успокоюсь. И что-то внутри меня облегченно затрепетало... Хоть бы я оказался неправ, подумал я... Я медленно повторил движения моего брата, вздернул, как он, брови, почесал щеку, кашлянул, как он, положил ногу на ногу... потом посмотрел на себя в зеркало, чтобы понять, что же видел он, когда смотрел на меня, но у меня ничего не получилось: я сбился, потому что я подумал о тех ошибках, которые совершил мой брат, и о тех страданиях, которые перенес я, о тех бедствиях, которые принес мой брат нашей семье, и о тех усилиях, которые тратил я, чтобы спасти нашу семью и его, моего брата...

И с ужасом я подумал: а может, и я нахожусь в оболочке, ведь я ровным счетом ничего не почувствовал. «Бездарный, — выругал я самого себя, — не можешь хотя бы на секунду стать своим братом, бездарный...»

Потом я попытался стать нашей матерью, я посмотрел на себя как бы со стороны — я был невинный и любимый. Потом я был нашим отцом — и снова я любил себя... потом был своим другом — и я любил этого себя-друга... потом был своим врагом — и снова, снова я понимал и любил себя-врага... был моим ребенком, моим соседом, моим предком, моим потомком — и каждый раз я любил того, кем я был.

Но тут вдруг я поймал взгляд брата. И онемел. Я сам, я тоже — находился в оболочке, и, пожалуй, в этом-то и крылась тайна одиночества моего брата.

Я вышел из дому и побрел вдоль набережной. Сверху сеял дождь вперемешку со снегом, и окна старого Петербурга, холодные и задумчивые, были обращены к нам, но смотрели внутрь, в себя, и видели свой мягкий, свой теплый, свой — свет.

РЫБА В КУВШИНЕ

Шераник, сколько ни придешь,
принеси рыбу...¹

Весь мир был погружен в холод и молчание... Из Ахпатского ущелья поднимался холодный пар и застывал на устах художника Маргаре. Под снегом неприметно дышала деревня Ахпат, и в монастыре замерзал Маргаре. Он грелся у мангала, но холод был в самом теле, не подвластный ни холоду, ни теплу мирским... Ничему не подвластный, защищенный от холода холод. Это был его собственный холод и не имел ничего общего ни со снегом, ни с тишиной, ни с чем и ни с кем во всем мире...

Возможно ли оборониться от собственного холода, от собственных дум... Мысль, как топор, кромсает мозг, ползет по извилинам, как крот, там, где тесно ей, на секунду останавливается, взбухает, хочет все вокруг взорвать ко всем чертям... а устав, примостившись где-нибудь, перестает беспокоить, с коварной улыбкой закрывает глаза и, казалось, затихает, но это она только на время, это она просто-напросто собирается с силами, и пробуждение ее бывает ужасным, нет ничего страшнее ее пробуждения. Набрав силу, она вновь устремляется по жилам, по сосудам, но ведь все это, все это — прошлое и будущее и ничего общего не имеет с настоящим — с самим Маргаре.

Что-то черное, непонятное, гнетущее овладевает телом Маргаре, подступает к сердцу, подкатывает к горлу. Сердце сжимается, болит, дышать становится нечем... «Господи всевышний, убей ты эту мысль, ты видишь, не моя она, и откуда она взяла свое начало, из какой дали, я не знаю, и куда она стремится, куда хочет пойти, я тоже не знаю, и с кем это она сводит счеты, я не знаю, не знаю...» — бормочет Маргаре.

— Убей же, создатель, эту мысль, что душит меня, что сдавливает мне шею, как виселичная петля, но почему-то до конца дело не доводит... Есть ли у нее первопричина? Пожалуй, что нет. Но ей нужна Причина для того, чтобы прийти в действие и начать мало-помалу играть с телом и душой.

— Главное — это мысль, ее большое тысячелетнее

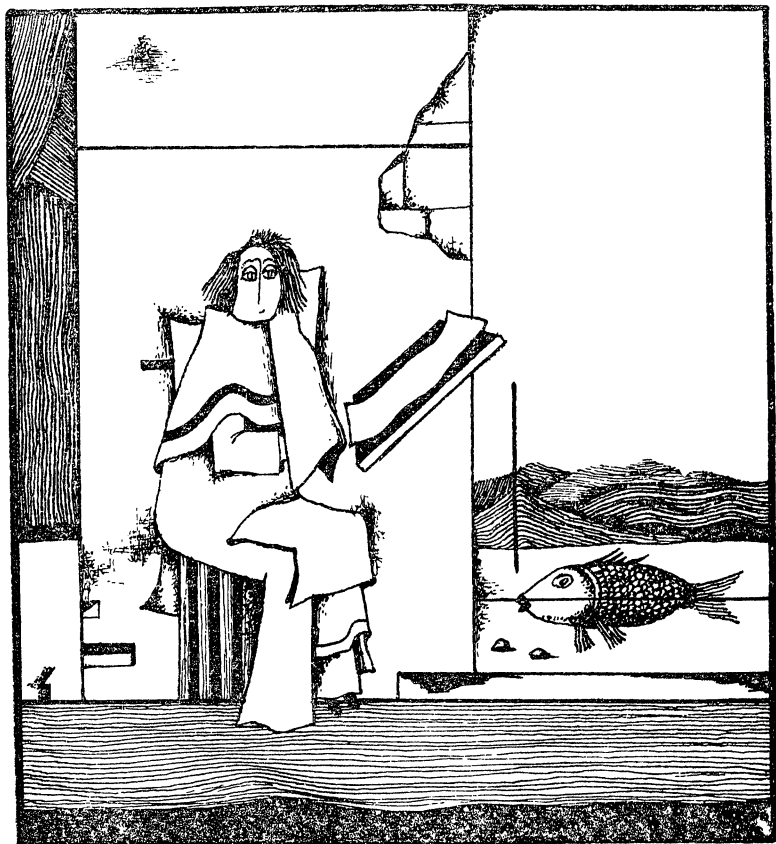
¹ Надпись на работе известного армянского средневекового миниатюриста Маргаре

течение, которое не знаешь где, в какой дыре сейчас и что решает, намечает для себя...

Маргаре выглянул на улицу. «Молю тебя, моя мысль, оставь меня в покое... Я могу унижаться, могу встать перед тобой на колени, но только оставь, оставь меня в покое... я умираю из-за тебя... ты убиваешь меня так жестоко. Я знаю, ты часто даешь понять мне, что ты моя судьба... ты действуешь в паре с Причиной, а Причину ты сама и создаешь или же вы вместе родились, одновременно... Но послушай, ты бессмертна, вечна, а тело мое брэнное, мгновенье только живет и, слепое, что может оно?.. К кому же мне обратиться?.. К Богу? Но где он — в тебе или в Причине, что питает тебя? Причина, прошу тебя, прости, пожалей меня, отпусти мне мои грехи, если я виновен, прости грехи моих предков, если за ними значатся грехи... Я могу броситься отсюда в ущелье. Это нетрудно. Но ведь это не спасенье, потому что мысль моя не кончится, не умрет... Причина, уничтожь себя, будь добра, или уничтожь мою мысль и существуй сама по себе».

Маргаре сел на земляной пол, подогнув под себя ноги, и вздохнул поглубже, чтобы уравновесить текущие в теле скверные и добрые течения (он уже несколько дней ничего не ел, и голова у него закружилась). Маргаре стало жарко, он поглядел вверх, глянул на стены и не знал, на что еще взглянуть. «Где ты, мой Бог, моя мысль и ее Предтеча?..» Мысль словно потекла вспять, но нет, Маргаре это только показалось, потому что он вдруг увидел весь долгий ее путь, весь ход ее, все переливы... И он смотрел внутренним оком на своих предков, которые сотворили, снарядили в дорогу и снабдили оттенками мысль и Причину.

Дыхание у Маргаре прерывалось, сердце словно падало в желудок и опускалось еще ниже... Маргаре не мог совладать с болью в сердце. Он клал под язык высушенный лист мяты, боль, казалось, на секунду утихала, но мысль тут же посылала из мозга струю — прямо к сердцу, и оно снова начинало болеть, напрасно все было, Маргаре чувствовал, что обречен, что пути крепкие, что замкнутый возник круг. Причина, что питает мысль, незыблема, и мысль неукоснительно посылает свои смертельные струи. Маргаре как тело — один лишь миг, мысль же — его прошлое и будущее его, что делать, что делать...



Скачущий на листе пергамента блик света был словно мгновеньем Маргаре среди мрачного и жестокого, дряхлого и виноватого течения мысли... цветной этот блик был словно часом Маргаре, в этом сиром холоде, в этой сирой тишине, в этой нескончаемой загадке речного шума, доносящегося из ущелья.

В дверях встал Шераник с корзиной в руках. Шераник молча улыбнулся и подождал, когда Маргаре спросит: дескать, «в этот сырый холод, в холодину эту лютую опять ты рыбу принес?». На что он должен был так же молча улыбнуться и положить рыбу рядом с мангалом.

Маргаре посмотрел на Шераника, и ему показалось, что он улыбается пуще прежнего, с неподобающей даже живостью. Шераник же увидел его немыслимую усталость и, оставив рыбу на камне, удалился.

Маргаре посмотрел на рыбу — серебристая, отливающая синим рыба была в темных разводах, разводы располагались на ней кругами, Маргаре мысленно нарисовал рыбу и увидел, что рыба хочет двигаться. Рыба раза два встрепенулась на камне, потом затихла. Маргаре заинтересовался, и на секунду мысль его последовала за рыбой... Маргаре взял рыбу и бросил в кувшин с водой. Рыба мало-помалу начала оживать, задвигалась и воскресла. Она плавала вдоль края кувшина и мерно разевала и закрывала пасть. Маргаре набросал в кувшин хлебных крошек, зелени... Рыба то опускалась на дно кувшина, то всплывала на поверхность воды, тяжело дыша...

Маргаре сел возле кувшина и не отрываясь смотрел на рыбу... так день в вечер перешел. Маргаре вдруг подумал, что рыба прожила целый день... и словно это был его подарок рыбе... но все же история эта должна была каким-то образом кончиться. Рыба дышала с трудом, она разевала пасть с такой силой, что жабры ее чуть не лопались...

До поздней ночи просидел Маргаре рядом с кувшином. Рыба двигалась все медленней.

В полночь Маргаре умер. Он по-прежнему сидел на камне, и только голова его свесилась и уперлась в горлышко кувшина.

Рыба прожила еще час и тоже умерла.

РАЗГОВОР ДВУХ СУМАСШЕДШИХ НА ВЕРШИНЕ ГОРЫ

В сентябре этого года мы наконец решились подняться на Красную гору. Из Еревана она просматривалась отовсюду—со стадиона «Раздан», с Норка, с Эчмиадзинского шоссе. Она давно не давала нам покоя — мы приглядывались к ней и с Гарни, и с Советашена, и от гостиницы «Двин», и все кружили вокруг нее... Наконец, в сентябре этого года мы с Игнатиосом вышли из дому еще засветло и к утру были уже у подножия.

Мы перешли реку Азат и ступили на красно-оранжевый гравий. Где-то вдали залаяло сразу несколько собак. Игнатиос остановился. Я знал, что он не любит собак, но на всякий случай еще раз сказал ему:

— Ну, что ты боишься? Они сами боятся нас...

Мой друг рассердился. Его морщинистое лицо стало страшным. Морщины набежали друг на друга, и я подумал — разгладься они и их хватило бы на два лица.

— По-твоему, я так хочу? Знаю, что не надо бояться, а ноги словно свинцом наливаются,— сказал он.— Я не хочу бояться, страх — самый низкий недостаток, я больше всех ненавижу трусов и постоянно твержу себе — не бойся, не бойся... Но боюсь... Хочу переступить черту страха, но не могу...

Игнатиос мыслит очень цельно и последовательно. Его логика все равно что двигатель современного реактивного самолета. Сколько же понадобилось сил, сколько было выстрадано, проанализировано, какой был проделан тяжкий труд по сопоставлению понятий, чтобы он смог удержать свое тщедушное тело в одной точке этого огромного и непонятного мира.

— А еще я не могу переступить черту дурного поступка,— продолжал он.— Всегда я убеждал других не делать зла, быть порядочными, но сам не могу быть таким... Теперь я всем все прощаю, потому что зло не подвластно мне. Я хочу стать добрым, но не могу.

— Ты добрый,— сказал я.

— Что ты знаешь!— снова заволновался он.— Просто каждый человек по-своему не виноват.

На голом склоне горы был зеленый оазис, ручеек тонким прозрачным покрывалом скользил по камням.

— Не может так быть, чтобы нельзя было заставить себя... Если ты уверен, то обязательно поступишь так, как считаешь нужным..

В горячем воздухе дрожала оранжевая вершина горы.

Игнатиос начал подниматься в гору.

Он шел как-то неистово, не думал, не рассчитывал свои движения. Он просто спешил, пока его не покинула смелость.

Красный гравий осыпался под ногами. Мы скользили вниз, потом снова лезли вверх.

Склон горы делался все круче. Всюду были змеинные

норы, высохшие змеиные шкурки... Я заметно отстал и удивлялся, глядя на своего друга. Он уже передвигался на четвереньках. Я с трудом повернул голову — где-то внизу под нами — ущелье Гарни и очень далеко — дым над Ереваном.

Я уже не мог подниматься вверх, не мог также и спуститься. Погрузив ноги в щебень, я почти лежал на склоне горы. Я посмотрел вверх на Игнатиоса и подождал, пока он придумает какой-нибудь выход.

Игнатиос не двигался, и его поза тоже оставалась неизменной, обеими руками он ухватился за какой-то острый обломок и ногами уперся в высохший куст. Он покосился на меня, и я понял, что он уже ничего не может сделать — он застыл в этом положении, прилепился к скале.

— Что делать?— спросил я.

— Не знаю.

— Поднимемся?

— Не могу.

— Тогда спускайся,— сказал я, тем более что это соответствовало моему желанию и внутреннему состоянию.

— Не могу,— мягко ответил он, и от его слов у меня мороз по коже пробежал.

— Не оставаться же нам здесь, на горе. Как-нибудь спустись.

— Не могу,— повторил он.

Снизу в трубках брюк я видел его старческие худые ноги.

— Темнеет... Ты представляешь, что будет ночью, если мы останемся тут?— спросил я. — Как-нибудь преодолей себя.

— Не могу...— спокойно ответил он. — Я и в других случаях пробовал убедить себя, но ничего не выходило.

— Сейчас не время рассуждать, — горько усмехнулся я. — Надо спуститься — и все.

— Если можешь, подымись ты,— предложил он, не глядя вниз. — Может быть, мы вместе что-нибудь придумаем... Может, поднимемся до конца, а там плоскогорье. Обычно так и бывает.

— Не могу,— сказал я.

— Заставь себя.

И мы так и остались — он наверху, я — пониже. Я не в силах подняться, а он — спуститься.

— Но спуститься все же проще. Как-нибудь внуши себе...— убеждал я его, выдыхая на скалу красный песок, который набился мне в рот и прилип к моему влажному лицу.

Мы замолчали: нам было удобно оставаться в этом положении, мы лежали, упершись ногами в красный гравий, и так как эта часть скалы была почти вертикальной, то выходило, будто мы сидели.

Игнатиос взглянул в небо и почесал седой подбородок.

— Хорошее здесь небо.

— Небо всегда хорошее... Только снизу оно кажется то облачным, то веселым... Это с небом не связано,— сказал я, как всегда, не задерживаясь с ответом. Такой у меня характер — никогда не медлю с ответом, даже если собеседник не спрашивает ни о чем. Слова людей требуют ответных слов.

На ногах у Игнатиоса были кеды.

— Удобные они?— спросил я.

— Дешевые...— сказал он. — И удобные, но ноги болят даже в них... Удивительные ноги, — он это сказал так, будто его ноги существовали сами по себе.

— Находились,— сказал я, посмотрев на свои ноги.

— Я устал и от своих ног и от своего тела, — сказал Игнатиос, — словно я их пленник.

— Сосуд и только,— сказал я, вдруг тоже почувствовав нелепость наших тел на этой горе.

— Шестьдесят килограммов мяса и костей,— усмехнулся Игнатиос,— как ящик из-под радиоприемника.

— Теперь кто же боится — я или ящик?— игриво спросил я.

— Конечно, ящик,— просто ответил Игнатиос.

Очень далеко внизу, вокруг стада овец, лаяли собаки. Гору оведал легкий ветерок. Из-под моих ног сорвались несколько красных камешков и заскользили вниз, унося с собой песок, и, обрастая им, докатились вниз, до дна ущелья.

— Я не рассказывал тебе, что случилось со мной на прошлой неделе?— спросил мой друг. Он лежал — спиной или, вернее, подошвами ко мне, лицом к скале.

— Нет,— ответил я. — Ты обещал сказать по телефону, ты был очень удивлен и возбужден, но не рассказывал. Сказал: будет удобное время — расскажу.

— Удобного времени никогда не будет... Когда рас-

скажу, тогда и будет удобное время... Потому что невозможно передать то, что чувствуешь. Можно передать лишь то, что произошло. Рассказать?

— Давай.

— Не подумаешь, что я сумасшедший?

— Нет,— ответил я.— Мы так давно знаем друг друга. А здесь больше никого нет.— Я снова посмотрел вверх и вниз, чтобы лишний раз удостовериться, что мы недалеко от вершины.

— Ты бывал когда-нибудь счастлив?— спросил он.

Мне вспомнилось сразу несколько вещей — как впервые в реке мои ноги оторвались от земли и я почувствовал, что держусь на воде, вспомнил пожилую женщину, одарившую меня своей любовью, и еще кое-что...

— Да, немного,— ответил я.— А ты?

— Если мне вернут мою жизнь, я приду в ужас, я не смогу снова ее прожить... Для меня не может быть страшнее наказания.

Он коснулся губами скалы и раскашлялся, земля и песок посыпались вниз, на мою голову.

— Только на прошлой неделе было одно мгновение... Я понял, что такое счастье. Это чувство легкости, миг ликования, внутреннее ощущение света, гордости и достоинства... Был вечерний час, я сидел у окна... И внезапно, когда я поднялся со стула, одно лишь мгновение, мельчайшую долю секунды, я почувствовал, что вижу свое тело из окна... Затрудняюсь передать мое состояние... Но это краткое мгновение я был счастлив... Я был самым собой... было ликование, было так много света и счастья, что я до сих пор ношу их в себе!.. И это мгновение равно всей моей жизни... Может быть, это высшая математика — наименьшее равно бесконечности, или наоборот — вечность бесконечно мала... Из окна я увидел свое тело, этот пустой ящик... такой ничтожный, незаметный, ничего общего не имеющий со мной...

Все это было весьма странно. Мало того, что двое выживших из ума стариков застряли на горе, а еще вон о чем беседуют... Но как бы то ни было, а мы говорили именно так, таким удивительным образом.

— Может, ты слегка вздремнул?

— Думаешь, то была галлюцинация?— сказал Иг-

натиос.— А знаешь, это же известная вещь, еще Достоевский писал, что о *той* жизни знает лишь тот, кто одной ногой побывал там. По-моему, я должен был умереть, и не умер. Просто должно было остановиться сердце, и не остановилось. В этот самый миг я увидел себя на расстоянии двух метров... Я еще не ушел по ту сторону окна... Представляешь, как хорошо там, еще дальше? Если бы сердце остановилось и я бы продолжал свое движение... я бы узнал больше... Вокруг было так просторно, так свежо... Я теперь знаю, что там хорошо.

В комнате я, может быть, иначе воспринял бы его слова, но здесь, на вершине горы, среди красного гравия, двое пожилых людей, висящих в странных позах... Представляете мое состояние? Я решил объяснить необъяснимое.

— Что, у тебя в самом деле сердце больное?

— Да, с сердцем плохо, — ответил он. — У меня в кармане нитроглицерин.

— Скажи кому-нибудь, что с больным сердцем пошел в горы, не поверит.

— Люди ничему не верят... Они ничего не знают, — вздохнул мой друг. — Они верят в то, во что легко поверить.

— А как ты сам объясняешь это? — спросил я, чтобы не счесть его за сумасшедшего. Подтекст был следующий: «Видишь, я тебе серьезно задаю вопрос, значит, воспринимаю твои слова всерьез». Почему-то всегда я стесняюсь, когда мой собеседник попадает в неловкое положение.

— Это была душа, дорогой мой, — сказал Игнатиос. — Прежде бы так сказали... Я сейчас знаю больше. Наука открыла ядро. Физики нашли самые маленькие частицы, обнаружили нейтрон... и нейтрино. А знаешь, что такое нейтрино? Его масса в неподвижном состоянии равна нулю. То есть когда оно не движется — его нет. Но когда движется — существует. А что такое душа? Тоже — и нету, и есть... Говорят — где же душа? Если она есть, то где же она находится? Как она может существовать без тела? А почему она не может существовать сама по себе, вне тела? Физики открыли душу... Это наука... Ядро может взорвать мир, и нейтрино может взорвать мир. Значит, какая же большая сила заключена в самой маленькой части-

це! И даже бестелесной частице. Малое против большого. И в равной степени могучее... Когда движется — оно есть, оно большое, оно видно.

— Нейтрино?..

— Да, душа...

Солнце почти совсем зашло за горы, и силуэт моего друга был едва различим среди контуров камней.

— Спустимся...— сказал я.— Игнатиос, спустимся, а то скоро ничего не будет видно...

И меня охватила грусть при мысли о беззащитности природы.

— Ладно,— сказал наконец Игнатиос, и я увидел, как он почти на животе скользит вниз.

Я тоже зарывался ногами в гравий, гравий немного сыпался вниз, собирался на скале, подобно ступеньке, и я двигал вперед вторую ногу. Мне было сравнительно легче. Наверху гравий был покрупнее.

Огромный камень сорвался сверху и катился вниз, все вниз, потом заглох, замер в ущелье. Только тогда я взглянул наверх.

— Осторожно, Игнатиос... Не роняй камней, а то они и меня унесут с собой.

Игнатиос молчал, и его молчание стало особенно ощутимым, когда умолк шум, вызванный обвалом.

Я посмотрел вверх и не заметил ничего движущегося.

— Игнатиос...— сказал я, потом закричал. Голос мой отдался в горах. Я на миг замер и прошептал:

— Игнатиос!.. родной!..

Я понял, что тело Игнатиоса упало вниз.

Я именно сейчас испугался одиночества и темноты, мне захотелось очутиться в своей теплой комнате с электрическим светом.

— Игнатиос! Игнатиос! — всхлипывая, повторял я, быстро сбрасывая вниз ноги и был немного обижен на своего друга... Мне казалось, что какое-то нейтрино от него улыбается мне откуда-то. А сам я не знал, куда мне идти сначала — в деревню или в Ереван, в милицию или к нему домой, чтобы сообщить, что тело Игнатиоса уже упало...

Пока я с большим трудом, ворча и спотыкаясь, перешел реку Азат, уже стемнело... Но казалось, ничего не случилось... Я был внутренне спокоен. И только одно

подумал: «Если я и в самом деле повстречаюсь с душой Игнатиоса, как мне к ней обратиться? Он и сейчас Игнатиос? А может, надо будет звать его «товарищ Нейтрино»?»

СКАНДАЛИСТЫ

Дядя мой, Карапет, был самым трусливым в нашем роду и бежал из Эрзерума до самой Астрахани; другой дядя, Седрак, с тетей Пепроне добрался до Грозного; отец мой попал в Шемаху, а дед мой только перешел российскую границу, перевел дух, да там и осел, в надежде скоро вернуться в родные места.

Со временем все снова собрались под одной крышей, успокоились и начали жить.

В одно обычное воскресенье после обеда дед сел, потом прилег, покряхтел, повернулся на правый бок, потом на левый, поскрипел зубами, потом, вспотев, снова сел, почесал грудь, обалдело посмотрел на нас и сказал:

— Ну, что уставились на меня?..

Дядья переглянулись.

— Да так... — сказал мой отец.

— Может, смотреть на меня не стоит, а?

— Отчего же... стоит... — запинаясь, сказал Карапет.

— Так стоит?.. — рассердился дед Погос. — Стоит, значит?.. Что я вам, обезьяна какая-нибудь?! — Потом выставил свои руки: — Эти мозоли сделали вас людьми!.. — Потом постучал по впалой груди: — Это высохшее тело дало вам жизнь!

Грудь и в самом деле была высохшая, костлявая и издала глухой звук дерева.

— Войдите! — приветливо, тоненьким голосом откликнулась из соседней комнаты тетя Пепроне.

Мой отец засмеялся. Дед Погос схватил со стола медную пепельницу и запустил в дверь.

— Господи! — слышалось за дверью, потом выбежала тетя и стала хлопать себя ладонями по коленям: — Что случилось?..

— Молчать!.. — заорал дед. — Обезьяна!.. Молчать!..

Карапет медленно встал, направился к двери.

— Уходите, а?.. Бежите, будто обидели вас?— сказал дед. — Хватит!.. Хватит!..— закричал он, и кулак его описал в воздухе круг, зацепив на этом пути скулу моего отца и челюсть Седрака.

Настроены мы были всегда на воспоминания,

— Проснулся я утром, поглядел на солнце...— сказал отец и посмотрел на стену комнаты.

Седрак усмехнулся.

— Какое тут может быть солнце?

— А где же?..

— Солнце вон там...— Седрак повел большим пальцем за спину, показал на противоположную стену. — Вот... в этой стороне!

— Ну, хватит!.. — махнул рукой отец. — Так, по-твоему, та стена восточная?

Седрак спросил еще более ехидно:

— А то нет?..

Отец взорвался:

— Да знаешь ли ты, в какой стороне Эрзерум, знаешь? В этой или той?..

Тетя согласна была с Седраком, Карапет и дед — с отцом.

Вскоре они перепутали стороны и показывали теперь уже на другие стены: отец показывал пальцем на стену Седрака, говоря: «Тут Эрзерум!», а Седрак — на стену отца: «Эрзерум тут!»

Сторонников отца оказалось больше, и Седрак обиделся, ушел в другую комнату. Пепроне расплакалась и последовала за ним. Целый день они не выходили к нам. Дед рассвирепел, взял и забил наглухо дверь комнаты Седрака. Тогда Седрак пробил другую стену и ночью вышел в сапожную мастерскую соседа Багдасара.

У нас необычная фамилия: Отхнаенц. Все мы одного роста: невысокие, а дед так тот еще ниже нас.

Самый толковый среди нас — Карапет: он каждый день ходит то в театр, то в «Клуб ремесленников», в свое время он раза два пил пиво с такими артистами, как Зарифян и Восканян; он показывает карточные фокусы, на ночь завязывает нос полотенцем, чтобы тот

стал поменьше, к ногам же привязывает гири, чтобы стать длиннее. Отец мой самый упрямый, дед самый выносливый, тетя самая крикливая, я же самый сильный. В этом я окончательно убедился во время одной из драк с отцом. Терпение мое иссякло: я повалил отца на тахту, сел на него верхом, взял его за кадык и кричу изо всех сил:

— Смбат, счастливого тебе пути!..

Отец хрипит, однако не перестает быть вежливым.

— Счастливо оставаться... — с трудом произносит он.

Я снова кричу, потому что знаю, что до конца его не задушю, но до чего-то доведу. Вены на лице отца вздулись, но он упрям: руками вцепился в мои руки, ногами бьет меня по спине. Глаза выпучены, но в них ни капли страха.

— Ха!.. Не так-то просто истребить наш род!.. Я Смбат Отхнаенц!.. — с трудом шепчет он и кашляет, потому что слова застревают у него в горле. Я разжимаю пальцы, чтобы узнать, что он хотел сказать.

— То-то!.. — удовлетворенно заканчивает отец свою речь.

Я опять сжимаю его горло, однако не до конца, чтобы и в самом деле не зайти слишком далеко. Сдавливаю и вдруг под пальцами чувствую столь родную мне щетинистую кожу отца. Мне хочется погладить его морщинистое, с вялой кожей лицо и подбородок, но это желание еще больше сердит меня. Я злюсь — не знаю, на кого, не знаю, на что, и снова принимаюсь душить отца с криком:

— А я Отхнаенц Саркис!

-- Ха!.. — издевается отец, деланно смеясь. — Ты Отхнаенц?! Ха!.. Не смейся... Какой ты Отхнаенц!.. Если та-кого с-стари-кашку за-душить не мож-ешь?.. Был бы я помоложе, я бы... Не с-сме-ши, ха!.. С ума мож-жно сойти со смеху!.. — Он скрипит зубами и бьет меня по спине... Удар слабый, и я думаю, что отец порядком постарел. Нога у него тонкая-тонкая, завязки кальсон свисают до костлявых пальцев, мышцы будто стерлись от работы... И хочется мне его погладить, обнять... Как раз во время этих хороших мыслей отец, лежа, еще раз бьет меня коленом.

— Меня зовут Отхнаенц Смбат!

От этого удара я падаю на него, и лицо мое касает-

ся его лица. И это очень знакомое мне прикосновение: лицо холодное, с колючей щетиной, с несколькими родинками на щеке, а длинный нос оказался у меня где-то за ухом...

День выдался мирный, была передышка. Все собрались вместе, кто нацепил очки, кто повязал галстук, надел отутюженные брюки, и оттого, что после вчерашних свар голоса были сорваны, все говорили почти шепотом. Сидели тихо, кто размышлял, кто читал газету.

Тстя, оглядев всех нас по очереди, ангельски-наивным тоном сказала:

— Хоть бы кто-нибудь спросил: чего мы все ссоримся?— И ее солидный зоб пришел в движение.

— Мяса много едим, вот в чем дело, — хрипло, с трудом шепчет Седрак.

Карапет дает более философское объяснение:

— Ненависти много скопилось в нас внутри...

— Не порите чушь, господь с вами!.. Отхнаенцы сроду все такие... От дедов так пошло...— бурчит дед Погос.

— Да нет же, нет!.. — сердито твердит свое Карапет.— Тысячу лет резали нас... Вот и накопился гнев...

— Оставь, будет тебе!— цедит сквозь зубы Седрак.

— Вы пейте, пейте побольше!.. Или не знаете, что от пьянства деретесь?— говорит Пепроне.

— Говорю вам: ненависти накопилось в нас много!— горячится Карапет.

— Что же нам теперь, эту ненависть друг на друга изливать?!— взрывается отец.

— А куда же ее денешь, эту ненависть? На кого же ее изливать? На чужих?.. Силенок не хватит... А тут все свои, на своих и накричать можно, душу отвести!..— говорит Карапет.

— Не умничай, ради бога!— язвительно останавливает его Седрак.

Карапет, разозлившись, начинает ходить взад-вперед по комнате; ходит и плюется до тех пор, пока у него не пересыхает в горле.

— Да я ведь в книгах читал!.. Не сам же придумал это!..— говорит Карапет и вдруг орет: — Не хватит вам, а?.. Не хватит?!

Мой отец отбросил в сторону очки и, видимо, тоже

хотел закричать, но ничего у него не вышло. Голос у него вчера до того сел, что теперь он только пошевелил губами. С досады он ударился головой о стенку, попятился назад и нацелился уже на другую стенку.

Я стал перед ним.

— Пусти, говорю! — натужным шепотом просил отец.

— Да пусти ты его, зачем мешаешь, пусть расшибет себе башку! — уговаривал меня Седрак.

Гроб был заказан для другого, но почему-то его не взяли. Мы его купили для деда.

Дед поместился в половине гроба. Мы поставили его в кузов старой грузовой машины, а сами сели вокруг. Дул сильный ветер, дорога была ухабистой...

По обычаю машина двигалась медленно. Водитель одной рукой держался за руль, другой ковырял в носу.

Карапет нагнулся к окошку водителя:

— С какой скоростью едешь?

Водитель удивленно посмотрел на него.

— Десять километров...

— Давай гони на шестидесяти, — сказал Карапет.

— Что?

— Гони, говорю, быстрее!

Машина ускорила ход. Водитель посмотрел на покрасневшие глаза Карапета, на посиневший нос моего отца, на слезы, катившиеся по щекам Седрака, и не знал, как быть.

— Жми! — приказал Карапет.

Машина сорвалась с места и понеслась.

Прохожие смотрели на мчавшуюся машину с гробом и смеялись.

С гробом деда на плечах отец мой и дяди начали перебранку.

— Ну что я говорил?.. Дороги тут нет!

— Помолчи, брат, ведь по камням шагаем...

— А я же говорил вам, говорил!.. — продолжал ворчать и отплевываться Карапет.

— Да перестань ты! — отец в сердцах толкнул Карапета.

— погоди же, я с тобой еще поговорю!..

Деда без всяких церемоний опустили в яму, закопали и, обиженные друг на друга, разошлись...

Ночью в нашем доме стояла тишина. Но вдруг слышались причитания тети:

— Ой, ой, ой... Ослепнуть мне... Погос-джан, дорогой наш папочка!..

— Ну замолчи же! — крикнул Седрак, украдкой вытирая глаза. — Что ты разревелась!

Всхлипывания Пепроне стали реже, реже и замолкли.

И опять воцарилась долгая тишина.

В комнате было темно, и в темноте слышались наши беззвучные голоса. До утра я ждал, что распутается какой-то клубок и я в самом деле услышу голос кого-нибудь из наших. В темноте я видел разноцветные детские шарики и широко раскрытые задиристые глаза отца, двух моих дядей и Пепроне... И в полной тишине я чувствовал, как затаили дыхание четверо беспомощных, несчастных людей...

ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ КАТАКЛИЗМА

Самолет должен был взлететь с аэродрома, чудом нашедшего себе приют среди тесных скал Зангезура. Он должен был вырваться из жары, сгустившейся в объятиях гор. Горы, сжав зубы, как вспотевшая рожевица, распахнули ноги, чтобы выпустить этот маленький самолет.

После долгого ожидания мы, шестнадцать пассажиров, наконец погрузились в самолет и, не отрывая платков от потных лиц, нетерпеливо и молча ждали: два дня не было вылетов, некоторые из нас все это время скучали в аэропорту. А сегодня поздним вечером уставший самолет снова должен был взлететь в небо, чтобы удовлетворить просьбу заждавшихся пассажиров.

Спины летчиков взмокли, пот струйками стекал с их затылков, собирался внизу их форменок... Вопреки всем инструкциям сорочки были расстегнуты до последней пуговицы, дверь кабины оставлена открытой...

Все было готово к взлету. Пилот бросил взгляд на пассажиров и положил руки на штурвал... Все сразу умолкли в ожидании желанного рева самолета... Свет

погас, и какой-то голос твердо и уверенно произнес: «Если самолет взлетит — обязательно взорвется». Миг темноты был слишком кратким, фраза — молниеносной. То ли была она, то ли нет... Мне захотелось ухватить этот голос, чтобы сделать обстоятельной эту неожиданность... Задать вопрос, получить ответ, вникнуть в суть его... Так, наверное, сказывается инстинкт... Свет вспыхнул, и все сидели, окаменев. Я постеснялся не только спросить моего соседа, но и взглянуть в его сторону, опасаясь, что мое внутреннее состояние станет ему известно... Тревога прочно внедрялась в мое нутро, она расположилась там, как в мягком кресле... вряд ли мне сейчас хотелось бы лететь...

Один из пилотов повернулся к нам:

— Кто так идиотски пошутил? — потом устало покачал головой: — Ну разве так шутят...

По движению, прошедшему среди пассажиров, мне стало ясно, что все они испытывали те же чувства, что и я.

— Действительно! Кто это был?.. Кто сказал?.. Ну?.. — подхватил слова пилота еще чей-то гнев, потом ворчанье второго, потом после короткого вскрика воцарилась какая-то непонятная пустота.

— Пусть сказавший признается, что пошутил, — в полной тишине предложила некая деловая личность. — Может, неудачная шутка... С кем не случается?.. Ничего...

Его мысль была мне очень понятной. Он хотел все упростить, превратить в обыденность, где можно легко сориентироваться. А здесь такая непонятная и не поддающаяся ощущению ситуация, у которой ни потолка, ни пола и которая не влезает ни в какие известные формы.

На его предложение никто не откликнулся, и какая-то зловещая тишина повисла в воздухе.

— Что же теперь делать? Господи... — заняла моя соседка, бледная женщина, ее взгляд словно бы искал по самолету эти злополучные слова. — Дома у меня больной, обязательно надо ехать... — Потом она посмотрела на меня так, будто от меня что-то зависело. — Надо что-то делать...

И я почувствовал, что соседка четко представляет себе существо ситуации. Простая была женщина, и речь и внешность ее были обычны, но в ее восприятии бы-

ла точность, простая, обыкновенная точность,—ни больше и ни меньше...

— Ничего не случится,—громко сказала женщина, но сказала как-то так, между прочим, ее не услышали или, в лучшем случае, не придали значения. — Взрослые люди, а такую ерунду принимаете всерьез, — продолжала женщина. Но она не существовала. Ее слова попросту не имели права быть произнесенными. Я это заметил, и понятно, что и остальные почувствовали то же.

Женщина, растерявшись, снова посмотрела на меня:

— Скажите, ну, скажите что-нибудь...

Я пожал плечами и отвел глаза от ее колючего взгляда.

— Скажите, — повторила она. — Должен же кто-нибудь сказать обратное... Сказать, что ничего с самолетом не случится. Видите, все испуганы...

— Не могу,—быстро отказался я, чтобы не привлечь к себе внимание остальных. «Я-то тут при чем? Кому-то еще покажется, что я участник этой странной затей».

Женщина не отрывала от меня глаз.

— Скажите... Прошу вас...

— Не могу.

— Почему?..

— Просто не могу!.. Понимаете?.. НЕ МОГУ!..

Во взгляде женщины появилось что-то нехорошее, что-то такое, что особенно задевает мужчин.

— Я хочу, но не могу,—попытался я оправдаться.— Я могу только произнести слова. Но ведь за этим ничего нет...

Женщина, словно войдя в мое положение, сказала более мягко и дружелюбно:

— А вы попробуйте... внешность у вас солидная, внушает доверие... может, слова подействуют... Должен же кто-нибудь возразить на те слова... Понимаете?..

— Произнести пустые слова?.. — уже разнервничался я.

Летчики были растеряны. Один из них собирался выйти. Поднялся легкий ропот.

— Товарищи, не шумите!.. И нечего злиться... По закону мы вообще не должны были лететь... Просто вошли в ваше положение... Очень вы просили... Наша смена давно уже кончилась... А вы тут хулиганите (под

этим «хулиганите» он скрыл свое более серьезное отношение к происходящему, спрятал за этим словом свое состояние).

— Кто хулиганит?.. Мы-то тут при чем?.. — ухмыльнувшись, запротестовал пожилой пассажир. — Вы это виновнику скажите...

— А мне все равно, — надеясь под этим предлогом выйти из самолета, чуть улыбнулся летчик. Его товарищ, пребывая в полной неопределенности, растерянно выглядывал из пилотской кабины.

Летчик шагнул было к двери. Одна старуха уцепилась за его руку.

— Сынок, не уходи... ехать надо... все глаза проглядела... вас ждала...

— Ничего не случится, не бойся, — снова сказала моя соседка в сторону летчика, но и на сей раз слова ее как бы остались вместе с ней. Отчаявшись, она снова обратилась ко мне:

— Может, попробуете?

Еле сдерживая растущее раздражение, я смолчал.

В переполненном людьми самолете я ощутил поверхность и глубину предмета: оболочку, которая показывает, и глубину, которая творит. «Имеет ли слово свое ядро?» — подумал я с потугой на шутку в этой нелепой ситуации. Как может одно слово произноситься по-разному? В одном случае — лживо, пусто, в другом — истинно, мощно, самобытно, как выражение сущности, со своим собственным весом, слово, способное задерживать самолет или поднять его в воздух...

— Вы же мужчина! Придумайте что-нибудь, — не унималась моя соседка. — Может, найдете того, кто сказал? Пусть теперь скажет обратное.

— Не может...— больше для самого себя умозаключил я.

— А переполошить-то весь самолет сумел!

— Не может, — повторил я.— Неправдой это будет... Он мог сказать только то, что сказал... А обратное он не может... Неправдой это будет.

Моя соседка, опешив, посмотрела на меня. Господи, поняла! Эта женщина удивительно все понимала...

— А что же нам делать? — уныло пробормотала она.

— Кто этот хулиган?! — фальцетом закричал мясистый молодой человек.— Пусть признается!.. Мать его...

Затем и он умолк, и начало проявляться некое мгновение, которое словно останавливало время, раздробляло ядро времени — эту далекую и невидимую мельчайшую частицу, в которой спрессована беспределность... оно пожирало время и превращало людей в студень.

— Я вижу, вы меня ждете, — раздался звонкий голос в хвосте самолета.

Все оглянулись на голос. У входа в самолет стоял какой-то мужчина.

— Добрый день! — во всю мощь своих легких сказал он и, увидев множество направленных на него глаз, засмеялся: — Вы и впрямь меня ждали? Ну, если так, летим!.. — И прошел вперед, устроился в первом ряду, в свободном кресле за спинами летчиков.

— Теперь можешь лететь, браток, — снова сказал он с беспечностью ничего не ведающего человека. Некоторое время он, пыхтя и сопя, удобно устраивался — как будто располагался у печки. Потом, окончательно утвердившись в кресле, засмеялся и обратился к летчикам:

— Что? Я не прав?..

Его неведение было гениально, велико и всемогуще, оно способно было объять все на этом свете — и мысль, и мудрость, и анализ, и сопоставление, и все это — и виришь, и вглубь.

Лицо пилота тронула улыбка. Он сейчас постеснялся бы думать о чем-нибудь ином и обратился к товарищу:

— Может, полетим, а? — Потом пошутил, отсекая этой шуткой свое прежнее настроение: — Раз он пришел...

— И правильно сделаете, — сказал несведущий пассажир. — Через час долетим... — Потом снова засмеялся и прибавил: — Если на две минуты раньше долетим, ставлю бутылку караунджа... Зангезурского...

Довольный своей шуткой, он посмотрел назад, потом снова на летчиков и произнес:

— Поехали!

И самолет поднялся из-за скал к неведомому простору, который мы зовем небом и цвет которого мы давно уже определили...

Напрягая усталые мышцы, Софи вся подбиралась, подтягивалась, старалась не сбиться с ритма, двигаясь по сцене... Едва она успевала стереть пот с шеи и рук, как сразу же ее усталое тело снова становилось влажным, липким... Было особенно неприятно, когда Эдгар, ее партнер, обнимал Софи, брал ее за руки, и их мокрые пальцы сплетались. Тогда Софи сильнее ощущала усталость. Такими же уставшими были все пары. Шел конец спектакля. Желание скорее закончить, избавиться, ощущение усталости как-то возбуждали ее, и это возбуждение — наперекор телу, наперекор усталости — придало ей силы. Ее движения стали более четкими и даже вдохновенными, словно тело ее стремилось подняться над сценой. Софи чувствовала усталость своего ровного в обращении, миловидного партнера и видела его профессиональную, официальную вежливость. И когда он брал Софи за талию и улыбался деланной, ничего не выражающей, рабочей улыбкой, Софи острее ощущала, что они чужие друг другу... И Софи одна танцевала болеро, этот гимн единения, изначальной нераздельности мужчины и женщины, гимн их слиянности. Краем глаза она видела, что все остальные пары так же официальные, каждый погружен в себя, в свои заботы, каждый наедине со своим утомлением, своей отчужденностью. Софи танцевала одна, она говорила каждым движением тела: «Вот это мы, мужчина и женщина, мы вместе. Сила земли, одно тело, начало жизни, сила, сила, сила... Мы вместе, и ничто не может погубить нас... мы вместе, и в этом есть величие, мы создаем... Смотрите, как возникают одно из другого наши движения, это движения одного тела. Мы идем... Мы идем... Нет ничего выше, мудрее. Мужчина и женщина вместе... Целостны. Целостны и гармоничны».

Софи посмотрела в глаза Эдгара и окончательно убедилась в его слабости, она увидела глаза, в которых отражалась лишь вежливая улыбка. «Почему ты так вежлив, почему ты так одинок?»

Лена, танцовщица кордебалета, наверное, радовалась, что после спектакля Гарник не будет ждать ее на улице — она сказала ему, что из-за семидесятилетия Иветты они решили остаться, неловко как-то, ведь один коллектив, ведь им тоже будет семьдесят... Бог ты мой,

семидесятилетняя танцовщица! Лена поймала себя на мысли: если ей и так хорошо без Гарника, то стоит ли вообще ему ждать?.. Потом Лена подумала, что сейчас муж жарит яичницу для ее девочки и собирается уложить ее спать. Почему так, бог ты мой... В чем она виновата, что делать, как быть?..

Иветта, старенькая, маленького роста, хрупкая, как птичка, женщина, то в волнении стояла за кулисами, то бежала наверх, в репетиционную, где мадам Артемис и Вардуи Никитична накрывали на стол и где постепенно собирались те, кому больше не предстоял выход на сцену.

Когда Лена, танцуя, при каждом обороте замечала прильнувшую к занавесу Иветту, она улыбалась, опасаясь, как бы не поранить взглядом хрупкую Иветту.

Мадам Артемис, старая балерина, объездившая пол-Европы, солистка Петербургского театра, ныне уже совсем седая, сохранила осанку танцовщицы, несмотря на свои восемьдесят лет. Когда ее движения выдавали в ней бывшую балерину, мадам Артемис вдруг начинала казаться очень молодой и наивной, и можно было подумать, что люди не стареют, а просто изнашиваются.

Хотя ее всегда окружали поклонники и когда-то младший Манташев пил шампанское из ее тувельки, она была недовольна своей жизнью: так и осталась одинокой—блестящая и одинокая, красивая и одинокая, непреклонная и одинокая... Она никого не обвиняла: ни тех, кто покидал ее, ни тех, кто привязывался к ней по своей слабости, вызывая у нее только отвращение. Все они стоили друг друга. И это отлично знала мадам Артемис. Она на все смотрела с улыбкой, считая это законом жизни. Хоть и в одиночестве, но жизнь она прожила без особых страданий, в равной мере без счастья и без горя. Мадам Артемис не огорчалась, когда бывала обманутой, она знала, что покинувшие ее были просто не те, и даже если бы они остались с ней, то были бы ей не нужны, это были не те... «Это были не те» — таков был девиз ее жизни, и это определяло ее характер.

Вардуи Никитична, в противоположность мадам Артемис, как-то инстинктивно стремилась к счастью. Она любила бурно, предваряя и опережая ход событий — вплоть до попыток самоубийства. Куда только

ее не заносило вслед за мужчиной: была на фронте, имела ранения в бедро, в живот и после этого танцевала, и опять не могла жить без любимого. Она искала нервно, истерично, и все ее силы уходили на этот роковой порыв... И всегда все кончалось крахом... И в конце концов чувство превратилось у нее в стремление завоевать, отнять... От этой бурной жизни у нее осталась дочь, и она стала для нее опорой. Она наконец сама устала от огромности своих желаний. И порой задумывалась о причине своей усталости, но не могла ее осознать, так же как не могут этого осознать и многие другие женщины.

В репетиционную вбегали балерины, все еще в театральных костюмах — спектакль окончился.

— Скорее, садитесь... — позвала мадам Артемис, — нам помогать не надо.

— И никаких мужчин, — добавила Вардуи Никитична, посмотрев в сторону двери, в которую заглядывали мужчины, идущие в артистические уборные.

Айкуи подошла к мадам Артемис.

— А как быть с Адамом? — спросила она.

— С каким Адамом? — мадам Артемис не поняла.

— С тем Адамом, что у Долли, — сказала Айкуи.

— Никаких мужчин, — сказала мадам Артемис. —

Мы ведь так решили...

Айкуи что-то забормотала, хотела было отойти, но снова спросила:

— А как же Долли?

— Долли?

— Долли... Адам... — Айкуи зачастила беспокойно. —

Вы знаете, что значит Адам для Долли... Он ее первый жених... А ведь Долли — сорок лет, неслыханно, не так ли? Это же такое событие в жизни Долли. До сорока лет все ее обманывали и обманывали...

— А кого не обманывали? — произнесла, смягчаясь, Артемис.

— Нет, но ведь это другое, совершенно другое. Мы и сами считали, что Долли уже нельзя верить. А Адам верит.

Глаза Артемис сощурились, стали узкими, как щелочки, она обратила взгляд на Айкуи. Это выражение лица ее подруги называли «петербургским». Оно означало: «Я не очень-то вам верю, но мне любопытно.

И поскольку я хорошо воспитана, я постараюсь понять это, но совсем с другой стороны, неведомой вам. И не думайте, что я такая простушка».

— Этот день очень важен для Долли... — Айкуи еще многое хотела сказать такое, что, будучи само по себе вполне однозначно, тем не менее очень волновало.

— Девочки,— Артемис обратилась к балеринам,— ничего, если на нашем юбилее будет один мужчина?..

Некоторых балерин это огорчило, но они промолчали, потому что устали и хотели только побыстрее с этим покончить, чтоб не засиживаться долго из-за лишних разговоров, а другим было все равно, кто еще будет и почему...

— Я думаю, что ничего,— добавила мадам Артемис.

— А кто он?— спросила прима-балерина Наринэ Цулукян.

— Жених Долли,— сказал кто-то вполне серьезно, но в то же время придавая словам ироническую окраску.

— Еще один?

— Долли, Долли... — и комната наполнилась восклицаниями.

Гримершу Долли не принимали всерьез, и ее имя в сочетании со словом «жених» являло собой какой-то прямо-таки этнографический юмор. Долли каждую неделю видели с другим мужчиной, но никогда не интересовались, кто он. Долли была приятна всем своей легкостью и беззаботностью. Здороваясь, она всегда целовалась, а накладывая грим, щедро расточала похвалы балеринам. Словом, Долли — это Долли, и было даже любопытно взглянуть на ее жениха.

— Приведите жениха,— балерины оживились. Ивета улыбалась... В репетиционной был весь женский состав балета, в воздухе носились усталые разговоры, запахи пота и духов. На стене, в голове стола, у рояля — афиша Иветты...

Когда Долли и Адам вошли в комнату, все взоры обратились на них. Долли растерялась на миг, но ничего не изменилось ни в ее лице, ни в осанке. Она крепко держала руку Адама, быстро окидывая всех радостным взглядом. Все смотрели на Адама, желая определить, кто он, что за человек, к какому известному

им типу мужчин он принадлежит. Они смотрели на его лицо, мысленно прощупывали его, словно желая найти начало и конец кровеносных сосудов, разветвляющихся на его лбу, висках, шее. Каждая балерина заранее представила себе, каким окажется Адам, исходя из своих знаний о характере Долли. «Очередной знакомый, которого она хочет женить на себе. Хочет заманить в ловушку: если узнают в театре, станет известно и городу... Желаемое выдает за действительное. Вот так Долли, Долли... Пользуется юбилеем бедной Иветты... И как это она подцепила его? Хочет ошеломить — мол, смотри, какое у меня окружение»...

Они мыслили штампами, расхожими истинами, им были известны все варианты человеческих отношений. Но теперь, постепенно, секунда за секундой, минута за минутой, незаметно, непонятно для них самих с танцовщицами что-то происходило. Они старались совместить Адама со своими представлениями, и ничего не получалось, и чем больше проходило времени, тем яснее было, что почва ускользала у них из-под ног, и они оступались, попадая в полосу неведомого, таинственного...

Долли быстро прошла вместе с Адамом, и получилось так, что они сели там, где должна была сесть Иветта — во главе стола, у афиши...

У Адама была длинная шея, седые волосы и спокойный взгляд. По лицу его скользила улыбка — нет, скорее это было какое-то неизвестное им выражение лица: не успевал он улыбнуться, как ему уже становилось грустно, не успевал загрустить, как опять улыбался, казалось, он просто еще не имел точного представления ни о радости, ни о грусти. Ни сознанием, ни даже своим опытом балерины не могли постигнуть это настроение, но они заражались какой-то таинственной тоской, словно издали к ним медленно приближалось что-то утраченное, что-то очень знакомое, берущее за сердце, что-то старое, давнишнее, то незнакомое, совершенно новое и опять-таки берущее за сердце, пугающее. Это было похоже на чудо. Каждой казалось, что это от усталости, из-за позднего часа, от напряженности спектакля, какое-то похожее на сон, завораживающее мгновение, которое пройдет, вот-вот исчезнет...

Софи взглянула на Олю и почувствовала, что Оля испытывает то же самое. Она хотела улыбнуться, по-

шутить, но не получилось, потому что Оля пи одним нервом не откликнулась на ее желание пошутить, но еще понятнее, еще ближе стали они друг другу. Софи взглянула на Долли, и ее усталость, ночь, чудо переживания смешались воедино, и ей никак не удавалось ощутить что-то вещественное, простую твердость предмета.

Долли не отпускала руки Адама, но ее глаза быстро скользили по лицам.

Кто-то произнес речь в честь Иветты, потом что-то еще происходило, но, казалось, этого не было на самом деле, потому что они смотрели на Адама и находились в нереальном мире. Их движения были замедленны, условны и разрозненны. Что-то скрытое начинало действовать в них... Их поверхностные суждения, попытки по-своему осмыслить событие теряли весомость и значимость.

Солистка балета Мариам смотрела в лицо Адама, и в ней рождалось спокойствие за себя, за свою дочь и за всех будущих женщин. Она не понимала, что происходит с ней. Она вспомнила первого мужчину в своей жизни, который так легко покинул ее, затем вспомнила второго, которого она не поняла... И теперь, глядя на Адама, начала сомневаться в своей правоте... В ее памяти сменялись их лица... Быть может, в чем-то она была не права, слишком решительна. Что-то от Адама было и в тех людях, но, наверное, слишком мало, потому что это сходство становилось призрачным, каждое новое лицо терялось среди других лиц...

Мир для Мариам время от времени погружался в черноту, кругом была тьма, а она — в одиночестве. В этом мире тьмы, где есть леса и камни, полюса и ущелья, есть тайны, немощь и грубость, единственное существо, которое может помочь человеку, — это человек. Она очень много думала об этом, и ей казалось это великой истиной. Но она так часто высказывала эту мысль — к месту и не к месту, — что ее соображения утратили свежесть и больше не казались разумными. Все, что было в ней, стало молчаливым страхом и затаилось в недрах ее существа... Теперь она смотрела на Адама, и страх словно уходил из нее, и тело становилось легче, наполнялось светом...

У заслуженной артистки Фаины Исаакян были три раны — в первый раз она получила увечье от падения

на сцене еще в хореографическом училище, второй раз — в Одессе, во время бомбежки, в третий раз в нее выстрелил пьяный немец во время выступления на сцене. Она почти не успела вкусить радостей и горечи жизни, как все пошло кувырком... Затем начался быт — уроки танца, обычные учрежденческие дразги, и в ней погибло то, что было ее существом, и вот теперь оно пробуждалось. Она не вспомнила детство, а как будто заново начала свою жизнь — впервые почувствовала вкус арбуза, в первый раз увидела гроздь винограда.

Худенькая, голубая танцовщица Асмик всегда ощущала какую-то иллюзорность своего состояния: если она спрашивала о чем-нибудь людей и ждала ответа, люди бормотали вполголоса что-то неопределенное, и Асмик, не получая ответа, ничего не понимала. Снова мучительно спрашивала, внимательно, очень внимательно слушала. Ей не давали определенного ответа, и вопрос Асмик повисал в воздухе, испарялся... Так бывает во сне — ты открываешь рот, говоришь что-то важное, но голоса не слышно, снова и снова стараешься сказать — и не можешь произнести ни слова.

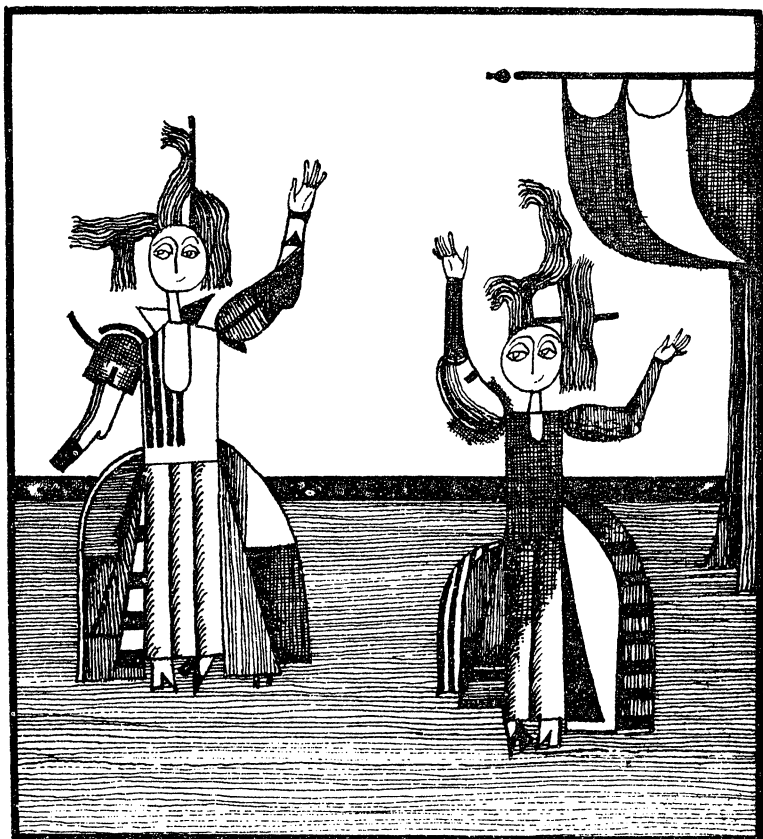
Теперь у черного хода в театр ее ждет Рубен, он звонит каждый час, и Асмик знает, что сейчас он топчется на месте, чтоб согреться. Но если б Асмик увидела его, спросила что-то, то ничего бы не услышала...

Асмик смотрела на Адама, и ей казалось — Адам среди столько танцовщиц видит только ее, он, как лицо на фотографии, с которым, откуда ни посмотри, обязательно встретишься взглядом...

Долли была счастлива и не успевала осмыслить происходящее. Она немного опасалась, как бы Адаму не сказали о ее прошлом.

Софи, глядя на Адама, молча встала из-за стола, вышла на середину зала, и начался танец... Она еще не сняла балетные туфли и, казалось, летала, не касаясь пола. Музыки не было, и у одной из танцовщиц родилась мелодия, она распространилась, перешла из уст в уста, и тогда возникла музыка, которая была словно голосом тела, движения, света...

Репетиционная пришла в движение. Тела смешались со светом, свет обвинял тела, ласкал движения, движение входило в свет, словно стремилось разорвать его



пелену, но терялось в его доброй всепроникающей глубине... Танцевали все, приглашали друг друга...

Начался языческий танец, и Адам словно был идолом, огнем, воплощением божества. В обилии света лицо Адама утратило свою форму, казалось нарисованным на плоскости, черты лица стали зыбкими — вот-вот исчезнет, растворится в свете...

И танцовщицам было страшно, что вдруг они обернутся, а во главе стола больше не окажется Адама, потому что, в конце концов, он принадлежал каждой из них, и ни одна не спросила другую — в самом ли деле существует этот человек или только привиделся ей...

В новогодний вечер 1892 года в Эрзеруме в нашей семье было двадцать семь человек, в 1916 — трое, а в двадцатом в нашем ереванском доме лишь один человек поздравил себя с Новым годом... И вот-вот уже должен был исчезнуть и этот один, как чудом каким-то в доме оказалось двое... Второй была моя мать, пришедшая бог весть из какой голодной деревни. Она встала на пороге отцовского дома, и беженец сказал беженцу: «С Новым годом...»

Матери хотелось, чтобы под Новый год в доме оказалось снова двадцать семь человек, но не получилось. Да и как это могло быть, если отец нас бросил... Люди обычно сближаются, чтобы потом расстаться. Создают себе подобных и расстаются. А встретившись, даже не узнают друг друга.

«Не вмешивайся в чужие дела», — сказала мне мать, когда утюгом «пароход» мне распороли щеку, да так, что можно было считать зубы... «Не вмешивайся в чужие дела», — говорила она, если я бывал печален. Странно, мать хотела, чтобы нас стало много, и в то же время боялась, когда я близко сходил с людьми. Я заметил, что люди всегда держатся на определенном расстоянии друг от друга. Правда, это одно из древнейших в мире правил. И только такие простаки, как я, вряд ли когда-нибудь это поймут. К наместнику на Кавказе Воронцову-Дашкову ближе, чем на десять метров, нельзя было подойти. И чем выше чин, тем больше расстояние. Но не только чины создают расстояния, но и расстояния создают чины и всякое такое прочее. Все люди создают между собой некую дистанцию. Все в мире соединено такими расстояниями, склеено ими. Человек иногда держится на расстоянии даже от самого себя.

Однажды на Новый год мать торжествовала — в доме у нас оказалось четыре человека. Это были мы с мамой, кочегар родильного дома по прозвищу Кум Вардан и наш сосед пенсионер, на дверях которого висела медная дощечка с надписью: «Доктор Ч. Ц. Палтопетросян». Эту дощечку вместе с дверью он принес из Карса: снял дверь с петель и буквально приволок ее в Ереван. Словно тащил не обшарпанную дверь, а собственное имя. Признаться, мне всегда казалось, что

люди преисполняются к себе уважением за что-нибудь конкретное: за изобретение машины, за игру на музыкальном инструменте, за красоту и прочее. Достигнув кое-чего, они решают: «Теперь уже я заслужил право уважать себя». А потом я понял, что они просто рождаются такими — уважающими себя или не уважающими. Уверен, что Лев Толстой уважал себя меньше, чем Торгом, продающий у нас на рынке фитили для керосинок.

Мы радовались, что нам удалось собраться на Новый год вместе, и мы всю старались сократить расстояние между людьми (то есть между Кумом Варданом, Ч. Ц. Палтопетросяном, матерью и мной).

Первым захмелел я.

— Люди неправильно поступают, покидая друг друга, — сказал я вместо тоста, имея в виду расстояние между людьми и морщины на лице каждого.

Мать беспокойно задвигалась на месте.

— Не вмешивайся в чужие дела.

Я уже не знал, где чужие, а где мои. Я ударил себя в грудь.

— Оно все подбивает меня: «Вмешайся да вмешайся», — прямо приказывает, понимаете: «Все люди — твои братья, верь им, верь...»

— Не потому ли ты в таком положении? — сказала мать.

— Ну и ладно! — закричал я. — Ну и пусть! И все равно я буду слушаться его... Оно порой даже беседует со мной...

— Да ну? — усомнилась мать.

— Ей-богу! Я даже беру ему билет в кино... Два билета, мне и ему, — совсем уже разошелся я.

— Это подсознание, — заметил Ч. Ц. Палтопетросян.

— Это — бог, — сразу посерьезнев и сдавшись, сказала мать.

— Киракос, — заявил Кум Вардан.

Это мне очень понравилось, и я спросил:

— Что за Киракос?

Кум Вардан пояснил:

— Одно существо превращается в два существа, два — в четыре, четыре — в сто... Вначале был один человек. Потом он стал множиться, людей становилось больше и больше. А сам он поместился в каждом. Вот

это и есть Киракос... Внутри каждого сидит Киракос. Чем больше становится людей, тем хуже приходится первому человеку... Люди забывают это, не понимают друг друга, считают друг друга чужими, даже врагами, терзают один другого. Киракос вопит изнутри: «Не делай другому зла, это ведь я, то есть ты!..» Простое дело...

— Это вы о первооснове говорите,— сказал Ч. Ц. Палтопетросян.

— Нет, о боге, — возразила мать.

— О Киракосе,— твердил Кум Вардан.

Я был согласен с ним, я почти видел Киракоса: лысый, с несчастными, смешными глазами, с длинной, худой шеей. Вечно он ставил меня в дурацкое положение: мол, люби да люби, помогай, чувствуй, не обманывай...

Однако я спросил:

— Почему же все-таки Киракос? Не нашлось другого имени?

— Почем я знаю?— сказал Кум Вардан. — Так уж его зовут — Киракос,— и улыбнулся.

Должно быть, без улыбки трудно представить себе Киракоса.

— Вот и получается так: сделаешь добро человеку, за это тебе добром воздастся,— продолжал Кум Вардан, — и какое ни сделаешь зло — такое же зло заработаешь... Закон... Потому и счастливы люди, когда они вместе... Если бы все человечество поступало таким образом, мы бы снова стали чем-то единым, одним веществом. Совершишь зло — нанесешь вред этому веществу. Потому что ты — его часть.

То, что сказал Кум Вардан, как-то сразу уложилось в моей голове. Показалось мне, что я даже глубже осмыслил его слова.

— Это химия, — продемонстрировал я свою ученость.

— Метафизика,— покосился на меня Ч. Ц. Палтопетросян.

— И с народами то же самое: добрый народ всегда добро пожнет.

— Мы-то кому причинили зло? — заволновалась мать.— Зачем же нас обижают?

— Они не нас обижают... Они себя обижают... Жалко их...

— Кого это?— удивилась мать.

— Обидчиков наших.

— Жалко?— опять удивилась мать.— Значит, мы будем их жалеть, а они нас — обижать?

— Они себя обижают... Это самоубийство,— сказал Кум Вардан.

— Киракоса, что ли, убивают? — полувопросительно сказал я.

Так, грустя и пошучивая, подтрунивая друг над другом, пришли мы кое в чем к единому мнению. Одним словом, в тот новогодний вечер у нас в доме родился Киракос.

И в каждом из нас заговорил Киракос. Для начала мы пожалели Чингисхана, который бессознательно вредил сам себе, потом повздыхали об Ага Махмед хане, он ведь тоже насолил себе немало, и сколько еще ему, бедняге, придется страдать! Жалели, всех жалели...

Мы возгордились, что всегда были жертвами, всегда страдали, были беженцами, проливали слезы...

Ч. Ц. Палтопетросян постучал по своей деревянной ноге:

— Мно-ого еще помучается тот, кто загубил мою ногу... Она вырвана из тела Киракоса.

— А пятнадцатый год!.. Как же должны терзаться эти глупцы, что ранили тело Киракоса,— чуть не заплакал Кум Вардан. — Ведь когда человек вредит своему ближнему, тогда болит тело Киракоса. Что ни говори, страдает только Киракос.

Потом все принялись припоминать тех, кто причинил нам различные мелкие горести, сожалеть о них и скорбеть...

Через год не стало Кума Вардана, не стало и доктора Ч. Ц. Палтопетросяна.

— Нас осталось только двое,— говорит мать в новогодний вечер. (Матери семьдесят лет. Садясь в трамвай, она сначала просовывает в дверь свою сумку и, ухватившись руками за ступени, становится на них коленями, потом поднимается и входит.)

— Почему двое? — говорю я.

— А сколько же?

— Ты, я и... Киракос, — говорю я с улыбкой.

Ведь нельзя же говорить очень серьезно о действительно серьезных вещах. Это может показаться просто смешным. Я готов уже загрустить, что нас мало ос-

талось, что со мной Киракос, который терзает мне душу своей умной, страдальческой улыбкой.

Я смотрю в лицо матери. Оно доброе и немного смешное оттого, что на носу у нее две пары очков. Она разглядывает фотографию человека с маленькими острыми усами.

— Отец? — спрашиваю.

Мать испуганно оборачивается, словно ее поймали на месте преступления, съеживается, моргает глазами.

— Жалеешь его за то, что бросил нас? — спрашиваю.

Она кивает головой.

— Боишься, что он получит по заслугам? — продолжаю я.

Мы с матерью припоминаем по одному всех, кто когда-либо причинял нам зло, и жалуем их.

Идет снег. Между нашим и родильным домом густыми клубами проплывает туман. Окна напротив слабо светятся. Слышится крик роженицы. Чуть погодя — другой, еще один, и до полуночи мы с матерью считаем:

— Двадцать шесть...

— Двадцать семь...

«Я размножаюсь, — говорит Киракос. — Теперь труднее будет и легче.»

— Пусть будет нас много, пусть нас будет много, — сонно бормочет мать и придвигает ко мне стул, чтобы всегда видеть перед собой человека.

СМЕРТЬ БЕРНАРДА ШОУ

Был в окрестностях Айот Сент-Лоренса пруд, больше похожий на болото, куда часто приходили детишки — купаться, играть, собирать растения и ягоды — в общем, им нетрудно было найти для себя приятное занятие. И вы, Джордж Бернард Шоу, английский писатель, мастер иронии и парадоксов, тоже иной раз забредали сюда, прогуливались среди цветов и любимой тропинкой шли к пруду. Этот кусочек воды был окружен рамкой из цветов, травы и причудливых растений. Мягкая, нежная, зеленовато-сиреневая гладь переливалась ярко-красными и синими тонами, которые вдруг как бы менялись местами... В вихре красок иногда мелькали

маленькие белые цветы, они белоснежно вздыхали и исчезали, оставляя после себя меланхоличную, как дым, неопределенность... Кромка болота золотилась, и само оно превращалось тогда в зеленое зеркало, потом вдруг окрашивалось золотым, и берега напоминали тогда букет кричаще ядовитых, взаимоисключающих красок.

Здесь водилось много мелкой и крупной рыбы, а на дне вились растения. Их нельзя было отличить от рыб, и трудно было понять по их движениям, кто чего хочет, кто куда устремляется. Один стебель влево тянулся, другой вверх, третий распластался — плавает по поверхности. Однако подлинным украшением пруда были лягушки. Красивые, как русалки, гармонично и пропорционально сложенные, как растения, рыбы и люди, они обладали своими красками и грацией и были созданы столь же мудро и разумно, как и все в природе. Вы, сэр, частенько сиживали на берегу и смотрели на них — больших и маленьких, зеленых и сероватых... Вы заметили, что у лягушек не только неповторимая внешность, но и разные характеры — одна была веселой и озорной, другая меланхоличной, третья быстрой, четвертая — медлительной и хладнокровной... И каждая из них особенная, как и люди или, к примеру, телята, которые попадались вам на пастбищах Айот Сент-Лоренса.

Однажды, сэр, вы заметили, что мальчишки у пруда заняты странным делом. С сачками в руках они прыгали в воду, вылавливали заодно с рыбой уже взрослеющих головастиков и, вытащив на берег добычу, выбирали рыбу, а головастиков бросали на землю, и те беспомощно барахтались — им не хватало воздуха, и двигаться они не могли, потому что их ноги были еще слабы, неразвиты...

— Зачем же так? — спросили вы. — Разве не жалко? — И вы поднимали с земли головастиков и по одному бросали обратно в воду.

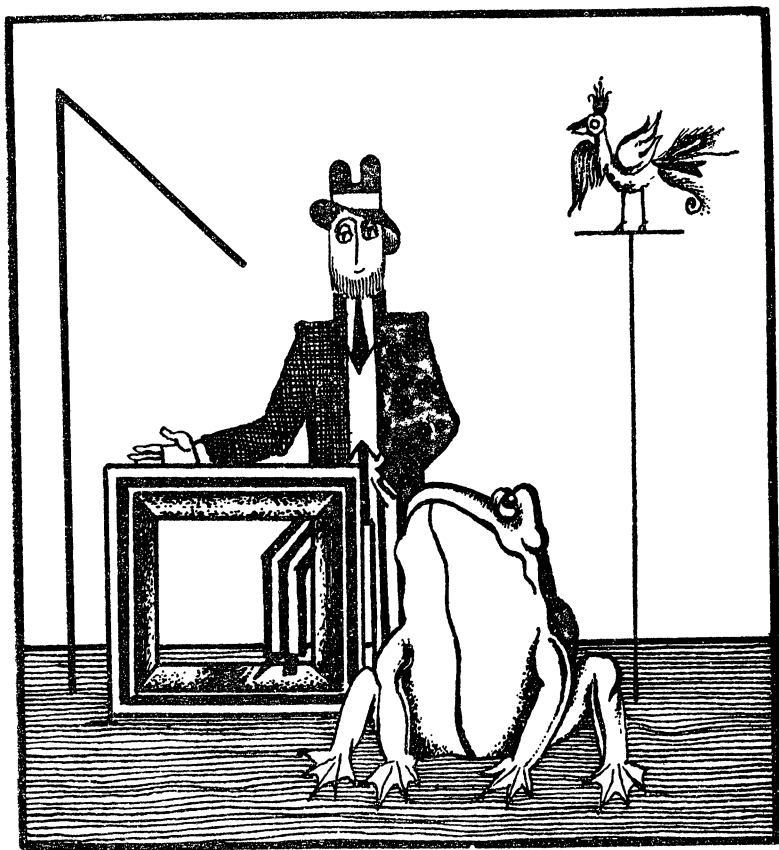
— Это же лягушки, кому они нужны! — сказал рыжий мальчишка. — Мы рыбу ловим. Здесь очень маленькие рыбки, и их можно дорого продать.

Вы взяли в руку лягушонка и сказали:

— Видите его? Это Чарли...

Ребята засмеялись.

— Посмотрите-ка внимательнее, — сказали вы. — У него особенная окраска и ноги длинные, совсем как у



тебя. Должно быть, он хороший пловец. А у этого лапки короткие, этот никогда не станет чемпионом по плаванию в стиле брасс.

Мальчишки опять засмеялись.

— Знаете ли вы что-нибудь о каждом из них?— с улыбкой спросили вы.

Ребята переглянулись.

— Ведь у каждого такого лягушонка свое имя, свои привычки, свои болезни...

Мальчишки слушали вас, слушали и тоже принялись собирать головастиков и по одному бросать их в воду.

Возвращаясь домой, вы заметили двух телят, которые, подняв головы, провожали вас взглядом. Один

был белый, с красными пятнами, другой черный с белым. У белого теленка глаза были миндалевидные, как у мисс Черрингтон, когда она читает свой монолог. Вы восхитились выражением этих глаз. Они были умны тем природным мудрым умом, который так божествен и столь гармоничен... Телята смотрели на вас спокойно, мирно, без задних мыслей, без вражды, словно это не ваши предки (да и вы, извиняюсь, до двадцати пяти лет) лакомились их матерями и отцами, дедами и бабушками. И даже когда вы приблизились, телята не убежали, потому что у них нет свойственного людям подсознания (кроме того, им непонятны столь любимые вами парадоксы), опыт поколений не испортил их, они такие, какими сотворил их бог, и такими пребудут во веки. Они не испугались от вас даже тогда, когда вы, сэр, погладили их по макушкам! У одного волосы были рыжеватые, спутанные, как у хиппи (жаль, вам не довелось увидеть хиппи!), у другого же — черные, прямые и жесткие. Что-то встрепенулось у вас в груди, вам захотелось расцеловать телят. Повинуясь неясному побуждению, вы чмокнули светленького в лоб. И мгновенно в вашей памяти вспыхнуло воспоминание о жареных мозгах, которые вы ели в двенадцатилетнем возрасте в гостях у мисс Пауэр. Но вы подавили предательскую вспышку подсознания, еще раз поцеловали чистый лоб теленка и подумали: «Они не знают, что осуждены, что не доживут до старости и будут поданы на стол в виде лангета или ромштекса». Grimаса отворачивания исказила ваше лицо. «Боже милосердный, до чего безумны люди, как они могут убивать себе подобных, да еще и поедать их! Ведь эти несчастные все чувствуют, ведь они любят, они частица природы, этого неба, друг друга, нас! Людоеды! Ведь телята полны восторга — даже когда видят человека...». От этих мыслей вы похолодели. И после того как вы ушли, телята долго смотрели вам вслед (так провожали вас взглядом Джаннет и Генри, когда вы десятилетним мальчишкой уезжали на летние каникулы). На миг вам показалось, что и они тоже станут махать платочками. И хотя вам было сейчас спокойнее, ибо вы знали, что у телят не может возникнуть парадоксальных мыслей, все же глаза у вас увлажнились. В последнее время с вами это часто случалось. Вы смахнули мизинцем слезу, оглянулись, не заметил ли кто ее — вдруг вас

заподозрят в сентиментальности, а это не к лицу вам, веселому, озорному, остроумному Шоу.

Когда, уже порядком удалившись от телят, вы обернулись, они все еще смотрели на вас. Вечер с задумчивым шелестом, с любовью величаво опускался на поле. Высокие и низкие стебли, волнуясь, выскальзывали из объятий вечера и все же тянулись к нему, пугались огромности его рук и с удовольствием ощущали их неизбежную власть.

Вы сидели у себя в кабинете перед бумагами и смотрели в окно. Вам не работалось, а вечер был так нежен, что ваши шутки и улыбка казались мрачными. Вам хотелось написать о поварах, лангетах и ромштексах — в сатирическом тоне, немного коварно, но весело. Вам захотелось написать о самом нелепом и любимом существе — о человеке...

На другой день вы отправились в яблоневый сад. С утра вы искупались в бассейне и чувствовали во всем теле приятную свежесть. Насладившись видом яблонь, вы пожелали еще и отведать от этой красоты. Почему-то вы были особенно бодры в то утро. Может, оттого, что плавание брассом доставило вам радость. Вы без стремянки взобрались на большое дерево. Аромат яблок заполнял весь сад, дерево было прекрасно. Вы съели самое спелое яблоко — отличная пища для вегетарианца. Позавтракать одним яблоком сделало бы честь любому из достойнейших членов Лондонского клуба вегетарианцев. Сидя на ветке, вы не спеша доели яблоко, затем поднялись, и в вас родилось желание прогуляться по ветке. Вы вспомнили «Сарабанду» Равеля и захотели ее тут же станцевать. Вы уже почти что танцевали и так, в плясовом ритме, начали приближаться к другому яблоку... И вдруг тут, кажется, вы впервые поняли, что яблоня вас чувствует, что она сердится, обижается, что у нее болит кожа, мускулы натянуты и трещат. Но вы не обратили на это внимания. И, возбужденный, протянули руку к яблоку, висевшему на самом конце ветки. Маленькие веточки хлестнули вас по лицу, вы обиделись, и в вас заговорило упрямство. Вы даже расслышали некий жалобный писк, но не смогли обуздать свое упрямство, оно заставляло вас тянуться к яблоку на конце ветки. Сделав еще шаг, вы почувствовали, как помрачнело дерево, одна из ветвей, более вспыльчивая, снова хлестнула вас по лбу. Отведя ее,

вы сделали следующий шаг... Какая-то ветка оцарапала вам щеку, дерево помрачнело еще больше. В вас возник страх, но вы не ощутили его, лишь подумали о нем. На ваших глазах ветви стали чернеть, оголяться, превращаться в сучья, они уже казались руками с множеством пальцев. В вас возмущился человек и художник. Чудесного дерева больше не существовало. Перед вами было нечто паукообразное. С силой расталкивая сучья, вы упрямо двигались вперед, но они оказывались упрямее и с маху толкали вас обратно. Улыбнувшись, вы подумали: уж не принц ли крови эта яблоня среди всех других деревьев? И сразу же почувствовали — пришел роковой миг, вы стали свидетелем зрелища, от которого можно было содрогнуться и которое, кроме вас, не увидел и не увидит никто — ни ваши читатели, ни поклонники, ни даже члены Лондонского клуба вегетарианцев. Дерево улыбнулось, хотя пока еще продолжало сердиться. Большая ветвь стряхнула вас с себя, не учитывая, что сбрасывает незаменимого англичанина и вдобавок исключительного писателя. А вы в то мгновение еще подумали: «Может, и оно, подобно мне, является Бернардом Шоу среди деревьев, любителем парадоксов и шуток, и сейчас разыгрывает меня?» Ответить шуткой на шутку вы не успели, потому что упали с дерева. Однако вы отметили, что яблоня и сама удивилась тому, как неловко грохнулись вы о землю. Тем не менее, сэр, вы успели продемонстрировать ваш эксцентрический характер, вы подняли ногу, словно забивали гол в ворота противника... Вам хотелось задать яблоне вопрос, ответ на который заставил бы вас пересмотреть всю вашу жизнь. Но задать его вы не успели...

Почему-то в театральных программах принято указывать: декорации — такого-то, костюмы — такого-то, а в кино даже сообщают, где именно был снят эпизод встречи Гамлета с привидением или поединок Дон-Кихота с ветряными мельницами. И выясняется, скажем, что «датские» эпизоды сняты в Эстонии, а «испанские» в Армении. Мне хотелось бы приложить к этому рассказу аналогичную справку.

Бернард Шоу — это, конечно, Бернард Шоу, однако людей, похожих на него, пусть и не столь известных, но с теми же задатками, ломающих голову над той же

загадкой добра и зла, существует немало и в Армени.

Моделью озера послужило маленькое болотце близ Ереванского моря, лягушки — просто лягушки из болотца, телята — телята села Карби Аштаракского района, закат взят прямо с натуры, а яблоня написана с шелковицы в ущелье реки Раздан.

УЩЕЛЬЕ

Уезжающие толпились вокруг автобуса. Некоторые отошли немного от автостанции, но не сводили глаз с автобуса, трое, превратив скамейку и в стол и в стул, ели селедку. Женщина в возрасте и молодой человек провели ночь без сна. Они, глотая слова, что-то объясняли друг другу.

Когда водитель крикнул, что билетов продано много и кое-кто может остаться без места, все всполошились и побежали к машине. Отталкивая друг друга, в одно мгновение все влезли в автобус и прочно сели на свои места, заняли также проход, каждый старался присвоить как можно больше площади, словно навечно закрепляя за собой эту часть автобуса.

Я и Фатима также по мере возможности увеличили свою территорию, я положил ноги на передние металлические прутья, чтобы никто их не занял, руку протянул к окну, чтобы никто не мог его ни открыть, ни закрыть. Заняв как можно больше места в автобусе, я ждал, когда он тронется. Густая, сытая тишина наполнила автобус, все ждали.

А снаружи, на асфальте, пустовали скамейки на металлических ножках — наши бывшие места, захваченные час назад с такими же мучениями и так же решительно. Там остались рыбы скелеты, обрывки газет, яичная скорлупа...

Автобус был старый, вообще на этих горных дорогах новые почти не попадают. Было тесно, и все, к чему ты прикасался, страшно скрипело. Я попытался открыть окно, потянул ручку вниз, налево, но оно только скрипнуло и не поддавалось. Скрипело, но сидело прочно. Понемногу меня стала пугать эта прочность. Автобус старый, весь скрипит, а прочный. Эта прочность как будто сковала мне руки, парализовала мышцы, сдавила

меня со всех сторон, и я почувствовал, что вот-вот задохнусь. Я обернулся к Фатиме:

— Ну, как ты?

Фатима улыбнулась.

Водитель считал пассажиров. Автобус был битком набит, и водитель никак не мог пересчитать всех. Люди сидели на ступеньках, на досках, перекинутых через проход, между сиденьями, а какая-то девушка — даже рядом с водителем, на возвышении, под которым, кажется, был мотор. Девушка сидела лицом к пассажирам, и когда автобус тронулся, мы все вместе смотрели вперед — на дорогу, на волосатые руки водителя, на поля, реки и еще на лицо девушки, сидящей над мотором, на ее ноги, туфли...

Я так и не увидел дороги, она не привлекала меня, я хотел видеть ущелье, ущелье, известное всему миру, о котором я знал с детства, как об одном из редчайших чудес света.

Мой взгляд скользил внутри автобуса. Прежде чем мы достигли Крестового перевала, в моем сознании возникло несколько очагов впечатлений. За мной сидела старая чета, видимо, московских интеллигентов, они казались прозрачными, и одним взглядом можно было охватить их и разглядеть в них все — от телосложения до привычек. Они читали какую-то вечернюю газету. Я услышал их радостный шепот — нашли что-то важное для себя. Я наклонил голову назад, взглянул на газету — это было объявление. Объявление, удивительное для нашего времени, по крайней мере я впервые видел такое. «Принимаем заказы на перелицовку одежды». Мой взгляд механически скользнул по их одежде. И муж и жена были одеты как чеховские чиновники — их одежда была старой, поношенной, отутюженной и чистой, ткань расползалась от ветхости.

Мой взгляд их обеспокоил, они улыбнулись вежливо, словно сглаживая мою нетактичность.

Второй очаг моих впечатлений возник от созерцания горца-пастуха, сидящего на ступеньке у двери автобуса. От него пахло овцами, воротник и края одежды лоснились от жира. Ему хотелось спать — голова его часто опускалась и касалась полных бедер соседки.

Третий очаг — группа цыган, занявших заднюю часть автобуса. Они сперва молчали, потом заговорили, зашумели, принялись гадать тем, кто был рядом.

А после завтрака на одной стоянке в пути они запели — страстно и безудержно, с громким гиканьем и притопыванием, уравнивая все в этом мире.

Четвертый очаг впечатлений — девушка, сидящая над мотором. Она была истинной горянкой, и даже тонкие французские чулки не могли изменить ее наивно-мужественного облика. Она никого не замечала, ни на кого не смотрела, но она видела всех и с каждым беседовала мысленно. Я понял, что мы все ей нужны так же, как ее возлюбленный, тот, в горах, которого она вспоминает и у которого будет через несколько часов.

Я ей нужен для того, чтобы она мысленно могла мне сказать: «Тебе немало лет, но глаза у тебя хорошие, восхищайся мной, вот так, смотри на мои ноги, на мои движения, которые тебе кажутся небрежными... Ты хорошо видишь красоту, гордость, юность моих движений. Ты заглядываешь мне в глаза...»

Так она беседовала с каждым.

Вскоре на отдаленном холме появился силуэт храма. Он был виден долго. Казалось, храм вознесся над горизонтом и следил за нами с гордо поднятой головой. Как властелин, он крепко сидел на своей земле и наблюдал за нами. Мы свернули направо, потом налево, потом обогнули другой холм, а храм все виднелся. Удивительно умело нашли для него место: он был виден все время и со всех сторон. После того как мы проехали порядочный путь, храм остался позади. Я обернулся и сквозь заднее окно автобуса смотрел на исчезающий храм. И вдруг мне показалось, что он смотрит на меня, смотрит, пока я не исчезну с его глаз. Я выпрямился и посмотрел вперед.

Впереди справа поднялся новый храм.

Он был вдохновенный, с благородной внешностью и осанкой юноши. Я не уловил той точки, на которой исчез один и появился другой, но теперь почувствовал, что эта точка существует. Как будто имелся хорошо продуманный, механически действующий конвейер — один храм исчезал, появлялся другой. Значит, хорошо продумано, точно найдено было для него место, и сам он был хорошо построен.

Теперь я уже явственно почувствовал, что он смотрит на меня. И одновременно с радостью от созерцания прекрасного я вдруг испытал легкое раздражение.

Храм постепенно уменьшался, а я тем временем на-

чал поглядывать вперед. Впереди ничего не было видно. А позади от храма осталась одна полоска, и она тоже исчезла. Я выпрямился... и прямо перед собой, с правой стороны увидел новый храм — с осанкой почтенного старца, приземистый и кряжистый, как широкий пенёк. Значит, опять-таки была точка, где они сменяли друг друга. А, может быть, они нас вручали друг другу?.. Этот новый храм стоял на дороге, довлея над местностью. Мысль об этом показалась мне неприятной, и, чтобы сбросить бремя раздумий, я посмотрел в другую сторону, на маковое поле, на ошетилившийся лес. Но почувствовал, что храм не отпускает меня. Он попросту следил за мной. И я не мог больше думать ни о чем другом. Все мои мысли непроизвольно служили ему, покорялись ему, боялись его, использовались им. Строй моих мыслей был нарушен. Я не воспринимал леса, местности. Разум мой был зажат в кулак, и я был вырван из лона природы. Посмотрел на храм и еще более отчетливо понял, что он занимает мои мысли, насел на меня, на лес, на дорогу, на реку... Я закрыл глаза, чтоб избавиться от этого состояния, чтоб не думать, чтоб погрузиться в темноту, в свободную и спокойную беспредельность моего разума. Я открыл глаза, приземистый храм уже уменьшился и вот-вот должен был исчезнуть за горизонтом, и в этот самый момент, точно по какому-то предопределению, справа, прямо передо мной, словно родился из недр земли, снова воздвигся храм, теперь уже с удлинёнными формами. Он чуть не задушил меня своей мощью, совершенно подавил высшей организованностью и полностью растворил в своем камне. Я снова попал в плен. Я опять закрыл глаза, чтобы на секунду избавиться от видения, но и в слепоту тьмы врезалось строение с двумя островерхими колокольнями.

Я был уже убежден, что на дорогах и в мире нет свободных мест, что все мы у них под стражей — один храм берет наш автобус, мои мысли, Фатиму, чеховскую чету и вручает следующему храму. Может быть, что-то в свою очередь забирало и этот храм. И он тоже переходил из рук в руки, не зная отдыха, покоя, уединения, не имея возможности тоже быть самим собой. Да и все на свете так крепко держат друг друга, держат и добром, и злом, и истиной, и ложью. Они словно держат друг друга в объятиях и целуются — губы в гу-

бы и, сплетаясь, сливаясь в одно, держат друг друга за горло. Они, я, земля, Фатима, автобус...— мы слиты всодин, неотделимы друг от друга: плоть в плоти, зубы — к зубам, тело — к телу, глаза — к глазам, запах — в запахе — неизвестная, неведомая масса. Обманиваем, любим, ласкаем, убиваем?.. Нет. И это все? Опять нет. Мы что-то делаем. И у этого пока нет имени. Что-то же побуждает погибать ради друга, то же, что побуждает кричать на баррикадах, создает отцеубийц, творит гениев...

Фатима устала от дороги, склонилась на мое плечо. Ее теплое дыхание касалось моего подбородка, и мои мысли вернулись в автобус, прошлись по нему, коснулись всех, скользнули по лежащим вповалку, спящим цыганам, обласкали лицо, руки, колени Фатимы и снова устремились из автобуса навстречу горам и небу. Однако спустя мгновение я почувствовал, что снаружи так же мало места, как и в автобусе, и выйти некуда.

И уже покорившись, я следил за храмом. За поворотом храм вдруг пропал. Автобус рванулся вперед, и храм исчез. Я не решался взглянуть вперед. Храм, исчезнувший так быстро, вряд ли успел вручить нас следующему. В конце концов я набрался смелости и посмотрел вперед: картина была неожиданной — впереди возвышалась средневековая крепость — башня. Такие башни воздвигали горцы, чтоб наблюдать за дорогой и местностью, чтоб всегда их держать в поле зрения. Я инстинктивно и по какому-то, казалось, далекому воспоминанию знал, что эти башни тоже должны быть связаны друг с другом, за следующим участком следит другая башня. Через несколько минут появилась другая башня. Они начали передавать друг другу наш автобус. С той же точностью и организованностью, что и храмы. Башни были выше, воинственнее, красивее, чем храмы, и более впечатляющие. Когда мы проезжали прямо под ними, они возвышались настолько, что верха не было видно.

Долгое время это пространство на земле принадлежало им. Когда автобус поднялся по многочисленным виткам дороги на перевале, последняя башня осталась внизу... Я охватил взглядом всю долину и увидел все башни вместе. Неужели я был их пленником, неужели у меня не было выхода?.. Сейчас мне нет никакого дела до них, а они равнодушны ко мне, они были сами по

себе, а я — сам по себе... И мне неожиданно стало еще страшнее. Их надзор и их равнодушие — это две стороны одной медали. И мне захотелось крикнуть с высоты: «Эгей... Посмотрите на меня, вот я, я здесь!.. Ведь вы меня видели, вы уже знаете меня...» Но я показался себе таким мелким в этом желании. Мне вдруг открылась одна страшная и безусловная истина. Она состояла в том, что все мы по отдельности незнакомы и враждебны друг другу, и одновременно все вместе — мы родные и друзья. И есть большой смысл в этой разрозненности и слитности. Все мое и ничто не мое... Я со всеми и ни с кем.

Я сжал колено Фатимы. Она перестала дремать и взглянула на меня. Я посмотрел на нее и подумал — почему я с тобой, а не с женщиной, сидящей на соседнем сиденье? Если бы тебя вообще не было со мной, я бы вверил себя другой женщине, которая была бы со мной. Неужели мы желаем чего-то для ближнего? Ведь ближним может стать любой чужой. Обыкновенная условность, которую всегда можно оговорить.

Автобус вышел на открытое пространство, наверху было небо, внизу — земля. Трудно было поверить, что мы находимся на самой высокой точке... Была земля, твердь, не было ни высоты, ни глубины. Было только наше сознание того, что внизу остались храмы, башни...

Я почувствовал одиночество. Автобус притих, и все мне показались жалкими и беспомощными. Автобус — маленькая и одинокая игрушка... Трудно было поверить, что мы должны достигнуть какого-то места, что в мире есть города, другие люди, моря или что-то еще...

Неужели где-то теперь они существуют сами по себе?.. Ведь они в своем существовании уже стали частицей нас самих, частью этого автобуса, и если они существуют сами по себе, то уже существуют и для нас. И я помолился: «Живите все, и пусть всем будет хорошо, и каждому будет хорошо, ему же на пользу, размножайтесь, люди и животные, расцветайте, деревья и растения, набирайтесь силы, звери и насекомые, растите, города и села, живите себе на пользу»...

Фатима удивленно взглянула на меня. «Ты что, молишься?» — насмешливо спросила она. «Да», — якобы в шутку сказал я.

Рядом незаметно вырисовывалась гора. Она постепенно поднималась над соседними холмами, и вот уже

ее восходящее движение стало могучим — через секунду она стала грозной, и ее чудовищная вершина ушла в облака. За ней появились другие горы, они тоже росли на глазах. Эта гора сдала нас следующей. Повторилась прежняя история. Теперь горы вручали нас друг другу. Гор было много, высоких, очень высоких, старых и мудрых. Они вобрали в себя плоскости и растения, воды и камни, пропасти и скалы... Они возобладали над всем и были созданы из всего... Они были устрашающими в своей суровости. Темнело. И чернота их тел еще более сгушалась.

Мы становились все меньше и меньше у их подножий, скрип в автобусе усилился. Взгляды пассажиров стали испуганными... Один из цыган попытался запеть, исторг несколько звуков, они были тусклые, словно простуженные, какие-то приниженные и бессмысленные перед этими чернеющими возвышениями. Горы все чернели и чернели, становились все тяжелее, занимали высоту, как будто должны были раздавить нас своей тяжестью, своей гордостью... Теперь уже нас не было, они даже не вручали нас друг другу, потому что их было много и они полновластно царили над каждым миллиметром сущего и не сущего. Теперь было трудно представить, что в мире, кроме гор, есть еще другая сила. У их подножий появилась белая река, известная река, воспетая Пушкиным и Лермонтовым.

Казалось, что еще может быть сверх этого?

Но вот в вышине прозвучал какой-то странный голос. У него было много оттенков, но он был цельным, он как будто дрожал и скользил... И самое невероятное было в том, что этот сильный голос был нем, этот наводящий ужас голос был тихим. Он был словно крышей, одеялом, крыльями...

Я внимательно проследил за голосом и увидел его источник — он возник среди черных краев гор, появился из-за них... Это был свет, осмысленный и вдохновенный, явление духа. Я не знаю, что такое свет, физика мне помочь не может. Он был сложнее физики, по ту сторону физики, выше ее законов. Свет был гениален, красив и, самое важное, — добр... Он был словно распахнут и действовал на всех. Автобус стал белой точкой, сверкающей каплей воды в океане земли. Он озарился светом, раскачивался и взлетал, как маленькая мошка. Свет был большой, одновременно восприни-

маемый на ощупь. Это был сплошной свет, но в нем различались волны и оттенки цветов. У него было множество белых глаз с белыми зрачками. Белое в белом, белое в белом, белое в белом и так без конца... Он двигался медленно и с достоинством.

Лицо Фатимы раскрылось в улыбке на свету, она ликовала...

Ликовали и чеховские старики, ликовали цыгане...

Поздно ночью, почти на рассвете, мы достигли города.

Город был незнакомый, но старый и родной. На улице не было народу. Ведь была ночь, хотя улицы были белыми, как во время белых ночей. Город был в классическом стиле, с правильными плоскостями и линиями. Рассвет только наступал, и местами силуэты зданий казались негативными — белое на черном... Несколько зданий напоминали театры — покоем своих украшенных колоннами порталов. Среди белого цвета бросали мягкие отблески крыши и купола зданий — острые, готические — русских и армянских церквей, костелов...

У дверей одной церкви стоял старик в широкополой помятой шляпе. Седые космы торчали из-под нее.

— Здравствуйте,— сказал я ему, и мой голос прозвучал необычно, словно шел от него ко мне.

Вместо приветствия старик пожаловался:

— До сих пор не открыли... Уже семь, а дверь не открывают... Порядка нет...

«Но ведь еще очень рано, — подумал я,— куда там церковь, учреждения открываются самое раннее в восемь...»

И я взглянул на Фатиму — она подумала то же самое. Пока мы шли через город, стало немного светлее.

У другой церкви стояла очередь, видимо, туристы.

— Спроси, за чем они стоят, — сказал я Фатиме.

— Не надо,— проговорила Фатима. — Постоим в очереди, увидим...

Мы встали в хвосте. Через полчаса наша очередь вошла в церковь. Еще минут десять мы стояли внутри. Продавали сувениры. Продавал молодой священник. Он был сонный, зевал, возвращая мелочь. Он вручил нам штампованного пластмассового Христа, и мы пошли по направлению к гостинице.

«НО ПРИХОДЯТ ОТЦЫ СЕМЕЙСТВ...»

Агаси Айвазяна хочется цитировать. «В Чугурети улочки кривые и такие извилистые, запутанные, что даже солнце плутает там долго-долго. Чтобы выбраться на большую улицу, люди поднимались наверх, потом спускались, и все мимо тифлисских дворов. Тифлисский двор не строили, тифлисский двор выдумали фокусники, потом щедрые карачохели обмазали его чихиртмой и бугламой, полили вином и обмели пучком душистой травы — тархуна... Тифлисский двор, как старая мысль, тих и спокоен: на балконах ковры, посреди двора — водопроводный кран... Дворы будто народились один от другого: большие и маленькие — все одного племени, все на один манер...» Тифлис в легкой дымке грустного любования проходит через многие рассказы Айвазяна. И этому, кроме тех лестных для города причин, какие мы могли бы предположить, есть и весьма простое объяснение: писатель родился в Грузии, в Тбилиси прошла его юность, там же в 1959 году вышла первая книга его рассказов...

«С Авлабара видно все. Весь Тифлис с его закоулками: Шайтан-базар, Эриванская площадь, Мыльная улица, Нарикала, церковь святого Саркиса, Сион, греческая церковь... С Авлабара видны дома господ Хатисова, Мелик-Казарова, караван-сарай Тамамшева, театры Тер-Осипова и Зубалова, гогиловские бани... С Авлабара видны зелено-голубые глаза мадам Соломки, белоснежные ноги мадам Сусаины, гордая грудь калбатано Мэри, вздымающаяся, как фуникулер. С Авлабара видны деньги, которые прячет у себя в тюфяке мелочный торговец Мартирос, видны седые волосы пухокрада Софо, заплаты Верзилы Сако... Да что там — с Авлабара видны Коджор, Борчалу, Шавнабади и... Париж! С Авлабара видны тифлисские свадьбы и похороны, болезни и сны...» И эта медлительная интонация с паузами после каждой фразы — возможность остановиться и подумать, вспомнить, удивиться, обрадоваться, эти имена, названия, подробности жизни, тайны и откровения, — все это вводит тебя внутрь текста, внутрь ситуации, в центр событий и уже не выпускает...

Ну что ж, откроем дверь. Войдем под низкие своды уютного, с таким символическим для Айвазяна названием — «Симпатия» — кабака, со стен которого смотрят Шекспир, Коперник, Раффи, царица Тамар и Пушкин; взберемся по узкой улочке и постоим в старинном дворе, где еще живут «разговоры, которым по сто лет, слова о верности и чести, сказанные тысячу лет назад, стоны, мечты и предсмертный вздох, шелест поцелуев... беседы с богом, святые и грешные желания, тихие, сдавленные рыдания. По вечерам выходят эти звуки, кружат по двору, умываются водой из крана, и во дворе раздаются шепоты и шорохи, и двор ожи-

вает...» Или заглянем в маленькую армянскую пекарню, с ее ароматом горячего хлеба и черной тенью от белого с ног до головы пекаря. Или, может, поднимемся на вершину горы, откуда виден весь Ереван? А лучше всего никуда не пойдем, а просто посидим в кузнице пяти Мкртычей, героев «Треугольника», — посмотрим на огонь в горне, помолчим, послушаем печальное завывание дудука, стук молота по наковальне и познакомимся с хозяевами.

Десятки и десятки героев в этой книге.

Нищий армянский буржуа Мелик-Каракозов, издававший газету тиражом в 100 штук и выступавший с речами в тифлисском национальном собрании. Безрукий рисовальщик афиш Таши. Некто Вартанов, бывший чиновник «Мещанской управы», бывший житель села Чархлу, «мучительно старавшийся высочить из кожи простолюдина, избавиться от собственной физиономии, от всего, что получил от предков». Бездомный тифлисец Кара-Вурди, который «продает в духанах и во дворах свои мысли, придумывает тосты, одаривает языком надгробные камни», — надо же во что-то одеться и где-то поест. Метранпаж типографии, где печатался «Вестник Закавказских железных дорог» (он сидит на верблюде, установив перед собой пулемет — время гражданской войны, — и грызет сушеную воблу). Последний отпрыск трусливого солдата — храбрый генерал Барсегов. Пожилой крестьянин, «человек семейный, занятой», из тех, у которых «тысяча забот и никогда не было времени сходить куда-нибудь». Он решил пешком обойти всю Армению и где-то, не то около Бжни, не то возле Ошакана, нашел те несколько метров земли, куда не ступала нога чужеземца — ведь не будь такого клочка земли, как бы уцелела Армения?.. Тифлисские кинто, карачохели и шарманщики, студенты театрального института и сосланные в Бухару кулаки, циркачи и разбойники, художники и средневековый монах, милиционер, балерины, учитель... Удивительна эта способность Айвазяна несколькими лаконичными фразами, несколькими штрихами нарисовать человека «во весь его рост». Как правило, его рассказы коротки — несколько страничек. Но так насыщены они фактами прошлого, событиями настоящего, деяниями и мыслями героев, что кажутся развернутыми во времени и пространстве историями судеб. «Тифлис», «Вывески Тифлиса», «Евангелие от Авлабара», «Скандалисты» воспринимаются как своеобразные микроэпопеи.

Наивные и лукавые, простодушные и себе на уме, праведные и грешные его герои. Судьбе одних посвящены повести и рассказы, о других сказано всего несколько слов. Но каждый из них, по Айвазяну (это одна из излюбленных мыслей писателя), — часть человечества, людского сообщества, основанного на доброте, справедливости и любви. Именно высокие человеческие чувства — то всеобщее, что объединяет людей. Не корысть, ненависть, эгоизм, индивидуализм, разъединяющие людей, а именно высокие человеческие чувства.

А масштабы этих сообществ различны... Это может быть связь с небольшим кругом людей (в повести «Треугольник» — кузница, пятеро работающих в ней кузнецов Мкртычей). И это может быть родство со всем человечеством. Когда слова одного человека должны вобрать в себя «крик новорожденного, заветы предков, мудрость сострадания, муки ошибок, вечное стремление устроить свое будущее и упорядочить прошлое». Когда человек, собираясь убить другого, глядя в его лицо, замечает сходство с собой, по-

нимает, что убивает тем самым самого себя... Айвазяну связь эта представляется настолько тесной, что все люди предстают в его книгах как бы единым существом. Каждый человек, считает писатель, несет в себе нечто общее и, значит, вмещает в себя многих. Как вобрал, например, в себя тифлисский художник Григор (тот самый, что нарисовал на стенах кабачка «Симпатия» Шекспира, Коперника, Раффи, царицу Тамар и Пушкина) многих своих земляков, и разговаривал с другим так, как будто сам с собой разговаривал, раскрывался перед другим, чтобы тот вобрал его в свою душу, узнавал сущность другого, чтобы обосновался этот другой человек в нем, в Григоре...

Неизвестное познается через известное — и мир прозы Айвазяна критики сравнивают с карнавалом, ярмаркой, цирковым представлением (непреренно — грубоватые и печально-возвышенные шутки рыжего и белого клоунов, непременно — сопровождаемые традиционным «оп-ля!») и лукавой правдивостью на лице «коронные номера» фокусника), находят в его книгах отзвуки раблезианства, усматривают даже некоторое сходство его героев с персонажами «великого булгаковского бала Воланда»...

Думая о героях Айвазяна, всегда почему-то вспоминаешь картины Пиросмани, с их наивностью и вместе глубинной философской обобщенностью, и Маленького принца Экзюпери, за детским простодушием которого — счастливое прозрение, равноценное опыту и знанию зрелого ума: «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь». И еще вспоминаешь театр. Этому, кстати, есть и вполне объективное объяснение: проза Айвазяна необычайно сценична. Правда, воспользовался этим не театр, а кинематограф. Знакомство широкого читателя с Айвазяном состоялось не по переводам книг, а через снятые по его сценариям прекрасные фильмы, один из которых — «Треугольник» — был удостоен Государственной премии Армении. Но вспоминается именно театр — «Кавказский меловой круг» Брехта. В сюжет старинной восточной легенды вплетается сюжет реальный, национальные мотивы освещаются светом философского и поэтического обобщения, к этому добавляется еще чуть-чуть духа современности, взгляда на мир из наших уже дней, — и все это создает ощущение одновременно трагичности и праздничности человеческого существования, столь напряженно звучащее в прозе Айвазяна.

Не могу с уверенностью утверждать, но все-таки скажу — пусть это прозвучит как предположение: влияние Брехта с его принципом очуждения не обошло творчества армянского писателя. Айвазян не отрывает вовсе своих героев от реальной жизни, но или сгущает, уплотняет, перенасыщает эту реальность, так что она кажется уже немного нереальной, или совершенно спокойно и сознательно вводит элемент «чуждесного», если он необходим для оптимального раскрытия внутреннего мира героя.

В этом одновременно и сила и слабость писателя. К сожалению, иногда (так бывает у Айвазяна нечасто, но все же бывает, поэтому стоит сказать об этом) «чуждесное», выдумка, мысль становятся самодовлеющими, слова, рассуждения авторские (пусть по поводу проблем вечных, непреходящих) подменяют «материал», изображение жизни, — накал мысли оборачивается вневременным морализаторством.

Но примем на минуту правила игры Айвазяна — предположим невозможное. Предположим, что айвазяновский Григор каким-то

чудесным образом оказался на сцене во время того самого спектакля (кстати, как мне кажется, это не было бы насильем ни над пьесой, ни над героем). Так вот, если бы это произошло, то зонгом Григора могли бы стать такие строки:

Только не говори,
что мы незнакомы.
Руки мы, руки,
протянутые для встречи.
Свет мы, который
должны громогласно возжечь.
Тобой губы мои открыты —
и поют они.
И идут за тобою они,
ты — немолкнущее слово!
Вижу — через тебя
путь кратчайший найду я к себе.
Вот и я — это ты!
Подтвердишь ли мое бытие,
головой ли кивнешь, утверждая?..

.
Ах, вынь из груди
тот камень,
которым ты на меня замахнулся.
Усмири свою злость,
удержи мою ярость.
Раскачай, раскачай, человек,
моей веры,
любви моей дерево.
Вот и ты — это я!

Написано это прекрасным литовским поэтом Юстинасом Марцинкявичюсом, но если бы мог Григор сочинять стихи, то сказал бы, наверное, именно так.

Мысль, до которой неискушенный в «теории» жизни герой Айвазяна дошел путем, так сказать, эмпирическим, сформулировал Бачана Рамишвили из романа Нодара Думбадзе. Сформулировал как «закон вечности». Он гласит: «Душа человека во сто крат тяжелее его тела... Она настолько тяжела, что один человек не в силах нести ее... потому мы, люди, пока живы, должны стараться помочь друг другу, стараться обессмертить души друг друга: вы — мою, я — другого, другой — третьего, и так далее до бесконечности... Не существование личности для самой себя, в самой себе, некоей «замкнутой» личности — стремление стать личностью для людей — в нем видят высший смысл жизни, свое счастье многие герои Айвазяна...

Любил людей Григор. Как не любить — хорошие были люди: «веселились, кутили, тузили друг друга, грустили, порой плакали, песни горланили...» И Григор делился с ними своими радостями и сомнениями, страстями и мечтами, говорил о своих грехах и слабостях — искренним и откровенным был Григор. Откровенность его распространялась по всему Тифлису — он расписывал вывески, витрины, фасады, двери кабачков и парикмахерских, духанов, больниц и мелких лавчонок торговцев... И когда полюбил Григор Соню, любовь его тоже стала достоянием города. Тифлис еще больше посветлел от его вывесок, он тоже был влюблен. Влюбленный город?.. Но выносит-то Григор свою любовь на холодные улицы, под холодный сквозной ветер... И платит ему город отнюдь не добром. Непониманием.

Признание пришло — люди одержимо искали старые его рисунки в надежде обрести откровенность. Но это было запоздалое понимание — постскрипtum к поломанной судьбе Григора... И оказалось, утрата невозполнима и невероятно, неопределимо велика ценность, значимость жизни одного этого человека для «людского сообщества», зовущегося Тифлис. Оказалось, «откровенность одного слабого человека, честность одного бедного человека могли полонить большой и богатый, страстный и горячий, сытый и коварный, щедрый, красивый и жестокий город...» Григору это удалось. Его удивительный дар тому «виной». Но ведь не все мы так талантливый, да не все и способны достойно и до конца реализовать то, что заложила в нас природа и воспитало общество. Это не легко. (Как точна лаконичная формула Паруйра Севака: «и нам самим бежать за собой, и нам самим себя не догнать, и нам самим себя не достичь...») А ведь от этого зависит и то, как выглядит человек в собственных глазах, и то, как воспринимают его другие. Не все удается, и не всегда хватает мужества признаться, что виноваты в этом не тесные рамки судьбы, зажимающие, не позволяющие раскрыться, не дающие столь долгожданной возможности показать себя, а прежде всего мы сами.

Мы бы хотели что-то в своем прошлом забыть, что-то переделатъ, мы бы хотели быть во многом другими — добрей, умней, талантливей, удачливее, наконец. Именно это желание переделатъ, «пережить» жизнь рождает легенду Хачика, героя Айвазяна («Наша часть реки»), о том, как когда-то, спасаясь от резни, переплыл он Черное море: «вошел в море где-то в Турции, а вышел где-то в России». А потом оказалось, что плавать-то он совсем не умеет. Из Турции выбирался морем, но — как и все. А легенда? Ее Хачик объясняет просто: «Хотелось, чтобы в нашем горе было хоть что-то красивое...»

Раскрывая душу свою перед людьми, герой Айвазяна хочет быть понятым другим, он бежит одиночества, ощущает свою необходимость. Только тогда он уверен в себе, тогда есть «защищенность», тогда есть смысл в жизни. Разобщенность же людей (прежде всего духовная) становится трагедией.

Об этом думают многие герои Айвазяна. Многократность этих размышлений не делает их банальными или привычными. Да и как тут привыкнешь, если иногда цена стремлению высказать себя — одиночество («Шепот»), если не понимают друг друга даже члены одной семьи («Отец семейства»), если диалог между братьями, повторяющийся сто, тысячу, миллион раз (наизусть известны все реплики, все выражения лица, кажется, прокручивают магнитофонную запись — нажимаешь на какую-то кнопку, и диалог оживает), вновь не достигает цели — абсолютного понимания — и вновь обрушивается лавиной страдания и боли («Я — моя мать»)...

Для героев Айвазяна (для его героев) необходимо ощущение внутренней правды. Они уверены: «скрывать свою сущность — боль, радость, порывы, мысли, страхи — значит скрыть себя, убить себя и взамен себя создать другого человека». Но это уже будет другой человек — видимость, иллюзия, маска, — но не ты сам. Но не все ведь готовы, не все способны, да не все и хотят понять, принять и разделить эту любовь и душевную открытость. Кто-то признает необходимость существования таких людей рядом с собой. И даже обосновывает эту необходимость. Хотя бы и вот

так — с некоторой долей простодушия и изрядной долей житейского цинизма: «Знаешь, что ты за человек, Ваню?.. Ты, Ваню, как Христос... Если захочешь — пойдешь по Куре, от Муштаида до Ортачалы по воде дойдешь... Весь Тифлис тебя обожает... — полусуто-полусерьезно говорит кинто Цакуле своему другу. — Когда ты такой, нам можно плутовать... А то все перепутается, и мы уже сами не будем знать, кто из нас сатана, а кто святой... Тебя бог послал для того, чтобы... — остальное Цакуле сказал про себя, с мягкой улыбкой глядя на Ваню, — чтобы ты голодал, чтоб у тебя вечно денег не было, чтоб ты наивным был, чтоб чистым и доверчивым был, чтоб всех любил...» («Ваню и городской»). А кто-то не может ни минуты жить рядом с такой искренностью и любовью. И летит над Тифлисом иступленный крик милиционера Володи Джабуа («Тифлис»): «Мне столько любви не надо!» Да что уж там, о какой «настроенности» на судьбу другого можно говорить, как можно понять другого человека, как говорить ему что-то о себе (да не просто «что-то», а самое главное, сокровенное, то, о чем даже захочешь сказать — слов не подберешь), если «человек часто держится на расстоянии даже от самого себя» («Киракос»).

Литература последних лет не однажды и с разных точек зрения пыталась осмыслить эту проблему. Что далеко за примерами ходить — литературы, так сказать, соседние, «родственные», кавказские — азербайджанская и грузинская — все с большей заостренностью и требовательностью ставят ее перед читателем. Преуспевающий архитектор Фуад (повесть Анара «Цейтнот») педантично расписывает по часам и минутам каждый свой день. И среди множества суетных дел, забот, встреч, слов и мыслей забывает ироничное пожелание себе, появляющееся тем не менее на каждом новом листке календаря: «встреча с самим собой!» Так же не способен сохранить цельность своего внутреннего мира в этой засасывающей повседневности и литератор Гига, герой повести Т. Чиладзе «Дворец Посейдона». Рустам Ибрагимбеков в своей повести «Структура момента» доводит эту ситуацию внутренней раздвоенности человека до абсурда; вынужденный однажды солгать, герой его долгие годы сочиняет для родных и знакомых свою жизнь — такую, какой они хотели бы для него. Если у Анара и Т. Чиладзе герои действительно добились многого, нашли (пусть хотя бы только с обывательской точки зрения) свое место в жизни, у героя Ибрагимбекова и это все — миф. Тем большее облегчение испытывает он, сумев перечеркнуть этот миф... «Вневременные», как иногда представляется, или отдаленные от нас временем герои Агаси Айвазяна, оказывается, выясняют для себя те же проблемы, которыми мы живем сегодня...

Ваню, Григор, дочь генерала Барсегова Машо, Егор... Сильные они или слабые люди? Трудно ответить однозначно. Они слабы, так как уязвим и раним откровенный и любящий человек. И они страдают и мучаются, но, несмотря на боль и страдания, остаются добры и открыты для людей. Они могут с улыбкой встречать удары судьбы. Но как очень точно было когда-то подмечено — человек шутит скорее в затруднительном положении, попав в беду, чем на вершине счастья и успеха, юмор же — это всегда немножко защита от судьбы. Герои Айвазяна способны много сделать для других, зная, что от них зависит судьба людей, что их жизнь что-то значит для других, необходима им. Они сильны. Вот

только счастливы ли они? Почему-то мы видим их — в самые радостные их минуты — через дымку печали, и все звучит и звучит какая-то щемящая нотка — как предчувствие утраты. И выносим мы из чтения этой прозы отнюдь не чувство легкости душевной. Гораздо точнее будет сказать, что чтение это настраивает на самоанализ, самопроверку: способен ли ты на эту высокую человеческую духовность, доброту, гуманность, на то, чтобы поступиться своими интересами во имя интересов другого, способен ли ты на такое счастье?..

И все же испытывает их писатель — горем. Почему? Может быть, в этом — чисто человеческая позиция писателя, который считает, что нельзя лишь «испытывать» человека счастьем? Да и потом, ведь давно известно, что все счастливые похожи — повторения же губительны для литературы. Но это все не более как догадки. Как бы там ни было, предназначенное им автором и судьбой испытание герои Айвазяна, как правило, выдерживают, и мы сохраняем к ним свою симпатию.

Айвазян «мучительно счастлив» своими героями. Но писатель не идеализирует их. Он требователен к людям, чьи судьбы создает, и не прощает им ни фальши, ни низкой лжи. Как светла легенда Хачика! В основе ее ложь, но та, что зовется «возвышающий обман» и делает людей сильнее, благороднее. Смысл речей дядушки Алексана («Подушка Алексана») можно, пожалуй, кратко определить так: и мы страдали. Чем больше стремится он уверить в этом, рассказывая об испытаниях на пути их — беженцев из Карса, — тем отчетливей наше убеждение: здесь не просто слова, не просто желание привнести в этот сегодняшний быт частичку прежней счастливой жизни, хотя бы материальное — подушка, — но свидетельство ее. Этот человек спекулирует на самом горьком и святом в истории своего народа, и писатель беспощаден к нему. «Приговора» нет, нет назидательности. Есть сарказм, притом — убийственный.

Не идеализирует писатель и любовь и доброту своих героев. Добры сго Григор и хозяин кабачка «Симпатия», пожалевшие Сою. Но их поспешная доброта оборачивается несчастьем и для нее, и для Григора. Добры и дорожат друг другом Мкртычи. Но их лучшие чувства едва не перечеркивают судьбу Мко и Любы (не такой представлялась им невеста товарища)...

Добр и неизменен в своих мыслях и заботах о семье Мисак (повесть «Отец семейства»). Но несчастлив сам он, страдают его жена и сын... Казалось бы, писателя больше всего в этой истории интересует повседневное течение жизни семьи Мисака — так подробно всматривается он в эти обыденные хлопоты, так скрупулезно описывает самые маленькие, незначительные семейные события. Но это первое впечатление обманчиво. Как и всегда, Айвазян прежде всего интересуется внутренней жизнью его героев. И повесть эта — о поисках себя, поисках человека в человеке, о «нравственной обеспеченности» личности.

Нет у Мисака ни мысли, ни цели важнее благополучия семьи. Все вокруг преклонялось перед понятием «семья», грозившие семье беды вызвали ужас, перечеркивали сам смысл жизни этих людей. Незаметно, с течением времени, культ семьи — этой боли его сердца, загадочного клубка, один конец которого затерялся где-то в далях прошлого, а другой — где-то еще дальше, в непонятном будущем, — заполнил его существование.

Идея человеческой памяти, причастности к судьбе народа, уважение к своему роду, желание напомнить дню сегодняшнему его истоки, все эти так активно обсуждаемые нашей литературой последних лет проблемы (вспомним хотя бы очень емкие и точные слова Валентина Распутина из «Прощания с Матерой»: «Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет жизни») — все они удивительно созвучны армянской литературе.

Судите сами.

Егише Чаренц, «Книга пути»:

«Если ты хочешь прожить на свете дольше мгновенья,
Мни себя только звоном — не головным, не в конце».

(Пер. А. Тарковского)

Грант Матевосян, повесть «Мы и наши горы»: «От пастуха Ованеса родился пастух Есаи, от пастуха Есаи родился пастух Айказ, от пастуха Айказа родился Степан, но Степан уже не пастух...»

Агаси Айвазян часто возвращается к этим мыслям на страницах своих книг. Не случайно один из его героев считает, что человек должен соотносить себя не с миром, не с количеством людей, а с временем, с вечными, непреходящими нравственными ценностями. Думает так пришедший в книгу Айвазяна из старинных армянских легенд и ставший главным героем его повествования-притчи Мартирос, которому доверено право нести нам, читателям, многие авторские идеи и убеждения. Так начинается повесть «Треугольник»: «Отец у меня был кузнецом. Отец моего отца тоже был кузнецом. Говорят, и его отец кузнечил. Но потом остались только мой отец и его товарищи кузнецы».

А это уже о Мисаке из «Отца семейства»: «Пустая темная комната. словно никто, никогда здесь не жил... Только на стене еще висят фотографии его родителей. Отец в военной форме, в папаше. Мать сидит, сложив на коленях руки... И в этой заброшенной, холодной комнате — запах теплого хлеба, единственное, что напоминало ему о жизни, пробуждая старое, до боли знакомое чувство, чувство, которое укрепляло в нем надежду. И он ухватился за эту надежду и стал восстанавливать в памяти историю своего разрушенного очага».

Для Мисака следование традициям — не ритуал и даже не стремление жить «как все». Это фанатическое следование традициям для него — единственно возможный разумный способ жизни и мироосмысления. Оно вошло в его плоть и кровь, и когда после пустячной ссоры Мисак решил, что задета честь его семьи, мысли его «заработали в одном направлении. Но это были не мысли, это заговорила кровь древнего рода». Мисак убивает обидчика, но в его сердце — сердце все-таки доброго, честного, самоотверженного человека — всегда будет жить огромная, неискупимая вина перед людьми, а в памяти навсегда останется последнее слово Петроса, его ласковое и удивленное «аджан?» — душа моя... Убив Петроса, не убил ли Мисак тем самым душу свою — самого себя?..

Только-только начал вводить в спокойное и надежное русло жизнь своей семьи Мисак — появился достаток в доме, мир и покой обосновались в нем, вот и радость заглянула — женится сын. Чего же еще желать? Тут и настигли его, один за другим, два страшных удара — сбежал из дома сын, изменила жена.

В этом отлаженном, упорядоченном, благополучном патриархальном существовании Ермон, жене Мисака, не хватило человечности, духовности. Она по-своему любит Мисака, продолжает его любить, но отношения с ним — серьезная, «земная» часть ее жизни. Мечтала же она о какой-то завораживающей сказке. И не за такой же ли мечтой — яркой романтикой цирковой жизни поспешил сын?..

Страдает Мисак, обманутый в своих лучших чувствах, одинокий, как и жена и сын, в своей собственной семье... Но мы готовы согласиться с автором: «Миру нужны отцы семейств. Нужны они и народу Мисака. В этом есть великая мудрость. Люди бегут друг от друга, потом убегают от самих себя. Нет во всем этом ни на грош ума. Но приходят отцы семейств и собирают, сплачивают вокруг себя людей. На них, на отцах семейств, держится мир... Горе тому народу, у которого нет отцов семейств...»

Остается сказать совсем немного. Вспомнить слова героя повести «Треугольник»: «Фотография с изображенными на ней людьми, с их внешностью, позами, изрядно пожелтевшая, фотография эта истинно армянская, а почему, я и сам не могу сказать. Это можно почувствовать только особым чутьем, если оно есть у вас». Читая книги Айвазяна, чувствуешь: это писатель истинно армянский. И еще, встречаясь с его героями, убеждаешься — вновь повторим слова одного из них: «удивительные люди есть в твоей стране»...

Н. ИГРУНОВА

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

Приключения сеньора Мартироса. Перевод А. Баяндур	5
Треугольник. Перевод Е. Шатирян	103
Отец семейства. Перевод Э. Канановой	129
Удивленный, влюбленный, растерянный турист. Перевод Е. Шатирян	157

РАССКАЗЫ

Вывески Тифлиса. Перевод Л. Бояджяна	199
Тифлис. Перевод М. Ай-Артян	205
Вано и городской. Перевод А. Баяндур	215
Наша часть реки. Перевод Дж. Карумян	224
Дорога для лошадей. Перевод М. Мазманиян	232
Путеводитель по Тифлису. 1912 год. Перевод Дж. Карумян	238
Четыре добрые стены. Перевод И. Карумян	245
Святая истина. Перевод А. Баяндур	246
Тревоги. Перевод А. Баяндур	253
Наша печаль вокруг Кежо. Перевод А. Баяндур	257
Евангелие от Авлабара. Перевод Дж. Карумян	267
Шелот. Перевод Н. Гончар	273
Хосровадухт. Перевод М. Юзбашян	280
После. Перевод Л. Бояджяна	285
Ходок. Перевод Дж. Карумян	290
Чихли. Перевод М. Мазманиян	291
Старая тахта. Перевод А. Баяндур	295
Негронк. Перевод И. Карумян	297
Физиология рода. Перевод А. Баяндур	319
Старая Епраксия и ее пожилой сын. Перевод И. Карумян	312
Подушка Алексана. Перевод А. Баяндур	314
Музыкальный звонок в доме старого интеллигента. Перевод Дж. Карумян	317
Кавказское эсперанто. Перевод М. Юзбашян	324
Коронный номер. Перевод Дж. и И. Карумян	335
Сказка. Перевод В. Баласана	338
Я — моя мать. Перевод А. Баяндур	353
Рыба в кувшине. Перевод А. Баяндур	360
Разговор двух сумасшедших на вершине горы. Перевод Дж. Карумян	363
Скандалисты. Перевод Е. Шатирян	370
Четыре минуты катаклизма. Перевод Л. Бояджяна	375
Болеро. Перевод М. Юзбашян	380
Киакос. Перевод Дж. и И. Карумян	388
Смерть Бернарда Шоу. Перевод Дж. и И. Карумян	392
Ущелье. Перевод М. Юзбашян	398

«НО ПРИХОДЯТ ОТЦЫ СЕМЕЙСТВ...» *Послесловие.*

Н. Игруновой	406
--------------	-----

Агаси Семенович АЙВАЗЯН

ТРЕУГОЛЬНИК

Приложение к журналу «Дружба народов»

М., «Известия», 1983, 416 стр. с илл.

Оформление «Библиотеки» **Ю. Алексеевой**

Редактор **Е. Мовчан**

Художественный редактор **И. Смирнов**

Технический редактор **В. Новикова**

Корректор **Л. Сухоставская**



ИБ № 631

Сдано в набор 23.05.83. Подписано в печать 18.10.83. А 01466.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура литературная.
Печать высокая. Печ. л. 13,0. Усл. печ. л. 21,84 Уч-изд. л. 22,77.
Тираж 265 000 экз. (1-й завод 1—150 000 экз.) Заказ 3—511.

Цена 1 руб. 80 коп.



Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Отпечатано с матриц типографии издательства «Таврида»
Крымского обкома Компартии Украины, г. Симферополь,
ул. Генерала Васильева, 44 на Киевской книжной фабрике,
252054 г. Киев, ул Воровского, 24.

